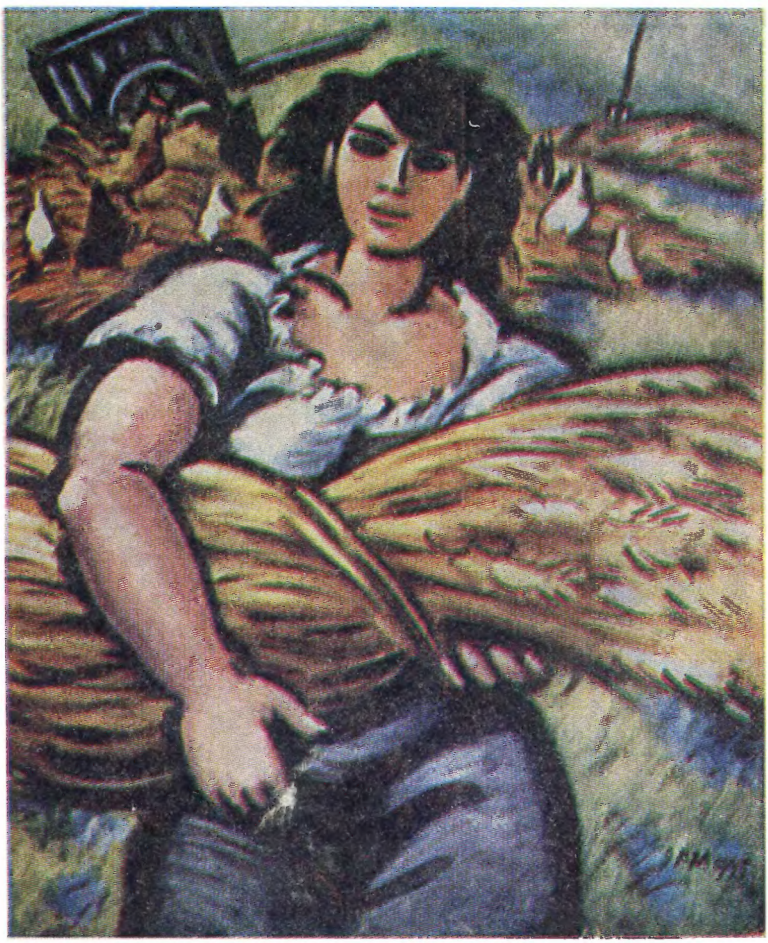
ISSN 0130 – 6545

3. 1985

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Французская миниатюра
XV века
с изображением
художницы Марсии.

СУЗУКИ ХАРУНОБУ. «Любовная пара в снегу».

О цветных иллюстрациях номера
см. статью Е. Херсонской «Женщина в искусстве».

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

март

3

1985

Содержание

АЙ ЦИН — Стихи разных лет *(Перевод с китайского Л. Черкасского)* 3

АРВИД РУНДБЕРГ — Путешествие в Новый Орлеан *(Роман. Перевод со шведского З. А. Буловской)* 9

АНА БЛАНДИАНА — Рассказы *(Перевод с румынского Анастасии Старостиной. Послесловие Михаила Рощина)* 104

ЭДВАРД РИКАРДО БРЕЙТУЭЙТ — Учителю — с любовью *(Роман. Окончание. Перевод с английского М. Загота)* 133

Литературное наследие

ПЬЕР ДЕ РОНСАР *(К 400-летию со дня смерти. Перевод с французского Веры Потаповой)* 183

Критика

Л. ЧЕРКАССКИЙ — Ай Цин — поэт и гражданин 189

Заметки писателя

ХУАН ЭДУАРДО СУНЬИГА — Годы наедине с русской книгой *(Перевод с испанского Вероники Спасской)* 195

Наш календарь

К 70-летию Азиса Несина

Н. ФЕДОРЕНКО — Гордость турецкой литературы 202

Письма из-за рубежа

АЛЬФРЕДО ГРАВИНА — Слово, неподвластное мраку *(Перевод с испанского М. Андреевской)* 206

Публицистика

ЭЛЛА ЩЕРБАНЕНКО — Потери на пути к себе *(Современная женщина Запада в жизни и литературе)* 209

Антирубрика

РОБЕРТ ШЕКЛИ — Загвоздка *(Рассказ. Перевод с английского Н. Евдокимовой)* 224

ХОСЕ НОГАЛЕС — Визит дьявола *(Рассказ. Перевод с испанского Александра Балжи)* 229

Наши гости

А. Ковач — МИРЧА ДИНЕСКУ, КОСТАКЕ ОЛЭРЯНУ, МИРЧА НЕДЕЛЧУ, РАДУ Ф. АЛЕКСАНДРУ (Румыния). 231

К нашим иллюстрациям

Е. ХЕРСОНСКАЯ — Женщина в искусстве 234

Среди книг

Издано в СССР

ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ — Электронная мечта *(«Американская модель»: с будущим в конфликте)* ✦ А. ЗВЕРЕВ — Необычно быть обычным? *(Гилберт Кит Честертон. Писатель в газете)* ✦ А. ЯКОВЛЕВ — Аравия старая и новая *(Я. Яхлюф. Наджран в час испытаний. Ветры Залива)* 236

Издано за рубежом

НИНА ЛИТВИНЕЦ — Современные сказки современной Шехерезады *(Ангелика Мехтель. Бог и сказительница)* ✦ М. ТУГУШЕВА — Женщины и Диккенс *(Майкл Слейтер. Диккенс и женщины)* ✦ Н. НИКОЛАЕВА — Рождение художника *(Франсуа Вейерган. Плот Медузы)* 242

Из месяца в месяц 249

На 1-й странице обложки — ФРАНС МАЗЕРЕЛЬ. «Несущая снопы». На 4-й странице — БЕРТА ХЕЛЛЕР. «Играющий ребенок».

© «Иностранная литература», 1985.

АЙ ЦИН

Стихи разных лет

■

Перевод с китайского Л. ЧЕРКАССКОГО

Крестьяне

Вы рождены землей
Ваши лица цвета земли
Ваше дыханье — дыханье земли
Руки огромны и грубы как сваи
Ноги ступают тяжко
Будто корнями уходят в землю

Вы неулыбчивы как земля
Как земля молчаливы
Упрямы и непокорны
Как эта земля

Вы живете и пашете
Мертвых в тоске предаете земле
И только вы одни способны
По-настоящему любить землю

1940 г.

Мальчик косит траву

Степь зажжена закатом и кажется багряной,
Косец, еще мальчишка, траву бесшумно косит.
Согнув худую спину, он косит как попало,
То здесь траву срезает, то вдруг меняет место...

Трава уже мальчишку от взоров заслонила,
В густой траве пахучей, однако, замечаю:
Корзинка из бамбука наполнена травою,
Коса в лучах заката как золото сверкает...

1940 г.

АЙ ЦИН (род. в 1910 г.).

Китайский поэт. Автор многих сборников стихотворений и поэм. Наиболее известны сборники «Даяньхэ» (1936), «Он умер во второй раз» (1939), «Поля» (1940), «Против фашизма» (1943), «Весть о рассвете» (1943), поэмы «К солнцу» (1939), «Факел» (1940), «Зоя» (1942) и др. После создания КНР Ай Цин опубликовал книги «Избранное» (1950), «Радостный клич» (1953), «Весна» (1956). Свои эстетические взгляды поэт изложил в сборнике статей и эссе «О поэзии» (1940). В 1980 г. Ай Цин выпустил в свет книгу стихов «Песни возвращения», получившую первую премию на конкурсе Союза китайских писателей. Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Север» (1942), «Рубиновые звезды» (1953), а также из китайской периодической печати последних лет.

Статью Л. Черкасского о жизни и творчестве Ай Цина «Поэт и гражданин» см. на с. 189.

Хикмету

Ты с нами, Стамбула вестник,
Недавно Москву покинув,
Анатолийские песни
Китайцам поешь в Пекине.

Ты видел отчизну в рабстве,
Видел нужду и болезни.
Смело с врагами драться
Твои призывали песни.

Тираны тебя истязали,
Юность твою терзали,
Гасили осатанело
Пылающий факел гнева,

Острый твой меч ломали,
Лишали тепла и света.
Было подобно алмазу
Чистое сердце поэта.

Ты в поединках грозных
Думал о людях и звездах:
«Путь наш от сердца к сердцу
Млечным Путем прочерчен».

Ты за решеткой слушал
Мир от края до края —
Гром сталинградских пушек,
Поступь солдат Китая.

Надежду не отняли годы,
Двенадцать лет несвободы.
Песни твои, как факел,
Пылали в турецком мраке.

Весь мир помогал герою —
Предупрежденья, ноты,—
Средиземноморской волною
Бил по железным воротам.

Цепи сорвал ты, сокол,
Двери тюрьмы раскрылись.
Ты полетел к Востоку,
Расправив свободные крылья.

Другое настало время,
Повеяло свежим ветром,
Цветы устилают землю
На тысячи километров...

1952 г.

Из заграничных циклов

«Свобода»

На долларе начертано: «Свобода»

Есть они —
Есть свобода,
Нет их —
Нет свободы.

Больше денег —
Больше свободы.

Пусто в кармане месяцы, годы —
Значит, на эту же сумму свободы.

Каждый доллар в дело годится:
Станет бродяга важною птицей,
А проститутка — императрицей.
Каждый доллар в дело годится:
Нет его — нуль все ученые ранги,
Фея несчастна без долларов в банке.

Денежки с вами —
Вам улыбаются,
В низком поклоне спины сгибаются.
Денежек нет —
Обстановка меняется:
О вашем здоровье уже не справляются.

Верхом на долларе въедешь в рай,
А без такового —
В аду сгорай!

1954 г., Буэнос-Айрес

Утро в Гамбурге

Вечером третьего дня
В пекинском дворике видел луну
Она улыбалась беззвучно

Сегодня утром
В Гамбурге снова увидел луну
За окном улыбалась беззвучно

Не ведаю как она здесь появилась
Но похудела изрядно

1979 г., Гамбург

Светильник

Мне подарили светильник
Древнеримского происхождения
Старинную вещь с узором
В виде летящих коней

Сегодня в век электричества
Эта масляная лампа
Кажется жалкой и тусклой
В блеске иных огней

Но эта крошечная лампа
Озаряя крошечным лучиком
Темные коридоры истории
Человечество к свету вела

1980 г., Рим

Флоренция

Вчера в Риме
Сегодня уже во Флоренции

Флоренция
Когда я мечтал о тебе
Я был молодым человеком
А увидел тебя стариком

В галерее Уффици
Перед статуей Давида
Юноши и девушки
Фотографируются на память
Нигде в мире
Нет такого обилия статуй

С площади Микеланджело
Гляжу напрягаю зрение
В апеннинской долине
Флоренция развернула
Свиток бесчисленных воспоминаний
О давно ушедших годах

Однако никто
Почему-то не знает
Где жил Данте

В концертном зале
Сегодня вечером
Траурные песнопения
Дважды овдовевшей
Клеопатры царицы Египта
Звуки песен так заунывны

Город всемирной славы
Тебе ежегодно
Оставляют туристы
Пятьсот тысяч сердец

1979 г., Флоренция

Ницца

Солнце с морем непринужденно
Играет блестит искрится

Перед глазами ими рожденная
Встает прекрасная Ницца

Кожа у Ниццы смуглого цвета
Ходит по улице одетая в плавки

Жаркого пояса вижу приметы
Пальмы высокие стоят как подарки

Рассвет поднимает белый парус
Полдень раскрывает зонты

Ницца раскрывает объятья
И в этих объятьях ты

1980 г., Ницца

Монте-Карло

Жажда золота над волнами морскими
Овладела душами людскими

Монте-Карло человека растравляет
Сети призрачной надежды расставляет

Город страсти лиходейства и порока
Где стареют молодые раньше срока

Но при этом
Монте-Карло
Ты пленяешь

1980 г., Ницца

Красный флаг

Красные лучи заката
Красные цветы граната
Красные рододендроны
Кровь из раны
Красный факел красный мак
Самый красный —
красный флаг
Реющий в голубизне
Красный флаг

1978 г.

Без названия

■ ■ ■

Для моллюсков мягкотелых
Твердая раковина —
Первое дело

■ ■ ■

Кто узнает кто сочтет
Сколько счастья и невзгод
В сумке почтальона

■ ■ ■

Не верь священнику —
Бог на устах
И дьявол в сердце

■ ■ ■

Заслышав волчий вой
Берешь дубинку в руки
Змея ползет —
Ни шороха ни звука

1979 г.

Престиж истории

1

Это все невероятно —
Дует ветер нам на горе
Воды рек текут обратно
Глухо трескаются горы

Может быть оружьем новым
Взорван ход привычный суток
Мрак навис над отчим кровом
Гаснут звезды и рассудок

Жизнь любого под вопросом
Жизнь хрупка и ненадежна
Погубить ее доносом
В этом климате несложно

Будто светопреставленье
Всё в Китае вверх ногами
За какое преступленье
Мы наказаны богами

Дождь как грязная водица
Ветер-палка бьет жестоко
С крыш слетает черепица
В окнах лопаются стекла

2

Взором мертвенным Медузы
Только взглянут на кого-то
И мудрец в минуту ту же
Превратится в идиота

Тут не символ отвлеченный
Безголос и искалечен
«Шут» бредет с табличкой черной
В колпаке остроконечном

В эти годы «мясорубка»
Всех прокручивала рьяно
Толстых тонких злых и грубых
Тех кто вовсе без изъяна

В домино играли крупно
Отзывались игры тяжко
Где-то падает «преступник»
Как игральная костяшка

Следом новые костяшки
Тоже падают влекомы
Первой жертвой
Нет поблажки
Ни родным и ни знакомым

Вереница зим жестоких
Клевета слушок наветы
Точно селевым потоком
Уносило человека

Даже трупы не зарыты
Пропадали в вихрях жутких
Но не сгинули бандиты
И остались проститутки

Не исчезли хулиганы
Злые силы не иссякли
Шли на сцене и экране
«Образцовые спектакли» [1]

3

. . . . . .

Время драм и их последствий
Время дьявольского фарса —
«Величайшее из бедствий»
Пережило государство

6 февраля 1980 г.

Зеркало

Плоскость но какая глубина
В плоскости такой заключена

Истина ему всего дороже
Недостатки не скрывает тоже

Дружит с тем кто мимо не проходит
Каждый в нем легко себя находит

Пьяный взгляд улыбка молодая
Голова давно уже седая

Встречи с ним порою даже лестны
Если люди сами интересны

А иные прямоты боятся
И его конечно сторонятся

Даже захотелось одному
Кулаком ударить по нему

1979 г.

■

[1] «Образцовые революционные спектакли» — так назывались пять спектаклей пекинской музыкальной драмы и два балета, одобренные высшим китайским руководством к постановке в театрах всей страны в годы «культурной революции».

ЧЕРКАССКИЙ ЛЕОНИД ЕВСЕЕВИЧ (род. в 1925 г.)
Советский литературовед и переводчик, доктор филологических наук. Пишет по проблемам истории китайской литературы и теории художественного перевода. Автор монографий «Поэзия Цао Чжи» (1963), «Новая китайская поэзия» (1972), «Маяковский в Китае» (1976), «Китайская поэзия военных лет» (1980). В его переводах вышли в свет сборники китайской классической и современной поэзии и прозы «Семь печалей» (1962, 1973), «Красный прибой» (1964), «Дождливая аллея» (1969), «Пятая стража» (1975), «Сорок поэтов» (1978), «Китайская поэзия» (1982), «Трудны сычуаньские тропы» (1983) и др.

АРВИД РУНДБЕРГ

Путешествие в Новый Орлеан

РОМАН

Перевод со шведского З. А. БУЛОВСКОЙ

Часть I

1

Рихард решил отправиться путешествовать, чтобы посмотреть белый свет. Дома ему все опостылело. Он хорошо запомнил первый день путешествия: мальчик на шоссе к югу от Стокгольма, от волнения его знобит, несмотря на августовскую жару. Наконец-то он вырвался на свободу.

Сначала Рихард сделал несколько неудачных попыток остановить попутную машину. Стемнело. Уже много миль[1] отделяло его теперь от дома. Наконец Рихард успокоился и перестал дрожать. Легковых машин было мало, поэтому ему пришлось проехаться вместе с теленком в кузове грузовика. Заднее окошко водительской кабины было приоткрыто, и Рихард слышал, как крестьянин поет за баранкой. Рихарду удалось незаметно убежать из дому, потому что взрослые уехали, но наступил вечер, и его в любую минуту могли хватиться. Хлынул дождь и промочил мальчика до нитки. Выглядел он, наверное, смешно, но в душе был очень горд.

Дождь хлестал, бесновался ветер, однако ближе к вечеру непогода стихла и потемнело. С виду крестьянин был добрым, он напевал себе под нос псалмы, но к незнакомому мальчику отнесся настороженно и, несмотря на дождь, оставил Рихарда в кузове, хотя в кабине было место.

В ту первую ночь Рихарду не верилось, что он на свободе. Он шел мимо полей, где стояли спелые, благоухающие хлеба, мимо озер, приветливо поблескивающих в темноте. Он переночевал в сарае, где сена было навалено под самую крышу. Через проем в настиле Рихард чуть было не свалился вниз. В сарае жили летучие

© Arvid Rundberg, 1979.

[1] Шведская миля — 10 км. *(Прим. перев.)*

АРВИД РУНДБЕРГ — ARVID RUNDBERG (род. в 1932 г.)

Шведский писатель, музыкант, общественный деятель. В юности работал юнгой, матросом. Много путешествовал, подолгу жил в странах разных континентов. Вернувшись в Швецию, занимался журналистикой. В 1962 г. вышел его первый роман «Последние» («De sista», 1962). Рундберг опубликовал более пятнадцати книг, в том числе романы «Человек в середине» («Mannen i mitten», 1965), «Луна» («Luna», 1966), «Акулья могила» («Hajgraven», 1967), «Женщины из Валеросы» («Kvinnorna i Valerosa», 1968), «Личное дело» («Personakt», 1972), «Детская соната» («Barnsonaten», 1973) и др. Им написано также несколько пьес для телевидения и радио. В «Иностранной литературе» напечатаны отрывки из его книги «Мемуары шведского рабочего» (1974, № 11).

Роман Арвида Рундберга «Путешествие в Новый Орлеан» публикуется в журнальном варианте («Resa till New Orleans». Stockholm, Arbetarkultur, 1979). Роман носит во многом автобиографический характер.

мыши, и при свете луны их бесшумные тени напоминали удивительных сказочных существ.

«Рихард, дорогой мой, ради бога, никаких мелодрам»,— вспомнились ему слова тети Марии.

Он зарылся поглубже в сено и задремал. Где-то далеко-далеко с протяжным, жалобным воем пронесся поезд.

На рассвете стало зябко и сыро. Через проем Рихард увидел, что пол в сарае зацементирован. Хорош бы он был, свались туда и сломай себе ноги. Тогда бы конец путешествию. Во всем, оказывается, нужна осторожность.

Рихард вышел на утренний холод. Стояла такая тишина, что было слышно, как с деревьев стекают капли. Но вскоре выглянуло солнце и расцветило все вокруг. Краски стали яркими, линии — отчетливыми. И Рихард согрелся.

Крестьяне благодушно отвечали на его приветствия, но в их ответах слышался и вопрос: интересно, в чьем это сарае ты ночевал? И подозрительность: да ты не из наших!

Вскоре Рихард понял, что он чересчур обращает на себя внимание своим поведением и разговором. В одной деревушке он справился о дороге у человека в промасленном комбинезоне. Тот насторожился, хотя Рихард спросил дорогу не в Новый Орлеан, а всего-навсего в Гётеборг. Ошибка была в том, что Рихард по привычке назвал незнакомца «господином». От обиходного «ты» человек в комбинезоне перешел на холодное «вы», а потом еще долго стоял и смотрел Рихарду вслед.

Тетя Мария когда-то была балериной. Многие годы она жила в их семье. Именно она рассказала Рихарду о его бабушке, родившейся в американском городе Новом Орлеане вскоре после окончания войны между Севером и Югом. И об отце бабушки. Морской офицер из Пруссии, он добровольцем пошел на эту войну, чтобы бороться против рабства. Из взрослых тетя Мария была в доме единственным другом Рихарда. В то лето она поняла, что он готов бежать из дома куда глаза глядят. Своим «благородным» голоском (голосов у нее было множество) она сказала:

— Дорогой мой, ради бога, никаких мелодрам.

Она привязалась к Рихарду, когда он был еще совсем маленьким, но по-настоящему она любила «саму жизнь». Рихард ревновал ее к тому неосязаемому, что именовалось «жизнью» — ее жизнью, и ничьей другой.

— Что, собираемся в турне? — спросила она Рихарда, увидев разостланную на кухонном столе карту шоссейных дорог. Она давно обо всем догадалась, но ограничивалась намеками, как бы давала понять, что вмешиваться не собирается, но и слышать о его побеге не желает.

Однажды вечером они остались дома одни, Рихард сидел за роялем и играл. Тета Мария подошла, прихрамывая, и встала рядом. Роясь в нотах, она произнесла своим задушевным голосом:

— Мне было и вовсе четырнадцать, когда я ушла из дома. Захотелось стать артисткой.

Теперь Рихард совершал путешествие по Швеции: от Стокгольма до Гётеборга.

В школе начались занятия, а Рихард наслаждался свободой. Он шел по дорогам, проложенным еще в древности, и останавливал попутные машины.

В Гётеборге Рихард бродил по улицам, весь — ожидание. Через неделю ему исполнится пятнадцать и он сможет наняться на судно. Удостоверением личности и фотографией для мореходной книжки, медицинским свидетельством и справкой о прививках он обзавелся еще в летние каникулы в Стокгольме, когда легче всего было соблюсти конспирацию. С помощью товарищей и отцовской пишущей ма-

шинки он подделал и «заверил» свидетельство о согласии опекуна. Рихарду казалось, что сейчас люди на него смотрят так, будто они о чем-то догадываются. Он зарегистрировался на морской бирже труда, сходил в баню, и с него стекла недельная грязь. Теперь прохожие больше не косились на Рихарда. Он перестал походить на бродягу-мечтателя.

Остановился Рихард в ночлежном доме на Школьной улице и платил за койку крону пятьдесят эре. В десять вечера ворота запирали, нетрезвых не впускали.

Дни Рихард проводил в порту, изучал суда и пытался завязать разговор с моряками, прислушивался к их беседам. Он начитался приключенческой литературы и теперь пребывал в состоянии взволнованной приподнятости, видя в каждом чудаковатом штурмане чуть ли не лейтенанта Кристиана, а в каждом изумленном юнге — Билли Бада. Однако Рихард не забывал несколько раз в день наведываться на биржу труда для моряков, чтобы поглазеть, как набирают команды. В просторном, гулком помещении за грубо сколоченными столами моряки играли в шахматы или карты. Биржевик, оглашавший заявки, был человеком вспыльчивым, нервным и злился, когда не находилось желающих на то или иное судно. Его злость могла испугать кого угодно, только не моряков. Их не так-то легко было заставить взяться за работу, которая им не подходила.

Предложения сердитого биржевика завораживали Рихарда. Названия кораблей и экзотических портов звучали для него чарующей музыкой. Между тем толпа моряков, колыхаясь, как волны, то выжидающе гудела, то разочарованно замолкала. Время от времени из толпы выбирался счастливчик — он получил контракт, который переносил его в океаны и тропики, в прекрасную и полную неожиданностей жизнь. Слова «отплытие из Сингапура» или «из Лондона» или «место назначения — Гавана» звучали как обещание об исполнении мечты. Но заветной мечте Рихарда пришлось отступить перед бюрократическими рогатками. Он узнал, что нужно еще целый год дожидаться разрешения работать на океанских судах, а до тех пор ему придется довольствоваться Балтийским или Северным морем.

И вот наступил великий день. Рихард, ничего не видя и не слыша от волнения, с трепетом протянул свои бумаги человеку за стойкой, где оформлялись документы. Тот улыбнулся.

— Поздравляю! Что, не терпится в море?

Рихард нанялся на моторный парусник «Винтерфьорд», зафрахтованный для доставки рыбы в Польшу. Домой им предстояло вернуться с углем.

2

Владельцами «Винтерфьорда» были два брата с льняными волосами, бесцветными глазами и лошадиными лицами. Вместе с Рихардом на судно нанялся рыжий паренек лет двадцати, матрос второго класса. Братья занимали в кормовой части судна шкиперскую и штурманскую каюты. На носу был кубрик на пятерых; четыре койки были застелены, однако компанию Рихарду составил лишь рыжий матрос.

Они вышли в море к вечеру с неукомплектованной командой, зато трюмы были заполнены свежей рыбой и льдом.

В то время Рихарда обуревало желание прославиться. Он фанатически верил в свое предназначение: ему нужно повидать мир, а потом из него непременно выйдет знаменитый писатель. Рихард сидел в кубрике и читал, когда вниз спустился шкипер, который сгреб со скамейки груду хлама, бросил его на пятую незастеленную койку и стал рассказывать, чего ждут на судне от нового юнги за харчи и жалованье. Перечень разнообразных обязанностей оказался длин-

ным. Он совершенно не соответствовал мизерной зарплате. Наконец шкипер умолк и взглянул на книгу в руках у юнги.

— Ты что, начинаешь моряцкую жизнь с романов о бунтовщиках? — удивленно спросил он и взял книгу. Шкипер неодобрительно полистал ее, пристально взглянул на Рихарда и стал объяснять ему, что книги греховны.— Их давно следует запретить,— с уверенностью невежды заключил шкипер.— Для писак этих ничего святого нет.

Нахмурив брови, шкипер огляделся по сторонам, заметил целую стопку книг на общем столе, посмотрел на руки юнги.

— Иди за мной,— сурово сказал он.

Они прошли в маленькое машинное отделение, где с переборок стекало машинное масло, а воздух был синим от чада. Двигатель давал скорость до семи узлов. Дважды за вахту Рихард должен был его смазывать. Владелец судна показал, как это делается, и прокричал еще несколько указаний, но за шумом дизеля их не было слышно.

Рихард поднялся на палубу. Темнело. Ему велели идти спать, но он уселся на крышку трюмного люка и стал дожидаться полуночи, чтобы заступить вахту. «Первая «собачья» [1] вахта — вот это да»,— думал он с гордостью, стараясь не заснуть. Шумело море, земля, черная и бесформенная, лишь угадывалась вдали. Счастливый Рихард не ведал, что больше никогда в жизни не откажется лечь спать перед ночной вахтой, и сидел, наслаждаясь мягкой морской тьмой.

Из того рейса ему больше всего запомнились солнце, ветер и свинцовая усталость. Миновав канал Фальстербу и выйдя в Балтийское море, они взяли курс на Гданьск. Когда поставили паруса, скорость дошла до восьми узлов. Рихард ходил по судну, шатаясь от недосыпания. Ему никак не удавалось поспать больше трех часов подряд. В свободные от вахты часы приходилось помогать на камбузе, делать приборку.

В последнюю ночь Рихарду было приказано идти на нос высматривать мины. На груди у него висел тяжелый бинокль, как у заправского адмирала. Он был очень горд. Раскачивающиеся фонари рыбацких баркасов, зеленые и красные огни встречных барж, мигая, подавали ему таинственные знаки. А он стоял, широко расставив ноги, и принимал парад своего флота, чтобы потом выстроить корабли в боевом порядке. Он позабыл об усталости и раскраснелся от волнения. В ту ночь он жаждал славы на вечные времена, но ни одной мины так и не обнаружил.

А ведь мины существовали, причем не только в тщеславных мечтах Рихарда. Они плавали повсюду, напоминая о войне, и на них подрывались рыбацкие баркасы и грузовые суда.

Польша поразила Рихарда. Во время долгих вахт штурман и шкипер рассказывали про крепкую водку и пышных, смешливых полек, с которыми можно потанцевать в кабачке под баян. И вот «Винтерфьорд», замедлив ход, шел мимо руин Гдыни и Гданьска.

Польша еще не оправилась от пережитой катастрофы. Немцы пронеслись здесь смертоносным ураганом, и в сентябре 1947 года древний Гданьск производил впечатление города, где только что отполыхал пожар.

Взорванные корабли с обгоревшими надстройками, торчавшими из воды, так и остались в гавани. Улицы и площади были уже расчищены, но почти все дома разрушены или сильно повреждены. Было жутко, словно в кошмарном сне, наблюдать повседневную жизнь среди развалин. Рихарду хотелось, чтобы все это увидели его домашние. Но ведь они умели сострадать только издалека, на рас-

[1] «Собачья», то есть ночная вахта — с 00 до 4 ч.

стоянии, да и то лишь в том случае, если чужую беду можно приукрасить или смягчить, сославшись на волю божью.

«Винтерфьорду» указали место в рыбачьей гавани, где началась разгрузка. Рыбу забирали советские армейские машины.

На палубу поднялось несколько человек. Польские офицеры в четырехугольных конфедератках и советские солдаты в телогрейках.

Шоферы, загорелые, крепкие и круглолицые, держались независимо, дымили, как паровозы, лузгали семечки, смеялись и шутили.

Рихард исподтишка наблюдал за ними с палубы. Вот они, красноармейцы, которыми его пугали в детстве, всего в нескольких шагах. А они добродушно подмигивали уставившемуся на них юнге и улыбались темно-синему небу Польши, будто хотели откусить кусочек от золотого солнышка.

В конце дня «Винтерфьорд» пришвартовался в угольном порту. Там его оставили на несколько дней в ожидании груза, который, однако, все не поступал.

«Винтерфьорд» стоял, зажатый между норвежскими и американскими судами, шведскими каботажниками, датскими самоходными баржами и финскими шаландами. Суда ждали уголь, а угля не было и не было. Он шел прежде всего на транспортировку продуктов питания и перевозку солдат. В мире царил угольный голод. А в далеком геологическом будущем, вероятно, образуется новый вид топлива. Миллионы людей из братских могил в восточноевропейских сланцах спрессуются и превратятся в угольные пласты.

— Знаешь, когда-нибудь суда будут приходить в Польшу за углем из людей, которым немцы стреляли в затылок,— сказал Рихард рыжему матросу, когда они сошли вечером на берег. Этот матрос дал Рихарду газету на немецком языке, где говорилось о том, сколько миллионов поляков было убито фашистами. Не слушая Рихарда, матрос с видом бывалого человека повел его в кабачок.

Там сидели и галдели моряки из разных стран мира. Рихарду никогда не доводилось видеть столько пьяных. Шкипер с «Винтерфьорда» подозвал к себе «своих ребят». Водка совершенно преобразила его. Он расчувствовался и заговорил о том, как хорошо все-таки жить на свете. Правда, он лучше ориентируется в параллелях и меридианах морской карты, чем в паутине житейских сложностей, но жизнь, несмотря ни на что, неплохая штука, и он заговорщицки подмигнул своим матросам.

На следующий день, в воскресенье, шкипера, как истого протестанта, мучили угрызения совести. Он обругал Рихарда за остывший кофе, за задерживающуюся погрузку, за то, что новый день принес ему одни разочарования.

Вечером Рихард пошел осматривать город. В руинах жили люди. В разбитых танках играли дети. Целые кварталы были оцеплены и отмечены табличками: «Заминировано», «Неразорвавшийся снаряд», «Осторожно, может обвалиться».

В развалинах Рихарду повстречался паренек, его ровесник, говоривший по-немецки. Он рассказал о войне, голоде, приказах немецкого командования, об отчаянии людей.

Но Рихард просто не мог представить себе эти ужасы. Ему трудно было сразу все осознать. Рихард отреагировал так же, как и другие на его судне. Он попытался заглушить укоры совести тем, что пригласил паренька к себе, набил его карманы едой, сигаретами и подарил ему свои лучшие ботинки.

Наевшись досыта, поляк разговорился. Он вспомнил свою добрую маму, отважную сестренку, чуткого и отзывчивого учителя.

Шкипер нарочно придумал себе какое-то занятие в кубрике и долго слушал паренька, прежде чем прогнать его на берег.

— Послушаешь поляков и сразу видишь, что красные теперь удержу не знают,— раздраженно сказал шкипер.— Знали бы немцы,

какую власть получат в Европе рабочие после войны, век бы ее не затевали.

Рихарду так и не удалось поближе познакомиться с новой для него «опасной» Европой. Только он собрался пойти вечером на берег и встретиться со своим польским другом, как внезапно была дана команда к немедленному отплытию. В обратный рейс они пустились в страшной спешке, напоминающей бегство. Рихард не мог взять в толк, что происходит. Никто ему ничего не объяснил. А на следующее утро Польша осталась далеко позади.

Во время приборки Рихард обнаружил в кубриках изрядные запасы водки. В ответ на его недоуменные вопросы оба брата и рыжий матрос рассмеялись, а шкипер спокойно и обстоятельно разъяснил, сколько можно заработать на каждой бутылке, и добавил:

— Тем, кто прогуливает школу, нечего лезть в чужие дела и задирать нос.

Рихард покраснел как рак и готов был провалиться сквозь землю, вернее, палубу. Но шкипер равнодушно взглянул на него и ушел к себе в каюту.

— Старикан прав,— сказал рыжий матрос,— мы уже три раза ходили к полякам за углем, и все зря. Так что приходится возить вместо угля водку. А тебе, парень, и своих забот хватает, мы ведь знаем, что ты сбежал из дому. Папаша тебя разыскивает. Смотри, спишут тебя с судна и отправят обратно.

Они решили, что Рихард строит из себя праведника, а он просто удивился, когда нашел водку. «Теперь я пропал»,— решил Рихард.

Впрочем, скоро Рихард с облегчением почувствовал, что никому на судне нет до него никакого дела. Ну, подделал документы, сбежал из дому, ничего особенного. Таких, как он, пруд пруди.

— Не огорчайся,— сказал ему шкипер,— у тебя еще все впереди.

А штурман спросил:

— Что, брат, обрыдла тебе школьная зубрежка?

Рихард хотел было оправдаться, но понял, что штурман его не упрекает. Он просто констатировал факт: дети из буржуазных семей, которым осточертела школа, бунтовали против родителей и нередко удирали в море.

Поздно вечером «Винтерфьорд» подошел к шхерам Гётеборга. В сентябрьской непроглядной темноте они незаметно подкрались к какой-то заброшенной пристани, быстренько выгрузили водку, и рейс как ни в чем не бывало продолжался. На рассвете они пришвартовались в рыбачьей гавани и великодушно дали таможенникам найти у себя несколько бутылок водки.

Днем шкипер без лишних слов посадил Рихарда в стокгольмский поезд и сунул ему пятьдесят крон. Таким богатым Рихард никогда еще не был.

3

Стокгольм. Рихард отказался идти в школу с опозданием на месяц, ссылаясь на то, что слишком много пропустил. На самом деле ему было просто стыдно. Он не хотел возвращаться в класс, который знал о его побеге, оказавшемся обычным прогулом, хотя и затянувшимся на несколько недель.

Рихарду показалось, что за время его отсутствия в доме многое переменилось. Просторные комнаты съежились, мебель облезла, а вся семья стала какой-то странной. Взрослые натянуто молчали или с деланным оживлением говорили о пустяках.

По воскресным вечерам точно в назначенное время к ним приходил человек, которого Рихард прозвал Ветеринаром. Считалось, что нет более пунктуального человека, чем Ветеринар, впрочем, остальные называли его Маэстро. Он являлся ровно через час после вечерней службы, за час до воскресного жаркого из телятины!

Маэстро постепенно оправлялся от катастрофы, постигшей его два года назад, когда большевики и американцы уничтожили, по его мнению, всю европейскую культуру. Открывать дверь обычно посылали Рихарда. В первую же встречу Маэстро произнес, стаскивая галоши:

— Ты что, собираешься родителей в гроб загнать, а? — Он не говорил, а шипел, так как не хотел, чтобы его услышали в гостиной.— Надо бы задать тебе хорошую взбучку. Твоя выходка просто возмутительна!

Но в гостиной Маэстро сразу же изменил тон и даже попытался изобразить на лице улыбку:

— Я только что сказал Рихарду, как мы беспокоились за него и как обрадовались его возвращению.

Маэстро опустился в «свое» кресло и вынул сигару.

— Рихард должен сам устраивать свою жизнь,— обрезала его тетя Мария,— он становится самостоятельным.

Тут Маэстро не утерпел, ему уже было не до притворства. Он зажег сигару, зажал своим змеиным глазом монокль и высокомерно поглядел на тетю Марию.

— Каким? Самостоятельным? Раньше это называли просто валять дурака!

Рихард послушно жевал телятину. У него было ощущение, будто он чужой на семейном воскресном обеде. Ведь он пытался убежать от них. Неприятнее всего было молчаливое осуждение матери.

— Ты не должен больше оставлять меня, Рихард,— вдруг жалобно произнесла она с таким страхом, что собравшиеся отложили ножи с вилками и удивленно взглянули на нее.— Рихард должен вернуться в школу,— добавила она, всхлипывая.

Воцарилась напряженная тишина, взрослые многозначительно посмотрели друг на друга, потом на Рихарда.

— Скажем, что мальчик болел,— предложил отец,— если поразмыслить, то так оно и было. — Он немного подумал. — Рихард сейчас переживает кризис, а это может иметь губительные последствия и для его матери.

Он строго посмотрел на сына, потом перевел взгляд на жену и неожиданно вздрогнул, будто увидел за столом кого-то чужого, да еще в непотребном виде.

Рихард молча вышел из гостиной. Он не выносил манеру отца обращаться не к нему, а к окружающим, будто Рихард невменяем.

— Рихард ведет себя просто неприлично,— прошипел Ветеринар.— Если бы вы выкинули его пластинки с негритянским джазом и книжонки, которыми он зачитывается, то, уверяю вас, он бы перестал выделывать свои номера.

— Но, дорогой мой,— сказала тетя Мария громко, чтобы Рихард услышал ее из своей комнаты,— прошло время, когда книги сжигались на кострах.

— К сожалению,— холодно ответил Ветеринар.— Зато теперь страшно нос высунуть на улицу. И не стоит защищать этого оболтуса. Между прочим, домой он вернулся совершенным оборванцем, а свои ботинки отдал какому-то вшивому поляку. Пришел грязный, провонявший американскими сигаретами, да еще в резиновых сапогах. Кстати, ходить в резиновых сапогах вредно для ног...

— Успокойся, дорогой,— попыталась утихомирить его тетя Мария,— ты весь покраснел от волнения.

— Это твой любимчик становится красным. Еще не знаю, что хуже.— Ветеринар раскричался так, что изо рта у него брызнула слюна.

Рихард назло ему запустил у себя в комнате патефон в полную силу, и грохот джаза заглушил Ветеринара.

Позже, уже вечером, Ветеринар разглагольствовал о Гитлере и Риббентропе. Эти два да кое-кто еще испортили все дело. Их даже настоящими национал-социалистами нельзя назвать. Просто бандиты. Ведь истинные национал-социалисты — люди вполне приличные и к массовым убийствам никакого отношения не имеют. Теперь же их, патриотов и идеалистов, преследуют по всей Европе, включая нашу Швецию, за преступления, в которых честные национал-социалисты неповинны, хотя эти преступления и совершались якобы от их имени. Ужасные времена.

Однако совместная борьба против коммунизма сплотит западные страны и заставит их прекратить несправедливые гонения, заключил он.

Наконец Ветеринар убрался восвояси, а тетя Мария зашла в комнату Рихарда.

— Я никого не хотел пугать своим уходом из дому,— попытался объяснить ей Рихард,— но мама, она...

— Твоя мама за тебя не боится,— прервала его тетя Мария,— дело не в этом. Просто у нее нет времени возиться с тобой. То ты упрямишься, то вообще ничего не хочешь.

Рихард вопросительно посмотрел на тетю Марию, но она не захотела продолжать этот разговор.

У отца для Рихарда тоже не находилось времени. Отец сочинял оперу о Густаве Адольфе Великом. Он был «эгоцентриком без злого умысла», как выражалась тетя Мария, и боялся любых перемен в доме. Выходка сына напугала его, в ней чувствовалась социальная подоплека, а этого отец Рихарда страшился больше всего.

Взрослые ни о чем не расспрашивали Рихарда, они считали, что он пережил кризис, остальное было не важно. Их совершенно не интересовало, почему это Рихард внезапно бросился куда глаза глядят и попал в Польшу. Взрослые не хотели слышать ни подробностей его путешествия, ни того, что творится в разоренной Польше.

Реальная жизнь вообще не интересовала взрослых. Они предпочитали отмалчиваться, поэтому тишина в доме обычно нарушалась лишь тогда, когда отец исполнял на рояле новый воинственный хорал собственного сочинения. Порою Ветеринар играл на виолончели, которая звучала в его руках голосом мрачным и исполненным ненависти. А еще у них иногда играл на скрипке Банкир, и при этом казалось, будто он страдает малокровием.

Банкир был давнишним другом Ветеринара и отца. В прошлом директор банка, теперь он постоянно твердил, что ему якобы мстят евреи, хотя он во время войны против большевизма всего лишь честно выполнял свой долг. С 1940 года он занимал важный для шведского экспорта пост в Гамбурге. Банкир подчеркивал, что работал образцово, но внезапно, без всяких на то оснований, его отозвали на родину, поскольку еще до окончания войны шведские и еврейские капиталисты вместе с социал-демократами, всегда державшими нос по ветру, отказались помогать мужественной и истекающей кровью Германии.

Теперь, по его словам, к банкам понемногу возвращался прежний здравый смысл. Банкир вновь достиг известного положения и служил заместителем директора в обменно-ссудном банке, вкладывая всю свою душу в международные операции такой важности, что рассказывать о них не позволяла строжайшая секретность.

Тетя Мария терпеть его не могла, не доверяла ему и заявляла, что ни при каких обстоятельствах не разрешит членам семьи пользоваться его услугами.

— У этого человека,— сказала она как-то,— душонка прохвоста. Бахвалится своим влиянием на международные финансы, а сам трусливо прячется от правосудия.

Вместо того чтобы идти в школу, Рихард часто отправлялся в кафе «Фламман», где играл джаз, или бродил по кварталу газетчиков Клара, который притягивал и манил, как само море. Море... Теперь, когда оно стало для него недоступным, он читал книги о нем, например «Морского волка» Джека Лондона.

— Это самое лучшее произведение о море в мировой литературе,— сказала старушка-библиотекарша из городской библиотеки. Рихард с ужасом обнаружил, что он, видимо, глуп, так как не смог по достоинству оценить эту жемчужину мировой литературы, не понял того, что хотел сказать писатель. Правда, школьным товарищам Рихард расхваливал ее в туманных, многозначительных фразах.

Журналистика была Рихарду гораздо ближе. Он любил перелистывать подшивки газет в холле редакции «Дагенс нюхетер» на Тегельбаккен, с восхищением глядел на репортеров и фотографов, которые выбегали в вестибюль и, на ходу надевая пальто и шляпу, опрометью бросались к ожидавшему их такси. Рихард мысленно следовал за ними в аэропорт, где их ждал специальный самолет с прогревавшимися моторами. Он представлял себе, как самолет с ревом взлетает в воздух. На его борту — журналисты, чьи острые перья способны низвергнуть ложных кумиров.

С улицы можно было увидеть, как за гигантскими окнами ротационные машины печатают газеты десятками, сотнями тысяч и как течет неиссякаемый, пахнущий краской поток новостей и сообщений со всего мира. Под грохот машин Рихард далеко уносился в своих мечтах.

Иногда Рихард брал велосипед и ехал на Северное кладбище, где был похоронен дядя Тристан, величайший мечтатель. Его погубили мечты. Взрослые опасались, что в их роду еще у кого-нибудь проявятся «нервы», но такой необузданной фантазией, как дядя Тристан, не обладал больше никто. После «выходки» Рихарда родственники начали поговаривать, что кризисы бывают разные. У дяди Тристана, например, кризис продолжался всю его жизнь... Они глядели на Рихарда и обрывали себя на полуслове. Рихард понимал все эти намеки. Тетя Мария говорила, что безумцы всегда считают полоумными других. Правда, взрослые тут же спешили заверить, что душевный кризис и «нервное заболевание» — разные вещи.

Рихард тоже побаивался, что его ждет участь дяди Тристана. Нет, он не думал, что может «заразиться» мечтательностью. Его пугало другое: слишком одиноким оставался дядя Тристан в своем страстном почитании Бетховена. Несмотря на странности, дядя Тристан был сильной личностью и научил Рихарда многому.

Рихард разгребал листья на могиле. Он пытался вообразить, как выглядит дядя Тристан сейчас, через два года после смерти, и одновременно гнал от себя эти мысли. Два года он изо дня в день видел фотографии трупов. Груды мертвецов в разрытых братских могилах. Тысячи, миллионы мертвецов. Газеты, книги и кинохроника были полны ими, однако взрослые дома делали вид, что не замечают их, или поспешно перелистывали «неприятные» страницы. Взрослые... Летом сорок пятого года было торжественно зачитано завещание дяди Тристана, который скопил деньги на похороны и надгробный памятник. Но слезных обещаний исполнить последнюю волю покойного родственники так и не сдержали, хотя прошло немало времени. Могила осталась холмиком, в который был воткнут колышек с номером.

От октябрьских дождей могильный холм размяк. Рихард прикрыл его еловыми ветками. Наступила настоящая осень, листва почернела. Только сейчас Рихард осознал, что лето кончилось. В конце концов он сдался и вернулся в школу.

4

Школа тоже переживала кризис. Немецкий перестал быть первым иностранным языком. Теперь в школе говорили на английском, и это было прекрасно. Для некоторых учителей английский был непривычен, до недавнего времени он считался языком врага. Родители Рихарда принесли в школу оправдательную справку от домашнего врача.

Они не хотели, чтобы Рихард и тетя Мария знали о справке. Но тетя Мария обо всем догадалась. Тогда ей показали справку, взяв обещание ни в коем случае не говорить о ней Рихарду. Однажды вечером, когда тетя Мария и Рихард опять остались вдвоем, она все рассказала ему. Она была крайне разгневана, что испугало Рихарда.

— Этот недоумок-врач объявляет тебя идиотом, чтобы ты мог ходить в их идиотскую школу. Я запретила им соглашаться на такую справку. Не нужны здесь никакие объяснения! Во всяком случае, написанные нацистами!

Домашний врач, доктор Борг, слыл ярым националистом. Вместе с братом-офицером, он считался одним из самых активных деятелей «шведского тыла» во время советско-финляндской войны. Брат доктора Борга зашел в своем фанатизме так далеко, что решил взорвать коммунистическую газету «Норшенсфламман». Однако попытка оказалась неудачной. Молодого офицера и нескольких других «патриотов» схватили. За свой «грандиозный замысел» он попал в тюрьму. Участь брата способствовала притоку новых пациентов к доктору Боргу. Выбор семьею домашнего врача стал в некотором роде декларацией умонастроений.

Однажды Рихарда вызвали к директору. Перед ним лежала справка, и поскольку директор также принадлежал к числу пациентов Борга, то он был вполне удовлетворен объяснениями.

— Доктор Борг — достойнейший человек, он столько лет следит за твоим здоровьем,— сказал директор, тем самым официально прощая Рихарду рекордное количество прогулов.

Рихард молчал, ему не хотелось говорить, что последний раз доктор Борг осматривал его в сорок третьем году, когда Рихард болел краснухой. Теперь директор уже не был грозой школы, но в войну все боялись его тяжелой руки. Направо и налево, за дело и без всякой причины он раздавал оплеухи. Сейчас орудия наказания, бессильные, лежали на письменном столе. Их парализовал дух нового времени.

У школьных товарищей, чьи родители доброжелательно относились к англосаксам, Рихард брал старые номера журнала «Лайф» и просматривал их вместе с тетей Марией. В кино они тоже ходили вместе (обманывая контролеров, она уже много лет проводила Рихарда на «взрослые» фильмы) и смотрели британскую, французскую и американскую кинохронику, где показывались фашистские концлагеря.

На уроках немецкого Рихард нарочно говорил отрывисто, словно на плацу перед казармой, а когда его мягко останавливали — ах, как понимали его состояние учителя,— он возражал, что в 1943 году еще на первом уроке им сказали: немецкий язык — это язык солдат, и говорить на нем следует именно так, как говорят солдаты.

Отношение учителей и директора к Рихарду оставалось холодным и выжидательным, но теперь существовала справка доктора Борга. И они с облегчением ухватились за нее. На больного можно не обращать внимания.

Рихард пришел к выводу, что ходит в школу вовсе не для себя самого. Школа скорее отвечала интересам взрослых, чем ребят.

Учителей полной средней школы боялись больше, чем учителей младших классов. Но с 1939 по 1943 год на памяти Рихарда учитель только один раз избил ученика младшего класса. Зато после 1943-го таких случаев было много. Учителя щедро оделяли ребят оплеухами, травили толстяков, иностранцев... Они злоупотребляли своей властью, были жестоки и издевались над детьми, хотя считали свои оскорбления лишь тонкой иронией. Они проявили себя самыми невежественными и реакционными наставниками из всех, кто когда-либо учил детей из буржуазных семей.

Правда, школа попыталась приноровиться к новым временам, английский язык сменил немецкий, прекратились побои, появились школьные завтраки, и жизнь стала более сносной по обе стороны учительской кафедры. Но все же уроки казались Рихарду по-прежнему нелепыми до полного абсурда.

После его «выходки» опасения родителей за будущее сына стали близкими к истерии. Теперь они задумали сделать Рихарда учителем музыки. Это дало бы ему некоторую свободу и соответствовало бы его богемной натуре. Между тем уроки «пения и музыки» Рихард отчаянно ненавидел. Хотя учитель музыки и носил берет, как подобает артисту, он был остолопом из остолопов. Еще хуже обстояло с «родным языком и историей литературы». Предметы, которые действительно интересовали Рихарда, в школе не преподавались. Современная музыка, современная литература — этих слов боялись как огня и в школе и дома. Однако в школе еретиков было предостаточно. «Выходка» Рихарда, его кризис не служили исключением, множество мальчиков теперь «плевали на свое знамя», как выражался Ветеринар.

Кстати, Ветеринар действительно служил когда-то батальонным ветеринаром в артиллерии на конной тяге, но давно уже вышел в отставку. Когда началась война, отставной майор будто воскрес для новой жизни. Он бы так и расхаживал с важным видом по казарменному двору, если бы не катастрофа 1945 года, положившая конец всему тому, что он считал разумным и правильным. Теперь по ночам Ветеринар, он же Маэстро, сочинял музыку, а чем занять себя днем, совершенно не знал.

В годы «холодной войны» шведская буржуазия запоздало и несмело сводила счеты с немецким фашизмом (может быть, именно из-за этого сведения счетов «холодная война» и насаждалась в Швеции так яростно?). Тогда стали известны многие преступления нацистов против человечества. У большинства людей надрывалось сердце, а Маэстро оставался равнодушным и пренебрежительно фыркал.

— Пора прекратить гонения на честных национал-социалистов,— говорил он,— жертв и без того хватает!

Одновременно Маэстро не упускал случая подчеркнуть, что не поддался соблазну и не вступил в партию, так как ненавидит убийства и преступления.

— Надо отличать старых нацистов от выскочек, разинувших рот на чужой каравай и испортивших все дело. Грубые ребята и совершенно необразованные,— повторял он.

— Кое-кто с удовольствием предоставил бы свое образование к их услугам, чтобы восполнить этот пробел,— язвила тетя Мария.

У Ветеринара с давних пор сохранились знакомства среди военных, и однажды он рассказал, как Швеция укрепляет свою обороноспособность. «Словно люди совсем забыли, что произошло»,— не преминула вставить тетя Мария. Но Маэстро продолжал разговор как ни в чем не бывало. Он прочел целую лекцию о развитии вооружения и его модернизации. Затем Банкир заговорил о значении крупных предприятий для военной промышленности. Он разглаголь-

ствовал о том, как выгоднее поместить капитал и каков курс ценных бумаг на бирже, а также о возрастающей роли автомобилестроения.

— Кстати,— заметил Банкир,— несмотря на наши договоры с русскими, социал-демократическое правительство чует опасность с востока.

Ветеринар, забыв, что он не в казарме, громогласно перебил Банкира и твердо заявил, что нельзя полагаться на социал-демократов, даже если они начнут массовое производство пушек и самолетов.

Уже запоздно Рихард прокрался на кухню, чтобы съесть бутерброд. Возвращаясь в комнату, он услышал назойливое бормотание Ветеринара и вкрадчивый голос Банкира:

— К деньгам следует относиться ответственно и благоразумно.

Деньги, предназначенные для надгробного памятника дяде Тристану, было решено поместить в надежные акции какой-нибудь промышленной фирмы. В конце концов взрослые решили, что неразумно и безответственно исполнять сумасбродные прихоти дяди Тристана. Он, видите ли, захотел покоиться под бюстом Бетховена. Какая чушь! Мало ли что сказано в завещании. Ведь дать такой заказ скульптору — все равно что вместе с мертвецом закопать несколько тысяч крон. А деньги можно приумножить. На то они и существуют! Взрослые сошлись на том, что почтут память дядюшки Тристана покупкой акций.

Рихард был возмущен, он заплакал от негодования, но пришла тетя Мария и утешила его, сказав, что дядюшка Тристан уже недоступен для подлости своих родственников. Они могут присвоить себе деньги покойного, но память о нем им осквернить не удастся.

После уроков Рихард и его товарищи бродили по улицам, заглядывали в кондитерские, заходили в кинотеатры, часами торчали в музыкальных магазинах, прослушивали там множество пластинок, но ни одной не покупали.

Рихарда тянуло в компании старшеклассников. В таких компаниях ребята делали нерешительные, робкие попытки найти себя и разобраться в том, что происходило в мире. Чаще всего спорили о литературе, но никогда не говорили о политике.

Ребят объединяла музыка, и Рихарда они приняли к себе именно благодаря музыке. Он знал наизусть и исполнял несколько инвенций Баха. Это служило ему своего рода «входным билетом». Любители музыки собирались обычно у одной девочки, отца которой в школе называли шепотом «красным». Работал он в книжном издательстве.

Компания состояла из шести-семи юношей. Они курили и время от времени баловались бутылочкой вина, их родители отдавали им свои карточки на спиртное. Ребята вообще говорили, будто делают все, что запрещается детям до шестнадцати, и свысока смотрели на Рихарда, так как он был младше их. Но когда Рихард играл, ему прощали его возраст. Прощали благодаря Баху, что не мешало им, однако, критиковать Рихарда, например, за наивное восхищение радиопередачами. Такая скучища, такая реакционность!

Они знали о «кризисе» Рихарда, но одобряли его побег как протест против здешнего идиотизма.

Иногда отец девочки принимал участие в их спорах.

— Вы мечтаете заняться литературой,— сказал он однажды.— Только время сейчас для романов неподходящее. Люди не читают книг, а ходят в кино. Капиталисты по своей натуре консервативны. Они враждебно относятся к интеллигенции и прогрессу. А среднее сословие слишком трусливо, чтобы защитить культуру. Остается рабочий класс. Вы можете ему что-нибудь сказать? Нет, проще купить книгу, чем написать ее. Да и дешевле.

Что касается Рихарда, то его эти слова не могли переубедить. «Разумеется, необходимо писать правду,— думал Рихард,— я уеду

отсюда. Отправлюсь в кругосветное путешествие, а потом напишу о настоящей жизни, о которой никто не знает в нашей дурацкой Швеции, где даже мошенники смирны и забавны». Рихард был уверен в своем таланте, а знакомство хотя бы с гётеборгской ночлежкой показало ему, что в Швеции есть иная, суровая действительность, известная бродягам и чудакам. Правда, Рихарду постоянно внушали, что каждый может стать независимым и состоятельным. Нужно только трудиться и при небольшом везении можно, допустим, обзавестись собственным автомобилем. Рабочей силы не хватало, экономика развивалась стремительными темпами, перед страною открывались широкие перспективы. Они жили в атомном веке. Техника сделает возможным невозможное, самолеты уже летают без пропеллеров!

Эти оптимистические прогнозы тетя Мария иронически окрестила «лучезарным будущим». К сожалению, взрослые никогда не вспоминали о том, что новая эра началась с Хиросимы и Нагасаки.

5

Зимой 1948 года по воскресеньям в «салоне» опять стали собираться его завсегдатаи.

В ту пору Рихард читал все, что мог достать о войне, концлагерях, чудовищных преступлениях фашистов. Взрослые же защищали военных преступников, защищали даже тем, что отрицали свою защиту.

По ночам Рихарда мучили кошмары. Особенно его потрясла фотография женщины с ребенком, снятая за секунду до того, как они были убиты.

Женщина стояла на краю рва и прижимала к себе ребенка. Сзади немецкий солдат целился ей в затылок. Он целился тщательно, склонив набок голову, палец лежал на спусковом крючке.

Во рву виднелись груды трупов. Это было где-то в лесу, в прибалтийском ельнике, где совершались массовые убийства. Женщине с ребенком оставалось жить одно мгновение, ровно столько, сколько длится щелчок фотокамеры. И женщина это знала. Изображение было нечетким, кто-то фотографировал тайком, несмотря на строгий запрет. Но Рихарду казалось, что он видит, как в ожидании выстрела женщина пытается успокоить ребенка.

Эти картины вставали у Рихарда перед глазами, когда он сидел в гостиной и слушал беседы взрослых. Поблескивал монокль Ветеринара. Банкир стискивал пальцы, отец подсаживался к роялю и разражался бурной импровизацией, которая захватывала его настолько, что он устремлял взгляд куда-то в эфир и восторженно улыбался.

Эти образованные, набожные и считающие себя гуманными люди каждый раз твердили одно и то же. Они сожалели, что поставили не на ту карту, и ставка была немалой. Все пошло прахом в сорок пятом. Поэтому теперь они обманывали себя и друг друга, пытались уверить, будто их надежды не были слишком велики, впрочем, они вели себя, пожалуй, довольно рискованно.

Рихард думал: «Мне необходимо уйти отсюда».

— Я слышал, ты хлебнул морской жизни,— сказал Банкир Рихарду, с трудом скрывая раздражение. — Все моряки — красная сволочь, я долго жил в Гамбурге и знаю это.

Банкир пытался говорить спокойно, но глаза у него зло округлились, а пальцы, которые казались Рихарду сальными от бесконечного пересчета денег, дрожали, когда он взял смычок. Рихард заметил это. Ему вспомнился один довоенный эпизод.

Это случилось в конце августа тридцать девятого, в день рождения Рихарда. Банкир отчитал родителей за то, что они одели семилетнего мальчика в матросский костюмчик. Рихард помнил, как обрадовался такой поддержке. Сами слова «матросский костюмчик» он

ненавидел едва ли не больше, чем тех ребят из рабочих семей, которые дразнили его в школе из-за этого костюма. Но радость быстро сменилась недоумением.

Банкир заявил:

— Одесса, Петроград, Киль — повсюду матросы бунтовали и поднимали мятежи. Они хотят покончить с буржуазией и частной собственностью, а мы одеваем наших очаровательных малышей в матроски!

Он натужно захохотал. Рихард ничего не понял, но на всякий случай закатил истерику, и мать оставила его в покое. Ей просто нравилось наряжать своего ребенка.

«Одесса, Петроград, Киль». Банкир произносил эти слова с ужасом. Рихард, не сведущий в революционной географии, думал, что само море делает матросов такими опасными, жестокими и что именно поэтому взрослые с неодобрением относятся к портовым городам, кораблям и морю.

Банкир приходил к ним домой со своей скрипкой еще в ту пору. Незадолго до войны Банкир стал любимчиком Ветеринара из-за типично германского продолговатого черепа. Для Ветеринара это обстоятельство играло тогда немаловажную роль.

— Расскажи нам что-нибудь об океане,— просил теперь человек с продолговатым черепом, заигрывая с Рихардом.

— Моряки называют его морем,— отрезал Рихард и вышел из гостиной не попрощавшись.

— Оболтус, к тому же не по возрасту самостоятельный! — сердито сказал Маэстро. Банкир осмелился поддакнуть.

Иногда Рихард тайком подслушивал разговоры взрослых. Один раз они говорили о какой-то Ханне, и отец неожиданно начал плакать, горько, со всхлипами.

— Ради бога, перестань! — взволнованно крикнула мать.— Мне показалось, что в буфетной кто-то есть.

Рихард испугался и убежал в свою комнату.

Весной в их класс пришел Густав. Ему исполнилось шестнадцать, и он был горячо и навсегда влюблен в джаз. Приехал он из Финляндии. Отец Густава, финский швед, служил офицером в личной охране Маннергейма, а в 1944 году бежал в Швецию. Густав не любил немцев: в войну они натравливали исконных финнов на выходцев из Швеции, на все шведское, чтобы завоевать у финнов популярность. Густав не хотел возвращаться домой. Финляндия вспоминалась ему большой казармой. Сейчас же Густав прямо-таки бредил стокгольмскими джазами. Густав рассказал о своем отце: молчаливый, всегда настороженный, первое время в Гётеборге он постоянно носил пистолет в заднем кармане, готовый ко всему... На рукоятке пистолета были две насечки, отец сам нанес их штыком. Теперь отец спрятал оружие и занялся работой в архиве шведской армии. Несмотря на жилищный кризис, о котором все кругом только и говорили, семья Густава получила квартиру в районе Эстермальма [1]. Иногда Рихарда приглашали туда после школы. Это был типичный дом военного, больше того, он походил на армейский музей.

Мать Густава, видная, статная женщина, уже начала надеяться, что вернутся прежние времена и жизнь опять станет сплошным офицерским балом. Семья Густава, так же как и семья Рихарда, мечтая о будущем, оглядывалась назад.

Густав всерьез увлекался джазом. Один шотландский офицер при штабе Маннергейма в 1939—1940 годах научил его разговорному английскому (офицер квартировался в доме Густава). Поэтому Густав

[1] Аристократический район Стокгольма.

был сильнее всех из класса в английском, быстрее других разбирал тексты блюзов, Хемингуэя он читал в оригинале.

Однажды Густав попросил Рихарда назвать ребят из класса, интересующихся джазом, и потом пригласил пятерых к себе послушать пластинки, когда родителей не будет дома.

На вечер знатоков джаза каждый из приглашенных взял свои любимые пластинки. Но патефон у Густава испортился, вечеринку в складчину пришлось отложить, и товарищи собрались уходить. Чтобы спасти положение, Густав решил поведать ребятам семейный секрет. Он снял с полки книги, служившие прикрытием, и вытащил из тайника автомат, разобранный и завернутый в замшу. Густав привычно собрал автомат и сделал вид, будто заряжает его и стреляет. Потом вынул коробку из-под обуви, где лежал отцовский пистолет с насечками на рукоятке. Густав обращался с оружием весьма ловко, показывая его ребятам. Все моментально включились в игру, принялись, будто гангстеры, подкрадываться друг к другу, прятались за мебель и палили что было мочи. Пистолет переходил из рук в руки, но автомата Густав никому не давал. Вдруг прозвучал выстрел, в комнате полыхнул огонь, кто-то закричал. Замерев от страха, один из мальчиков стоял с пистолетом в руке, не в силах оторвать от него глаз. Потом он жалобно вскрикнул и отбросил пистолет в сторону.

Только тогда ребята увидели, что Густав скорчился на полу.

Рихард смутно помнил, что произошло потом. В голове росла пустота и бесконечно повторялась одна-единственная мысль: «Мы убили его».

Он помнил машину «скорой помощи», приехавшую за Густавом — нет, его товарищ не умер. Затем пустота начала заполняться: это полицейские задавали вопросы и записывали ответы. Мальчиков трясло от ужаса, не помогал даже горячий шоколад, которым их отпаивали взрослые.

Следующие дни показались Рихарду зияющим провалом. Он заперся в своей комнате и через дверь выслушивал новые известия. Ветеринар сообщил, что Густав чувствует себя лучше, пуля попала в живот, но прошла навылет. Время от времени дверь открывалась, входили отец или мать. Они молча глядели на Рихарда, потом с многозначительным видом закрывали ее за собой.

— Скоро этот кошмар кончится, и все будет по-старому,— утешали себя взрослые.

— Никто ни в чем не виноват,— решительно сказала тетя Мария,— просто несчастный случай.

Но по вечерам Рихард слышал, как взрослые шушукались в гостиной о семье Густава. Во всем повинна она сама. Зачем этому офицеру понадобилось тащить за собой войну, когда он бежал в Швецию от красных? Странно, что они быстро получили квартиру в Стокгольме, да еще сейчас, когда так трудно с жильем!

Через несколько дней состояние Густава резко ухудшилось, его оперировали во второй раз, и дома у Рихарда опять воцарилось молчание. Время едва ползло. Одиночество окружило Рихарда плотной, непроницаемой стеной. В конце концов Ветеринара послали выяснить обстановку. Вернувшись, он со свойственной ему бестактностью сообщил, что у Густава одна кишка «запуталась» и на период лечения ее «отключили». Густаву вживили три трубки, отведенные к трем склянкам. Впрочем, медики теперь знают свое дело, финский оболтус скоро поправится. Рихард хотел спросить, не парализовало ли Густава, но не решился. Ветеринар тоже сделал вид, что ничего об этом не знает. Он протянул свою руку и дотронулся до груди Рихарда, будто хотел повесить ему медаль.

— Никак не могу взять в толк, почему эти финны ненавидят немцев,— он посмотрел на мальчика заговорщицким взглядом.

Мать заплакала. Ветеринар и Банкир принялись успокаивать ее по-своему. Они сказали, что Густав и другие шалопаи получили полезный урок. Это была очередная «выходка» мальчишек, столь же опасная, как и «выходка» Рихарда. Недаром директор школы сказал отцу Рихарда, что для примерных учеников в классе вовсе не было неожиданностью, что несчастье произошло именно с этими пятью неслухами.

— Чтоб ему подохнуть, вашему директору! — закричал Рихард из своей комнаты. В ответ из гостиной донеслись тяжелые вздохи.

— Да, да,— послышалось оттуда.

— Что же будет с нашей молодежью? — с притворной скорбью спросил Банкир.

6

Рихард не мог примириться с мыслью, что Густав на всю жизнь останется инвалидом. Взрослые избегали Рихарда. Исключение составляла только тетя Мария, хотя и была старше всех. Как два бродяги у костра, сидели они с Рихардом перед зажженным камином по вечерам, когда оставались одни, а остальные уходили на лекцию в Боргарскулан, в католический просветительский кружок или в гости в какой-либо добропорядочный дом, настолько добропорядочный, что тете Марии идти туда не хотелось. Между тем она оправдывала взрослых. Те реагировали нормально. Они оберегали честь семьи, поэтому обвиняли во всем людей посторонних, тем более чужаков, приехавших из-за границы. Но более всего виновата просто судьба. Это она привела в Швецию отца Густава с оружием. Сына убил, собственно говоря, сам отец.

Через два месяца после несчастного случая Густава на некоторое время привезли домой. Семью Рихарда пригласили навестить больного. Рихарду было и любопытно и страшно. Отец, как всегда, казался спокойным, но улыбка, застывшая на его лице, была похожа скорее на гримасу. Мать, сохраняя присутствие духа, шагнула к Густаву. Она поздоровалась с больным, а он лежал со своими трубками и склянками, будто распятый мученик.

Густав выглядел плохо. Его отец понимал это, но, боясь молчания, старался изобразить оживление. Вечер был ужасным. Все знали, что происходит на самом деле, но ни у кого не хватало духу посмотреть правде в глаза. Густав не знал о параличе. Он считал, что врачи «отключили» ему ноги только на время операции, а потом органы пищеварения и ноги опять будут «подсоединены». Густав не замечал, как трудно взрослым поддерживать непринужденный разговор, но он, видимо, задавал себе вопрос, из-за чего раскис Рихард. Но постепенно Рихард включился в лицемерную игру, и у него она получалась лучше, чем у взрослых. Он дурачился, шутил и немного поиграл на рояле, чтобы не отвечать на вопросы больного. У всех вдруг поднялось настроение, и у Густава тоже. Он впал в некое подобие транса, поднял простыню, чтобы показать свои трубки и склянки, а потом обстоятельно рассказал об отличных качествах аппарата.

Отец Густава согласно кивал головой. Он верил, что техника спасет его сына. Воин не раз видел смерть. Видел он ее и сейчас. Но рука солдата не дрогнула, когда он зажег сыну сигарету, заговорил с ним по-фински и рассмешил его. Отец Густава был единственным в комнате, кому Рихард симпатизировал в этот момент. Но тут произошло нечто ужасное: склянки наполнились, и улыбки как рукой сняло. Густав лежал среди жутких запахов, белый и изможденный, подобно узнику концлагеря, с огромными, непонимающими и тем не менее все знающими глазами. Присутствующие вдруг увидели, что от мальчика осталась едва ли не половина и что его руки беспрерывно теребят простыню. Заметив реакцию окружающих, Густав выжал

из себя улыбку, но она лишь показала, как ему больно и какими большими и желтыми стали его зубы. Рихард проклинал себя за случившееся и за предательство по отношению к товарищу.

Той весной в сумрачных углах их гостиной затаилась смерть. Взрослые сидели, как бы вглядываясь в жуткое и далекое царство страха. Каждый был погружен в себя, но перед глазами у всех вставали одинаковые видения. Они слышали голос смерти, когда в дымоходе завывал ветер. К ним в гости зачастил пастор Сильвио. Отец и Банкир входили в его «клиентуру», как он, по-мирски демократично, пошучивал. Духовный наставник и исповедник, он, подобно домашнему врачу, имел строго ограниченный круг «клиентов».

Тетя Мария, как и прежде, избегала воскресных сборищ, на которые сходились те, кто считал себя «жертвой рокового стечения обстоятельств». Ей были невыносимы военные преступники, ставшие биржевыми спекулянтами и обкрадывавшие мертвых мечтателей, чтобы прибыльно вложить их деньги в акции военных концернов.

Но пастора ей хотелось послушать — интересно, как он допекает их своими проповедями. Когда патер Сильвио с небесных высот спускался на грешную землю, что происходило примерно раз в месяц, тетя Мария тоже являлась на их вечернюю встречу. Тетя Мария находила, что эти беседы «весьма занятны», и слушала их, улыбаясь и постукивая вязальными спицами. Взрослые часто возвращались к разговору о массовых убийствах во время войны и всегда приходили к выводу, что о чьей-либо вине тут не может быть и речи. Поэтому лучше все забыть, как умеют забывать добрые католики. Ни в теологическом плане, ни в мирском никто ни в чем не виноват. Германии, всей Европе угрожал коммунизм, поэтому пришлось признать Гитлера. Ужасная трагедия, однако в конечном счете виновны сами коммунисты.

Тетя Мария разочаровалась в пасторе. Вместо того чтобы бередить совесть любителей сонат, он предпочитал беседовать о бессмертии души.

— Прежде всего необходимо думать о душе,— сказал патер Сильвио в один из таких вечеров, когда было темно, как в доминиканском монастыре, и горели свечи на рояле,— ибо душа находится в нашей власти. В основном благодаря силе нашего духа.

Он хотел сказать, что сами по себе поступки не так уж важны, главное — иметь чистые помыслы, тогда и с душой все будет в порядке.

— У Гитлера было много великих замыслов. Даже некоторые шведские патриоты видели в Гитлере и национал-социалистах реальную силу, способную противостоять большевизму,— обольстительно улыбаясь, вещал он своей пастве. — Гитлер знал сокровенные чаяния своего народа. Выявил его лучшие стороны. К сожалению, также и худшие. В столь быстром падении нацизма виновны некоторые из его лидеров. Но свою роль играли и внешние обстоятельства, прежде всего то, что Германия оказалась втянутой в большую войну. И все же важна конечная цель,— заключил пастор.— Нашей целью должна быть нравственная чистота.

Рихард же, по мнению взрослых, высоких помыслов не лелеял и вообще чурался людей своего круга. И куда только несло этого мальчишку? Вечно он докучал всем намеками и каверзными вопросами, вечно донимал своими капризами и плохим настроением, приставал с дурацкими разговорами об Освенциме. Зачем морочить голову себе и другим такими вещами, до которых порядочным людям нет никакого дела?

— Оружие — неизбежное зло,— попытался внушить Рихарду пастор. — Иногда случаются несчастья. Если тебя что-то угнетает, поделись со мной. Если ты украл... Ты когда-нибудь крал? Вот как? Ну ладно, если ты что-нибудь украл, то заслужил наказание. Но несчаст-

ный случай не преступление, это нечто непредвиденное и не обусловленное злым умыслом.

Взгляд пастора устремился куда-то вдаль.

— Нам с тобой следует побеседовать.

Все в гостиной, глядя на мальчика, заулыбались так светло, будто врата небесные настежь распахнулись перед заблудшим. Сердце у Рихарда упало, и он потупил глаза. Щеки у него горели, словно он услышал какую-то непристойность. Он сделал усилие, чтобы не ухмыльнуться. Но тут вмешалась тетя Мария:

— Разве оружие делается не для того, чтобы убивать? Разве отнимать у людей жизнь не считается преступлением? Речь идет не о мальчиках. Оружие делают взрослые и для взрослых. Владельцы военных концернов, генералы и правительства — вот кто крадет у нас жизнь.

Взрослые переглянулись, их благочестивые лица омрачились, но губы растянулись в лицемерных улыбках. На Рихарда уставились невидящие взгляды, глупые и злые глаза, а тетя Мария встала и, кипя от гнева, удалилась в библиотеку. Пастор предложил помолиться за исцеление больного мальчика. Кого он имел в виду, Рихарда или Густава, было неясно. Эксперт по здоровым и больным душам сгорбился на своем стуле и погрузился в тихую молитву, остальные верующие последовали его примеру.

Рихарда все сильнее мучило чувство вины. После долгих месяцев страданий и отчаяния Густав умер. В школе воцарилась неестественно приподнятая атмосфера. Учителя делали вид, что мальчики, игравшие тогда у Густава, были непричастны к несчастью (того, кому в руки попал пистолет, уже перевели в другую школу в отдаленном районе города). Вернее, учителя стремились забыть об этом «несчастном случае» и выказывали мальчикам свое расположение. Однако именно это не позволяло забыть о нем.

Рихард научился различать глаза знающие и незнающие. Он старался как можно реже бывать дома. А вне дома его раздражало, когда люди, ничего не подозревая, относились к нему точно так же, как и ко всем другим. От смятения Рихард не находил себе места, ему было невыносимо с теми, кто не знал, что такое смерть. Ему не терпелось поправить, предупредить их. Собственная вина казалась Рихарду чудовищной, перед ней бледнели любые прежние прегрешения. Было просто непостижимо, что жизнь идет своим чередом, будто ничего не произошло.

Однажды в начале мая тетя Мария пошла с Рихардом на прогулку по Юргордену поглядеть на первую зелень.

— Летом убегу на море,— с горечью сказал Рихард. — Все равно здесь я никому не нужен.

— Самоуничижать себя — значит проявлять непомерную гордыню,— возразила тетя Мария.

Заикаясь от волнения, Рихард постарался объяснить, в чем дело. Ведь родители Густава не случайно подружились именно с его родителями, но виноват ли в этом он?

Тетя Мария упрямо твердила, что несчастный случай вполне мог произойти во время поездки на мотоцикле или катания на лодке, потом она вдруг сердито прервала себя:

— Мы защищаем себя как можем...— И взволнованно добавила: — А жизнь детей всегда в опасности, особенно жизнь мальчиков, да еще в твоем возрасте, Рихард. В тот же вечер, когда с вами не было родителей, вы подражали взрослым, а это плохо. Дорогой мой, ради бога, не подражай нам в выяснении того, кто в чем виноват.

Они прошли к Суллидену и выпили кофе. Рихард сидел и незаметно поглядывал на тетю. Весеннее солнце падало на ее волосы. Ее

глаза, глаза семидесятилетнего человека, блестели. Вся она была такой опрятной, милой, и хотя усталое тело старой балерины казалось хрупким и немощным, она обладала очень сильной волей. Взрослым тетя Мария казалась грубой, а Рихард уважал ее неукротимый нрав.

— Ты помнишь, как отец забеспокоился, что ты станешь жертвой «нездоровых влечений»? — спросила тетя Мария. Такое действительно было. Он однажды стукнул мальчугана, полезшего в драку за то, что Рихард хотел поцеловать его старшую сестру. Был и другой случай. Как-то на пасху Рихард поехал в старую пасторскую усадьбу в Упланде, шведской Пруссии. Там он подсматривал за служанками, окунавшимися после бани в ледяную полынью на озере. Женщины пожаловались отцу.

— А ты не забыл, как Ветеринар пытался заставить твоего отца проявить твердость и принять решительные меры, короче, излупить тебя, чтобы ты прекратил озорство?

Да, было и это. Рихард бросил камнем в пасторскую лошадь. Он хотел напомнить пастору, задумавшему вести хозяйство на американский лад, о его прошлом и о том, что он выходец из Германии. В это же время Рихард начал врать. Он врал напропалую и воровал деньги из кошелька матери. Он обманул продавщицу в молочном магазине. Заплатил пятерку, а сдачу получил с десятки. И «заработал» пять крон!

Потом, сталкиваясь с этой продавщицей из молочного магазина, Рихард всегда опускал глаза. Этого человека он обокрал. А пастор говорил, что нет ничего хуже воровства.

Обычно деньги на карманные расходы Рихарду давала тетя Мария. Подразумевалось, что он отдаст ей долг, когда станет знаменитым и богатым. Во время войны Рихард стащил у Ветеринара крону. Родителям он наврал и тут, уверяя, что заработал деньги на кино, выполнив чье-то поручение, которого на самом деле ему, разумеется, никто не давал. Рихард воровал только во время войны. Тогда взрослые крали друг у друга жизни, крали целые страны.

Рихард не собирался исповедоваться в своих грехах пастору, как это делал отец. Бог?.. Рихард не верил в их бога. И это был его самый тяжкий грех, он боялся признаться в нем даже себе.

Они сидели с тетей Марией на холме высоко над Стокгольмом в сиянии майского солнца. Тетя Мария подставила лицо теплым лучам и, закрыв глаза, наслаждалась их лаской.

— Знаешь,— сказала она дрогнувшим от волнения голосом,— я считаю, летом ты должен уехать. Это пойдет тебе на пользу. А осенью, когда за окнами будет выть ветер и по стеклам захлещет дождь, мы усядемся с тобой перед камином, и ты расскажешь, что увидел и пережил на море. Летние каникулы длинные, времени у тебя хватит на все. И не нужно будет скрываться.

Рихард онемел от радости. Когда тетя Мария «высказывалась» о семейных делах, никто не отваживался ей перечить. Матери придется согласиться, если он пообещает вернуться к началу занятий.

7

Как и в минувшем году, Рихард не мог справиться с нетерпением и нанялся на первое попавшееся судно, куда других желающих не нашлось. Это был старый, потрепанный пароход «Рексё», угольщик и рудовоз, приписанный к стокгольмскому порту и построенный еще в двадцать четвертом году. Рихард поднялся на его борт юнгой. Скоро ему исполнится шестнадцать, и тогда перед ним распахнутся все океаны. А пока придется довольствоваться Северным морем.

«Рексё» мок под дождем в угольной гавани. Разгрузка была закончена, и весь пароход, внутри и снаружи, был покрыт угольной

пылью. Она пронизывала воздух, прилипала к ладоням, когда Рихард брался за поручни, скрипела на зубах, под ногами.

Рихард прислушался, потом заглянул в глубь затхлых коридоров. Ни души. Наверху, на палубе, по угольной слякоти были протоптаны дорожки, но людей видно не было. Трюмы зияли пустотой, издавая отвратительный запах сырости. Один трап вел наверх, на полуют. Кубрики команды находились на корме, он знал это по журналу «Рекорд-магасинет». Но теперь перед ним был настоящий корабль, а не приключенческий журнал. На палубе царила тишина, почти не нарушаемая шелестом мелкого, частого дождя.

— А в Аргентине кошки, когда греются на солнышке, поворачиваются на север.

Рихард испуганно обернулся. Возле него стоял мужчина в майке, брюках, подпоясанных веревкой, и полуботинках с обрезанными носами, из которых торчали угольно-черные пальцы. Шея была замотана грязной тряпкой. Голова казалась квадратной, худощавое, сильно обезображенное лицо заросло щетиной. Тощие, покрытые шрамами руки и плечи посинели от холода. Но по улыбке было заметно, что этот человек смотрит на жизнь весело и неробко. Это был кочегар, человек, который впоследствии мягко и ненавязчиво передаст мальчику свой жизненный опыт. Человек, который постепенно станет его старшим другом и наставником.

Кочегар пристальным, критическим взглядом осмотрел Рихарда.

— А судно-то у нас рабочее,— заметил он и, еще раз оглядев одежду и руки новичка, засмеялся, причем из его легких послышался свист и хрип.— Морячков из буржуев не держим,— добавил он.— У нас все до единого состоят в профсоюзе.

Рихард не осмелился спросить, что хочет этим сказать кочегар. «У красных тоже, значит, есть своя организация,— подумал он, — как у всех морских разбойников, и они держатся вместе».

— Стало быть, вам доводилось бывать в Южном полушарии? — небрежно спросил Рихард, надеясь показать, что и он разбирается в географии, знает, каким бывает солнце не только здесь, в Швеции, но и там, за экватором. Однако стоило ему произнести эти слова, как он готов был прикусить себе язык. Лицо его собеседника радостно просияло.

— Вам доводилось бывать? — передразнил кочегар, заливаясь смехом. — Ты к нам прямо со школьной скамьи, да?

Рихард подтвердил: да, и пойдет с ними в плавание на целых два месяца летних каникул. Новый знакомый дружески похлопал его по плечу и повел в кубрик.

— Скажи-ка мне,— спросил его Донкис, получивший свое прозвище по английскому названию вспомогательного котла,— вот ты учился и знаешь, наверное, почему буржуи обращаются друг к дружке во множественном числе, а?

Рихард промолчал.

— А мы здесь говорим друг другу «ты» и вместе завиваем горе веревочкой,— прогрохотал кочегар, подталкивая мальчика в столовую палубной команды.

Комбинированная столовая и кубрик для отдыха палубной команды находились по правую сторону борта, в коричневой от ржавчины надстройке на полуюте. Команда машинного отделения занимала половину левого борта. Сейчас матросы лежали и отдыхали, все как на подбор верзилы, в грязной, промасленной одежде. Одни курили, другие спали, растянувшись на скамейках, а то и прямо на полу, аккуратно подстелив под себя старые газеты. Мальчик, ровесник Рихарда, без лишних слов поставил перед ним тарелку, положил свиную котлету с жареной картошкой и передал хлеб, масло, сыр и молоко.

Рихард ел с большим аппетитом и думал, что начало могло быть и хуже.

— С едой здесь неплохо, а вообще-то посудина так себе,— заметил юный матрос, бросив презрительный взгляд на отдыхающих товарищей. — Настоящих просоленных морских волков у нас нет, одна пьянь. Что ни говори, это тебе не Штаты или тропики.

Проснулся и, зевнув, сел на скамейку матрос второго класса.

— Заткнись, Калле, да двигай на бак, сейчас твоя вахта,— напомнил он добродушно. — Можно подумать, что самые бывалые моряки в мире — это юнги.

Он вздохнул. Потом прищурился и увидел Рихарда:

— А это у нас еще что за птица?

Первое время у Рихарда ныли все мускулы, все тело. Он опять уставал до полного изнеможения. Часами, долгими, как вечность, он снимал лючины с трюмов и задраивал их вновь, ожидая, что вот-вот тяжелые дубовые колоды сломают ему хребет или он не выдержит и под насмешки команды сбежит домой, к гамакам своих летних каникул.

Спина и руки нестерпимо болели, а Рихард, стиснув зубы, окутанный туманом из сажи и сырости, надсаживался из последних сил, возился со скользкими, полусгнившими лючинами. Когда появлялся боцман и говорил: «Перерыв, можно выпить кофе», Рихард плелся в столовую, шатаясь, будто странник, бредущий по пустыне к оазису. Другие матросы неторопливо оставляли рабочие места и, перебрасываясь словами, шли на корму. Спускаясь в кубрик, они ловким движением смахивали с головы кепки, осторожно, чтобы не запачкать пол, стаскивали сапоги, черпали ковшиком воду и степенно пили. Рихард же поглощал воду, можно сказать, всем своим существом. Утолив жажду, они садились за стол с кружками кофе. А затем невозмутимо раскуривали свои трубки или доставали сигареты.

Рихард еще никогда не видел таких дружелюбных и простых людей. Вот, оказывается, где их можно встретить, а уж конечно не в салонах!

Они вышли из гавани поздним вечером. К этому времени боцман уже распределил вахты, Рихарду досталась вахта с двадцати четырех до четырех утра, так что неожиданно у него образовалось свободное время. Он чувствовал себя разбитым, но решил привести себя в порядок. Хотя борьба с грязью велась на «Рексё» без особого успеха, тем не менее девизом судна была чистоплотность. Ложиться после вахты не помывшись почиталось неуважением к профессии. Грязная умывальня клубилась паром от щедрых потоков воды, нагретой Донкисом. Несмотря на усталость, Рихард тщательно вымылся. Кочегары делали это после каждой вахты. Пальцы у Рихарда саднило от брезента, который приходилось укладывать поверх грузовых люков, зато теперь, разогретый и чистый, он больше не испытывал боли во всем теле.

Кубрик был темный и тесный. Иллюминатор находился над самой ватерлинией и почти не пропускал света. Вопреки девизу судна, в укромных уголках шуршали тараканы. У соседа была вахта с шестнадцати до двадцати. Сейчас он стоял за штурвалом. Едва Рихард с трудом забрался к себе на верхнюю койку, как тут же провалился в сон, а небо и море растворили пароход «Рексё».

В Окселёсунде они загрузились железной рудой и сразу заторопились прочь от летнего плеска балтийских волн, назад, на запад, к холодной серой дрожи Северного моря. Третий штурман — он же старший вахты Рихарда и боцман — был уроженец Аландских островов. Он был высоким и мускулистым, а его неправдоподобно маленькая голова торчала между широкими плечами, будто кулак.

— Конечно, кривая между двумя точками красивее прямой,— пошутил он, когда Рихард попытался держать курс.

Старая посудина перекатывалась с боку на бок под испуганное ойканье юнги, а аландец находил, что погодка хороша.

— Но мы пойдем коротким путем,— продолжил он и показал Рихарду на кильватерную струю.

— От зигзагов мы отказались еще в сорок пятом.

Рабочая неделя юнги на «Рексё» составляла семьдесят часов. Калле возмущался, утверждая, что это противоречит договору. Но Рихард мог сравнить рабочее время на «Рексё» лишь со сточасовой неделей на «Винтерфьорде» и полагал, что семьдесят часов не так уж страшно. Теперь у него появилась возможность каждый день читать. Героями большинства книг о море были капитаны. Команда же оказывалась мятежной и недовольной. Не из-за условий работы, разумеется. Просто матросы принадлежали к низшему сословию и уже поэтому были невежественными, грубыми и грязными людьми. Увы, писатели не ведали того, что в грязи виновата скаредность судовладельцев, а матросы куда более чистоплотны, чем чистоплюи из офицерских и пассажирских кают-компаний, описываемых в книгах. Только позднее, когда Рихард уже стал ходить на судах дальнего плавания, он познакомился с морскими романами Юсефа Челыгрена и Б. Травена. В библиотечном ящике на «Рексё» такие книги ему не попадались. Ничего не говорилось в романах ни о профсоюзе, ни об оплате сверхурочных. А реальная жизнь на море была такова, что судовладельцы всячески нарушали договоры. Матросы были вынуждены объединяться в профсоюзы для защиты своих прав. На берегу моряки держались нетвердо на ногах скорее от переутомления, чем от разгульной жизни. Матрос, упавший в трюм и разбившийся насмерть в предыдущем рейсе, был трезвым. А погиб он от перенапряжения из-за сверхурочной работы.

Народ из машинного отделения свысока поглядывал на тех, кто работал на палубе. Сами они, настоящие пролетарии моря, надрывались у котлов и машин глубоко под ватерлинией. Благодаря дружбе с Донкисом Рихард начал смотреть на жизнь глазами человека «с левого борта». В машинное отделение обычно приходили из грохота заводов и копоти мастерских. Среди палубного народа, «правобортников», часто встречались бывшие батраки или заводские разнорабочие. Даже если теперь многие из них считались настоящими моряками и активными членами профсоюза (самую большую группу среди них составляли бывшие строители), все равно они не были такими «красными», как люди с левого борта. Донкис плавал на море двадцать лет, плавал и всю войну.

— Палубники мечтают о своем хозяйстве, о собственном доме,— говорил он, немного преувеличивая,— а кочегары — о революции.

Но, преувеличивая, Донкис говорил правду. Таким приемом пользуется хороший художник-карикатурист.

Рихарду не терпелось узнать о войне на море. В рассказах Донкиса она представала не схватками между подводными лодками и кораблями, а борьбой классов. Рихард прислушивался к нему, хотя и не вполне понимал, что это означает. Донкис нередко приглашал Рихарда к себе в каюту к четырем часам дня, когда кончалась послеобеденная вахта. Кочегару полагалась отдельная каюта, а поскольку он был старожилом на судне, то мог сам распоряжаться своим рабочим временем, лишь бы котлы работали круглые сутки. В каюте он поддерживал идеальную чистоту, на переборке висел портрет Ленина.

— Знаешь, в войну, когда начались большие передряги, многие,— он указал на портрет,— прятали его в письменный стол. Но мы на судах никогда этого портрета не снимали!

Мало-помалу Рихарду удалось войти в коллектив. Тело приноровилось к физическому труду, мировосприятие — к реальной жизни. На море было не так уж страшно. Каждую вторую неделю Рихард дежу-

рил на камбузе (приносил воду, мыл посуду). Между вахтами у него оставалось восемь свободных часов, и плавание на «Рексё» доставляло ему удовольствие, особенно если в порту меняли библиотечный ящик.

Рихард полюбил стоять у штурвала, и постепенно в нем появилась уверенность в себе. Теперь Рихард шел на вахту без всякой робости и даже с нетерпением ждал того момента, когда опять встанет к штурвалу.

Донкис быстрым шагом обходил судно, он следил за лебедками, воротом и особенно тщательно за вспомогательным котлом. Котел давал горячую воду, электричество, пар для обогрева кают и для привода палубных лебедок. Кочегар непрестанно был чем-то занят, и только со стороны могло показаться, что он свободен от работы. Донкис выходил на обдуваемую ветром пустынную палубу так, будто он бросал вызов могущественным судовладельцам, своей подневольной участи, а заодно и всей сухопутной жизни. По его каюте было видно, как много лет проплавал он на судне. Все знали, что в войну Донкиса дважды подрывали торпеды. Впрочем, война коснулась многих шведских матросов, горя хлебнули не одни иностранцы. Раньше Рихард понятия не имел, что сотни шведских судов подорвались на минах, были торпедированы, захвачены фашистами, а более тысячи шведских моряков были убиты.

Все это рассказал ему Донкис, однако Рихард гнал из головы эти тяжелые мысли.

Да, Рихард и раньше слышал, что немецкие подлодки задерживали шведские суда с контрабандой. Ему было известно несколько несчастных случаев, когда взрывали суда нейтральной Швеции. Но если бы их торговый флот впрямь понес такие огромные потери, как утверждал Донкис, это наверняка стало бы известно любому школьнику.

От Донкиса Рихард услышал также о том, что шведская руда шла на выплавку стали для немцев и что немецкие танки с броней из этой стали несли смерть народам Европы. И разве было ошибкой воспрепятствовать этому? Но более двухсот шведских судов серьезно пострадали от немецких подлодок, немецких мин и немецкой авиации.

«Здесь надобно хорошенько подумать, прежде чем возражать»,— решил Рихард. Он не верил кочегару. Что это, коммунистическая пропаганда или подлинная трагедия? Ведь Рихард, споря дома со «взрослыми», старался познакомиться со всем доступным ему материалом о второй мировой войне. Факты же, рассказанные Донкисом, противоречили и англосаксонской историографии, и голливудской военной хронике, и репортажам из «Лайфа». Здесь же, на море, не забыли пристальных перископов фашистских подводных лодок.

Рихард считал, что, говоря о «сотнях судов», Донкис сильно преувеличивал. Только став журналистом, Рихард узнал, что двести сорок шведских торговых судов потерпели в войну аварии, а пиратские действия фашистов привели к гибели около полутора тысяч шведов, причем корабли продолжали тонуть и после войны: на минах подорвались пятнадцать шведских торговых и рыбачьих судов, и девяносто пять человек погибли.

Донкис глядел на чистый от перископов горизонт Северного моря и радовался миру, хотя говорил, что отсутствие подлодок еще не означает отсутствия мин.

Однажды, промеряя отвесом баки с пресной водой, он сказал:

— Тебе повезло, что все обошлось благополучно, когда ты ходил в Польшу.

Рихард сказал, что действительно не видел ни одной мины. Донкис, однако, имел в виду другое: профсоюз моряков предостерегал от рейсов в Польшу. Разве Рихард не слышал этого? Покраснев, Рихард ответил, что ничего об этом не знает.

— Портовые города стали очень опасны,— вздохнул кочегар, опуская лот в воду. Он рассказал о контрабандистах, тайком перево-

зивших людей, о фашистах, которые прятались в руинах портовых городов, чтобы избежать правосудия. Кражи и убийства делали положение моряков здесь настолько тяжелым, что профсоюз призвал соблюдать крайнюю осторожность.

«Пожалуй, я действительно глуп»,— подумал Рихард. Конечно же ему врезались в память развалины и застоявшееся там с войны зловоние, однако он не припоминал, чтобы хоть сколько-нибудь боялся сойти на берег. Зато теперь было ясно, почему «Винтерфьорд» отправился в рейс с неполной командой.

— Ладно,— заключил Донкис,— дела в Польше поправятся, дай только срок. Сейчас мы должны бороться за мир, мальчик! А чтобы жить нормально, надо, например, укомплектовать все суда. Оставайся с нами! На море не сладко, зато не так опасно, как на суше!

— Н-нет, я собираюсь стать иностранным корреспондентом,— промямлил Рихард.

Меченное войной лицо Донкиса просветлело и смягчилось. Он широко улыбнулся беззубым ртом.

— Знаешь,— прохрипел он,— такая профессия, конечно, хорошая вещь, только все равно тебе надо как следует задубить кожу.

Один раз Донкис наткнулся на Рихарда, когда тот пел, отбивая ржавчину на ботдеке. Кочегар полюбопытствовал, что это за песня. Рихард, краснея, ответил.

— Красиво,— похвалил Донкис.— Только года три назад ее пели на Северном море по-немецки, и тогда это был не Бетховен.

Донкис ненавязчиво выспросил Рихарда о его занятиях музыкой. Рихарду нравилось, что Донкис обращался с ним как с ровней, всерьез воспринял полудетские суждения и даже захотел послушать Рихарда еще. В конце концов Рихард, сдвинув на лоб защитные очки, рассказал о своем прадеде, ненавидевшем рабство. Донкис улыбался, дым из трубы клубился над их головами, похожий на исполинский плюмаж, и холодное море серой пустыней простиралось вокруг насколько хватало глаз.

Рихард заметил, что Донкис делил жизнь на две разновидности. Одна жизнь происходит вне дома, это жизнь всей земли. Другая — жизнь домашняя, так сказать, ненастоящая. Больше всех вне дома находится моряк. Поэтому он знает больше других людей, которые занимаются физическим трудом. И уж конечно больше тех, кто не работает. Донкис говорил, что тот, кто не работает, не может считаться действительно свободным. Свобода — это осмысленная работа без эксплуатации. Если человек не трудится, то это либо безработный, то есть жертва эксплуатации, и тогда его можно только пожалеть, либо тунеядец, то есть сам выжимает соки из других. Из таких паразитов и выходят фашисты.

— Старайся держаться подальше от дома,— часто повторял Донкис,— вот тебе мой наказ.

Сам он жил так, как учил. На пронизывающем ветру Северного моря, с посиневшим, словно у покойника, лицом, он упрямо расхаживал по судну в одной легкой безрукавке, хотя все остальные натягивали на себя толстые шерстяные фуфайки. На голове и на лице у него росли рыжие курчавые волосы.

Они плыли в Англию, ну что ж, ладно, пусть будет Англия. Тяжелое, будто груженное камнем суденышко, измученное килевой качкой, пробиралось через Северное море.

Они взяли курс на Мидлсбро. Далеко-далеко в море отсвет мартеновских печей окрашивал небо в пурпурный цвет. Впереди была страна шлаковых отвалов, закопченных фабрик, закопченных домов, закопченных людей. Докеры, к удивлению Рихарда, вовсе не походили на англичан из приключенческих фильмов: низкорослые, сквернословящие мужчины в длинных до пят, изношенных пальто, замызганных кепчонках и рваных ботинках. Они казались озлобленными и во вре-

мя работы перекликались хриплыми голосами. Для озлобления было немало причин. Они жили в кошмарных условиях. Порт и город еще носили следы немецких бомбардировок. Разрушенные бараки, заросшие сорняками пустыри, на скорую руку отремонтированные набережные. Донкис кивнул на портовый кран с паровой тягой — тот, пыхтя, ходил по рельсам вдоль причала — и сказал, что старичку крану уже перевалило за пятьдесят.

— Не дай бог работать на этаком паровозе кочегаром! — хрипло засмеялся он и сплюнул в воду.— Устала Англия, устала... Да, вот тебе и Англия! — Опершись о поручни и глядя поверх доков, Донкис с сожалением покачал головой.

Затем они пошли в Сандерленд и выгрузили оставшуюся руду. «Рексё» осторожно продвигался по рекам и каналам. Выпуская клубы дыма, он плыл мимо деревень и поселков, проскальзывал под мощными стальными мостами. Сельскохозяйственные рабочие, стоя на коленях в борозде, провожали судно неподвижным, тяжелым, вязким, как глина, взглядом, не отвечая на приветствия юнги.

В Мидлсбро сосед Рихарда по каюте подобрал английскую девчонку, почти подростка, и поселил у себя, объявив невестой. Она проплыла вместе с ними вдоль побережья — отъедалась за все военные годы, за все голодное детство. А по ночам она благодарила своего матроса, когда им казалось, что Рихард уже спит.

В Ньюкасле Рихард пил с Донкисом пиво в пабе и играл для него на рояле. Кочегар пел, пил пиво и опять пел. Внезапно завязалась потасовка, но драчунов растащили. Полиция редко забирала моряков. Разбушевавшихся скандинавов предпочитали просто возвращать на суда.

Щедрость, великодушие и сплоченность британской бедноты согревали моряков, как костры на улицах. По вечерам рабочие сидели в пабах или толпились просто в переулках возле ларьков с жареной картошкой и рыбой. А на футбольный матч они отправлялись с песнями. В конце лета в Лондоне должна была состояться Олимпиада, однако классовая борьба занимала английских рабочих куда больше, чем легкоатлетическое десятиборье.

«Затонувшее судно»,— читал Рихард на буях в английских гаванях. Такие надписи виднелись повсюду, напоминая морякам о войне. Буи предупреждали об останках разбитых кораблей глухим звоном колокола, тяжелым и мрачным. От этих звуков дрожь пробирала любого, кто выходил на мостик, где в зеленоватом таинственном свете стоял Рихард, вцепившись в штурвал. Динг-до-онг, неслось снизу, из мягко шевелящихся складок тумана. Аландец весь превратился в слух. Он открыл дверь и вышел на крыло мостика послушать и понюхать молочно-серую пустоту. Потом раскурил трубку, табачный дымок потянулся в рубку, запахло покоем и уютом.

— Осторожно,— тихо произнес он,— по левому борту — разбитый корабль.

Сосед Рихарда по каюте сходил на берег нечасто. Зато остальная команда (кроме капитана, которого видели так редко, что кое-кто вообще сомневался в его пребывании на борту) охотно развлекалась на берегу. Калле истратил всю свою маленькую зарплату юнги на платную партнершу в небольшом дансинге. Ее можно было нанять на один танец, на час и на целый день. Калле выкладывал свои шиллинги и танцевал до упаду. Рихард же ходил в кино или изучал с Донкисом паровые машины восемнадцатого века на заброшенной верфи Сандерленда. Но больше всего британцы и скандинавы любили посидеть в пабе. Хозяева и гости пили с каким-то пугающим отчаянием, что приводило либо к вспышкам бешенства, либо к слезам.

Рихарду нравились кинотеатры, пропитанные сигаретным дымом и запахом мокрой от дождя одежды. Вместе с другими он переносился

здесь в совсем другой мир. Когда скучающий киногерой склонялся над героиней, чтобы растопить поцелуем ее аристократическую холодность, Рихард чувствовал себя истинным британцем. Правда, возвращаясь на «Рексё» по мрачным закоулкам Мидлсбро, он понимал, что на самом деле такой Англии нет. Но его очаровала и настоящая Англия, особенно ее север, который он увидел тем летом. Этот дымный край был настолько холодным, что людям здесь были просто необходимы душевное тепло и взаимная поддержка, чтобы согревать друг друга.

Опираясь на свой житейский опыт, Донкис по-своему объяснял наивные наблюдения Рихарда. Дома, в Швеции, когда-то было так же, и рабочим тоже приходилось сплачиваться, если им жилось трудно и бедно.

— Какие англичане маленькие,— удивлялся Рихард.

— Так у них что ни год — то война,— следовало немедленное разъяснение.— Произошел естественный отбор, отсюда и низкорослость. Войны, работа в тесных шахтах. Да еще сажа и копоть. И постоянное недоедание.

Подобные замечания всегда сопровождались широкой улыбкой. Рихард не сразу мог понять, следует ли воспринимать слова Донкиса всерьез, потом тоже начинал смеяться.

Однажды, когда «Рексё» подтягивался на швартовых к причалу, стальной трос лопнул и перебил ногу Калле. В тот момент Рихард был на мостике, готовясь заступить на очередную вахту. Он долго не мог потом забыть, как съежился и присел Калле, как все закричали и как побледнел лоцман. Работы были прекращены, и когда санитары понесли Калле к машине «скорой помощи», Рихард вместе с другими провожал его взглядом, стоя у поручней. Донкис шел рядом с носилками и держал Калле за руку. Кочегар плакал. Рихард никогда не видел, чтобы взрослые плакали так горько и не пытались скрыть слез. На посиневшем лице Калле выступил холодный пот.

— Вот я и на берегу,— прошептал он.

— Все будет хорошо,— твердо сказал кочегар, хотя в глазах у него блестели слезы.— Все будет «ол райт».

Англия... Да, Англия.

Случилось это в августе сорок восьмого, когда они шли в Стокгольм с коксом для газового завода. Рихард уволился с судна за день до начала занятий. Швеция победила в футбольном турнире на Олимпиаде.

Часть II

1

Уборщик шепнул Рихарду, что на рассвете двум заключенным удалось убежать. Охранники еще утром обыскали тюрьму, а полиция прочесала весь остров. По мосту Вестербрун с грохотом проносились трамваи, будто ничего не произошло, но мосты через Польсундет были перекрыты, там отрывисто лаяли полицейские овчарки. Начальник тюрьмы проклинал беглецов.

Сумерки сгущались быстро, и небо открывало свои прохладные глубины. Если вскарабкаться на оконную нишу, можно было увидеть, как загорались звезды. Зыбкие, тусклые точки света на черном пологе. В ту зиму Рихард понял, почему люди поместили царство небесное в космос. Весной он не раз вспоминал об этой догадке.

Рихард был доволен, что вернулся на верхний этаж старого здания следственной тюрьмы после нескольких месяцев, проведенных в клинике судебной психиатрии. Там его поместили в довольно удобную,

небольшую палату, выходившую окнами как раз на старые стены тюрьмы. Впрочем, в тюрьме все было старым и снаружи и внутри. В камерах было то слишком жарко, то слишком холодно. Зато он вернулся победителем и признан здоровым. Пусть он будет осужден. Но кретины, которые хотели объявить его психом, проиграли. Он избежал самого страшного — больницы для душевнобольных, хотя именно на нее надеялись взрослые. Хорошо, что Рихард прислушался к совету других заключенных.

Рихард слез с окна. Камера — три с половиной метра в длину и полтора метра в ширину, да еще кровать. Сбоку от тяжелой, железной двери с «глазком» и окошком для подачи пищи был вделан угловой шкаф, внизу стояла параша. В шкафу Рихард держал книги и кое-какие вещи.

Рихард мог включать свет когда ему вздумается. До вынесения приговора он официально считался невиновным. Но скоро состоится суд. Вот тогда судья даст распоряжение тюремным надзирателям, сколько Рихарду можно читать, когда включать и выключать свет, о чем ему разрешено писать.

На столе под окном стоял облупленный тазик для мытья. Рихард тщательно вымыл его и налил туда холодной воды. В воду он положил дюжину роз без стебельков. Розы подарила ему тетя Мария. Он еще раз прочел ее открытку, потушил свет, разделся и сел за стол.

Он сидел неподвижно, обнимая стоявшее на столе сокровище. Наступила тюремная ночь. Заключенных начинали мучить кошмары, отголоски их прежней жизни.

Потом Рихард вымылся, положил двенадцать стеблей с шипами на залитую лунным светом постель и лег на них. Он сам придумал себе такое наказание, но неожиданно крепко заснул, совершенно ничего не чувствуя. Последнее, что ему запомнилось, была вовсе не боль от шипов, которыми он наказывал себя как раскаивающийся грешник, а женский крик с нижнего этажа. Женщина взывала к богу.

Рихард проснулся, выругал себя за глупость и выбросил стебли. Пелле, уборщик со второго этажа, принес несъедобный завтрак. Прежде чем надзиратель захлопнул дверь, Пелле успел шепнуть, что оба беглеца до сих пор на свободе.

Утро заключенного... Надзиратели шли по коридорам, задевая грохочущими связками ключей за все, что попадалось на пути. Ключи стучали вразнобой, ударяясь о перила и железные решетки. Весь четвертый этаж отзывался металлическим эхом. «А-а, паразиты проклятые, вы еще и бежать надумали?!» Открывая дверь, надзиратели с лязгом совали в нее ключ. «Встать, убрать камеру!», «Вызов в суд, собирайся!», «Пошел на прогулку!»

Надзиратели вламывались к беззащитным узникам с возмущением праведников, потом снова запирали их под лязг ключей, громыхание связок, с ненавистью стучали в двери и окошки для подачи пищи.

Рихард к тюремному завтраку даже не притронулся. Он сел за стол и съел холодного цыпленка, присланного тетей Марией. При этом он читал «Агента президента» Эптона Синклера, облизывая пальцы, чтобы перевернуть страницы. Он со все большей симпатией следил за героем книги Лэнни Бэддом: по заданию президента Рузвельта тот разоблачал нацистов, разыскивая их в роскошных салонах Европы и Америки. Лэнни принадлежал к высшим слоям буржуазного общества, вращался среди пушечных королей. Он был бесстрашен и умен, дерзок и обаятелен. И прекрасно играл на рояле. У них с Рихардом было немало общего, хотя отец Рихарда владел всего десятью акциями, а отец Лэнни — сотнями тысяч. Тем не менее в Лэнни Рихард видел человека, схожего по происхождению. Их музыкальные вкусы тоже совпадали. Герои отличались лишь возрастом. «Десять лет,— думал

Рихард.— Лэнни Бэдду, должно быть, лет двадцать семь. А мне только семнадцать. Удивительно все-таки, до чего мы с ним похожи, Лэнни и я. Мы знаем, кто наш враг и как нам поступать».

Размышления Рихарда прервал надзиратель. Он зло сунул ключ в дверь и распахнул ее настежь. Рихард уронил книгу на грязный пол и испуганно вскочил.

— К тебе пришли! — заорал надзиратель. А потом добавил, злорадно осклабившись: — Ты чего ухмыляешься, а? Полиция тебя вызывает, не думай, с ней шутки плохи!

2

— Рихард — вконец изолгавшийся мальчишка,— заявил Ветеринар, давая показания в полиции.

Сейчас этот изолгавшийся мальчишка сидел перед чудаковатым полицейским комиссаром в комнате для посетителей.

— Ну и вид у тебя! — огорченно взглянув на Рихарда, с упреком сказал комиссар.

Рихард пожал плечами. Ведь уже много месяцев назад этот ненормальный допрашивал его. Теперь до окончательного решения дела осталось всего несколько недель. Рихарда отправят на год в колонию, на лесоповал, а потом он будет свободен. Он отправится путешествовать по белу свету и никому ничего не будет должен.

— Говорят, ты много читаешь,— глухо произнес комиссар, закуривая сигарету.

— Да...— Рихард вертелся на стуле, словно на горячих угольях. Он знал, что за заключенными следят, все записывают и обо всем докладывается. Спину у него саднило от шипов, на которых он пролежал всю ночь.

— Стоит ли тебе расплачиваться за чужие грехи? — внезапно огорошил его комиссар.

Последовало неловкое молчание. Рихард мгновенно забыл о спине и покраснел как рак. К голове прилила кровь, а подошвы ног зачесались. Комиссар хмуро сосал размокший окурок.

— Что сейчас читаешь? — спросил он после паузы.— Хорошая книга?

В романе о Лэнни Бэдде было около восьмисот страниц. Подходящий объем для тюрьмы.

«Эта книга заведет меня в ущелье, откуда видно лишь то, что находится впереди»,— подумал Рихард, перефразируя слова своего любимого героя. Человек, сидевший напротив, с любопытством наблюдал за ним. Вслух Рихард произнес:

— Я не совсем понимаю, что господин следователь имеет в виду.

Комиссар вздохнул и, прищурившись, взглянул на Рихарда.

— Старых воров ты, наверно, тоже называешь «господами»! Тем более надзирателей, да? Мы же с тобой на «ты».

«Да он псих, сбежавший из сумасшедшего дома»,— подумал Рихард. Воры прозвали полицейского комиссара Чудаком. Чудачество же комиссара, по словам уборщика, состояло в том, что он, в отличие от других полицейских, умел шевелить мозгами. Сейчас маленькие карие глазки Чудака поблескивали, ожидая, что юноша вот-вот расколется.

— Героя зовут Лэнни,— против воли заговорил Рихард.— Он разоблачает тех, кто за войну и нацизм.

— Вот как, кто же это такие?

— Владельцы крупных концернов, хозяева сталелитейных и военных заводов. Те, кто владеет газетами и подкупает политиков. Стиннес, Тиссен и другие... Это толстая книга. Я успел прочитать только половину.

— Неужели это правда, а? Значит, большие негодяи на свободе, а маленькие — в тюрьме?

Рихард не ответил. Он потихоньку почесывал себе спину. Почему он должен говорить, какие книги любит читать? Разве читать запрещено? У него возникло ощущение, что комиссар хочет у него допытаться, как все произошло. На допросах зимой Чудаку ничего не удалось узнать от Рихарда. Но, к облегчению Рихарда, комиссара вроде бы не интересовали душевные переживания семнадцатилетнего паренька, который сам еще толком не мог разобраться в себе. Рихард поднялся.

— Ты поступил глупо,— произнес комиссар, движением руки усаживая его обратно на стул.— Ну ладно, теперь расскажи об экспертизе.

Экспертиза?.. Ему разрешалось сидеть в дневной комнате психушки и читать. В отличие от других Рихард никогда не бегал за врачами, когда те иной раз среди недели показывались в отделении и проносились по коридорам в белых халатах с разлетающимися полами, не уступая в скорости курьерскому поезду. По ночам Рихард лежал в своей уютной палате и опять читал. Врачи проверяли Рихарда с помощью тестов, три раза за четыре месяца он беседовал со «своим» экспертом. Тесты заключались в том, что Рихарда просили перечислить фамилии государственных деятелей, писателей, композиторов, немного посчитать в уме, назвать даты, столицы, сложить кубики или металлические пластинки, похожие на пятна растекшейся туши.

Рихард не понимал целей экспертизы. Разве можно изучить чей-то мозг и чувства? Психиатрическая экспертиза. Ужасающие слова! Они вызывали в нем подозрение.

Женщина-эксперт не считала Рихарда ненормальным. Во всяком случае так она говорила во время их бесед.

— Ты, конечно, не в своем уме,— сказала она Рихарду,— но ты не сумасшедший.

Она рассказала, что родители, учителя, Ветеринар и доктор Борг полагали, будто психические отклонения начались у Рихарда давно, еще во время войны.

Надзиратели в психушке тоже носили белые халаты (здесь, в следственной тюрьме, они были в черном и сером), но их халаты были короткими и не развевались при ходьбе, как у врачей. Надзиратели изображали из себя санитаров. Но их работа состояла в том, чтобы охранять заключенных и шпионить за ними. За заключенными они следили непрерывно, доносили, о чем те говорят, что им нравится, а что нет. Надзиратели вели дневник наблюдений за поведением своих подопечных. Правда, писать им было особенно нечего. От лекарств «пациенты» впадали в полусонное состояние. Они походили на роботов, но ничем не могли занять себя, а только сидели и стонали. Белохалатники ежедневно запирали «пациентов» в восемь вечера и посменно следили за ними в «глазок». Им не терпелось обнаружить хоть что-нибудь подозрительное. Однако было похоже, что никому из них ничего подозрительного обнаружить не удавалось. Почти все пациенты на вид были совершенно нормальны.

Людей насильно пичкали лекарствами. Тех, кто противился этому, объявляли социально опасными и не поддающимися терапевтическому воздействию. Надзиратели утверждали, что такие пациенты слишком больны, чтобы осознать тяжесть своего заболевания. Рихарду удалось избежать приема лекарств только благодаря своему возрасту. И вот теперь Чудак хочет, чтобы Рихард рассказал об экспертизе. Но как ему все это объяснить? Рихард обреченно уставился на комиссара. Потом сказал:

— В психушке — отвратительно, лучше в нее не попадать.

Казалось, Чудак остался доволен ответом.

— А ведь твои родители хотят тебя упрятать туда,— произнес он.— Что ты на это скажешь?

— Они не принимают меня всерьез,— ответил Рихард.— Моей жизни, моих мыслей для них не существует, это кажется им сумасбродными фантазиями. У нас в роду было много странных типов: пьяницы и похитители женщин. Родной брат дедушки подделал чек и сбежал в Италию. А один из его кузенов похитил балерину и ночью переправил через границу.

Рихард заговорил возбужденно, размахивая руками, а собеседник сидел и с нескрываемым любопытством смотрел на него.

— О прадеде,— выпалил Рихард, дрожа от волнения,— лучше вообще не заикаться.

Он встал и попросился в камеру. Но комиссар движением руки усадил его обратно и спросил:

— Так ты признаешься в грабеже?

— Но ведь я не...— начал было Рихард.

— Важно, чтобы тебя признали виновным в краже,— задумчиво проговорил комиссар.— Не в грабеже. Не в дерзкой краже. А просто в обыкновенной краже.

У Рихарда сильно щипало и жгло спину, и вину он за собой знал совсем иную.

— Я тут разговаривал с прокурором,— объяснил Чудак.— Если тебя осудят за грабеж, то ты рискуешь попасть в тюрьму для малолетних преступников. Тебе дадут от года до трех лет. А если осудят за кражу и преступление не сочтут тяжелым, то, возможно, тебе удастся избежать тюрьмы и ты получишь только условный срок. Однако твои родители хотят, чтобы тебя признали невменяемым и поместили в больницу. Между тем врачи установили, что ты вполне нормален.

Рихард перебил комиссара:

— Пусть лучше мне дадут срок. В конце концов, докторша написала в заключении, что я правоспособен. А еще она мне посоветовала постараться, несмотря на возраст, не угодить в тюрьму для малолетних преступников. Пусть мне дадут срок!

— А потом с тебя взятки гладки?

Рихард не ответил.

— Ну-ка давай снова разберемся во всей этой истории,— опять начал комиссар.— В прошлом году ты после летних каникул списываешься с судна (жаль, что в твоих документах написано «учащийся», а не «моряк»), возвращаешься домой и как прилежный ученик идешь в школу. Таков был уговор. Все чин чином. И вдруг в феврале ты берешь у товарища стартовый пистолет, потом едешь на велосипеде в банк, суешь под нос кассиру свою игрушку и требуешь отсчитать двадцать четыре тысячи триста крон, которые засовываешь в свой портфель. Затем ты приказываешь кассиру вызвать заместителя директора банка. Приходит заместитель. Ты смотришь на него бешеными глазами, выбегаешь на улицу и ждешь полицию. Тебя хватают, ты во всем сознаешься, и тебя отправляют на экспертизу... Это был жест, протест, если хочешь, блеф, но не грабеж. Хотя, с другой стороны, ты действительно угрожал оружием и получил целый портфель денег, а ведь это преступление, даже если бы речь шла всего о пятидесяти эре.

— Я не раскаиваюсь,— промямлил Рихард.— Нет, не раскаиваюсь.

Комиссар несколько раз обошел вокруг стола, со свистом посасывая сигарету и выпуская облачка дыма.

— Тебя посылают на экспертизу, чтобы выяснить правду, а ты молчишь,— прохрипел он.— Почему? Могу тебе сказать! Докторше понравилось, что ты не лез к ней со своими объяснениями. И не мешал экспертизе рассказами о том, что якобы произошло на самом деле. Поэтому она и не объявила тебя психом. Но теперь возбуждается дело о грабеже. Только было ли это грабежом?

— Разве это имеет значение? — удивился Рихард.

Чудак вдруг тяжело плюхнулся на стул.

— А ведь твоя тетя мне все рассказала!

Тут он опять вскочил с места и принялся энергично ходить по комнате.

— Через полгода после летнего морского путешествия твою тетю заставили переехать на другую квартиру. Дело в том, что сводная сестра твоего отца, о которой ты и понятия не имел, неожиданно появляется в Стокгольме и настаивает на том, чтобы поселиться в вашем доме.

Рихард вспыхнул, лицо его залилось румянцем. Чудак сначала сурово взглянул на него, а потом с сожалением покачал головой.

— Да, в вашей семье строго хранили эту тайну. Твоя бабушка, потеряв мужа, вернулась в Берлин молодой вдовой в девятьсот первом году. Это все, что тебе рассказали. А на самом деле бабушка в девятьсот пятом снова вышла замуж. От второго мужа у нее было еще несколько детей, и это пятно на семейном гербе от тебя утаили, ибо считалось неслыханным позором то, что бабушка оставила своего первенца в Стокгольме! Предала твоего отца, когда ему было восемь лет! Забыла его!

На губах комиссара появилась чуть заметная улыбка, но он вежливо постарался скрыть ее, и это невольно расположило к нему Рихарда. «Может, и среди взрослых встречаются симпатичные люди. Чудак, например»,— подумалось ему.

— Итак, тетю выпроваживают из дома. Понадобилась ее комната. Заместитель директора банка, добрый друг семьи, получает у нее доверенность и сберкнижку. Он обещает подыскать кооперативную квартиру в подходящем районе. Вероятно, это не слишком дорого, но тетя больна. Сама мысль о переезде волнует ее. Заместитель директора вновь и вновь берет у нее доверенность. А затем весь тетин капитал куда-то улетучивается. Сберкнижка закрывается. До этого тетины накопления составляли ровно двадцать четыре тысячи триста крон. Тот факт, что тетя осталась без средств, сам по себе трагедия, однако дома жалели не тетю, а друга твоего отца. Он уверял, что его самого надули. Когда ты явился к нему в банк, чтобы потребовать деньги, обнаружилось, что он наврал и о своей работе...

Уши у Рихарда горели.

— Твоя тетя,— продолжал комиссар,— замечательный человек. У нее сильный характер. Единственная ее слабость — это ты.

Рихард понемногу стал приходить в себя. Ненормальному комиссару почти все было известно, так как тетя Мария в конце концов обратилась в полицию. А Рихард многое пытался скрыть. Он не знал, что делать с правдой.

Едва тетя Мария обнаружила, что денег на ее счете нет, Рихард тотчас решил, как ему поступить. Он пойдет к Банкиру, потребует вернуть тетины деньги и опозорит его. Он отомстит за тетю Марию, разоблачит Банкира и вообще сорвет с негодяя маску, как это делают в пьесах. Благородный, простой и ясный план. Взрослые собирались выжить тетю Марию из дома, а теперь еще и обобрали ее.

Сначала все шло по плану, пока Рихард не велел позвать заместителя директора банка. Испуганный кассир повиновался. Но человек, который вышел к Рихарду, был ему совершенно незнаком. У Рихарда от удивления открылся рот, он закричал, что произошла ошибка. Заместитель директора стал плакать и уверять, что никогда не слыхал о Банкире, которого ищет Рихард. Слезы незнакомого человека ошеломили Рихарда, и он выбежал на улицу.

Вторая часть плана позорно провалилась. Банкир нигде не служил, поэтому-то и запрещал звонить к себе на «службу». Он рассиживал у них в гостиной и нагло врал о своих тяжелых обязанностях и ответственности перед обществом.

Задуманная Рихардом драма в трех актах — нападение, разоблачение, передача дела в руки правосудия — провалилась. Врага на сцене не оказалось. Никакого разоблачения не получилось. Третий акт тоже не удался. В руки правосудия оставалось отдать только самого себя.

На вопрос полицейских, зачем ему понадобились двадцать четыре тысячи триста крон, Рихард ответил:

— У отца протекает правая галоша.

Немудрено, что его послали на судебно-психиатрическую экспертизу.

На «мечтателей и идеалистов» не науськивают полицию, но тетя Мария все же подала на Банкира в суд и втянула таким образом в эту скандальную историю всю семью. Рихард сразу понял, что дело в семье идет к разрыву.

Мысли его путались, когда он пытался представить себя на чьей-либо стороне. Одно он знал твердо: разрыв будет окончательным, фактически он уже произошел.

— Все-таки она решилась,— вырвалось у него.

— Раньше она не могла,— сухо пояснил Чудак.— Ее положили в больницу как раз накануне твоей дурацкой выходки. Только через несколько месяцев она сама пришла в полицию и все рассказала.

Комиссар подошел к окну. Он долго смотрел на тюремный двор, затем резко повернулся и, буравя Рихарда взглядом, опять заговорил громко и взволнованно, грозя желтым от никотина пальцем:

— Если хочешь себя за что-то наказать, будь добр, обходись без нашей помощи.

Рихард поднялся.

— У нас и так дел невпроворот,— закричал комиссар, вспомнив о стартовом пистолете.

Рихард ушел от Чудака, размышляя о том, что может натворить настоящий пистолет. За нее, за свою вину, он и решил теперь отсидеть, раз уж вторая и третья части его плана провалились. Потом будет не важно, за что его осудят взрослые. Он отсидит за то, что камнем лежит на его совести, а вовсе не за историю с Банкиром.

3

— Вы просто не хотите знать, как живут воры,— сказал Рихард, обращаясь к свободному миру, раскинувшемуся где-то вдалеке и розовеющему в лучах вечернего солнца. Он захлопнул книгу о Лэнни Бэдде и принялся строчить.

Теплые дни сменились холодными. Рихард натянул свитер и вернулся за стол перед окном с решеткой. Словами, заимствованными у Эптона Синклера и Донкиса, у Сомерсета Моэма и у воров, написал:

«Многие думают, что заключенные опасны, но они всего лишь изгои нашего общества, отщепенцы. Они сами ненавидят насилие и жестоких людей за их жестокость. Именно по этой причине они ненавидят и полицейских. Сами «отщепенцы» никогда не дерутся. Обычные воришки — это просто маленькие тролли, бедняги, несчастные алкоголики. Они крадут велосипеды, пальто, пишущие машинки, несут их в ломбард и попадают в полицию или залезают в чужие дома, разыскивая спиртное, а их накрывают с поличным, когда они отсыпаются с похмелья. Они очень приветливы. Утешают, поддерживают друг друга и говорят: «Когда я трезвый, я человек что надо, горы могу свернуть». «Главное, не начинай пить»,— говорят они. А сами тайком проносят спирт и торгуют им в камерах. Надзиратели торгуют оптом, а воры-перекупщики — в розницу. Надзиратели получают такое маленькое жалованье, что им любым способом хочется подзаработать.

Здесь все устроено неправильно. Алкоголиков мучают только за то, что у них за душой нет ни гроша. Есть тут и несколько настоящих

убийц. Они живут отдельно, в «комнате» у каждого радио, а на полу ковер, и они делают вид, будто находятся по ту сторону тюремной стены, а мы, остальные,— по эту, хотя все мы сидим в одной и той же тюрьме.

Есть здесь бывшие финансисты, которые набивали собственные карманы. Они возмущаются, что их держат в тюрьме, и терпеть не могут воров.

В следственной тюрьме людей, совершивших одинаковые преступления, содержат в разных камерах. Воры боятся темноты. Работать они предпочитают парами. Это означает, что часто по одному делу проходят двое. Арестованные пытаются разжалобить неумолимых судей историями, похожими как две капли воды. Судей они ненавидят, знают их еще с давних пор. Уборщик, например, сидел больше десяти раз, он считается рецидивистом. Его специальность — кража пишущих машинок. Дважды его приговаривал один и тот же судья, и теперь Уборщик опасается, что опять попадет к нему».

Рихард перечитал написанное и добавил: «Обстановка здесь ужасная, хотя люди есть неплохие».

Он сложил лист бумаги пополам и сунул его в книгу о Лэнни Бэдде. Там лежало уже несколько таких листов. Он писал каждый день. Ему многое хотелось записать. Во время экспертизы Рихард встречался с самыми разными ворами, и почти все они были мастерами на выдумки. Каждый верил, что можно смягчить наказание, если получше преподнести свою историю. Поэтому они тщательно отделывали повествование и закручивали сложные интриги не хуже любого писателя, заботились о достоверности не меньше драматических актеров и учитывали тонкости уголовного кодекса не хуже настоящих адвокатов.

Когда кто-нибудь в дневной комнате психушки рассказывал о себе, то считалось неприличным расспрашивать его, за что его посадили. Впрочем, рассказчики извлекали на свет божий по существу одну и ту же повесть с незначительными вариантами: несчастное детство, бедность, пьющие родители, выселение из квартир, развод, несправедливости. Каких только жестоких несправедливостей не выпало на их долю.

Рихард как был чужим среди них, так и остался чужим.

Заключенный по кличке Банщик сказал, что Рихард идет по жизни вроде туриста.

— Ты, парень, слишком много читаешь,— говорил он.— А хорошая книга попадается редко. Надо научиться самому выбирать полезное и отбрасывать ненужное. Вот ты хочешь стать писателем, а держишься особняком. Подыскал бы себе компанию. Уж нам-то известно об акционерном обществе «Швеция» побольше, чем ты узнаешь за целую жизнь.

Рихард и впрямь чем-то был похож на туриста, путешественника. Только он путешествовал в мечтах, уносясь за тюремные стены, и тогда желал лишь одного: чтобы его не трогали. Ему предлагали камеры на двоих и на четверых, но свои путешествия он предпочитал любой компании. Он писал наивные, детские заметки о Польше и Англии. Это так же, как и чтение, было важной частью его путешествий. Но дальше, чем воспоминание, его уводили фантазии! Иногда настолько далеко, что потом он не мог написать ни строчки. На бумаге все становилось тусклым и бесцветным, хотя само путешествие было полно ярких, красочных впечатлений.

4

Пока шла экспертиза, Рихарда часто отпускали домой. Когда за плотной завесой облаков стеною вставала ночь, ему казалось, что отныне дорога к свободе закрыта для него навсегда. Женщина-эксперт

пыталась заглянуть в тайники его души, чтобы отыскать те следы, которые остались от потрясений, пережитых в детстве. Без этого нельзя было понять мальчиков послевоенного поколения, угадать их будущую судьбу, полную случайностей и неясностей. Она просила: «Опиши мне что-нибудь конкретное, хотя бы свое детство».

У нее имелись показания Ветеринара. Упоминала она и доктора Борга, который рассказывал о странных фантазиях Рихарда, об угольных залежах, которые образуются в будущем из праха расстрелянных поляков.

Чтобы составить себе более ясное представление о личности Рихарда, она побывала у него дома. Правда, жалобы родителей читались в их показаниях лишь между строк. В глазах докторши появлялся холодок, когда она упоминала заключение Ветеринара и наукообразную писанину доктора Борга.

— Напиши-ка лучше сам, что ты думаешь о них,— посоветовала она. Ее белый халат всегда был запачкан. Лицо казалось некрасивым, почти безобразным. Глаза же иногда становились теплыми, живыми и добрыми.

Воспоминания возвращали Рихарда в прошлое, на два года назад.

В гостиной за роялем сидел отец. Он рассказывал любителям музыки о своем друге и учителе. В камине потрескивал огонь, за окном падал снег. Отец собирался сыграть канон, сочиненный Маэстро. Как всегда, перед исполнением шла интродукция, то есть прославление дорогого друга. Наряду с сочинением оперы, посвященной Густаву Адольфу, отец работал над книгой об истории шведского оперного искусства. На самом деле речь в ней шла главным образом о Ветеринаре и его предках. Произнеся у себя в гостиной несколько таких славословий, отец отдавал их потом в издательство.

— Подобно Верди, наш Маэстро будет с годами сочинять все лучше и лучше,— провозглашал отец.— Стыд и позор, что его у нас до сих пор не признают. Правда, по профессии он ветеринар, но в душе он всегда был и остается музыкантом. Его отец, директор музыкальной школы и органист, принадлежит к древнему далекарлийскому роду. Мать Маэстро, пианистка,— уроженка Вермланда, самой поэтичной провинции в Швеции.

Гости внимали отцу, одобрительно кивая или скептически улыбаясь. Рихард сидел на стуле в дальнем углу и внимательно прислушивался к тому, что говорилось в салоне.

— Какая великолепная наследственность для композитора, пишущего драматическую музыку! — витийствовал отец.— Недаром Даларна[1] всегда славилась свободолюбием и музыкальной культурой. А провинция Вермланд, родина поэзии, вымысла и сказки, с ее неповторимой атмосферой! Ее подснежники! Ее люди! Властные заводчики, прелестные барышни, легкомысленные и щедрые аристократы. Мать Маэстро была глубоко религиозной женщиной, она чтила Библию, и ее мировоззрение зиждется на христианских основах. Она окончила консерваторию и была весьма талантливой пианисткой. Свое искусство она также рассматривала сквозь призму религии. Такое двойное музыкальное и религиозное наследство многое объясняет в творчестве моего друга.

Отец встал, взял с рояля портрет Маэстро, поднял его и показал всем, как верующим, так и неверующим.

— Этот человек стремился постигнуть суть того, что воспевает. У него высокая цель. Кроме Петерсона-Бергера, наверное, ни один шведский композитор, создающий музыкально-драматические произведения, не ступал так дерзко на трудную стезю к альпийским вершинам искусства. Он не всегда достигал своей цели и все же по пра-

[1] Провинция Швеции.

ву может сказать о себе: долог и тернист мой путь, но я честно иду по нему. Многие ли из нас могут сказать то же самое?

Гости умильно переглянулись, а на лице доктора Борга появилась довольная улыбка, ибо ему покорялись альпийские вершины медицинского искусства.

Отец поставил портрет на место и вновь уселся за рояль. Бетховенскую скамеечку он уже просидел, поэтому теперь вещал со стула, взятого из гостиной. Под стул подкладывали большой нотный альбом.

— Придет время,— голос отца, пророчествовавшего со своего трона, был настолько торжественным, что Рихард невольно съежился,— придет время, и наш Маэстро обретет заслуженное признание. Недалек день, когда шведам опостылеют их теперешние жалкие любимцы. Тогда мы наконец поймем, что хотя тело и его потребности важны, но гораздо важнее человеческая вера, способная двигать горы. Эта вера и является сутью национального духа, который призван стать нашей опорой. Если же мы будем оплевывать собственные традиции, вульгаризировать историю в угоду черни, то совершим непоправимую ошибку, поскольку именно исторические традиции в минуту опасности послужат источником силы для шведского народа.

Увы! Большинство гостей с трудом представляли себе этот не вполне понятный источник силы. Тетя Мария поднялась и пошла на кухню. Остальные начали перешептываться.

— Объективное изучение нашей истории, несомненно, принесет свои плоды,— заливался соловьем отец, не замечая, что его почти не слушают.— Мой друг попытался изобразить в форме музыкальной драмы некоторые периоды отечественной истории — эпоху святой Бригитты и борьбу Энгельбректа за независимость [1]. Национальное и религиозное чувства тесно связаны в произведении моего друга. Я верю, что настанет день (Рихард вздрогнул в своем уголке), когда судьба проявит к нему бóльшую благосклонность, чем теперь.

В камине мирно потрескивали дрова; влажные ресницы снежинок приникали к окну. Отец взял первый аккорд. Рихард незаметно прошмыгнул в свою комнату. Виртуозная игра отца его не интересовала.

Рихард лег на кровать и задумался о любителях музыки, рассевшихся вокруг большого черного рояля, словно стая грифов. Когда Рихард был маленьким, рояль казался ему уютным гротом, где жила музыка. Рояль фирмы «Руд. Ибах и сын», Гамбург. Некоторые из гостей презрительно посматривали на эти золотые буквы. «Бехштейн»— вот какая нужна фирма. У двух школьных товарищей Рихарда дома были рояли «Бехштейн», хотя отцы семейств играли скверно. Рихард не мог понять, почему всем непременно нужен «Бехштейн». Объяснение этому он нашел лишь тридцать лет спустя, когда брал интервью у немецкого рабочего-ветерана. Тот рассказал, что владелец фирмы Карл Бехштейн в двадцатые годы одним из первых материально поддержал нацистов. После прихода Гитлера к власти в 1933 году для некоторых любителей музыки приобретение «Бехштейна» считалось поэтому едва ли не гражданским долгом.

Тетя Мария вошла к Рихарду с разрумянившимися щеками и мукой на кончике носа. Пока она месила тесто, ей в голову пришла мысль, которую он помнит до сих пор.

— Те, кто сейчас в гостиной... Да плевать им на историю, как поплевывали в свои камины феодалы-рыцари после удачного разбойного набега на крестьян. Подлинная история делается не здесь, а на улице, в снежной метели.

Потом она принесла чай и свежие булочки. В ту ночь весь Стокгольм покрылся снегом. Шел 1947 год, и большинство «Бехштейнов» стояли расстроенными в холодных гостиных.

[1] Энгельбрект Энгельбректсон — вождь крупнейшего в Швеции народного восстания 1434—1436 гг. против датского господства.

Записки со своими воспоминаниями Рихард спрятал, а женщине-эксперту он вернул через ее ассистента чистый лист бумаги.

Она упрекнула Рихарда:

— Неужели ты ничего не можешь написать о человеке, который так много рассказал о тебе?

— А что говорит обо мне Маэстро?

Она не ответила.

— А что сказано в справке доктора Борга?

Женщина опять промолчала.

— Это безупречные, высокообразованные люди. Они знали тебя с самого детства,— наконец произнесла она,— расскажи и ты что-нибудь о них.

— Отец считает, что Ветеринар станет вторым Верди,— заговорил Рихард, решив помочь врачу.— Ветеринар, то есть Маэстро, сочинит великие произведения и во второй половине двадцатого века добьется всемирной известности.

Докторша бесцветным, невыразительным взглядом смотрела на Рихарда.

— Верди написал «Отелло» в семьдесят три года,— продолжал он, стараясь, чтобы его поняли.— В семьдесят девять — «Фальстафа». А Ветеринару нет еще и семидесяти.

Увидев выражение лица докторши, Рихард пожалел, что поддался на ее уловку и разговорился. Он почувствовал себя беспомощным, пойманным в ловушку. Такова жизнь, и никуда от этого не денешься. Докторша подумала, что Рихард ее дурачит, а он ведь говорил правду.

Рихард отдал ей чистые листки. В голове у него все перемешалось: германофильские увлечения отца, воинственные настроения Ветеринара, национализм доктора Борга. Ему трудно было рассказать об этом так, чтобы его поняли.

— Ну хорошо,— сказал однажды ассистент.— Тогда напиши о родственниках!

Рихард послушно уселся за стол и начал вспоминать слова отца.

— Постарайся избавиться от хулиганских манер, заимствованных у матросни,— говорил отец.

Они шли вдвоем по Страндвеген, меся снежную слякоть. Вмерзшие в лед шаланды цепенели вдоль набережных. По другую сторону улицы высились дома фешенебельного квартала. Дома молчали, молчали степенно, как и подобает домам состоятельных людей.

— Рихард, завтра приедет Ханне. Не вздумай упрекать меня за то, что я тебе ничего не рассказывал о ней. Это было... Когда бабушка второй раз вышла замуж... Ах черт, у меня прохудилась правая галоша!

Они свернули в переулок и стали прогуливаться в тени облупившихся домов прошлого века, не ремонтировавшихся во время войны и в трудные послевоенные годы.

Отец продолжал:

— Второе замужество бабушки считалось предательством по отношению ко мне. Она оставила меня у своих родителей в Стокгольме, когда овдовела и уехала в Берлин. Там у нее все наладилось, ее пригласили в Берлинскую оперу. Но она не забрала меня к себе. Она вышла замуж второй раз и обо мне совершенно забыла. От второго брака родилась Ханне.

Мы, конечно, встречались со сводной сестрой, когда в двадцатые годы я работал в Германии, но бабушку я так больше и не увидел. Она умерла в девятнадцатом году. С тех пор как она бросила меня на произвол судьбы, она ни разу не дала о себе знать. Представь себе: бабушка в постели чужого человека!

— Почему ты называешь ее бабушкой? — удивился Рихард.— Ведь тебе она приходилась мамой.

На лице отца промелькнула грустная улыбка.

— Каково, по-твоему, мне было здесь? — Он с мрачным видом огляделся вокруг.— Среди посредственностей и трусов? Нет, мое место было в Берлине, но мне в этом отказали.

— А что здесь будет делать Ханне?

— Ханне осталась совсем одна, а ведь как-никак она мне сестра.

— Сводная.

— Не дури. Тебе она понравится. У тебя будет новая тетя.

— Но вы выгоняете тетю Марию.

Отец резко остановился и показал Рихарду ветхий дом на противоположной стороне улицы.

— Вот где ответ,— улыбнулся он.— Видишь медную дощечку на двери?

Рихард ничего не понимал. К отцу вернулось хорошее настроение, и он рассказал, что здесь заместителем директора банка служит Банкир.

— Видишь ли, он познакомился с Ханне в Германии во время войны,— теперь отец улыбался так весело, что, глядя на него, начинали улыбаться прохожие.— Ханне приедет в Стокгольм не только для встречи с родственниками. Ты, кажется, удивлен? Да, пути господни неисповедимы! Подумать только, случайно познакомиться с моей сводной сестрой! Просто чудо!

— Давай зайдем и поговорим с ним,— живо откликнулся Рихард.— Ведь Ханне может жить у него, а тетя Мария останется с нами!

Но отец зашагал дальше, проворчав, что нельзя отрывать от дел занятого человека. Он решительно размахивал тростью, и выражение лица у него было хмурое.

— Да, но тетя Мария...

— Нет,— отрезал отец.— Она больна, Рихард. Мария изводит нас своими причудами, своим сарказмом, насмешками надо всем, что для нас дорого и свято. Если хочешь жить вместе с родственниками, то имей для них место в своей душе! А у тети Марии его нет. На днях, когда Маэстро восхищался одним из немецких курортов, она вскинула руку на манер гитлеровского приветствия. Патеру Сильвио пришлось вмешаться, он сказал тете Марии, что ей, пожалуй, пора спать, а она в ответ крикнула: «Да здравствуют протестанты!» — и добавила: «Долой иезуитов!» — Доктор Борг осмотрел ее и пришел к заключению, что она тяжело больна,— продолжал отец (кажется, его галоша перестала протекать).— Диагноз установлен, но, как многие в подобном состоянии, Мария считает себя здоровой. Возможно, это происходит бессознательно, так как она не понимает, что врачи действуют в ее же интересах. К старости порой у людей проявляется их подлинный дурной характер и наружу выходит то, что прежде оставалось незаметным за благовоспитанностью и хорошими манерами. Короче говоря, она стала невыносимой, и теперь, когда Ханне...

— Что Ханне?

— Ведь мы переписывались,— сказал отец, и Рихард вспомнил, как дрожали взрослые над письмами из-за границы, прятали их, шушукались и многозначительно переглядывались, а его не покидало чувство, что от него постоянно что-то прячут за закрытыми дверьми,— и это было даже в годы войны.— Ханне предстоит жестокая борьба,— улыбнулся отец, как улыбался всегда, чуя бой и сражение, военные почести и подвиги на поле брани. Он даже всхохотнул, словно опьяненный звуками труб и плеском развевающихся знамен.— Ханне охотится за добычей, только добыча не дается ей в руки, Рихард. Однако она своего не упустит.

— Но зачем выгонять тетю Марию? — заволновался Рихард.— Пусть Ханне живет у своего Банкира, тем проще ему будет обокрасть ее.

— Прекрати, не клевещи на друзей нашей семьи! На тех немногих, кто нам еще верен! С деньгами тети Марии получилось действи-

тельно неловко. Но ведь его самого обманули мошенники, которые спекулируют недвижимостью. Он не виноват!

Отец строго посмотрел на сына. Однако его все еще забавляла мысль о битве, предстоящей старому другу. «Угораздило же Банкира влюбиться именно в Ханне. Вот уж действительно чудо из чудес! Ах, старый хитрец! Думал, так холостяком и умрет! Не тут-то было, свадьба надвигается на него со скоростью гамбургского экспресса. Бедняга,— усмехнулся отец,— жил себе тихо и спокойно в пансионате. Считал себя в полной безопасности. Вообще-то женщин он побаивается».

Отец засмеялся так громко, что прохожие стали на него оглядываться.

— Да он же скрывается под фальшивым именем! — воскликнул Рихард, стараясь перекричать взрывы смеха.— Ты что, не слышишь? Под фальшивым именем! Мы с тетей Марией давно об этом догадывались, а теперь знаем точно. Мы звонили к нему на работу, чтобы он вернул деньги, а нам ответили, что в банке служащего с такой фамилией нет!

Но отец его не слышал. Он свернул на улицу Линнея и остановился перед домом католического собрания.

— Ты не зайдешь со мной, Рихард? Здесь очень мило, можно выпить кофе.

— Нет. Если вы выгоните тетю Марию, я тоже уйду из дому.

— Ну хватит упрямиться. Патеры не разрешат бросить Ханне на произвол судьбы. И нельзя оставлять ее в пансионате. Надо соблюдать приличия, ты ведь знаешь, я человек верующий. Послушание и смирение — вот что требуется от меня.

Отец посмотрел на своего почти взрослого сына, и улыбка его стала напряженной:

— А приличия требуют, чтобы предпочтение было отдано родной сестре, а не дальней родственнице.

— Значит, посадить тетю Марию в психушку и выгнать из дому прилично, да?! — возмутился Рихард.

Отец стоял, взявшись за дверную ручку. Из дома католического собрания доносилось благостное пение. Отец прислушивался с той же улыбкой, с какой слушал церковную музыку много лет назад.

— Зайдем на минуточку,— по-дружески попросил он,— ничего с тобой не случится.

— Чертов старикашка! — не помня себя, закричал Рихард в бессильной злобе. К ужасу и недоумению отца, он разрыдался.

— Ш-ш! Ты меня позоришь! — зашикал на него отец, нервно улыбаясь прохожим, проплывавшим в тумане перед глазами Рихарда. Из-за тяжелых занавесок через двойные оконные стекла на плачущего мальчика уставилась мертвенно-бледная монахиня с круглым ртом, открывшимся в неслышном восклицании. Она с укоризной глядела на Рихарда. Он отпрянул назад, но отец уже открыл дверь, и на улицу потянуло ладаном. Отец стоял в дверях и кричал вслед сыну:

— Домой не ходить! Не вздумай туда являться, пока все не кончится!

Рихард бросился домой, пересек Хумлегорден, улицу Энгельбректа и опять выскочил на Карлавеген. Проезжавший трамвай заслонил двери его дома. Когда трамвай отъехал, Рихард увидел стоявшую машину «скорой помощи».

Все было как в кошмарном сне. Трамвай зазвенел и спокойно, неторопливо громыхая, пополз вперед. Перед Рихардом словно раздвинулся сине-белый занавес. Тетя Мария, сильно прихрамывая, бежала босиком по грязному, мокрому снегу в ночной сорочке, с шалью на плечах. Она бежала, спотыкалась, падала и снова подымалась. Рихард кинулся прямо в поток машин. Он перебежал улицу и подоспел как раз в ту минуту, когда санитары «скорой помощи» настигли тетю Марию. Это было так же просто, как поймать слепого. Санитары

аккуратно повели тетю Марию к машине. Рихард набросился на них. Те спокойно реагировали на его неловкие и тщетные попытки освободить тетю Марию, и хотя их лица выражали сожаление, они продолжали вести свою жертву. Задние дверцы машины были распахнуты, на талом снегу лежали носилки, у их изголовья выбрасывала синеватый дымок выхлопная труба.

Рихард в исступлении бил куда попало. Один санитар схватил его за руки, а другой уложил тетю Марию на носилки и пристегнул ремнями. Они не были грубы, нет, они работали мягко, целеустремленно.

Внезапно боковая дверца машины открылась. Из нее вышел смущенный доктор Борг, и на Рихарда пахнуло несчастьем, больницей и страхом.

— Рихард! — огорченно воскликнул доктор, и в его голосе звучали властные нотки.— Мой дорогой мальчик, я понимаю, как это неприятно, но что поделаешь, без принуждения здесь не обойтись.

Он подталкивал Рихарда к дому. Потом все исчезло. Очнулся Рихард уже в постели. В дверях он увидел заплаканную мать, а совсем близко от себя спокойное лицо доктора Борга. У доктора дурно пахло изо рта. Рихард попытался отвернуться, но в руку что-то кольнуло, и в глазах опять все поплыло.

На следующее утро должна была приехать Ханне. Рихард проснулся с головной болью. Он слышал, как в комнате тети Марии переставляли мебель. Чемоданы и сундуки отнесли на чердак, комнату вымыли, чистоту навели по всем правилам гигиены.

Незнакомая дама прибыла сразу после завтрака. К этому времени Рихард встал с постели и оделся. Он сидел в гостиной вместе с остальными и пил чай.

— Называй меня Ханне,— сказала незнакомая дама с сильным акцентом,— надеюсь, мы будем с тобой дружить. Ты что, плохо себя чувствуешь?

— У отца прохудилась правая галоша,— ответил Рихард.

Ханне поколебалась секунду, потом рассмеялась.

— А он у вас оригинал! — воскликнула она. Отец и мать натянуто улыбнулись.

— Это правда, что вы приехали, чтобы повидаться с Банкиром?— глухим голосом спросил Рихард.— С вашим добрым другом из Гамбурга?

— Он сейчас на работе,— поспешно вступил в разговор отец,— но вечером придет к нам, и тогда мы устроим праздничный ужин.

Он нервно взглянул на жену и торопливо добавил:

— Ханне нисколько не изменилась.

— У нее и раньше был такой испуганный вид? — поинтересовался Рихард, вставая из-за стола.

Он подумал: «Пойду-ка повидаюсь с ее другом из Гамбурга, а потом посмотрим, не сядет ли он на первый же поезд домой, в свой фатерланд!»

Он вышел из гостиной, сел на велосипед и помчался к Карлу. В тот день занятия в школе отменили. В Стокгольме проходил чемпионат мира по хоккею. Но Карл был дома. Рихард чувствовал это. Он находился в состоянии спокойной, холодной уверенности. Карл сидел дома и зубрил изо всех сил. Он отдал Рихарду свой стартовый пистолет.

•

Однажды во время экспертизы Рихарда навестил отец.

— Образ жизни здесь вполне здоровый,— констатировал он, сидя в опрятной комнате для посетителей. Он ни разу не посмотрел на сына. Взгляд его скользил куда-то в сторону. Он хорошо выучил, отрепетировал свою речь и порой обращался к «санитару», который с любопытством прислушивался к разговору.

— Мы узнали, что врачи заинтересовались нашей семьей,— сказал отец,— но я полагаю, что ты не способен дать объективную картину. Поэтому я хочу, чтобы во внимание было принято следующее. Твой прадедушка был знаменит тем, что великолепно играл на корнете в придворной капелле, а до этого был полковым музыкантом. Родился он в 1822 году, умер в 1886 году.

Надзиратель было испугался, но потом придал своей физиономии кроткое, снисходительное выражение, приличествующее настоящему санитару.

— А дедушка родился в 1855 году. В девятнадцать лет он сдал экзамен на органиста и дирижировал консерваторским оркестром. Потом стажировался в Королевском театре, дебютировал в роли Фентона в «Виндзорских проказницах» и был взят в труппу. Год он занимался вокалом и изучал музыкальную педагогику у профессоров Сент-Ива Ба и Ромэна Бюссена в Париже. Там же ему удалось познакомиться с музыкальной драматургией Вагнера...

— Папа, дорогой...

Но отец не давал себя прервать:

— После возвращения из Парижа дедушку пригласили петь в Королевский театр и в Оперную школу. Именно он создал в Швеции первую в мире современную оперную школу.

Надзиратель только что поел. Умиротворенный, он сидел поодаль от них у самой стены в коротком белом халате, черных брюках и черных ботинках. Опасаясь, что отец забудется и примет его за официанта, Рихард сказал:

— Все это я знаю.

— Но теперь история нашей семьи попадет в архив уголовной полиции,— воскликнул отец,— поэтому мы обязаны проследить, чтобы все было точно. В театре дедушка исполнил сотни ролей. Он обладал разносторонним талантом. Один вечер мог петь комическую партию, другой — лирическую. Кроме того, с его музыкальным образованием и тонким слухом ему было легко заучивать роли. Например, он всего за несколько дней разучил партию Фигаро к гастролям госпожи Сигрид Арнольдсон в 1891 году и пел с ней на итальянском языке.

Отец бросил быстрый взгляд на санитара. Тот ответил ему уважительной миной (надо же!).

— В другой раз,— продолжал отец,— дедушке пришлось, спасая положение, петь в «Реквиеме» Верди вместо заболевшего штатного тенора, и на генеральной репетиции он пел прямо с листа, без единой ошибки.

Надзиратель кивнул, уселся поудобнее и ласково улыбнулся.

Отец приободрился.

— После ухода Нурдквиста с поста директора театра дедушка заменил его. Несколько лет был в театре первым человеком. Умер дедушка в девятьсот первом году.

Надзиратель вынул спичку изо рта и переменил позу.

— Посещение заканчивается,— предупредил он.

— Понимаете, я говорю о дедушке мальчика,— обратился к нему отец.— А внук бесчестит его память тем, что попал в тюрьму.

— Все еще уладится,— буркнул сбитый с толку надзиратель,— ничего страшного.

— Ты забыл о женщинах нашей семьи,— сказал Рихард на прощание.

Отец прошипел в ответ:

— Ими ты вполне можешь заняться сам.

На другой день ассистенту захотелось узнать, как прошла беседа с отцом.

— Спросите лучше у надзирателя,— отмахнулся Рихард,— отец беседовал с ним, а не со мной.

Из бумаг обследуемого: «В детстве мне давали прадедушкин корнет. Он был изготовлен в 1875 году стокгольмской фирмой «Альберг и Ульссон», и прадедушка исполнял на нем весь свой репертуар. Сейчас инструмент сломан, играть на нем невозможно. Дедушка — сын корнетиста — был, по-моему, очень честолюбив. Отец называет его диктатором Оперы... То же самое говорилось о нем в старых номерах «Сёндагснисссе» [1]. Прадедушка умер своей смертью. А дедушка спился, как утверждает тетя Мария. Бабушка... Я думаю, что бабушка... Я знаю, что бабушка...»

Тут Рихард разорвал листок и лег на постель. За ним следили в «глазок». Он вскочил и принялся гримасничать, показывая язык. Глаз надзирателя исчез. Рихард собрал клочки бумаги, положил их в карман, попросился в туалет и спустил обрывки в унитаз.

— Пиши! — говорила женщина-врач. И он писал, но показать ей свои записи не решался.

«В следующем году начнется вторая половина двадцатого века. Это будет новая эпоха, потому что люди прошлого столетия вымрут от старости. Она начнется не с Ветеринара, не с другого новоявленного Верди, а с нас».

Свои неясные мысли Рихард заносил на листы бумаги, которые затем рвал на клочки и выбрасывал в туалет. Сточные воды уносили их в Балтийское море, а оттуда они плыли в океан.

Рихард отдал врачу один-единственный листок. На нем было выведено: «Бабушка родилась в Новом Орлеане».

Он и сам вышел из психушки похожим на чистый лист бумаги. Рихарда перевели в следственную тюрьму, где ему пришлось ждать от жизни ее первого приговора.

Рихард чуть не свернул себе шею, пытаясь увидеть клочок земли за окном. Он был доволен, что вернулся в тюрьму, и не жалел ни об относительной свободе в психушке, ни о возможности общаться в дневной комнате с другими заключенными.

Ему еще не скоро доведется выполнить просьбу женщины-врача о том, чтобы описать свою жизнь. На это понадобится четверть века.

5

После шести месяцев заключения, из которых четыре месяца ушло на судебно-психиатрическую экспертизу, в середине дождливого лета Рихарда приговорили к принудительным работам. Однако приняв во внимание смягчающие обстоятельства, то есть молодость, благоприятный социальный прогноз экспертов, мотивы преступления и чистосердечное признание, его освободили. Было решено, что полгода тюрьмы для него достаточно. Остальной срок наказания объявили условным, если Рихард даст обещание впредь не нарушать закона.

Это Рихард пообещал себе еще раньше, до вынесения приговора. Чудак обстоятельно рассказал на суде, как была обманута тетя Мария. Правда, судьи предпочли не вдаваться в подробности.

Адвокат, полный, вялый мужчина, плохо помнил даже имя Рихарда. Он не слишком вникал в суть дела, но всячески спасал подзащитного от тюрьмы для малолетних преступников. На него никто не обращал внимания, так как о тюрьме для малолетних преступников речи вообще не было, а врачи рекомендовали дать подсудимому обычное в подобных случаях наказание.

Врачи... Когда зачитывалось медицинское заключение, Рихарда вывели из зала. Ему не полагалось знать мнение врачей, столь важное для решения суда. Поступок Рихарда, как таковой, врачей не ин-

[1] Юмористическая газета, выходившая в Стокгольме в 1862—1924 гг.

тересовал. Им было важно определить состояние подсудимого в тот момент, когда он совершал преступление. «Если бы им это удалось,— размышлял Рихард, ожидая приговора,— меня бы либо наградили медалью, либо осудили на пожизненное заключение». Он был рад, что отделался сравнительно легко, и едва ли не считал себя победителем.

Рихарду не верилось, что взрослые вернут ему свободу. Он уже не мечтал тайно и благородно искупить свою настоящую вину. Жизнь требовала иного, и нужно было как можно скорее выбраться из тюрьмы. Неожиданно взрослые решили помочь ему. Естественно, он не мог до конца поверить этому.

— Неужели это правда? — спросил Рихард надзирателя, в последний раз выводившего его из камеры. — Неужели это правда? — спросил Рихард другого надзирателя, возвращавшего ему вещи.

В ответ те с неодобрением смотрели на Рихарда и отворачивались. «Вот и еще один клиент ушел,— думали они.— Какой смысл говорить ему обычное «до свидания»? Повезло, выкрутился обалдуй. Понятное дело, богатая семья. Когда такие нарушают закон, это называется трагедией».

Рихард вышел на лестницу, чувствуя спиной взгляды надзирателей. Наконец двери за ним захлопнулись, в глаза ударило солнце, и мир распахнулся ему навстречу, свободный и безбрежный.

Неподалеку стояло черное такси. Оно медленно подъехало к Рихарду, который шел с книгой о Лэнни Бэдде под мышкой и дорожной сумкой в руке. Задняя дверца распахнулась, и Рихард увидел человека, сидевшего в машине. Это был тот самый таинственный Альберт, который во время войны передавал деньги для матери и тети Марии. Он позвал Рихарда. Прежде чем сесть в машину, Рихард оглянулся. Альберт внимательно посмотрел на него, такси тронулось с места.

— Узнаешь меня?

— Тетя Мария рассказывала, что когда-то ты был влюблен в мою мать и хотел на ней жениться, но отец тебя перещеголял.

— Ого, тебе, оказывается, обо мне все известно,— дружелюбно заметил Альберт.— А я тебя едва узнал. Выглядишь ты так, будто на тебе остались следы от цепей и кандалов. Или дело в прическе?

Рихард засмеялся в первый раз за долгие месяцы и сказал, что сам дал себя так обкорнать. «Обкорнать,— мелькнуло у него в голове.— Ободрать, общипать».

— Надо бы заехать в парикмахерскую, чтобы тебя привели в божеский вид. А то тетя Мария решит, что я не того привез.

— Ну и молодежь пошла...— покачал головой пожилой шофер.— Парнишка-то совсем еще ребенок.

— Он банк обчистил, заграбастал кучу монет,— небрежно бросил Альберт и заговорщицки ткнул Рихарда в бок,— но нашей банде удалось его вызволить.

Шофер пробормотал что-то в ответ и прибавил скорость, а Альберт закурил сигарету и сунул ее в рот что твой Хэмфри Богарт.

Они миновали Старый город и выехали на Дроттнинггатан. Объезжая площадь Стуреплан, попали в пробку и с трудом выбрались к улице Давида Пекаря.

Шагая впереди, Альберт привел Рихарда к старому пятиэтажному дому. Рихард пытался не отставать на лестнице от этого пятидесятилетнего человека, радостно перепрыгивавшего через две, а то и через три ступеньки, и думал об отце, о его ногах. Сколько он себя помнил, у отца всегда болели ноги. Правда, последнее время отец ходил довольно легко. Даже если галоши у него промокали и были полны воды, будто тонущие корабли. Отцу исполнилось пятьдесят шесть лет. Старый для такого сына. «Впрочем, у тебя больше нет папаши,— поправил себя Рихард и одним махом перескочил через три

ступеньки.— У поднадзорных папаш не водится. Вид у меня подозрительный, острижен чуть не наголо и вообще социально опасен. Хоть сразу давай сообщение о розыске по Стокгольму в ближайший полицейский участок: «Внимание! Опасный преступник!»

Альберт ждал его наверху.

— Ты что-то сказал, Рихард?

— Я подумал, что мама на четырнадцать лет моложе отца. И что ты в сто раз ловчее и сильнее, чем он.

Казалось, комплимент не слишком обрадовал Альберта. Но, распахнув двери в просторную квартиру, где были оборудованы два репетиционных зала, имелся верхний свет, стояли железные печурки, пыльные диваны, ширмы, балетные станки и висели зеркала во всю стену, а в углу пристроился старенький рояль, Альберт не смог скрыть гордости.

Он неожиданно высоко подпрыгнул, влетел в зал и сделал пируэт перед зеркалом. Критически осмотрев себя, он поправил шляпу и крикнул:

— Выходи, моя голубка, наш воробушек уже тут!

Прыжок назад — и Альберт растянулся в шпагате. Он взглянул вверх, на восторженное лицо Рихарда, рассмеялся, приподнял шляпу и дружески кивнул.

— Да, неплохо для человека, которому стукнуло пятьдесят,— удовлетворенно произнес он.

В дверях показалась тетя Мария, и в следующее мгновение Рихард очутился в ее объятиях.

— Ты бы тоже так могла, если бы не твой ампутированный палец,— сказал Альберт.

Но они его не слышали.

Некоторое время спустя они вошли в Малый зал. Тетя Мария изменилась. Она улыбалась, но глаза стали другими — испуганными. Рихард тайком разглядывал ее, боясь обнаружить перемены. «Что с ней сделали? Черт возьми, они еще пожалеют об этом!» — кричало все в нем.

Альберту тетя Мария особого беспокойства, видимо, не внушала. Он делал вид, будто не слышит ее бормотания, когда они осматривали квартиру.

— По вечерам мы сидим в Малом зале и читаем или слушаем радио. Иногда заходят наши друзья, и мы разыгрываем пульку. — Он открыл еще одну дверь.— Тут у нас кухня, а там твоя комната, она давно тебя дожидается.

— Рихард, дорогой, здесь все, как видишь, довольно ветхое,— неожиданно сказала тетя Мария. Она как-то странно хихикнула и испуганно прикрыла рот ладошкой. Осмотр владений был закончен, они вернулись в Малый зал. Тетя Мария села на плетеный стул, сейчас она выглядела очень постаревшей.

— Что-то мне не по себе, Рихард. Ты привел с собой тюремную тень.

Встретив ее взгляд, Рихард понял, что она имеет в виду. Ему самому повсюду чудились эти тени, тени тюрьмы, тени сумасшедшего дома.

Он гнал их прочь. А тетя Мария была замкнута, она как бы всматривалась в себя, и перед ее потухшим взором бесконечной вереницей проходили образы прошлого.

Среди них ей виделась и она сама. Казалось, будто она стоит на вершине своей жизни и вглядывается в идущие мимо людские потоки, в каждый холмик на равнине, нет, на сцене.

«Да, они сломали ее»,— подумал Рихард.

В то же мгновение тетя Мария очнулась, глаза ее заблестели.

— Не таращись так, Рихард,— попросила она со смущенной улыбкой,— это невежливо, ты ведь знаешь. Пусть лучше Альберт покажет тебе твою комнату, а я пока поставлю чай.

Из кухни она прокричала:

— Альберт, неужели это правда, что я остаюсь у вас? Меня действительно не отправят обратно?! О господи, как прекрасно, какое счастье! Должна сказать тебе, Альберт, в больнице все ужасно злы.

Альберт с улыбкой смотрел на Рихарда, время от времени машинально отвечая тете Марии «да» или «нет», «ну что ты, дорогая». Он тихо сказал Рихарду:

— Здесь, с нами, ей лучше, чем одной. Единственное, что ей нужно,— друзья, их участие. Если бы нам удалось провести вместе остаток лета на даче, в тишине и покое, она бы совсем поправилась.

Потом Альберт показал Рихарду комнату. Она находилась в самом конце узкого коридора и была гораздо больше его тюремной камеры. В комнате имелась печка, окна выходили во двор. Все было залито ярким солнечным светом. Рихард увидел свои вещи, маленький письменный стол, радиоприемник и электропроигрыватель, коробки из-под сахара со своими джазовыми пластинками, книжный шкаф со стеклянными дверцами, комод, чучело совы, корнет прадедушки, два ящика всякой всячины, в том числе коньки и маленький бюст Бетховена с отбитым кончиком носа. Внезапно Рихарда окатила горячая волна счастья, и он принялся разбирать и раскладывать на столе свои сокровища.

— Рихард,— окликнул его Альберт,— было бы неплохо, если бы ты пока пожил с нами. На следующей неделе мы, вероятно, поедем за город, а осенью тебе надо пойти в школу.

Рихард с трудом оторвался от своих вещей и последовал за Альбертом по коридору.

— Насколько я знаю, сейчас тебя ничто в городе не держит.

— Большое спасибо,— отозвался Рихард,— но я наймусь на судно.

Альберт удивился: неужели Рихард действительно собирается быть моряком? Рихард поделился с ним своими планами, сказал, что мечтает стать писателем.

— Знаю одно: ни со Швецией, ни с Германией я больше связываться не хочу. Поеду куда глаза глядят, а там будет видно.

Рихарду действительно хотелось уехать отсюда путешествовать, посмотреть мир и учиться не книжным премудростям, а самой жизни.

— Ты еще слишком молод,— возразил Альберт. Он остановился у кухни и, смущаясь, спросил: — А каково тебе пришлось в тюрьме?

— Воры очень милы,— оживился Рихард.— Никогда не встречал сразу столько приятных людей.

— Да, но тебе особенно не с чем сравнивать,— пробурчал Альберт. Но было ясно, что он доволен ответом.

Тетя Мария звенела посудой, готовя чай. Неожиданно из кухни донесся ее высокий, чистый голос:

— Рихард, твой отец добрый человек. И мать тоже добрый человек. Мне больше нельзя жить с ними, но они все равно добрые, не забывай этого.

Тетя Мария поставила закуски на большой поднос, вошла с ним в залитый солнцем Малый зал и принялась накрывать на стол.

— Добрые,— пробормотала она. — Подходящее слово. — И засмеялась. Тетя Мария стояла под окнами в потолке, и над ее головой высилось, подобно куполу, грустное небо северного лета, а сама она казалась прозрачной. Сейчас ее лицо было ясным, спокойным, умиротворенным. Склонив голову к плечу, она, улыбаясь и прихрамывая, засеменила на кухню за поджаренными хлебцами.

— Теперь она выглядит лучше, чем в феврале,— сказал Альберт.— Что ни говори, а дела у нее не так уж плохи.

Альберт пошел в Большой зал и вернулся оттуда с фотографией в стальной рамке. На фотографии была женщина со светлыми глазами и короткими белокурыми волосами.

— Это моя жена, Рихард. Ее зовут Гертруда. Она обаятельная женщина, хотя по фотографии этого, может, и не заметно. Гертруда уговорила меня отдать дом твоей тете. Мария — наш старый, преданный друг. В свое время она была очень популярной артисткой. В девяностые годы она гастролировала по многим странам. Париж, Копенгаген, Берлин. Мы с Гертрудой ее ученики. Ты знал это?

— Нет. — Рихард разглядывал фотографию. Обаяния в Гертруде он действительно не замечал.

— Ну как же, мы учились у нее в двадцатые годы, когда Марии еще не отняли на ноге палец. Я, видишь ли, танцор-акробат. Что я только не исполнял! Выступал в мюзик-холле, снимался в немом кино... Жил в Англии. Перед отъездом в Швецию в 1926 году брал уроки лирического танца у твоей тети. У нее познакомился с твоей матерью. Ее красотой восхищался весь Стокгольм. Она жила со своими стариками на Шкиперской улице. Замуж ей было рановато, но в восемнадцать лет она вышла за твоего отца. Она, в сущности, была совсем еще ребенком. Отец был почти вдвое старше. Когда они поженились, тетя Мария переехала к ним. Она получала пенсию от Оперного театра, давала частные уроки. Твой отец, вероятно, считал, что его юной жене нужна нянька — сам он, разумеется, совершенно не мог о ней позаботиться. — Альберт тяжело вздохнул. — Зато он был так элегантен, когда сидел за роялем. Меня она даже не замечала, хотя бог свидетель — кроме нее, для меня тогда никого не существовало.

Рихарду никогда не приходило в голову, что его мать может вызвать у кого-то такие чувства. Но вот перед ним человек, который влюбился в нее больше двадцати лет назад и все еще любит ее. Рихард взглянул на мать совсем другими глазами, она стала ему ближе. Его отношения с матерью не были задушевными. Мать как бы передоверила его тете Марии, а сама осталась в стороне. Она не хотела обременять себя заботами и хлопотами. Но теперь... Еще никто из взрослых не был так откровенен с Рихардом. Кроме тех, кто сидел с ним в тюрьме.

Казалось, Альберт прочел его мысли, понял, что мальчик сбит с толку.

— Не бойся, ничего страшного со мной не произошло,— сказал он и засмеялся. — Мне не посчастливилось с твоей матерью. Зато я счастлив с Гертрудой. Ну ладно... Поедешь к нам в деревню?

Рихард не успел ответить. Вошла тетя Мария с поджаренными хлебцами. Она пригласила их на плетеный диванчик прямо под застекленным проемом в потолке. Рихарду показалось, будто в середине лета он очутился в саду.

Альберт взглянул на часы и сказал, что можно с чаем не торопиться, пусть заварится как следует. Стол был накрыт на четверых.

Неожиданно для Рихарда пришел отец. Тетя Мария ушла к себе. Рихарду Альберт велел остаться. Несмотря на дождливую погоду, отец был весьма элегантен, в белом полотняном костюме и только что начищенных мелом парусиновых туфлях. Его тонкое лицо покрывал красивый загар. Отец поиграл зонтиком, отложил его в сторону и заговорил. При этом сыну он смотрел в глаза, а молчаливого, иронического взгляда Альберта всячески избегал.

— Мама больна,— проговорил отец,— и слегла она из-за твоих подвигов. Однако сделанного не воротишь, и я не собираюсь еще больше отягощать твою совесть. Во всяком случае сейчас малейшее волнение может оказаться для матери губительным. Так что можешь остаться здесь, пока все не уладится... Чему ты ухмыляешься? — Глаза отца потемнели.— У тебя была исключительная возмож-

ность задуматься о себе,— продолжал он, отпив глоток чая.— Полная изоляция! Мне бы на твоем месте не понадобилось и часа, чтобы до конца уяснить себе все. Но со мною этого не произойдет. Никому и в голову не придет посадить меня в тюрьму. Подумать только, оказаться полностью предоставленным самому себе! Отрешиться от всякой лжи! Испытать одиночество, беспощадное, не знающее никаких скидок для совести! Если бы я смог уединиться хотя бы на несколько недель, то вдохновение не заставило бы себя ждать и я написал бы сказочно прекрасную оперу. Я заглянул бы в глубины своей души и, возможно, почувствовал к другим людям...

— Ладно, чего ты, собственно, хочешь? — прервал Альберт бесконечные словоизлияния отца.

— Я пришел повидаться с сыном,— высокомерно заявил отец. — Ты против?

— Нет, не против,— ответил Альберт.— Только давай ближе к делу!

Отец, казалось, был не уверен в себе. Чтобы скрыть это, он улыбнулся.

— Хоть поздоровайся с сыном, приятель! Вот он перед тобой, живой и невредимый, несмотря ни на что!— сказал Альберт.

— Когда мать поправится...— нерешительно произнес отец и встал. Он стряхнул невидимую пылинку с пиджака, поправил манжеты, чтобы стали видны запонки (золотой нотный ключ на голубой эмали), одернул брюки и внезапно пошел к выходу. В дверях он пробормотал:— Когда мать... если мама поправится, можешь прийти и...

Рихард и Альберт тоже поднялись со своих мест. Они стояли и смотрели вслед загорелому мужчине, который на прощание одарил их своей улыбкой.

В душе Рихарду хотелось ответить на отцовскую улыбку.

— Он имел в виду, что дома будут рады тебя видеть, когда твоя мать поправится,— пояснил Альберт, стараясь, чтобы тон, которым он говорил об отце, не казался недружелюбным.

— Нет!— отрезал Рихард.

— Ты должен подумать о будущем,— продолжал Альберт.— О музыке.

— Плевать я хотел на их музыку! И пальцем не дотронусь больше до их рояля! Пусть они подавятся своим Вагнером!

— Да, конечно,— Альберт улыбнулся.— Но не твоим Бетховеном.

Потом они постучали в комнату тети Марии.

— В чем дело?— как бы издалека послышался ее тихий голос.

Альберт ответил через дверь, что отец Рихарда ушел и она может выйти. Но тетя Мария хотела отдохнуть.

— Рихард решил поехать в Америку за материалом для романа,— сообщил ей Альберт.— Неплохая идейка, а?

Тетя Мария ответила, что ложится спать.

— Утро вечера мудренее,— проговорил Альберт, отходя от двери.— Я люблю темноту, она скрывает небо и глядит в окна своими задумчивыми глазами. Я часто засиживаюсь до поздней ночи и любуюсь темнотой.

Альберт показал на открытый рояль в Большом зале:

— Сыграй нам что-нибудь.

Рихард наотрез отказался. Он не желал участвовать в играх и забавах взрослых.

— Меня пытались объявить сумасшедшим,— процедил Рихард сквозь зубы и, подойдя к роялю, опустил крышку.— Нельзя жить вместе с людьми, которые мечтают засадить тебя в психушку. Я действительно думаю отчалить отсюда.

Альберт неодобрительно покачал головой. Он вдруг почувствовал усталость. Он осторожно, словно дряхлый старик, опустился на диван, а когда взглянул на Рихарда, глаза его были полны печали.

— Не сердись на нас за то, что мы вмешиваемся в твою жизнь,— тихо произнес он. — Решать тебе все надо самому, мой мальчик. Не дай бог иметь дело с благодетелями, которые без спросу распоряжаются своими близкими. Иные проповедники равенства очень любят, чтобы перед ними ломали шапку.

— Знаешь, я пойду лягу,— деликатно сказал Рихард.

Альберт вздохнул, согласно кивнул, и Рихард пошел спать. Теперь он может делать все что хочет и когда хочет. Он зажег лампу, стоявшую на ночном столике, и растянулся на кровати. На душе у него было спокойно. Он стал думать о новом доме тети Марии и о том, что случилось с ним за последнее время. О Большом и Малом залах, об узком коридорчике, о каморках и темных уголках. И о том, как занервничал Альберт, когда ночь заглянула в окна, за которыми спали люди. Ночь заключенного... Заключение... Тетя Мария сказала, что он привел с собой тень из тюрьмы. Он виновен в смерти Густава, а наказали его за попытку разоблачить Банкира. «У меня не все дома,— подумал он. — Нет, у меня как раз все дома, только от этого еще тяжелее».

«Зачем тебе расплачиваться за чужие грехи?» — спросил Чудак.

Рихард уже засыпал, когда в дверь тихо постучали. Вошла тетя Мария, ей хотелось поговорить. Лил дождь, но окно у Рихарда было открыто. Тетя Мария поежилась и поплотнее запахнула халатик. Она рассеянно улыбнулась и спросила, доволен ли Рихард тем, как все обернулось. Рихард ответил, что доволен. Он избегал ее взгляда. А она присела на край кровати и погладила его щеку своей старой, морщинистой рукой. Рихард удивленно посмотрел на нее. Тетя Мария с трудом поднялась.

— Все у нас с тобой треснуло,— сказала она резким голосом. — Везде одни трещины.

И прежде чем Рихард успел ответить, выскользнула из комнаты.

Часть III

1

Рихард проснулся с головной болью. Он сел и закрыл лицо руками. В каюте было жарко, как в печке. От сладкого привкуса рома во рту его затошнило. Дрожа и пошатываясь, Рихард встал с койки и выбрался на палубу. Солнце только что взошло, и маленький пароходик деловито и степенно продвигался на юго-восток.

Из камбуза пахнуло жареным беконом, и Рихарда вдруг вырвало прямо на палубу, на одежду и босые ноги. Пирушка была еще в разгаре, когда он заснул, не сняв с себя ни джинсы, ни майку. Теперь он поглядел на джинсы, и его опять вырвало. Его бросало то в жар, то в холод. Чтобы не запачкать палубу еще больше, он подошел к фальшборту. И в следующее мгновение неожиданно оказался под водой.

Вода была светло-зеленой с темными прослойками. Рихард с трудом выплыл на поверхность.

Пароход был уже довольно далеко. На его корме еще можно было прочитать: «АУД». Ниже значился порт приписки «Осло».

Рихард начал колотить по воде ногами и руками, и вдруг до него дошло, что он кричит. Слух включился так, будто кто-то повернул выключатель. Он кричал и кричал, но перестук пароходного двигателя неумолимо стихал, становился все слабее и слабее.

Сначала Рихард не мог поверить в случившееся. «Это неправда,— думал он.— Я лежу у себя на койке и брежу». Вскоре к нему вернулось обоняние. Он ощутил запах теплого соленого моря, бекона и яичницы «Нет, теперь это точно не сон». Его больше не тошнило. Пароход быстро уменьшался, и кричать ему вслед было бессмысленно. Рихард стоял вертикально в воде и месил ее ногами. Провожая взглядом пароход, Рихард спрашивал себя: «Что подумают ребята?»

Но его могут хватиться только через несколько часов, и неизвестно, поймут ли сразу, где он. Ведь никто не видел, как он бултыхнулся в море.

Рихард посмотрел на «Ауд» в последний раз и поплыл. Море было приятно теплым и неприятно соленым. Сейчас он чувствовал себя хорошо, головную боль будто рукой сняло. Зато захотелось пить.

— Ты сильный,— произнес он громко.— Плыть тебе придется долго, но иногда можно лечь на спину и отдохнуть. Главное — не волнуйся.

Рихард проплыл час, прежде чем решил отдохнуть. Достаточно было слегка шевелить руками и ногами, чтобы держаться на плаву. Рихард посмотрел на безоблачное небо, но свет ослепил его, и он закрыл глаза. Тут он потерял равновесие, перевернулся и непроизвольно глотнул воды. «Не зевай»,— приказал он себе.

Джинсы казались теперь тяжелыми, словно свинец, а берег был еще почти не виден. Когда Рихард опять лег отдохнуть, джинсы потянули его вниз, как грузило. Стоя на месте, он начал перебирать ногами, чтобы снять с себя джинсы. У Рихарда было всего две пары трусов, но они теперь сушились на «Ауде», которого и след простыл. Он сунул лицо в воду и проследил взглядом, как джинсы постепенно засасывало вниз, в немыслимую глубину. Ему стало страшно. Он подумал, что под ним сейчас несколько тысяч метров воды. Точно он не знал. Рихард часто стоял за штурвалом после того, как они вышли из Мобила, и любил тайком заглядывать в карту, когда штурман отворачивался. На карте Рихард искал названия экзотических мест. А о глубинах тогда не думал.

Собравшись с силами, Рихард опять поплыл, изнемогая от усталости. Скоро вдали, как раз над бурунами, показалось что-то белое. Это был маяк. Рихард с трудом доплыл до берега и выполз из воды. Подняться на ноги он не мог. Его тело весило несколько тонн. В тишине слышался стук лопат. Смеялись женщины, кудахтали куры. Утро было воскресное, но люди работали! Рихард стащил майку и кое-как натянул на себя вместо трусов. В голове стучало, его знобило, несмотря на тропическую жару. Рихард лежал, прижимаясь к земле, пыхтя и отдуваясь, потом выплюнул немного морской воды и желчи. Плечи и шея горели, очень хотелось пить.

— Эй, люди... — прохрипел Рихард, но никто ему не ответил.

Тогда он встал, ноги у него дрожали и подгибались. Придерживая обеими руками майку, он поплелся на женские голоса и стук лопат.

Первым Рихарда увидел чернокожий старик. Он вышел из маяка, уставился на юношу и закричал на почти непонятном английском, что здесь купаться запрещено, потому что полно акул и барракуд. Потом умолк и показал пальцем куда-то в сторону, хлопая себя по бокам старыми, морщинистыми руками. Рихард смущенно улыбнулся. Из леса появились женщины с мотыгами в руках. Они тоже начали куда-то глазеть и размахивать руками как ненормальные. Наконец Рихард решил оглянуться и далеко в море увидел свой «Ауд». Пароход повернул, сделал большую петлю и снова взял курс на юго-восток. У Рихарда защемило сердце. Ведь пароход служил ему домом Там у него был кубрик, где остались паспорт, одежда, книги и...

— Они ищут меня,— прохрипел он и упал без сознания.

Под вечер пришли фараоны. Два низкорослых, худощавых англичанина в шортах хаки и гольфах, как у скаутов. Они были немногословны, больше слушали старика, а тот сбивчиво рассказывал, что произошло. Его старуха иронически улыбалась, а обе дочери сидели в углу и хихикали. Фараоны терпеливо слушали и кивали в ответ, бросая любопытные и укоризненные взгляды на Рихарда. Фараон с усиками спросил имя Рихарда и название корабля, поинтересовался, накормили ли Рихарда и вообще какого черта он тут делает? У него не укладывалось в голове, что белый человек способен так напиться в столь чудесный солнечный день. Рихард сказал, что свалился за борт во время работы и что никто этого не заметил, а когда хватились, было поздно. Судно вернулось было за ним, но его не нашли, а сейчас «Ауд» уже на пути в Порт-оф-Спейн.

— Да, да, понятно! — фараоны посмеялись и посадили Рихарда в джип. Рихард поблагодарил семью смотрителя маяка. Старик и старуха помахали ему на прощание рукой, заковыляли в дом и захлопнули за собой дверь.

Сидевший за рулем белобрысый, с красным от солнца лицом англичанин был доволен, что везет пассажира. Он объяснил, что благодаря Рихарду они прокатятся до Кингстона, через весь остров, с ночевкой, выпивкой, девочками — словом, настоящая экскурсия. Поставив машину перед несколькими сараями, представлявшими собой центр города, он объяснил Рихарду, что тот выплыл на берег у Негрила и что ему чертовски повезло. Потом англичанин скрылся в сельской лавочке и вышел оттуда с пивом и штанами хаки. Рихард натянул их, не слезая с заднего сиденья. Штаны пришлись как раз впору. Блестящие, прекрасные новые хаки, они даже пахли вкусно. Морщась от боли в обожженной шее, Рихард надел майку, а потом пошел с белобрысым в лавочку примерить туфли. Владелец лавочки был вне себя от радости — еще бы, сбыть товар в воскресенье! Пока Рихард подбирал себе туфли, в лавочку набились местные жители поглазеть на него.

...Они ехали по гористой местности, такой красивой, что захватывало дух. В долинах виднелись плантации, а рядом развалюхи бедняков, напоминавшие птичьи гнезда на горных склонах. День клонился к вечеру. По обочинам дорог стали появляться люди с мотыгами, лопатами и длинными ножами-мачете. На мужчинах были рваные шляпы, на женщинах — яркие цветные тюрбаны, на которых стояли большие жестяные банки, старые канистры, ржавые ведра с водой. Все были босиком и в лохмотьях. Некоторые несли в руках фонари и зажгли их, когда — очень быстро — сгустились сумерки. В свете фар лица этих людей показались Рихарду враждебными. Они не любили белых полицейских и делали вид, что не замечают их.

Фараон с усиками поинтересовался, откуда шел пароход. Рихард сказал, что бродил по дорогам в Штатах, а потом нанялся на судно в Мобиле. Они держали курс на юго-восток, прошли мимо Кубы через Юкатанский пролив и сегодня утром увидели северо-западную оконечность Ямайки.

Рихард рассказал, что проехал на попутных машинах через весь Юг США, несколько раз ему пришлось пускать в ход кулаки, так как водители приставали к нему. Многое шокировало его в США. Однажды его не пустили в гостиницу, потому что портье, посмотрев его паспорт, решил, будто Рихард еврей. Гостиница евреев не принимала, а этот южанин полагал, что все, у кого фамилия оканчивается на «берг» или «бург», непременно евреи. Немало нового узнал тогда Рихард. Например, что шоссейные дороги с четными номерами пролегают между востоком и западом, а дороги с нечетными номерами соединяют север и юг, что в двадцати трех штатах останавливать попутные машины запрещено, что всегда надо иметь несколько долларов в кармане, дабы полиция не задержала тебя за бродяжничество.

Ему трудно было поверить, что негров по-прежнему линчуют и что многие из американцев — антисемиты, среди них оказывались даже те, кто бахвалился своими военными подвигами в Европе. Проголодавшийся шофер грузовика пролетал мимо кафетерия лишь потому, что его владелец был евреем. Многие из тех, с кем разговаривал Рихард, ругали Европу и войну, будто только и ждали случая поговорить с иностранцем. Хотя сами они тоже были, в сущности, иностранцами. Девушка из молочного бара в Мемфисе заявила, что США воевали не за тех, за кого надо, хотя сама на Окинаве потеряла родного брата. Рихард разговорился с полицейскими, фараонам предстояло отслужить на Ямайке еще несколько лет, если только не придется собирать манатки и давать тягу. Черномазые того и гляди возьмут верх. Фараоны завидовали своим голландским коллегам в Кюрасао. Те лупили ниггеров по башке и получали за это быстрое продвижение по службе. Год службы в голландских колониях шел за два.

Хотя черт его знает, что происходит в Соединенном Королевстве. Не докатилась бы Британия до социализма. Тогда не будет ни Соединенного, ни Королевства. Хотя, конечно, сама Англия никуда не денется, как бы эти психи-социалисты ни портили всем жизнь.

Рихард сказал, что ходил в Англию. Пусть Англия бедна и потрепана войной, но она ему по душе. Да и американцы только в кино все живут богато и счастливо. Тут фараоны остановили джип и угостили его пивом с бутербродами. «Ты парень крепкий, не всякий доплыл бы до берега»,— говорили они. «А что мне оставалось делать?»— удивился про себя Рихард. Полицейские смеялись. В свете фар танцевала крылатая нечисть. По дороге с поля возвращалась домой негритянская семья. Увидев джип, негры бесшумно спрятались за деревьями. И все же Рихарду показалось, что здесь негры боятся фараонов меньше, чем в южных штатах США. Вскоре пиво и усталость сморили его, и Рихард заснул.

2

Рихарда доставили в кингстонскую уголовную полицию. Был уже поздний вечер. Местные полицейские встретили Рихарда неприветливо. Рихард испугался; он слышал на «Ауде», что в полиции бьют моряков и негров. Полицейские заявили, что Рихард приплыл на берег нелегально, без документов, и, черт побери, они дознаются, кто он таков на самом деле.

Фараон с усиками заверил, что с Рихардом полный порядок. Блондин добавил: мол, парень попал в кораблекрушение, а плавает как дьявол. После этого кингстонские полицейские немного успокоились, дали Рихарду кружку чая, поставили на веранде раскладушку, и он наконец лег спать.

Утром Рихарда повели на допрос. Седой полицейский, которого остальные называли сэром, спросил, где и когда Рихард родился и почему прыгнул за борт. Рихард рассказал, как было дело, но седой усомнился. Рихарду пришлось подробно описать, как он в Стокгольме нанялся на теплоход «Пиреус», зафрахтованный американцами, и сошел на берег в Нью-Йорке, где судно встало на ремонт. Команде было предложено либо списаться, либо заключить двухлетний контракт на рейсы от Нью-Йорка в Средиземное море и обратно.

Рихард предпочел списаться на берег, и ему дали двадцать девять дней, чтобы он смог наняться на новое судно, не нарушая закона об иммиграции. В Нью-Йорке с работой на судах было плохо. Рихард слышал, что в Новом Орлеане намного лучше, и решил податься туда на попутных машинах. Он не торопился, ему хотелось осмотреться. И с попутками ему не слишком везло, так как владельцы машин боялись, что их ограбят. Пока Рихард добрался до Мобила в Алабаме, отпущенные ему двадцать девять дней подошли к концу, и

он ухватился за первую попавшуюся работу, чтобы не сталкиваться с иммиграционными властями. Рихард нанялся на пароход «Ауд» из Осло, зафрахтованный американским акционерным обществом «Алюминиум компани оф Америка». Вчера утром, доставая ведром воду, он и оглянуться не успел, как очутился в море. И вот теперь он здесь, мечтает вернуться на «Ауд» и приносит извинения за причиненные хлопоты.

Старый фараон смотрел на Рихарда с каменным лицом, а потом сказал, что еще неизвестно, возьмет ли капитан его обратно. Ведь Рихард, черт возьми, не в своем уме! Да и никакой он не моряк, а студент. У Рихарда открылся рот от удивления, но фараон пробурчал, что они телеграфировали на пароход и получили подтверждение, что у Рихарда действительно шведский паспорт. А в паспорте Рихард значится студентом. Как это студент из Швеции добрался до берега вплавь? Надо хорошенько разобраться в этой истории. Выглядел фараон весьма строгим. После обеда полиция отправила Рихарда в суд, где дряхлый седой старик в парике заявил, что Рихард проник на Ямайку нелегально. Его нельзя просто отпустить на все четыре стороны, поскольку у Рихарда нет никаких документов. Рихарда отвели в следственную тюрьму, туда пускали и без паспорта.

Тюрьма помещалась в нескольких одноэтажных строениях с клетками, из которых разило жуткой вонью. Белые там не сидели. Рихард отказался войти в клетку, и надзиратели, сплошь чернокожие, возражать не стали. Ему отвели матрас под навесом из гофрированного железа. Наутро другой фараон, на этот раз индеец, угостил Рихарда мороженым и показал ему вырезку из «Кингстон таймс». На первой странице была помещена статья о молодом человеке, сделавшем необычный заплыв. В сообщении говорилось, что семнадцатилетний матрос в воскресенье утром упал за борт и доплыл до берега у Негрила. После оказания помощи он был отправлен в Кингстон, где по решению судьи будет задержан до пятницы.

На другой день в тюрьму пришел фотограф и сделал несколько снимков, а в пятницу утром к Рихарду пожаловал чернокожий старший надзиратель с целой свитой младших надзирателей. Они были выряжены по колониальной моде: старший надзиратель — в черных штанах с малиновыми лампасами, белой форменной куртке и пробковом шлеме. Младшие надзиратели были в черных куртках. Выглядели они нарядными, угрюмыми и высокомерными.

Старший надзиратель протянул Рихарду мореходную книжку с только что отпечатанной фотографией, выданную английским вице-консулом, представлявшим интересы Швеции в Кингстоне. Он невнятно прошипел, чтобы Рихард немедленно вылетел самолетом в Порт-оф-Спейн на свой пароход, и добавил, что собственноручно разотрет Рихарда в порошок, если тот вытворит что-нибудь, пока будет добираться до судна. Потом, язвительно смеясь, он поинтересовался, не желает ли Рихард путешествовать в наручниках.

Рихарда на такси доставили в аэропорт. Он сел на самолет компании «Вест-Индиэз эйрвейс». Пассажиров на двухмоторном самолете оказалось совсем немного, лишь несколько морских офицеров и британских бизнесменов. Они неодобрительно поглядывали на Рихарда. Но он был настолько захвачен первым в своей жизни полетом, что не обращал на них никакого внимания.

В Порт-оф-Спейне Рихарда опять встретили фараоны из уголовной полиции. «Сколько можно, мне это уже надоело»,— подумал Рихард. Его отвели в участок и выписали справку о благонадежности.

Потом Рихарда отвезли в гостиницу для моряков «Летящий ангел», расположенную у моря, и велели завтра с утра пораньше явиться к вице-консулу. «Ауд» находился в Парамарибо, и Рихарду надо пожить пока здесь, в гостинице. Пароходство уже заплатило за него,

но Рихарду, вероятно, нужно все-таки немного денег, он сможет получить их у консула по указанному адресу. Консул, правда, английский бизнесмен, но это делу не помеха, ведь Рихард весьма прилично говорит по-английски. Каждый из полицейских дал Рихарду по вест-индскому доллару. Они были так приветливы, что Рихард крайне удивился. Однако на прощание вместо добрых слов они сказали Рихарду, что прибьют его, если он выкинет какой-нибудь номер до прихода «Ауда». Это его уже не удивило.

В сторожке у ворот сидел босой старик, привратник. Рихард показал ему свой паспорт, и старик пустил его на территорию «Летящего ангела». Гостиница для моряков была одноэтажным зданием, обнесенным высокой оградой. На лужайке между пальм возвышался флагшток с британским флагом. Все это напоминало военный лагерь. На веранде Рихарда встретила по-английски чопорная злющая старуха, похожая на китаянку. Она поселила его в маленький номер с кроватью, в номере стоял тазик, а на стене висела картинка, изображавшая Христа.

Благочестивая старушенция спросила Рихарда, не отягощает ли что-нибудь его совесть. Он коротко ответил: «Нет». Старуха очень рассердилась, ущипнула его за плечо и сердито потребовала справку от фараонов. Каждый, кто хочет остановиться у нее, должен предъявить бумагу. Она прочла справку о благонадежности, внимательно с головы до ног осмотрела Рихарда и сказала, что полиция выписывает справки кому попало, лишь бы избежать ответственности, и что бумажка эта ровным счетом ничего не значит. Она удивилась отсутствию вещей, и Рихард объяснил, что попал в кораблекрушение. Тогда она ущипнула его снова и предупредила, чтобы он не вздумал приводить девушек в гостиницу и уж тем более в номер и что свет здесь тушат в одиннадцать часов. Спиртное тоже запрещено. Потом старуха вручила ему Библию, несколько религиозных брошюр для моряков и посмотрела на него кисло-сладким взглядом, когда он откланялся и пожелал ей спокойной ночи.

С первого же дня Рихард влюбился в этот город. Он подолгу бродил по оживленным, переполненным, узким улочкам. Порт-оф-Спейн оказался небольшим приморским городком на пути северо-восточных пассатов. Его наводняли тысячи людей самых разных национальностей, но преобладали здесь, по слухам, чернокожие. В Порт-оф-Спейне обитало также много индейцев, в основном владельцев лавочек и конторских служащих. В городе было полным-полно англичан, португальцев, китайцев, испанцев, американцев — в ярких рубашках навыпуск и угрюмых американок с голубыми волосами. Янки, заметил Рихард, вели себя здесь не так развязно и самоуверенно, как в Штатах, даже казались чем-то напуганными и растерянными.

Рихард слушал, как на заднем дворе репетирует оркестр круглых металлических канистр из-под бензина. Стоило зазвучать этим музыкальным инструментам, как парни в живописных лохмотьях становились гибкими, будто стальная пружина. В них не было ничего искусственного или напускного. Музыка жила в них, и они жили ею, без музыки они не могли ни есть, ни спать, ни работать. Они без конца возились со своими инструментами, настраивали их. По двору бегали дети, время от времени появлялись женщины, приносившие еду. Женщины хихикали, посматривая на Рихарда, до тех пор, пока паренек с длинными волосами и серьгой в ухе не подошел к нему и не шепнул:

— Убирайся отсюда!

Рихард огорчился, он пошел в бар и заказал себе пива с бутербродами. Белый бродяга с обезображенным лицом сказал, обращаясь к Рихарду, что ниггеры ждут любого предлога, чтобы покончить с белыми, скоро тут и шагу нельзя будет ступить. Потом он провел ру-

кой по горлу, изображая, будто ему отрезают голову в зарослях сахарного тростника, где никто ничего не увидит. Пьяный бродяга начал приставать к Рихарду, и хозяин бара отправил Рихарда домой.

Неверной походкой Рихард добрался до «Летящего ангела» и заснул под картинкой с изображением Христа. На следующее утро в гостиницу собственной персоной явился консул, он сразу же принялся отчитывать Рихарда и только потом спросил, почему Рихард не пришел в консульство сам. Затем консул повез его туда на своей маленькой машине. Консульство помещалось в небольшой комнате с вентилятором на потолке и пожелтевшей фотографией Густика V на стене. Рихарду велели расписаться в получении паспорта и десяти вест-индских долларов. Хотя получил он только пять. Вероятно, остальные пять ему дали полицейские при встрече в аэропорту. Судно должно было прийти на следующей неделе, а пока Рихарду придется довольствоваться этой суммой.

В комнату проскользнула смуглая девушка, ровесница Рихарда, и села за маленький письменный стол в углу. Она начала стучать на пишущей машинке, делая вид, что не прислушивается к разговору. Она была худа, серьезна и похожа одновременно на индианку и на европейскую девушку. Когда Рихард выходил из консульства, их взгляды встретились. Девушка как-то странно поджала губы и отвела глаза. На улице Рихард прочел вывеску, где было сказано, что консульство работает также по вечерам. Он сел на старый трамвайчик и поехал в порт, по направлению к «Летящему ангелу». Он думал о девушке за пишущей машинкой, и мысли его путались.

Рихард вернулся в город задолго до закрытия консульства, и вместе с толпой пешеходов его понесло вдоль улиц. Старые негры продавали маниоку, ямс, бобы, пряную гвоздику, бананы. По улицам тарахтели грузовики, груженные сахарным тростником. Запряженные лошадьми повозки с дынями теснили осликов, изнемогающих под тяжестью корзин с лимонами. Старые автобусы то и дело выпускали на уличных перекрестках чернокожих рабочих с нефтяных промыслов. Компании пьяных американских матросов в белой тропической форме трезвели и переставали галдеть, когда в потоке машин мелькал джип военно-морской полиции.

В центре города рядом со старыми испанскими лачугами высились католические церкви, британские офисы, виллы прошлого века, новые американские банки и запущенные, аляповатые отели в колониальном стиле. Рекламные вывески оповещали о том, что здесь торгуют нефтью, мукой, рисом, асфальтом, тростниковым сахаром, сталью, рыбой. Консул вышел вместе с другими служащими, уселся в свою машину и покатил домой. Рихард немного подождал. Наконец из консульства вышла девушка-секретарша с пачкой писем, и Рихард, ничего не видя и не слыша, опрометью бросился через улицу.

— Какая неосторожность! — с упреком сказала девушка. Но вид у нее был довольный.

3

Спустя несколько дней утром к Рихарду пришли полицейские, разбудили его и сказали, что его судно уже в порту. Он еще успеет на восьмичасовую шлюпку. Рихард попрощался с желчной старушенцией, лежавшей в постели с мигренью. Ожидалась буря, и она проворчала ему вслед слабым голосом, чтобы он вел себя как следует!

Рихард сел в моторку, которую вел молодой негр по имени Уллие. На корме «Ауда» стоял капитан в белом костюме и панаме. В руке он держал сигару. Капитан строго взглянул на Рихарда, потом сунул сигару в рот и задымил.

«Ауд» был пришвартован к огромной барже для перевозки боксита. Рихард ухватился за штормтрап. Волна окатила его до колен.

Когда он поднялся на палубу, хлынул дождь, сильный и хлесткий. Матросы обрадованно закричали и тут же исчезли, спасаясь от потоков дождя. Рихард тоже побежал вниз, под палубу. Насквозь промокшие, взволнованные матросы рассаживались в кают-компании, хлопали его по спине. Паренек-индеец из Гвианы принес кофе.

Рихард показал им вырезку из «Кингстон таймс», где говорилось о его заплыве. Все ею заинтересовались. Рихард был по-настоящему горд. Матросы бурно обсуждали заметку и выставляли одну бутылку за другой.

На следующий день из трюмов были выгружены последние остатки руды, «Ауд» снялся с якоря и взял курс на Парамарибо. Рихарду велели вымыть палубу. От боксита судно стало бурым, но Рихард был рад, что ему не пришлось задраивать трюмы.

Пока штурман дремал на крыле мостика под тентом, Рихард, стоя на вахте у штурвала, заглянул тайком в карту. К юго-востоку находилась французская Гвиана. Остров Дьявола выглядел на карте как мушиная отметина. Французы наверняка еще держали на нем не одну сотню каторжников. К западу от французской колонии располагалась голландская Гвиана, куда они сейчас плыли.

Услышав шаги капитана на трапе, Рихард отскочил от карты и встал на решетчатый настил у штурвала. Обе двери в рулевую рубку были раздвинуты. Но из них не веяло прохладой. Судно шло на юго-запад со скоростью северо-восточного пассата, так что ветер не чувствовался.

У них не было ни вентиляторов, ни кондиционеров, «Ауд» был настоящей душегубкой, тем более при полном штиле. В такой жаре даже змее стало бы плохо. Проверяя, как Рихард держит курс, капитан Ульсен несколько раз сердито пробуравил его взглядом. Впрочем, норвежские капитаны не были такими свирепыми, как шведские. На шведских судах дисциплина была строже. Капитан прогуливался по мостику взад-вперед. Он потел, тяжело вздыхал, без конца вынимал карманные часы, открывал крышку и глядел на циферблат, но ни словом не обмолвился с Рихардом о его марафонском заплыве.

Первые трое суток Рихард стоял за штурвалом по десять часов подряд. Наконец показалось низкое, заболоченное побережье. С мостика было видно далеко вокруг, и Рихард глядел на болота, мокрый от дождя тропический лес и город.

Они подошли к Парамарибо, плоскому, белому, типично голландскому городку среди зеленых джунглей под экваториальным солнцем. Негры и мулаты говорили здесь по-голландски. В Парамарибо было полно индусов, яванцев и китайцев. «Открыватели Вест-Индии приняли ее за настоящую Индию,— вспомнил Рихард.— Потом ошибка обнаружилась, и людей отсюда стали быстро вывозить, чтобы вконец не опозориться». В Парамарибо индейцев было больше, чем в Порт-оф-Спейне, зато почти не было белых, если не считать бывших каторжан с Острова Дьявола. Теперь они плели корзины, продавали всякую всячину туристам и напропалую врали о годах, проведенных на каторге.

На следующий день «Ауд» пошел вверх по реке к Мунго. Им повстречался «Вестванген» из Бергена, покрытый пылью, ржавчиной, грязью. Вид у него был ужасный, и для людей с «Ауда» было весьма неприятно сознавать, что их судно выглядит точно так же.

Вскоре голландский городок с его нарядными, опрятными домиками, ярко раскрашенными ставнями и дверями под красными черепичными крышами остался позади. Теперь по обоим берегам реки высились заросли тропического леса.

Переход до Мунго занял двенадцать часов. Команда пила без просыпу, а Рихард стоял у штурвала. По берегам все еще тянулся девственный, насыщенный испарениями лес. Он был по-прежнему

густой, однако то здесь, то там начали появляться просветы. На расчищенных участках виднелись хижины и вытащенные на берег каноэ. У излучины реки расположился крошечный, похожий на африканскую деревушку поселок.

Последние три часа «Ауд» шел на буксире, кормой вперед. Они приблизились к Мунго, и им почудилось, будто над джунглями взвилась песчаная буря, а над поселком стоит горячий столб пыли.

Сам Мунго оказался просто скоплением хижин и развалюх среди зарослей кустарника. Пароход разгружался транспортерами. Руда текла в хранилища грохочущими, дымящимися потоками. Все судно покрылось пылью.

Те, кто помоложе, сошли на берег. На следующий день, закончив погрузку, они собрались в обратный путь, когда один из кочегаров вернулся на судно избитый до полусмерти. Это был Джек, канадец лет тридцати. Его отдубасил белый полицейский. Голландских фараонов в Вест-Индии ненавидели и боялись, они были хуже французских, английских и туземных фараонов, вместе взятых.

Наконец, «Ауд» отчалил, некоторое время буксир тащил его вниз по реке, затем они двинулись в обратный рейс своим ходом.

Сменившись с вахты, Рихард голым уселся в каюте. Он задыхался от жары и обливался потом. Порыться в книжках он еще бы мог, но читать был не в состоянии. Он сидел, вертя в руках фотографию Селии, девушки из консульства, подаренную вечером накануне отъезда. Селии было тоже семнадцать лет, но быстрая смена настроений и серьезное выражение ее смуглого лица говорили о том, что в душе она взрослее своих лет.

В Парамарибо, где «Ауд» задержался на половину дня по неизвестной причине, Рихард отвел Джека в портовую больницу. Врач-индиец наложил Джеку на лицо швы и проверил, не сломаны ли ребра.

Они вернулись на судно, Джек пригласил Рихарда к себе в каюту и достал несколько бутылок пива. Раньше Джек плавал механиком на канадских судах. Когда началась всеобщая забастовка канадских моряков, Джек, профсоюзный активист, стал одним из руководителей забастовки. Забастовка была объявлена незаконной. Канадским судовладельцам пришли на помощь американские фрахтователи, крупные тресты и монополии, владеющие природными богатствами Южной Америки. Суда должны были перевозить награбленную ими добычу, а перебои в перевозках означали миллионные убытки. Поэтому руководителей забастовки схватили и приговорили к тюремному заключению. Джек был осужден заочно и получил свои три месяца по телеграфу, все чин чином. Едва судно на пути домой прибыло на Тринидад, Джек сошел на берег. Он не собирался сидеть в тюрьме и нанялся кочегаром на «Ауд». А теперь он здесь, и его до полусмерти избил голландский фараон, настоящий фашист.

Джек добавил, что сбежал бы с «Ауда» и устроился в Порт-оф-Спейне. Но Канада и Тринидад входят в Британское содружество наций, поэтому никогда не знаешь, не взбредет ли фараонам-англичанам в голову выдать его Канаде. Скверно, что на «Ауде» не перейдешь из кочегаров в механики. В худшем случае им придется ходить между Мунго и Порт-оф-Спейном целых два года. Какое-то время это чертово судно уже плавало здесь, на юге, по контракту. Недавно оно побывало на севере, в Штатах, там с него, слава богу, счистили грязь, но оно опять успело закоптиться, начав мотаться туда и обратно.

Рихард не собирался задерживаться на «Ауде». Но пока еще можно было не спешить. Он рассказал о Селии. Джек заметил, что хорошо, когда есть девушка, иначе на море в два счета сопьешься. Сам он не хочет быть жалким бродягой, у него есть право на честную работу и достойную жизнь. Однако договоры и требования

профсоюзов не выполняются. Джек на чем свет стоит ругал американцев, для которых приходится возить этот треклятый боксит, чтобы они производили еще больше бомбардировщиков, прибирали к рукам все новые месторождения и выжимали последние соки из местного населения. Джек добавил, что канадцы ненавидят богатых янки, ибо те с помощью своих капиталов превращают Канаду в провинцию Соединенных Штатов, поэтому профсоюзную борьбу против американского капитала нужно вести вместе с американскими рабочими.

Рихард принялся рассказывать о своих приключениях на пути к Новому Орлеану. Но Джек перебил его, заметив, что Рихард побывал в США, по существу, мимолетом, вроде туриста. С американскими рабочими все в порядке, но капиталисты начали активное наступление на рабочее движение. Они засылают своих людей в профсоюзы и подрывают их изнутри, действуют хитростью и подкупом. Изданы законы, которые направлены против забастовок, а всех, кто борется за свои права, называют коммунистами. Возводится клевета на профсоюзных активистов и прогрессивную интеллигенцию, иностранцев преследуют, высылают, в тюрьмы посажено немало замечательных людей. Многих парней в Канаде, как и самого Джека, засудили ни за что.

Пиво кончилось, и когда Рихард уходил, Джек дал ему брошюру, просил прочесть на досуге и подчеркнуть непонятные места. Джек потом их объяснит. Словом, Рихард сможет попрактиковаться в английском, а заодно узнает кое-что о социализме.

«Ауд» бросил якорь на рейде, ожидая швартовки у одной из барж. Было воскресенье. Джек чувствовал себя лучше и сказал, что может двигать руками и поворачиваться уже не больно. Джек с Рихардом сели в шлюпку и отправились на берег. Настроение у них было отличное. Они прогулялись под пальмами в парадных, только что отутюженных штанах хаки, свежевыглаженных рубашках хаки с короткими рукавами и до блеска начищенных ботинках. В нагрудном кармашке у каждого лежала пачка сигарет «Лаки страйк». Аккуратно причесанные, стройные, худощавые, они во все глаза глядели на американцев, круглолицых, с короткой стрижкой, похожих на марципановых поросят. На американцах были роскошные габардиновые брюки, и на каждом красовались большие темные очки, как у летчиков. Джек ткнул Рихарда в бок и сказал, что янки делают вид, будто они все до одного летали на истребителях «Мустанг». Никто не любил янки.

Хотя Джек с его синяками и заклейками на лице внушал опасение прохожим, человеком он был мягким и добрым. Рихард с гордостью посматривал на своего нового друга. Джек свистнул извозчику, и когда они вышли в городе из экипажа, то чувствовали себя настоящими принцами.

4

Селия огорчилась, что Рихард пришел к ней только вечером. Она так ждала его! Рихард рассказал ей о Джеке, какой он замечательный товарищ. Селия пожалела, что у нее самой нет веселых и интересных друзей, ей приходится день-деньской изнывать от скуки в офисе гнусного старикашки-консула. Мать ее стояла на заднем дворе у плиты, помешивая в кастрюле. Она громко, будто ее щекотали, захохотала, услышав, как ее дочка живописует своего патрона. Матери Селии было всего тридцать два года. Дочь она родила в пятнадцать. Ее индийская семья выгнала обеих из дому, все от них отвернулись, и мать Селии перебралась в Порт-оф-Спейн. Здесь она прожила семнадцать лет, работала ради дочери до изнеможения, во всем себе отказывала, лишь бы Селия ходила в хорошую школу и

научилась печатать на машинке. В смоляных волосах матери уже серебрилась седина — свидетельство перенесенных невзгод.

Рихард находил ее красивой: большие черные глаза, печальное лицо. Она взлохматила дочери волосы, засмеялась, а потом спросила, не собирается ли Селия пойти по ее стопам и родить ребенка от белого мальчика, о котором вскоре не будет ни слуху ни духу?

— Ну уж нет, милая мамочка,— твердо ответила девушка, отвернувшись от Рихарда. Тогда мать расхохоталась еще пуще и сказала, что полагается на них обоих, а потом взъерошила волосы и Рихарду.

Селия с матерью снимали комнату под самой крышей дома, плотно окруженного другими зданиями. Кухня и водопроводный кран находились во дворе, под навесом из гофрированного железа. У новых знакомых Рихарда было уютно. Правда, ни их одежда, ни обстановка не напоминали о том, что они выходцы из Индии. Мать работала швеей в мастерской, была активисткой своего профсоюза, выступала против Вест-Индской федерации. Тринидад и Тобаго должны стать по-настоящему независимыми и свободными. Собственный флаг и парламент еще ничего не значат, пока иноземцы владеют богатствами страны. И вообще, если страна не добьется независимости, придется перебраться в Лондон. Здесь станет только хуже. Селия тоже мечтала о Лондоне. Они готовы уехать хоть сию минуту, сказала она.

Многие жители островов британской Вест-Индии уже эмигрировали, все только и говорили о Лондоне. То же самое было и в голландских колониях. Небольшие пассажирские теплоходы, доверху забитые эмигрантами, регулярно курсировали от британской и голландской Вест-Индии до метрополий (Рихарду не приходилось сталкиваться с французской Вест-Индией, но поговаривали, что там положение не лучше).

Рихард пересказал слова Джека, что вывозить боксит для янки — форменная кража, а капитан «Ауда», в сущности, повинен в сбыте краденого. Мать Селии захотела познакомиться с Джеком. Ведь Рихард без конца рассказывал о своем друге. Интересно, что скажет Джек о настроениях простых людей? Ей хотелось бы узнать его мнение. Бедные, больные, безработные — вот у кого крадут богатства их собственной страны.

— Ради бога, мама! — взмолилась Селия и позвала Рихарда гулять. Мама вечно всем недовольна. Мать обиделась. Еда будет скоро готова, сказала она, и ждать их она не намерена.

На улице Селия взяла Рихарда за руку и внимательно на него посмотрела. Он не должен обращать внимание на маму!

Рихард кивнул головой, собрался с духом и пробормотал, что тосковал по ней. Селия улыбнулась и, тихонько вздохнув, сказала, что тоже по нему скучала. Он попытался поцеловать ее, но она уклонилась, так как на улице было слишком много народу, и он не нашел ее губ. Селия крепко сжала его руку.

— Пойдем куда-нибудь,— прошептала она.

Они шли, прижавшись друг к другу. Он вдыхал запах ее волос и чувствовал себя на седьмом небе.

Они миновали порт и верфь, где стояли лодки и маленькие пароходы. Знакомые места: заросли кустарника, мусор. Зато в это время здесь безлюдно, и никто им не помешает смотреть на рейд, где маячат тени трамповых сухогрузов, дружелюбно помигивавших фонариками. Они уселись на деревянный ящик. Вечерело, от моря и лодчонок тянуло чем-то терпким, приятным. Когда Рихард повернулся к Селии, она взяла его за уши и, притянув к себе, стала целовать не отрываясь.

На следующий день Рихард привел Джека. Мама Селии поначалу смущалась, но Джек был в хорошем настроении и, по своему обыкновению, добродушно шутил. Постепенно она оттаяла.

А Селия повела Рихарда на индийский фильм. Вернувшись домой, они обнаружили, что новые знакомые сидят, не сводя друг с друга глаз. Мама Селии называла канадца «Джек, дорогой», а он ее — Шаки. Оба были серьезны и хотя спросили, понравился ли фильм, но Рихарда и Селию не слушали.

На другой день «Ауд» взял курс на Парамарибо. Рождество они встретили в Мунго. Несколько парней сговорились разыскать и проучить фараона, избившего Джека, но тот строго-настрого запретил им это. Боцман собрал работавших на палубе, а Джек — тех, кто потел в машинном отделении, и со всех взял слово ничего не затевать. Джек, во всяком случае, не намеревался сходить на берег в этой дыре и считал самым разумным, если бы товарищи последовали его примеру.

Рихард так и поступил. Впрочем, большинство тоже. Никому из них не нравились ни Мунго, ни Парамарибо, особенно в рождественские дни. (Вскоре команда начала увольняться на берег только в Пюрт-оф-Спейне.)

Капитан «Ауда» Ульсен, полновластный хозяин судна, не терпел ни малейшего вмешательства в свои дела. Ему нравилось, когда у штурвала стоял Рихард, ибо сам предпочитал объясняться на норвежском. Вскоре боцман взял за правило посылать Рихарда на штурвальную вахту, и тот фактически стал рулевым. Поэтому его житье-бытье на «Ауде» было сносным.

Джек и Рихард сели в первую же шлюпку, направлявшуюся к берегу. Они спешили к своим «девочкам». С собой у них было беспошлинное пиво. Джек вез еще шаль для Шаки. Рихард решил не отставать от него и купил Селии сандалеты: у нее такие красивые ножки! Шаки очень обрадовалась приходу мальчиков и не могла наглядеться на Джека. Она закуталась в шаль и с радостным смехом закружилась по комнате. Селия давно не видела ее такой счастливой.

Селия крепко взяла Рихарда за руку, и они выскользнули на улицу. Они шли по городу и целовались. И опять очутились около верфи с маленькими пароходами и лодками. Он шепотом спросил ее:

— Как ты думаешь, можно стать новым человеком?

Она удивилась, не поняв. Он попытался объяснить. Можно ли полностью измениться и в то же время остаться самим собой? Ну все равно как превратиться из школьника в моряка, из индианки — в англичанку? Селия тихонько засмеялась и ответила, что можно, конечно, переехать из деревни в город. Только Рихарду не нужно меняться слишком сильно, он и так хороший. Она обвила руками его шею...

Рука об руку они возвратились в город. Рихард был счастлив, вот только когда Селия принялась расспрашивать о его доме и семье, он либо отмалчивался, либо бормотал что-то невразумительное. Селия сказала, что он ведет себя как ее мама, которая старается забыть свое прошлое. Чтобы сменить тему, Рихард рассказал, что собирается стать писателем. Вот только еще немного поотбивает ржавчину на судах, а там посмотрит.

Джек с Рихардом успели на последнюю шлюпку, шедшую на рейд. По дороге Джек рассказал ему о матери Селии: один бразильский моряк соблазнил ее и бросил, когда она была беременной. В наказание ее отправили в «заведение». Лишь через пять лет ей удалось вырваться на свободу. Жизнь обошлась с ней круто. Джек задумчиво поглаживал пальцами почти зажившее лицо. Стоило ему произнести «Шаки», как в его серых глазах появлялась нежность. Положив руку на плечо Рихарда, он сказал, что они должны чертовски бережно относиться к своим «девочкам».

«Ауд» был пришвартован к освещенной прожекторами барже. Разгрузка шла полным ходом, с лязгом и грохотом. Джек считал, что надо было остаться на берегу. При таком шуме все равно невозможно уснуть. На палубу в шлепанцах, шортах и майке вышел старпом.

— Нравятся мне янки, деловой народ,— сказал он.

Джек нахмурился. Он считал, что баржи с бокситом — это плавучие сундуки, куда набиты десятки тысяч тонн похищенного у народа добра. Он принялся ругать моряков. Несколько веков назад они сами пиратствовали. Теперь же разбойным промыслом занимаются военно-морские силы Дяди Сэма, а норвежцев нанимают по дешевке для перевозок.

Старпом страшно оскорбился, но промолчал. Он ушел к себе, а Джек до того разозлился, что завалился спать, никому не пожелав доброй ночи. После этой истории в машинном отделении стало неспокойно. Джек попытался организовать людей, но старший помощник настроил против него часть матросов, и Джеку ничего не удалось сделать. Следующий рейс Джек пропустил. Он остался у Шаки. Когда судно возвратилось в Порт-оф-Спейн, Рихард пошел к ним. «Девочки» были на работе. Джек утверждал, что положиться можно только на двух финнов из машинного отделения. Но без профсоюзной организации на «Ауде» работать нельзя. И теперь-то невыносимо, а станет еще хуже. Он давно заметил, что норвежцы хотят избавиться от него. На судне его называют коммунистом, что вообще-то лестно, только не для капитана и его приспешников. Они относятся к Джеку как пасторы к сатане.

В очередной рейс Джек все же отправился. И в следующий тоже. Но его хватило лишь на три месяца. Джек враждовал со старпомом, призывал бойкотировать сверхурочную работу, требовать увеличения команды и соблюдения нормальных условий труда в машинном отделении. Его уволили.

Рихард понял, что без товарища ему придется плохо. За несколько месяцев челночных рейсов команда почти полностью сменилась. Пьяницы выдерживали не больше двух-трех рейсов. Рихард пошел к штурману и попросил об увольнении, но услышал в ответ, что должен дождаться возвращения в Мобил, правда, никто не знает, когда оно будет.

Несчастный и злой, Рихард сделал еще один рейс. Боцман настаивал, чтобы Рихард остался на судне. Тихий, приятный, немногословный человек, он вместе с тем обладал твердым характером. У него был свой план постепенного изменения условий работы с помощью крепкого костяка из профессиональных моряков. Несколько знающих и расторопных людей могли бы противостоять разложению команды и создать вполне сносную рабочую обстановку. Черт возьми, быть приписанным к Порт-оф-Спейну и ходить по теплым морям не так уж плохо, правда? Мечты боцмана вызывали у Рихарда угрызения совести, тем не менее он упорно настаивал на своем увольнении. Капитан Ульсен под давлением боцмана полностью освободил Рихарда от всех прочих обязанностей и официально назначил его рулевым, однако даже это не могло удержать Рихарда на «Ауде». Отбивка ржавчины и прочая тяжелая работа его не пугала. Это было в далеком прошлом. Рихард вырос и окреп, научился рассчитывать свои силы.

Однажды поздно вечером, когда Уллие в последний раз ехал на берег, Рихард сел в его шлюпку, захватив с собой все вещи. Уллие, правда, догадался, в чем дело, но не обмолвился ни словом. Рихард, не раздумывая, пошел к Селии.

В тот день здесь, оказывается, случилась большая беда. Джек жил у них две недели, и все было тихо. Но утром перед самым возвращением «Ауда» пришли фараоны, забрали Джека и упекли его

в тюрьму. Его передадут Канаде для отбывания тюремного заключения.

Шаки была убита горем. Она укоризненно посмотрела на Рихарда и разрыдалась. Рихард еще никогда не видел ее такой расстроенной. Селия тоже обливалась слезами.

Назавтра Рихард отправился к своему консулу. Англичанин сказал, что Рихард совершил непоправимую ошибку, поскольку все дела о найме и увольнении скандинавов и финнов вершит норвежский консул, а он ведет себя как диктатор и не преминет внести в черные списки моряка, самовольно ушедшего с судна. Рихарду просто запретят плавать на скандинавских судах, заставят наниматься к грекам или панамцам. Об американцах и говорить не приходится. США так сильно уменьшили свой тоннаж, что их профсоюзы враждебно относятся к чужакам. Консул весьма огорчен, но не может ничего поделать. Рихард разозлился и напомнил, что сам платил за гостиницу и никогда его ничем не обременял. Неужели, черт побери, английский консул не поможет найти работу на шведском судне? Нет, к сожалению, ни на шведском, ни на датском, ни на норвежском, ни на финском, поскольку ими распоряжается норвежский диктатор.

Позже Селия объяснила ему, что ее патрон боится испортить отношения с норвежским консулом, а до моряков ему дела нет.

5

Гостиница «Летящий ангел» была построена во время войны специально для моряков с поврежденных или потерпевших аварию судов. Сейчас Рихард, пользуясь темнотой, затаптывал в землю колючую проволоку, чтобы Селия пробралась на территорию. Он propолз ужом вслед за Селией, поднялся и схватил ее руку. Селия нежно улыбнулась ему. Они бесшумно пробежали через подстриженную лужайку и прокрались к нему в комнату.

Рихард разделся и лег на узкую кровать к стенке. Селия, посмеиваясь, глядела на него. Было очень жарко, несмотря на близость моря. На носу и на ее тонкой шее виднелись крошечные капельки пота. Она сбросила с себя сандалеты, его рука медленно расстегнула верхнюю пуговицу на ее легком платье.

Они лежали в постели, крепко сжимая друг друга в объятиях. Со стены на них смотрел Иисус, изображавший озарение на своем лице. Рихард шепнул Селии на ухо, что бог, наверное, был негром.

Селия сообщила Рихарду важную новость. Мать побывала у Джека в тюрьме и предложила ему все свои сбережения. Их хватило бы, чтобы его отпустили под залог и на адвоката. Тогда Джек смог бы обжаловать решение о высылке. Но Джек не согласился и стал уговаривать Шаки переехать в Ванкувер, откуда он родом. Он собирается отсидеть сколько положено в Канаде. За эти три месяца Шаки с Селией могут обосноваться в Ванкувере. Так что скоро они купят билеты на первое же судно до Квебека или Монреаля. А потом на поезде доедут до Ванкувера.

— А как же Лондон? — растерянно спросил Рихард.

О, мечты о Лондоне улетучились после рассказов Джека о Канаде, не такой расистской, как «Англичания», передразнила она. От Джека они услышали о пальмах в его родном городе и о теплом Тихом океане.

— Ванкувер — остров с умеренным климатом,— шептала Селия.— Во много раз больше Тринидада и красивее.— Они поселятся в городе Виктория, он похож на Порт-оф-Спейн, только без такой грязи, бедности, сплетен. А город Ванкувер находится на материке, это шумный портовый город, зато Виктория — настоящая идиллия на острове Ванкувер, с кедровыми лесами и плодородными долинами между

синеющими вдали горами. Джек вместе с товарищами купят рыбачью лодку. И заживут они припеваючи.

«Как в сказке»,— подумал Рихард, прижавшись ртом к маленькому прохладному ушку Селии. Его смешила ее горячность, ее мечта о Канаде. Рихард затосковал. Он прекрасно понимал, как легко уговорить ее собраться в путь, отправиться к нарядной свободе и новенькому счастью. Заметив, что Рихард опечалился, чувствует себя забытым и ненужным, Селия прошептала:

— Джек просил передать, что Рихард тоже приглашен на остров Ванкувер.

— Хорошо, спасибо,— шепнул он в ответ, гладя ее лицо.

На душе у него было одновременно и легко и грустно. Он не хотел застревать на одном месте, но если бы пришлось сделать выбор, он предпочел бы остаться здесь, а не в каком-нибудь североамериканском городе, с его виллами, белой деревянной церковью и опрятной мэрией. «Джеку, наверное, захотелось пожить спокойно после войны и стольких лет на море,— подумал он.— И Шаки тоже не один год мечтает о том, чтобы изменить свою жизнь. Но они думают только о себе. А кто подумает о нем?!»

— Расскажи о своем детстве,— попросила Селия.

— Шла война,— прошептал он,— и я сидел у камина и мерз.

Она засмеялась:

— А я не мерзла. Ну иди ко мне.

Они оделись и выскользнули на улицу. Небо окрасилось в ярко-пурпурный цвет. На море было тихо. Рихард проводил Селию до дома.

— На днях забегу тебя проведать,— солгал Рихард.

Он искренне желал ей счастливого пути в Ванкувер и обрадовался, увидев, как она просияла. Селия крепко обняла Рихарда и сказала, что в нем еще много ребяческого, но держится он молодцом. Прежде чем Рихард успел ответить, она горячо поцеловала его и побежала к себе.

А Рихард поплелся в гостиницу по утреннему Порт-оф-Спейну. В закоулках свистел ветер. Шумели пальмы. Горланили петухи. Все это не могло не поднять настроение. Каждое утро означало возможность перемен.

Придя в «Летящий ангел», Рихард узнал, что выселен оттуда. Его сосед, шотландец, наябедничал: в комнате побывала девушка, ограда сломана! Однако выселение не показалось Рихарду катастрофой. Бодрое настроение не покидало его. Внезапно он понял, чего ему не хватало: работы на настоящем судне. В море он будет много читать, да и писать тоже. Предательство шотландца лишь ускорило неизбежный отъезд.

Целый день Рихард провел в безуспешных поисках работы. Ему предложили место на датском судне, но когда Рихард пришел в норвежское консульство, чтобы оформить документы, у него ничего не получилось. Однако и этот отказ не слишком расстроил Рихарда. «Датчанин» пошел домой, а Рихард решил, что Европа еще подождет.

Рихард переночевал на «Вествангене», стоявшем на внешнем рейде, а утром шлюпка довезла его на трамповый теплоход «Тайгер-Бей», который шел из Южной Африки в Нью-Йорк под норвежским флагом. Штурман, согласившийся взять Рихарда, оказался шведом из Бруклина. «Тайгер-Бей» был первоклассным судном и резко выделялся на рейде среди ржавых посудин с бокситом своей чистотой и ослепительной белизной. Штурман посоветовал Рихарду немедленно плыть на берег, так как с набором команды торопились. Рихарду понравилось на «Тайгер-Бее». Набравшись смелости, он сказал, что попал в черный список, и объяснил причину.

Штурман, худощавый человек лет сорока, огорчился и заговорил о норвежском консуле. Если пойти ему наперекор, то в черный список может попасть само судно и даже вся пароходная компания. Рихарду, пожалуй, ничего другого не остается, как подыскать панамское судно и убраться отсюда подобру-поздорову, пока... Глядя на юношу своими ясными голубыми глазами, штурман вспомнил об одном безработном пареньке из Ньюпорт-Ньюса. Его разыскивала иммиграционная служба, поэтому он боялся показаться на бирже труда. На «Тайгер-Бей» он прицел пожаловаться землякам на свою судьбу и подкормиться бесплатным обедом. К обеду ему дали виски, а когда паренек протрезвел, «Тайгер-Бей» был уже в море. Народу не хватало, поэтому паренька взяли на работу. В теперешние времена людей всегда мало.

Штурман вышел из каюты и закрыл за собой дверь. А Рихард растянулся на полу, положил под голову свой матросский мешок и моментально заснул. Проснулся он, когда судно было готово к отходу. Сон как рукой сняло, Рихард перепугался. Через иллюминатор он увидел, как от борта отплыла шлюпка, одновременно матросы подняли забортный трап. Рихард вспомнил о Селии, и его охватила тоска. Неужели он потерял ее навсегда? Он попытался открыть дверь, но она была заперта. «Штурман»,— догадался Рихард.

Утром каюту открыли и «обнаружили» Рихарда. Штурман повел «зайца» к мостику, где, широко расставив ноги, стоял капитан, рыжий и грозный. Упершись руками в бока, он хмуро уставился на юношу.

— Я зашел к старшему штурману спросить, нет ли у вас работы,— заговорил Рихард.— И заснул, а когда ночью проснулся, каюта была заперта, судно шло полным ходом.

Капитан смягчился. Взглянув на штурмана, спросил, улыбнувшись, не собирается ли тот нанять Рихарда? Как ему нравится его шведский земляк, прославший все на свете? Да, штурману он нравится. И Рихарда без особых формальностей взяли в команду.

Прежде чем спуститься в кубрик, Рихард немного постоял на полуюте. Тринидад давно скрылся за горизонтом. Он по-прежнему тосковал по Селии, но ему уже было не так больно.

На «Тайгер-Бее» царили уют и порядок. Моряки одобрительно отзывались о нем: «Хорошее судно!»

Судно считалось хорошим, если матросы не уходили с него по доброй воле. На таком судне время бежит быстро, недели и месяцы идут друг за другом в спокойной череде вахт, на которые разделены сутки. Но когда «Тайгер-Бей» пришел в Нью-Йорк, а оттуда собрался в Европу, то Рихард уволился с судна и сошел на берег в Бруклине, хотя ему было жаль расставаться с новыми товарищами.

Нью-Йорк стонал от майского зноя. Сотни бруклинцев искали прохлады у моря.

Рихард пошел в город и снял дешевую комнатенку на Шестьдесят девятой улице. У Рихарда были грандиозные планы. Неделю он посвятит «охоте» на джаз. А потом доедет на попутных машинах до западного побережья и там опять наймется на какое-нибудь судно.

Неделю в Нью-Йорке Рихард распланировал строго, как научную экспедицию. Днем он бродил по Бруклину и слушал итальянцев, русских, греков и скандинавов. Когда жара становилась нестерпимой, он купался с местными жителями в порту. Тяжелее всего было после обеда. Иногда в поисках прохлады он спускался в метро, как это делали миллионы других обитателей города. Или шел в кинотеатр с кондиционером. Бродвей был напичкан кинотеатрами, где в перерывах между сеансами играл джаз.

Вечерами Рихард ехал на метро в Таймс-Сквер. Нередко в обществе матросов. Они шли в бар Джека Демпси[1], чтобы почтительно пожать руку самому кумиру. Затем Рихард отправлялся на Пятьдесят вторую улицу, чтобы вновь погрузиться в океан звуков.

Существовали забегаловки, где вход был бесплатным. Там играл пианист или маленький оркестр. В других местах за вход надо было платить полтора доллара.

Рихарду казалось, что он плывет в сверкающих потоках музыки. Танцевальные салоны с джазом имелись повсюду, в каждом квартале играли самые талантливые музыканты того времени. В Бруклине он видел королей бопа и блюза, суинга, там же он слышал незамысловатый диксиленд. В Гарлеме — бесподобный ритм-энд-блюз. Тогда еще можно было ходить по Нью-Йорку до самой ночи, ничего не боясь.

Музыка была везде, всегда, в любое время суток. Люди играли на улицах, в парках, на крышах Бруклина. Можно было проснуться под арии из итальянских опер, а заснуть под звуки меланхолической губной гармошки. Но больше всего Рихарда интересовала негритянская музыка. Люди смеялись и плакали, надрывались на работе и пили, ненавидели и грустили, и все это выражалось в их музыке там, внизу, в ущельях между уходящими ввысь небоскребами. В этой музыке бился громкий, частый пульс большого города. Она была бархатно-черной, как джунгли, где бродят пантеры, и асфальтово-блестящей, как дождливая городская ночь.

Тем не менее господствовала здесь совсем иная, лицемерно-приторная музыка. Ее передавали по радио. Более дюжины радиостанций насаждали рекламу американского образа жизни примитивными песенками-однодневками о сладостной любви и беззаботной юности.

Странным городом был Нью-Йорк. Со своими восемью миллионами жителей он казался таким же вольным и миролюбивым, как стотысячный Порт-оф-Спейн. Нью-Йорк был человечным городом. Лица тут выглядели хмурыми, но никто никого не боялся. Здесь царила массовая безработица. Жилось скверно. Бедность бросалась в глаза повсюду — и в Бруклине, и в Бронксе, и в Гарлеме. Но общаться с людьми было легко, они оставались дружелюбными, открытыми и помогали друг другу. Минуло тридцать лет, и Нью-Йорк сделался адом разобщенности и страха, разрастающейся мусорной свалкой, где все враждебно человеку. Рихарду Нью-Йорк помнился совсем другим, но съездить туда и сравнить прежние впечатления с новыми он уже не мог, ибо американцы стали настолько пугливы, что теперь (в 1979 году) Рихарда просто не пускают в США.

6

Однажды в воскресенье Рихард сел на пригородный поезд и вышел в Уэст-Пойнте. Он остановился на автостраде, ведущей в Чикаго, и поднял вверх большой палец. Так началось его путешествие на попутных машинах. Он на всю жизнь заполнил «свой» первый автомобиль — изящный, сверкающий лаком и никелем «олдсмобиль седан» модели 1946 года, с четырьмя дамами, осматривавшими в Уэст-Пойнте военное училище и исторические достопримечательности. Вероятно, их сыновья были ровесниками Рихарда, который пришел в замешательство, поскольку женщина за рулем оставалась большой редкостью как между Стокгольмом и Гётеборгом, так и между Нью-Йорком и Мобилом.

Рихард догнал степенно затормозивший черный автомобиль и открыл дверцу. Пахнуло духами. Четыре пары приветливых и одновременно настороженных глаз уставились на него. Рассмотрев Рихарда,

[1] Джек Демпси — американский боксер-профессионал, чемпион мира 1919—1926 гг.

дамы успокоились. На них были яркие, пестрые хлопчатобумажные платья, летние перчатки и цветистые шляпы. Та, что сидела за рулем, была вся в кольцах. Браслеты на запястьях, кольца в ушах, на пальцах под сетчатыми перчатками. Рядом с ней сидела дама в шляпе с широкими полями и шелковыми лентами, а на заднем сиденье — женщины с букетами цветов на коленях. «Какой молоденький,— подумалось им.— И с каким мешком! Интересно, далеко ему?» Рихард ответил, что хочет попасть в Ванкувер. Пассажирки разволновались. Но дама с кольцами улыбнулась ему в зеркальце заднего обзора и одобрительно кивнула. На сердце у него стало легко и весело.

Они провезли его почти двести миль [1] через Аппалачи до северо-западной Пенсильвании. Рихард прекрасно усвоил уроки, полученные им в прошлом году на пути к Мобилу, и теперь действовал почти автоматически. Он не задумываясь назвался в этом шикарном «олдсмобиле» студентом. Стоявшее в паспорте «учащийся» превратилось при переводе в «студент». Студенты, когда не посещают университетских лекций и не готовятся к экзаменам, странствуют по дорогам, ездят на попутных машинах и знакомятся с жизнью. А к студентам из Европы американцы были особенно доброжелательны.

Дамы бесспорно сочли Рихарда «студентом», поэтому были с ним любезны и вели светские беседы о Европе, музеях и картинных галереях, сожалея о том, что в США народ туп и невежествен, газет не читает, а только ест да спит и готов все проспать. Зато у нас есть студенты! И какие! Студенты отовсюду! Здоровая, молодая кровь течет по жилам усталого тела и расцветает румянцем на лице страны!

Двести миль — далекий путь даже для Америки. Последние пятьдесят (полтора часа осторожной езды) Рихард проспал, а когда проснулся, увидел, что машина остановилась в маленьком городке. На улице было темно, дамы выжидающе смотрели на него.

Рихард раскланялся на прощание, при этом женщина за рулем так ему подмигнула, что он покраснел. Он нашел полицейский участок и попросил устроить его на ночлег. После того как Рихард показал паспорт, просьбу исполнили. Его отвели вниз и заперли в пустой камере на десять арестантов, где он благополучно заснул, хранимый улыбками приветливых дам.

На следующий день Рихард добрался до Кливленда и, пройдя пешком весь город, вышел на автостраду. Но уже наступил вечер, полил дождь. Поэтому он возвратился в город. Автомобилисты предпочитали не останавливаться в темноте и не брать промокших до нитки попутчиков. Он расспросил конного полицейского, как пройти к вокзалу, и пожертвовал на билет до Чикаго половину отложенных на дорогу денег.

Весь день Рихард бродил по центру Чикаго, то и дело пересчитывая оставшиеся деньги. Он отдал брюки в химчистку, там же ему отутюжили их, пока он ждал в одних трусах. Первую ночь Рихард провел за пятьдесят центов в ночлежке.

Утром, полистав телефонный справочник, он обнаружил десятки названий обществ, фирм, предприятий, ресторанов, больниц и домов для престарелых, начинавшихся со слова «шведский». Зажмурив глаза, Рихард ткнул пальцем в середину страницы и попал в Шведский баптистский приют для престарелых. Он находился далеко на окраине, на Саут-Белл авеню, и Рихард не хотел больше рисковать в чужом городе. «Чикаго» на языке индейцев означает «сильный» или «мощный». Однако побывав в ночлежке, Рихард решил, что было бы правильнее назвать его «грубым» или «жестоким». Нью-Йорк показался ему более приветливым. Опустив монетку, он позвонил баптистам. Ответил мужчина, говоривший по-английски и обрадовавшийся,

[1] Английская миля — 1609 м.

когда Рихард спросил, не говорит ли он по-шведски. Рихард сообщил, что он моряк, и поинтересовался, не найдется ли для него какой-нибудь работы на недельку-другую. Рихард правильно поступил, сделав ставку на «моряка». Добрые христиане, конечно же, попытаются вывести заблудшего моряка на путь истинный. А студентов они побаиваются. Это он усвоил еще в «Летящем Ангеле».

Пригородным поездом Рихард доехал до красивого, опрятного района на южной стороне озера, с просторными виллами, утопающими в садах, похожих скорее на целые парки. Приют для престарелых назывался «Фридхем». Он помещался в уже неновой вилле из темного кирпича с белыми оконными наличниками и роскошной лестницей. Когда-то вилла принадлежала миллионеру. В саду перед домом сидели старушки и несколько дряхлых старичков. Они пили кофе со свежими булочками. Вокруг почти прозрачных старческих голов жужжали пчелы. Тусклые взоры были устремлены на тени под высокими вязами, где неожиданно на посыпанной гравием дорожке появился Рихард с вещами. Старики и старушки заулыбались, повернувшись в его сторону, и замахали ему руками, приглашая вкусить слова божьего и пирога с малиной.

Они глядели на Рихарда жадными глазами. Он принес им новые вести из старой доброй Швеции! Они пустились в воспоминания о своей молодости и минувшем веке. Рихарду же пришлось рассказывать едва ли не все, что произошло за минувшие пятьдесят лет. Вскоре он понял, что директор, говоривший с ним по телефону, нанял его главным образом для того, чтобы Рихард составил старикам компанию и поведал им шведские новости. Рихард пил кофе, ел пирог и выдумывал для старичков и старушек такую идиллическую и беспроблемную Скандинавию, что у тех от волнения пропал всякий аппетит.

В чикагском «Фридхеме» состоялся писательский дебют Рихарда. Небылицы, которые он рассказал, принимались за чистую правду. Доброжелательный директор, знавший, как обстоят дела в действительности, ни разу не прибегнул к цензорскому «красному карандашу». Он бывал дома после войны. Но ему не хотелось вносить поправки, настолько полная гармония установилась между сказочником и его благодарными слушателями. Формально Рихарда наняли на две недели, чтобы помогать дворнику. Он помогал ухаживать за садом и посыпал гравием дорожки, а главное — продолжал сочинять свои рассказы о Швеции и о других местах, которые ему довелось увидеть, скитаясь по свету.

В этом оазисе Рихард чувствовал себя превосходно. Комната у него была маленькая, но уютная и светлая, в ней было много воздуха, на окнах висели легкие прозрачные занавески, трепетавшие от летнего ветра.

Вечерами он пил кофе в саду, а его перо (в данном случае воображаемое, поскольку творчество Рихарда было устным) живописало новую, великолепную Швецию. Собеседники были дружелюбны, по-староамерикански тактичны в суждениях и сдержанны в расспросах. Сюда приехало немало людей, порвавших с Европой от отчаяния. Среди них имелись такие, кто был изгнан из своей страны, но были и такие, кто казался себе изгоем уже на родине и потому покинул ее. И все же они не желали слушать горькую правду.

Когда Рихарда спросили, нравится ли ему Америка, он не мог сказать неправду. О-о-о! — ответил он, думая о неимоверном множестве автомобилей и небоскребов, о вольнолюбии и непринужденности американцев. О-о-о! — ответил он. И собеседники улыбались, кивая. Да, да, Америка не так уж плоха. Услышав от Рихарда, что он собирается податься дальше, на запад, старушка-финка сшила ему пояс для денег. Она приехала в Америку на пароходе в 1895 году, и прежде чем двинуться на запад, все мужчины зашили деньги в пояса,

потому что к западу от Чикаго начиналась пустыня, где хозяйничали разбойники.

Так они сидели в сумерках под вязами, шлепали комаров и предавались воспоминаниям.

Перед сном старики и старушки пели псалмы, но никто, кроме директора, не пытался наставлять Рихарда на путь истинный. Вскоре и тот оставил его в покое, и Рихард почувствовал себя вполне свободным человеком. Впереди его ожидали дороги, корабли и океаны. В «Фридхеме» его ничто не удерживало.

7

Директор довез Рихарда до Оук-Парка. Там они распрощались, и, став богаче на двадцать пять долларов, Рихард продолжил путешествие в Ванкувер. Через Элджин, Белвидир и Рокфорд он доехал до штатов Миссисипи и Айовы (около Дубьюка) на машинах автолюбителя в элегантном костюме, странствующего слесаря-водопроводчика и пастора.

В Дубьюке высились верфи, на которых строились речные суда, вполне современные, на дизельном топливе. Там же Рихард увидел и белый колесный пароход, какие плавали здесь в старину. У него мелькнула мысль, не добраться ли сперва до Нового Орлеана, а уже потом — до западного побережья. На автостраде № 61 он свернул на юг и поехал вдоль реки до Давенпорта. Он пересек город и, дойдя до указателя «Сент-Луис», снова поднял вверх большой палец.

Остановившийся по знаку Рихарда автомобиль был старым и потрепанным. Подойдя поближе, Рихард тотчас повернул назад. В машине сидели четверо парней лет двадцати и что-то кричали ему. Двое на заднем сиденье пили виски прямо из горлышка. Между ними лежал дробовик. Один из них распахнул дверцу и велел Рихарду садиться, так его растак, он что, будет пялиться на них целый день? Парни были пьяны, причем сидевший за баранкой был, пожалуй, даже пьянее остальных. Машина, визгнув покрышками, сорвалась с места и выпустила густое облако дыма. Проехав несколько миль, они выпытали его фамилию и решили, что он немец. А они из принципа бьют немцев, которые попадаются им под руку. Проклятые немцы, вытесняют наших фермеров с самых плодородных земель! Или, может, он еврей? Ну-ка, давайте посмотрим, может, он обрезан, как самый настоящий еврей! Едва машина сбавила скорость, Рихард открыл дверцу и выкинул свой мешок. А когда машина, вильнув, резко остановилась поперек дороги, выбросился следом. Со скоростью заправского спринтера он рванулся к вещам, а его попутчики, еле держась на ногах и размахивая руками, устремились за ним. Омерзительная матерная ругань гноем исторгалась из их искривленных ртов. Они выстрелили в воздух, однако Рихард ловко вбежал на крутой склон. Парни, спотыкаясь и поскальзываясь, рванули было за ним, но хмель ударил им в ноги, и они отстали. В разорванной рубахе, весь в синяках и ссадинах, Рихард продрался в лес. С полчаса он бежал по лесу рысцой и лишь потом перешел на шаг. Лес был темный, дремучий. Он раскрыл Рихарду свои спасительные объятия. Отыскав тропинку, Рихард свернул на север.

Он решил: пьяные подонки действительно опасны, поэтому лучше вернуться назад, на север, раз они направляются на юг. Юг... Да, пожалуй, надо следовать первоначальному плану. Вернувшись в Давенпорт, он вышел на автостраду которая вела к Де-Мойну. Рихард решил держаться бензоколонок, где останавливаются рейсовые грузовики. Там можно присмотреться к водителю, прежде чем попросить его подвезти.

Путешествие по Айове, если не считать происшествия между Давенбортом и Маскатином, шло, как казалось Рихарду, по-деревенски медлительно и спокойно. Когда-то крестьяне распахали здесь пре-

рию, и с тех пор тут все передвигалось со скоростью плуга. Плуг мог бы стать гербом Айовы. Рихард как бы совершал небольшие скачки от одного фермера к другому. Если у фермера оказывалась для Рихарда работа, то ему разрешалось сидеть рядом в кабине. Если же рабочая сила была не нужна, приходилось довольствоваться местом в прицепе маленького пыльного пикапа. Любимая поговорка угрюмых, неразговорчивых фермеров, худощавых людей в выцветшей рабочей одежде и пятнистых от пота шляпах, гласила: «Хорошего понемногу». К сожалению, это относилось и к расстоянию, на которое подвозили Рихарда. Через Айову он пробирался, словно от одной борозды до другой, по вязкому, глинистому полю.

В этой поездке Рихард узнал, что в мире опять началась война. «Корея...» — звучал по радио серьезный голос без обычной рекламной бодрости, и теперь люди в машине против своего обыкновения слушали радиопередачи, в которых сообщалось, что коммунисты развязали войну против демократии, а Соединенные Штаты приняли вызов и объявили мобилизацию. Под удар поставлена свобода во всем мире. По радио выступил Трумэн. Он заявил, что свободный мир будет бороться до победного конца. Все свободолюбивые народы под руководством США пойдут в бой против красных орд, наступающих с севера на Демократическую Южную Корею. «Это же беда, несчастье», — было написано на лицах крестьян Айовы. Их сыновья будут погибать где-то там, в далекой Корее.

В Небраске Рихард начал понемногу ощущать масштабы Америки. Теперь его везли через безлюдные или малонаселенные места, где пустынная дорога шла вперед и вперед, миля за милей. Здесь Рихард повстречал Мэя Уэста, пылившего на своем старом грузовике по бесконечным дорогам. Рихард сидел с хозяином бензоколонки и пил кофе, когда вдали над бескрайней равниной заметил облако пыли. Это было похоже на дым из трубы старого парохода среди морских далей. Облако приближалось рывками и скачками, словно блуждающий пылевой смерч. Хозяин, отпускавший бензин и кофе, заодно угощал посетителей разными историями. К ним подъезжает Мэй Уэст, сказал он Рихарду. Мэй Уэст был старым бродягой, скитавшимся когда-то на поездах, колесом товарного вагона ему отрезало ногу в Омахе, и кочевую жизнь пришлось бросить. Теперь он ездил по деревням, занимаясь всякой всячиной. Грузовик показался на шоссе в облаке пыли и направился к бензоколонке. Черный, лакированный «форд» начала тридцатых годов.

Мэй Уэст, жизнерадостный человек лет шестидесяти с лицом, прокаленным солнцем прерий, маленькими голубыми глазками и большими коричневыми от загара руками, тяжело вылез из машины и прокричал какое-то приветствие.

Из-под широкополой шляпы он искоса посмотрел на Рихарда. Смерил его взглядом старого, опытного бродяги, привычного к большой дороге. Оглушительно прочистив горло, он спросил, куда мальчик держит путь. Рихард ответил, что в Ванкувер. Мэю Уэсту ответ понравился, и он немного помолчал. Ему налили в кружку кофе, и, пока машину заправляли бензином, Мэй Уэст поинтересовался, что же именно Рихард собирается делать в Ванкувере.

Мэю Уэсту хотелось также узнать, что Рихард за человек, и Рихард немного рассказал о себе. Здесь он мог не церемониться. Мэй Уэст сказал, что сразу все понял про Рихарда. Тяжело покончить с бродяжничеством, раз уж начал. Мэй Уэст понимал это.

— Послушай,— сказал он,— до Канады еще далеко, и рассчитывать тебе не на кого. Ванкувер от тебя никуда не уйдет.— Похоже, Рихарду не помешает немного подзаработать, хотя бы несколько долларов. Мэю Уэсту нужно в Хейстингсе продать небольшую партию железного лома. Может, Рихард хочет проехаться вместе, подсобить маленько? Если дело пойдет, то прицеп можно будет загрузить ла-

тунью, бронзой и медью. Пять долларов и приятная компания, как мальчик смотрит на такое предложение? И, захохотав громовым басом, он хлопнул себя по колену.

Потом Мэй Уэст подсадил Рихарда в прицеп, завел вручную мотор и предложил новому компаньону место в кабине, где не хватало одной дверцы.

Они с лязгом помчались прямо по пшеничному полю, океану хлеба в самом сердце фермерской Америки. Безлюдье, поля, в которых шумели хлеба. В автодорожном атласе, купленном по дешевке на какой-то бензоколонке, Рихард прочел, что в сорока восьми штатах живет около ста пятидесяти миллионов человек. В стране более трех миллионов миль асфальтированных автострад, то есть пятьдесят человек на милю. Здесь все было наоборот. Здесь приходилось пятьдесят миль на каждого фермера.

Наконец вдали показался Хейстингс с высокими фабричными трубами и элеваторами на фоне ярко-синего неба прерий. В море пшеницы все-таки жили люди. Но города оказались маленькими, и было их немного. Потоки машин стали вдруг плотными, и когда их автомобиль затарахтел по улицам города, можно было подумать, что они вернулись в США из какой-то другой, приснившейся им страны.

Мэй Уэст договорился насчет железного лома, и его двухтонку загрузили так, что заскрипели рессоры. Помощь Рихарда не понадобилась.

Затем они отправились в обратный путь и опять окунулись в великую тишину, вернувшись к реальной, настоящей Америке, с прямыми как стрелы дорогами под небом ясным и таким высоким, что когда глядишь в него, то кружится голова.

Вечером они уже отдыхали у бензоколонки, и ее хозяин опять угощал их кофе. Потом, подпрыгивая на кочках, они тряслись по проселочной дороге. И пошли ухаб за ухабом. Мэй Уэст остановился. Теперь Рихарду пришлось попотеть за обещанные деньги! Половину груза надо было оставить для другой ездки.

Рихард разгрузил не меньше тонны, и Мэй Уэст был им очень доволен. С остальным грузом они поехали по дороге, больше напоминавшей тропинку или разбитую колею, и добрались наконец до небольшой хижины со старым, рассохшимся сараем. Это был дом Мэя Уэста и его склад. Мэй Уэст загнал «форд» в серый от ветхости сарай, и Рихард принялся за разгрузку. Сарай был завален железным ломом, металлическими частями автомобилей, тракторов, комбайнов, радиоаппаратов, велосипедов и холодильников. Там стоял также пресс для тряпья и валялась кипа старой одежды.

Мэй Уэст посчитал, что оставленный груз Рихард вполне довезет один. Услышав, что тот не умеет водить машину, он решил немедленно помочь делу и устранить этот вопиющий недостаток.

Пришлось Рихарду сесть за баранку. Впрочем, учеником он оказался способным. Они забрали лом, потом Рихард разъезжал по округе уже сам. Мэй Уэст тем временем готовил обед, а его кудахчущие куры, как могли, спасались от смерти, грозившей им в лице новоиспеченного шофера.

Вечером они допоздна засиживались за разговорами.

— Давай посидим, поболтаем,— говорил обычно Мэй Уэст. Это означало, что он будет рассказывать, а Рихард слушать. Для бродяги-новичка Мэй Уэст был неисчерпаемым кладезем премудростей. Он странствовал по дорогам Америки без малого пятьдесят лет и знал все о своей стране и ее людях. Он готов был бескорыстно поделиться с Рихардом своим недешево доставшимся опытом, но сперва, если Рихард не возражает, он хотел бы промочить горло.— Дело в том,— вещал Мэй Уэст,— что в наших местах люди не притворяются друг перед другом. Они всегда такие, какие есть на самом деле, то есть не

слишком хороши. Погляди, к примеру, на меня, и увидишь, что я пьяница.

С этими словами он поднес бутылку ко рту и разом осушил ее. Потом вытер рот тыльной стороной руки и гаркнул:

— Это у меня называется «открыть второе дыхание».

Некоторое время Рихард прожил у чудаковатого торговца железным ломом. Ему хотелось научиться водить машину. Целыми днями он гонял по полям на «форде» и даже устроил для себя небольшую полосу препятствий. Вдобавок Рихард приобрел и другие полезные навыки. Что же до Мэя Уэста, то его томила жажда жизни, хотя он и помытарился вдосталь на своем веку. Его жизнелюбие было поистине неутолимым. Он пьянел даже от простой воды, которую пил огромными глотками. А уж если он брал в руки бутылку дешевого виски, то подносил ее к губам, будто собирался трубить по нотам гениальной партитуры. Бутылка ритмично булькала, а он при этом размеренно вышагивал по комнате. Иногда звуки были беспорядочны, но в финале неизменно раздавалось мощное крещендо, после чего Мэй Уэст выходил на двор, пошатываясь и опираясь на палку (он называл ее «пьяной» палкой и обходился без нее, когда был трезвым), и останавливал Рихарда, упражнявшегося в езде по пересеченной местности. Однажды со слезами на глазах Мэй Уэст пожаловался на то, что он, интересный человек, с поэтическим складом ума, вынужден влачить свое существование среди отходов индустриального общества, ибо имел несчастье очутиться под колесами товарного вагона у Омахи. Без ноги куда денешься? Мэю Уэсту всю жизнь не сиделось на месте, но теперь он застрял здесь. И застрял крепко. Хотя на самом деле он все еще был в бегах.

Потом он заплакал и рассказал о кинозвезде Мэй Уэст. Давно, в двадцатые годы, он был в нее влюблен. Выиграв в покер шестьсот долларов, он купил кольцо с бриллиантом. В ту пору она выступала в одном ночном клубе в Сент-Луисе. Он разыскал ее, отдал колечко и без обиняков спросил, не согласится ли она переспать с ним. Она ответила «да!».

Но когда он пришел в назначенное время к ней в отель, ее там уже не было, и он больше никогда ее не видел, только в кино. Но она действительно сказала «да!». А она держала слово. Этого он не мог забыть. Его любовь не осталась безответной.

Помолчав, старый хобо, бродяга, заковылял к дому. Рихард уложил его на койку, помог снять протез и поставил у изголовья ведро воды с ковшиком. Вскоре старик захрапел, а Рихард, сидя рядом и глядя на него, размышлял, от чего Мэй Уэст бегал всю свою жизнь. Этот вопрос задел за живое его самого, поэтому Рихард ответил себе, что оба они бежали, видимо, не от чего-то, а к чему-то. Потом он встряхнулся, вышел из дома, поездил еще немного и отправился в сарай, где у него была каморка. Там он растянулся на койке с одной из книг бывшего бродяги.

У Мэя Уэста было два ящика из-под сахара, битком набитые книгами. Закутавшись в свое походное одеяло, а когда было холодно, еще и в конскую попону, Рихард читал ночи напролет при свете карбидной лампы. Эптона Синклера он не брал, ему хотелось узнать новых писателей, а чтобы вернуться к Лэнни Бэдду, нужно было какое-то время подождать. С Говардом Фастом и Стейнбеком он познакомился в пору бокситных рейсов. Хемингуэя тоже уже читал. А благодаря дешевому изданию «1919» Джона Дос Пассоса он на всю жизнь подружился и с этой книгой. В «1919» речь шла об Америке. Настоящей Америке времен первой мировой войны и после нее, а ведь это была война, о которой думали, что она положит конец всем войнам.

Рихард считал этот роман Дос Пассоса лучшей из книг, попадавших когда-либо ему в руки. Ему было все вполне понятно, хотя с той поры, о которой шла речь в романе, минуло более тридцати лет. Многое казалось знакомым. Америка сочетала в себе оптимизм и отчаяние. Нет, он не утверждал, что все воспринимает точно так же, однако в книге Дос Пассоса Рихард легко узнавал американскую действительность, и поэтому роман «1919» стал для него первой правдивой книгой о жизни. После знакомства с Дос Пассосом Рихард уже не мог смотреть на Америку прежними глазами или глазами Лэнни Бэдда. Да, Дос Пассос широко распахнул для Рихарда окно в настоящий мир.

Впрочем, Рихард и сам увидел, насколько Америка многолика. В бескрайних прериях не было и помину о столичных янки, розовощекой чванливой Америке. От Донкиса Рихард слышал, что Америка сильно разбогатела в годы второй мировой войны, но к мелким фермерам, сельскохозяйственным рабочим и другим людям, которые попадались ему на дорогах в здешних местах, это не относилось. Возможно, крупные фермеры и кичились своим богатством, но Рихарду с ними сталкиваться не доводилось, в их машины его не сажали. Вдобавок такие люди летали на самолетах и следили, чтобы бродяги ненароком не зашли на их земли. По государственным дорогам между штатами передвигался совсем другой народ.

Мэй Уэст растолковал Рихарду, что война ожесточила средний класс, поэтому останавливать попутки стало трудно. Рассчитывать можно только на грузовики да на автомобильных бродяг. Теперь многие американцы жили на колесах, в своих машинах, фургонах. Им не удавалось где-либо осесть, приходилось переезжать с места на место. Промышленные предприятия перебирались в районы, где не существовало профсоюзов и рабочих организаций, или они были слабыми, а те, кто не хотел терять работу, ехали следом. На дорогах Рихарду встречались люди, которые от чего-то бежали и чего-то искали, наверное, искали Америку своей мечты.

Большинство из тех, кто подвозил Рихарда, отзывались о властях весьма нелестно, о губернаторах, сенаторах и президентах говорили с недоверием, о полиции — с ненавистью, о налоговом управлении — с презрением. Они отправлялись на поиски иной Америки, но для дома на колесах пристанища нигде не находилось, разве только случайно или за непомерную плату. Хозяева Америки взимали ее за каждый квадратный метр земли.

Многие после войны мечтали о Калифорнии, стремились к солнечному побережью, где каждый рассчитывал получить работу. А если жизнь и там пойдет со скрипом, то его заглушит грохот океанского прибоя.

Караваны автокочевников тянулись на запад, машины были перегружены, словно крытые брезентом повозки из киновестернов, с той лишь разницей, что на них не нападали индейцы. Но порой эти шхуны прерий терпели кораблекрушение, на обочинах валялись их проржавевшие, искореженные обломки. На дорогах людей гибло больше, чем в войнах, но выживших оказалось достаточно, чтобы всего за несколько лет удвоить население Калифорнии.

И все же Рихард решил пробиваться вперед. Решил твердо. По ночам, взволнованный прочитанной книгой, он лежал в своей каморке и размышлял. Хорошо тому, у кого есть выбор. Рихард-студент мог рассчитывать на машину среднего американца, только договариваться нужно на бензоколонках, где у водителей хватает времени разглядеть его и убедиться, что Рихард не покушается ни на чужую жизнь, ни на чужой кошелек. Иногда его даже приглашали домой и досыта кормили. Рихарду-моряку везло на бензоколонках меньше. Владельцы бензоколонок порой прогоняли его, когда он надеялся под-

сесть на попутный грузовик или автобус. Моряки — народ ненадежный, у приличных людей они вызывали подозрение.

Проснувшись однажды утром, Рихард обнаружил, что Мэй Уэст куда-то укатил на своем «форде». Рихард прождал его целый день, но тот так и не вернулся.

На другой день Рихард сложил вещи и зашел в хижину. У Мэя Уэста под кроватью стояла шкатулка с деньгами. Шкатулка была не заперта, в ней лежала толстая пачка ассигнаций. Рихард отсчитал свои пять долларов и написал записку, где благодарил за все. На записку он положил тридцать пять центов и приписал, что это деньги за книгу «1919», которую он не долго думая взял с собой. Потом Рихард запер хижину, положил ключ под камень у крыльца и пошел к бензоколонке на развилке двух дорог.

Он добрался туда уже поздно вечером. Владелец бензоколонки поджарил для него яичницу с ветчиной и подал к ней вкусный домашний хлеб. Мэй Уэст, сказал он, подался на восток в Омаху. За старого бродягу он не беспокоился. Такое случалось и раньше, причем довольно часто. Мэй Уэст оставался там на недельку-другую, чтобы «открылось второе дыхание».

Рихард переночевал на бензоколонке. На рассвете его разбудили, хотя на улице еще стоял пронизывающий холод, было сумрачно и тихо. У колонки заправлялся старый «де сото», в нем сидело пятеро жилистых парней в джинсах и майках с короткими рукавами. Переговариваясь вполголоса, они вышли из машины поразмяться и поглядеть на попутчика, которого перед этим дружелюбно спросили, не нужно ли ему на запад.

Багажник был забит до отказа, но они уместили вещи Рихарда на подножке, прикрыли их брезентом и надежно привязали веревкой. Трое парней заняли переднее сиденье. Рихард сел между двумя остальными на заднее. В те времена люди на дорогах интересовались друг другом. Высунув руку из машины, водители показывали друг другу, куда едут — налево, направо или прямо. Парень за рулем показал рукой «прямо», и они выехали на дорогу. Рядом с радиатором у них был укреплен бурдюк с водой, на одной подножке стояла запасная канистра бензина, на другой — лежали вещи Рихарда.

Рихард долго гадал, кем были его спутники, точнее решал, кем отрекомендоваться самому. Рихарду показалось, будто парни держались немного натянуто, были не слишком разговорчивы и относились к нему настороженно.

Судя по разговорам, это были студенты-историки, вчерашние солдаты. В университетах было полно демобилизованных, им давали возможность учиться бесплатно, чтобы отблагодарить таким образом за участие в войне и одновременно скрыть, что общество не в состоянии обеспечить работой вернувшихся из армии.

«Мясники опять затеяли войну»,— считали попутчики Рихарда. Они поглядывали на него, ожидая его реакции.

Парень за баранкой сказал, что пора перевести часы, так как они переезжают в другой временной пояс, и, пока они занимались этим, Рихард вскользь обронил, что он — моряк. Он читал Дос Пассоса и знает, что история США вовсе не такая, какой ее показывают в кино, ибо в ней было много крови.

При слове «моряк» парней словно подменили. Они заговорили с Рихардом по-дружески и хорошо отзывались о скандинавских моряках. Ребята представились ему как подагается. Вел машину Пит, впереди рядом с ним сидели Джо Маленький и Эрнест. На заднем сиденье справа от Рихарда расположился Тони, слева — Джордж. Они из Балтимора, крупнейшего города штата Мэриленд или «свободного штата», как именовал его шведский журнал «Дэт беста», да и американцы среднего достатка. С пятнадцати лет работали эти ребята на

сталелитейных заводах, на верфях, а вместо благодарности их занесли в черный список и всячески преследуют. «Свободным» Мэриленд был только для реакционеров.

Позади остались пшеничные поля. Теперь дорога шла в гору. Выбравшись на пустынное плато, парни остановились у бензоколонки, чтобы поесть. Ребята думали, что Рихард студент, сказал Пит за чашкой кофе, и, наверное, едет в Йеллоустон, национальный парк, так как многие студенты летом работают в Йеллоустоне. Рихард показал фотографию Селии, поведал о рейсах с бокситом и о Джеке, своем канадском друге, сидевшем в тюрьме за профсоюзную работу. Тут спутники Рихарда принялись хлопать его по спине и наперебой говорить, что теперь солидарность нужна еще больше, чем прежде, и что скандинавские моряки молодцы.

Когда они снова двинулись в путь, Рихард почувствовал неловкость. Он действительно мог немало рассказать о жизни на море. Но внезапно он задал себе вопрос: а как отнеслись бы парни к прежнему, «салонному» Рихарду?

— Вообще-то я собираюсь стать писателем,— решительно произнес Рихард, чтобы о нем не сложилось ошибочного впечатления. Тони и Джордж положили руки ему на плечи и сказали, что это чертовски хорошая мысль. Они спросили, что Рихард думает о теперешнем положении рабочих. Он пересказал слова Донкиса, хотя и не сослался на него. Ведь важно, что это правда, пусть даже она услышана от другого человека. Парни считали всех шведов антифашистами и социалистами, а саму Швецию прогрессивной, демократической страной. Тут Рихарду пришлось им кое-что разъяснить. Они были поражены, когда Рихард сказал, что в его школе большинство составляют учащиеся из германофильских семей. Наступила тишина. Ее нарушил Пит, который, наморщив лоб, задумчиво произнес, что среди американской буржуазии было то же самое. Множество людей тут мечтало о новой, сильной Германии, а американский капитал активно поддерживал Гитлера — и деньгами, и своей внешней политикой. Для капиталистов война была войной за прибыли, но для части американского народа она была настоящей битвой с фашизмом.

Парни хотели узнать, понимает ли Рихард, почему капиталисты развязали «холодную войну», которая в далекой Корее перешла в «горячую»? Ну как же! Дело в том, что Конгресс производственных профсоюзов США после второй мировой войны пережил свое второе рождение. Программа у него была весьма радикальной, он насчитывал пятнадцать миллионов организованных рабочих и шестьдесят миллионов сочувствующих. Конгресс производственных профсоюзов, добившись заключения трудовых соглашений и закрепления прав, за которые рабочий класс боролся без малого сто лет, стал серьезной угрозой капиталистам. Америка гордится своими традициями профсоюзного движения, но сейчас многих охватил страх перед коммунистами, перед красной опасностью. Капиталисты ведь купили суды и полицию, политиков и предателей-рабочих. Всех профсоюзных активистов, отстаивавших выполнение трудовых договоров, заключенных при Рузвельте, записали в коммунисты и уволили с работы.

Эти пятеро молодых рабочих сами попали в тяжелое положение и были вынуждены покинуть Балтимор и восточное побережье. Сначала им только угрожали, затем началась настоящая травля, а профсоюз не мычит не телится. В конце концов их уволили. Профсоюз не подумал вмешаться, даже когда выяснилось, что ребят занесли в черный список. Их просто-напросто выгнали с работы, и ни один работодатель не рискнул взять их к себе.

Теперь, поскольку для Кореи требуется пушечное мясо, их могут мобилизовать. В наказание за верность прежнему Конгрессу производственных профсоюзов, в отместку за надежду на справедливую Америку. Официально в армию забирали девятнадцати- и двадцати-

летних. Но призовут и тридцатилетних, если у них нет работы и они не учатся в университете. Когда призывные пункты получат тайные списки «красных» рабочих, которым нужен хороший урок, то там не посмотрят ни на возраст, ни на то, что у призывника находятся на иждивении старые родители и другие члены семьи.

Сейчас ребята направлялись в Сан-Диего, где им обещали помочь. Черные списки туда пока не дошли, там есть профсоюзы, которые еще оказывают сопротивление. А когда будет работа, то все остальное утрясется. Ребята достали бумажники и показали Рихарду любительские фотографии своих жен и детей, собак и кошек.

— И стали наши девочки калифорнийскими вдовами,— заключил Пит.— Но это временно. Их мужья не кто-нибудь, а высококвалифицированные сварщики, так что наши жены приедут к нам, когда уладится с работой.

Машина, мягко покачиваясь, мчалась вперед по огромной, бескрайней пустыне. Они проезжали заброшенные железнодорожные вокзалы с рухнувшими элеваторами, покосившиеся бараки с заколоченными окнами, покинутые автозаправочные станции с проржавевшими колонками.

На ночь ребята разбили палатку. Рихарда и Джо Маленького послали собирать дрова. Пит предупредил их, чтобы они остерегались змей. Догорал закат. Они приготовили на костре свинину и бобы, а потом долго сидели, глядя на огонь, вздыхая и время от времени посматривая в ту сторону, где остался их дом. Вот так же и моряки. Порою они тоскуют, но вместе с тем не любят унывать и вешать нос.

Парни легли спать в палатке. Рихарду там места не хватило, и он устроился на заднем сиденье в машине. Он задумался о языке, который слышал последнее время, живом народном языке. Наверное, именно поэтому Америка в рассказах парней была даже ярче той, которая представала Рихарду в мечтах первых послевоенных лет. Рассказчики слегка преувеличивали, отчего истории у них получались удивительно красочными. Между прочим, взглянув на карту, Рихард подсчитал, что сменил уже сорок пять машин. И все попутчики жаловались, что жизнь подорожала. Денег едва хватало на еду. А парни шутили, что, хотя им и придется затянуть потуже пояс, зато у них есть свобода. Свобода умереть с голоду, и ее у них никто не отнимет. Рихард улыбнулся. «Все-таки они любят свою страну. А мне они просто морочат голову»,— подумал он.

Мэй Уэст тоже рассказывал, что в этой самой свободной стране множество людей голодает. Но миллионы людей продолжают надеяться на посулы Белого дома, который обещает американцам манну небесную. Кстати, Мэй Уэст тоже любил прихвастнуть. Как, впрочем, большинство американцев.

Засыпая, Рихард вдруг ясно увидел перед собою бродягу Мэя Уэста. Он обещал научить чему-то очень важному, поделиться своим жизненным опытом. А потом забыл о своем обещании. Главное, что он никогда не сдавался. Хоть и он бродяжничал, но считал, что жизнь — отличная штука. Даже если тебя кормят только манной небесной.

Наконец Рихард заснул, ему было тепло и удобно.

8

Утром пришла очередь Рихарда сесть за руль. Его прямо-таки распирало от гордости. «Де сото» особой скоростью не отличался, да и ребятам хотелось получше рассмотреть незнакомые места, и это вполне устраивало Рихарда, новичка в шоферском деле. С каждой милей пейзаж становился все более диким и красивым. На равнинах между синеющими вдали горами паслись стада упитанных коров. Парни полюбовались реками Саут-Платт и Игл, благодаря которым

фермеры здешних долин жили безбедно. Места были и впрямь живописны, и ребята говорили, что, создавая Колорадо, бог проявил себя незаурядным художником, а сотворяя Небраску, он позаботился о хлебе насущном. Только вот на справедливость его не хватило.

— Драндулет наш не из самых шустрых,— заметил Пит, когда они углубились в горы северного Колорадо.— Но можешь трястись вместе с нами дальше, если есть время и желание.

Рихард поблагодарил, но дальше с ними не поехал, и в Грили они расстались. Ребятам надо было на юго-запад, а Рихарду — на северо-запад. Они обменялись адресами (Рихард дал им адрес Альберта и позднее узнал, что парни действительно писали в Стокгольм. Они прислали фотографию, на которой снялись рядом с машиной, а в письме вспоминали о совместной поездке). Попрощались они без громких слов, но так тепло, что Рихард помнит об этом по сей день.

В Грили Рихард попросил подвезти его на север, до Шайенна в Вайоминге. Оттуда он хотел отправиться на запад, к Рок-Спрингсу. Под Шайенном Рихарда высадили там, где уже стояла стайка голосующих, которые внезапно пустились наутек и мгновенно разбежались. Рихард не успел сообразить, что произошло. Двое полицейских остановили свою патрульную машину и резко приказали ему сесть на заднее сиденье. Остальных бродяг они потом поймают, чтоб они сдохли, дьявол их задери. Полицейские попались злые и даже истеричные, сначала они жутко разорались, но потом заглянули в паспорт Рихарда и притихли. А, студент из Европы спешит в Йеллоустон? Что же, сезон только начался, и без работы он не останется. Но они предупреждают, чтобы он поостерегся бродяг. Ползают по дорогам, будто вши, да туристам мешают. После таких наставлений полицейские Рихарда отпустили.

Рихард был бесконечно признателен человеку, написавшему в его паспорте слово «учащийся». Не будь этого слова, Рихарду пришлось бы худо, и били бы его, наверное, не раз. А так он вновь отделался легким испугом.

До Ламонта Рихарда довез на автофургоне один механик, высокий, худой ковбой с голубыми глазами и светлыми волосами. Ковбой разъезжал по фермам и чинил сельскохозяйственные машины. Вместе со сварочным аппаратом, инструментами и запасными частями он возил в фургоне седло и с гордостью продемонстрировал его, когда остановился на обочине передохнуть. Он решил приготовить кофе.

— Сам таскался по дорогам, помню. Фараоны свое дело знают,— буркнул механик, когда Рихард рассказал ему про полицейских.

Рихард поспешил согласиться, что среди полицейских встречаются вполне приличные люди. Во всяком случае к иностранным студентам они относятся...

— Иностранцы,— медленно произнес ковбой,— особливо европейцы, вообще-то гниды. Побывал я во Франции. И чего ее так нахваливают? В меня там чуть гранату не бросили.

Он начал яростно накачивать примус, затем снова наполнил кружки.

— Лягушатники это место Нормандией называют. Многих ребят там покалечило, а когда за ними санитарная машина пришла, так она на мину напоролась.— Он угостил Рихарда сигаретой, а потом продолжал укоризненно:— А иностранцы эти... как навалятся на машину, на санитарную! Нет, христиане так не поступают. И крест был большой красный на ней. Не, одно слово, все они коммунисты да евреи.

— Это, наверное, были фашисты,— возразил Рихард.

— По мне, один черт! — Ковбой убрал посуду, и они молча отправились дальше. Сидя за баранкой, ковбой еще долго бормотал что-то, вспоминая пережитые несправедливости. Время от времени он открывал рот пошире и произносил сквозь выбитые передние зубы

— Никак в них не разберешься... в меня хотели гранату швырнуть...

Они приближались к Ландеру, но в Йеллоустон обиженный ковбой не ехал. Он грозно посмотрел на Рихарда и прошепелявил:

— Тут как-то дал по мозгам одному студентику из Йеллоустонского парка. Стоит, главное, в баре, а сам бога ругает.

Рихард поддакнул, что это, мол, нехорошо и, чтобы нечаянно не расхохотаться, сказал:

— Только вряд ли он был иностранцем.

— Да,— кивнул ковбой,— некоторые из наших еще хуже. Ниггеров, видишь ли, им жалко. Вот типы, а?!

В Ландере ковбой свернул в сторону, а Рихард с облегчением пошел в забегаловку при бензоколонке присмотреть себе более подходящую компанию.

Здесь он познакомился с профессором из Чикаго, его жизнерадостной женой и двумя серьезными дочками-подростками. Они довезли Рихарда до самого Йеллоустонского парка на северо-западе Вайоминга. Но сначала Рихарду пришлось показать паспорт. Обычно профессор никого не сажал к себе в машину, а к иностранцам относился настороженно.

Он был высок и сухощав, из шорт торчали худые белые ноги. Его маленькая и кругленькая жена была ужасной хохотушкой. Зато дочери — красивые, худенькие и задумчивые — были не похожи на шумных круглолицых подростков, которых Рихард обычно встречал в Америке. Девочки не болтали, а беседовали, то есть умели слушать других. Их интересовала шведская школа, они хотели сравнить ее с американской, в которой находили массу недостатков.

Рихарда сбила с толку их серьезность, и он решил, что они тоже ненавидят иностранцев. Рихарду вдруг захотелось взбунтоваться. Не успели они проехать несколько миль, как он заявил, что бросил школу и подался в моряки.

В одно мгновение всякое отчуждение исчезло. Профессор просиял. От волнения он стал задыхаться и глотать слова, но Рихард сумел понять, что море было давнишней мечтой профессора и его всегда манили вольные морские просторы. Рихард рассказал о плавании по Атлантике, о том, как через пролив Пентленд-Ферт из Северного моря они вышли в океан, а капитан приказал сыграть общую побудку, чтобы проститься с Европой. Капитану было семьдесят лет, и он не надеялся еще раз увидеть Старый Свет. Профессор был в восторге, ему хотелось слушать дальше и дальше.

Девочки расспрашивали Рихарда о Европе. Когда они окончат школу, они сразу же поедут во Францию, поступать в Сорбонну. А Рихард был когда-нибудь во Франции? Улыбнувшись, он откровенно сказал: только в Англии и Польше, точнее в Гданьске и Мидлсбро. Но потом не удержался и добавил, что зато его отец родился в Париже, в Версале. Все наперебой закричали: «Неужели?» и «Вот это да!»:

Рихарда тут же заставили рассказать, почему его отец родился во Франции, а бабушка в Новом Орлеане.

— В девяностые годы Вагнера лучше всего ставили в Париже,— объяснил Рихард.— Поэтому, когда бабушка и дедушка поженились, они переехали туда и стали там работать. Но жили не в замке и не во дворце. Отец родился в маленькой, дешевой квартирке.

— Да,— усмехнулся профессор,— тоже мне моряк с такими предками!

Рихард нахохлился и заявил, что уже больше года плавает на судах и намерен продолжать в том же духе.

Ему охотно поверили. С блестящими глазами все четверо заслушивались его рассказами про Северную Атлантику, встречные рыбачьи флотилии, высоченные волны, двухдневный штиль под Нью-

Йорком, про самок китов с детенышами, похожих на шхеры в тумане.

Девочки спросили, правда ли, что все моряки коммунисты. Рихард ответил, что не знает.

Профессор перехватил его взгляд в зеркальце заднего обзора и заговорщицки подмигнул. Жена обернулась и, рассмеявшись, заметила, что ее муж — настоящий Джимми Хиггинс [1], он бегал на собрания социалистов в Чикаго, но хотя был ученым-социологом, ему разрешали всего лишь лизать и наклеивать марки. Или, может быть, именно поэтому...

Дочери считали своего папу розовым. Умеренно, академически бледно-розовым. Но сейчас, когда идет война против социализма, опасно и это. Потом они пошутили, что сенатор Маккарти скоро расправится со всеми профессорами. Тут мать рассердилась. На мгновение улыбка сошла с ее лица. Неужели они хотят, чтобы с их отцом произошла катастрофа? — спросила она. Девочки ответили вполне серьезно и откровенно, что хотят в Париж. Университет не собирается продлевать с папой договор, значит, путешествие может состояться очень скоро. И мама это знает! Со многими случилось то же самое. Когда «охотники за ведьмами» нападают на след, все происходит очень быстро, быстрее, чем произнести «Джимми Хиггинс».

Вечером сделали привал, заодно решили посмотреть на глетчеры перед Дюбуа. Под серым, словно сталь, покровом на многие километры простирались ледяные поля. Лава изо льда и окаменевшая тишина. Кругом — горы. Вой ветра лишь усиливал тишину.

Всем показалось, что ветер здесь такой же, как на море. У семейства была раньше яхта, и они плавали по «океану» (так они называли озеро Мичиган), не раз по озерам и каналам ходили на Гудзонов залив и в Атлантику. Но теперь яхта стала им не по карману.

— Напишу-ка я книгу, напишу правду об Америке,— весело сказал профессор.— А когда получу Нобелевскую премию, куплю большую яхту и мы проведем на ней остаток наших дней.

— Вот это здорово! — поддержали его дочки.— Арендуем местечко на набережной Сены, на левом берегу.

Вернувшись в машину, профессор наморщил лоб и сказал, что советует Рихарду опять наняться на судно. Из-за войны иностранцам следует ждать от властей чего угодно. Об этом свидетельствует горький опыт его политической работы в Чикаго.

— Люди не хотят воевать,— сказал он.— Армия, видимо, будет набирать пушечное мясо из иммигрантов. Так поступали раньше, и иммигрантам приходилось выбирать между интернированием, высылкой или согласием идти в армию «добровольцем».

— Если ты напишешь об этом,— засмеялась его жена, глядя на мужа с прищуром,— то вместо премии тебя занесут в черный список.

Девочки тоже засмеялись. Они теперь часто и с интересом поглядывали на Рихарда, было похоже, что он им понравился.

Переночевали в мотеле, Рихард — в одной комнате с профессором. Поздно вечером, когда Рихард вышел покурить и взглянуть на фотографию Селии, к нему подошел портье и передал письмо. Сначала он подумал, что это ошибка, но на конверте без марки стояло его имя и номер его комнаты. Он разорвал конверт и с улыбкой прочел: «Мама говорит, что тебе надо остерегаться женщин. Они могут принести тебе много страданий. И не воображай, пожалуйста. Ты всего лишь мальчик».

Подписи не было. Он перевернул конверт. На обратной стороне тем же почерком было написано: ЗП.

Ложась спать, Рихард спросил у профессора, что это значит, и в ответ услышал:

— Запечатано поцелуем, а что?

[1] Герой одноименного романа Эптона Синклера.

Рихард пожал плечами: да так, ничего, где-то видел такое.

Профессор лежал, листал газеты. Он казался расстроенным, пробормотал, что оболтусы-студенты любят употреблять аббревиатуры. Лучше бы английский как следует изучали, чем использовать сокращения и цифровые обозначения там, где надо и не надо. Нет, непременно им хочется изо всего сделать тайну.

Профессор бросил Рихарду несколько газет из разных городов Среднего Запада. Рихард вяло их перелистал. Изо дня в день, из недели в неделю одно и то же: скандалы, светская хроника, сплетни, спорт, комиксы, викторины. Он зевнул, потушил свет и пожелал спокойной ночи. «О, газеты»,— подумал он. Донкис говорил, что они потому так лживы, что принадлежат буржуазным реакционерам. Но ведь здесь-то нет махровых реакционеров! Попутчиками Рихарда обычно были представители средних слоев, и между ними ему не встречалось защитников нынешней правящей верхушки. Все относились к ней подозрительно, не верили властям. «Когда станешь журналистом и начнешь ездить по свету,— говорил Донкис,— то рази правдой сильных мира сего. Жестоко и беспощадно, пока они не поймут, что правду знает не только объединение судовладельцев, но и профсоюз моряков».

Засыпая, Рихард подумал: «Может быть, американцы, которые поддерживают правительство и милитаристов, просто никого не подсаживают в свою машину? Наверное, так. Пожалуй, их даже большинство!» Ведь почти все машины, презрительно шурша шинами, проносились мимо тех, кто стоял на обочине. Причем водители обычно даже не делали какого-либо жеста, чтобы выразить, например, сожаление или извиниться. От других Рихарду доводилось слышать, что бывают автомобилисты-«патриоты», которые подсаживают к себе только солдат в форме и с отпускным чемоданчиком.

На следующий день они добрались до южного въезда в Йеллоустонский национальный парк и там распрощались. Рихард облегченно вздохнул, когда понял, что сентиментального «обмена адресами» не будет, хотя ему было немного жаль расставаться с семьей, радушной и искренней.

Йеллоустон был в точности таким, каким его показывали в кино, гейзеры выбрасывали вверх пар и воду, горячие источники бурлили, водопады мелодично журчали, а в одном месте воздух был настолько наэлектризован, что у некоторых туристов волосы вставали дыбом. Медведи выпрашивали еду прямо через окна машин и не пропускали их до тех пор, пока что-нибудь не получали.

Рихард устроился на работу в «Маммоте», административном центре парка, где находились отели и рестораны. Платили сто долларов в месяц, плюс бесплатное питание и койка в общем спальном зале. Работодателем было вашингтонское министерство торговли. Девушка в отделе найма поинтересовалась у Рихарда, где он родился. Он сказал «Стокгольм». Раскрыв толстый справочник, она спросила: «Стокгольм, Нью-Джерси?» И Рихард, не моргнув глазом, ответил: «Да!»

Рабочий день длился десять часов, полагалось несколько перерывов, но их хватало только на то, чтобы поесть. Надо было быстро собирать посуду, складывать ее в корзины и подвозить к большим моечным машинам. Туристы ели плохо. Рихард счищал объедки в баки. Свиноферм в округе не было, поэтому большая часть отходов шла медведям.

Многие относились к еде безразлично; они не ели, а заправлялись, словно машина у бензоколонки. Главное блюдо — мясо-картошка-хлеб с ложкой жирного соуса — прозвали «раз-два-три с пришлепом». Меню насчитывало до сотни блюд, и все они, а также закуски,

десерты, разные сорта мороженого и напитки (спиртное не подавалось) были пронумерованы.

Один из поваров был итальянцем.

— Тут у всех язва желудка! Просто психи какие-то!— Повар пожимал плечами, разводил руками и недоверчиво заглядывал в свои котлы.— Но что поделать, люблю я этих американцев! — восклицал он. Все на кухне улыбались и на минуту расслаблялись, поэтому конвейер с посудой сбивался с ритма, и старший по смене визжал, будто недорезанный поросенок.

Вскоре выяснилось, что студентов работает не так уж много. Во всяком случае, среди мужчин. Большинство состояло из разновозрастных бродяг, шатавшихся по стране и бравшихся за любую сезонную работу. Был тут один испанец, ненавидевший итальянского повара. Рихард старался со всеми поддерживать дружеские отношения (ссоры привлекали внимание полиции, а у той возникали нежелательные вопросы о виде на жительство), но испанец не любил и скандинавов. Он считался беженцем, приехал в США со своей матерью в 1938 году, когда ему было двенадцать лет, и теперь говорил словно чистокровный американец. Только думал совсем иначе. Скандинавов он презрительно называл скандавианами и упорно спрашивал Рихарда, не найдется ли у него скандавианского табака. «А? Или вам, недоумкам, не разрешается нюхать табак в ваших университетах, если они вообще существуют?» «Эй, швед,— кричал он,— а телефоны в Скандавиании есть?»

Рихард подходил к испанцу вплотную и говорил, что он моряк, а не студент. Какого лешего ему делать в университете? Испанец сбавлял тон и терялся.

— Знаем мы вашего брата! Одна шайка-лейка, все коммунисты. В Испании умеют с такими обращаться. Расстреливают на месте, и дело с концом.

— Чего ж ты не едешь домой, Франко? — кричали ему остальные.

Испанец обижался, но общее осуждение было слишком явным, и он замолкал.

Рихард не представлял себе, что беженцы бывают такими. Потом он узнал, что после войны тысячам фашистов разрешили въезд в США в качестве «беженцев», а в годы «холодной войны» их стало еще больше.

Зато многим другим грозили высылкой. После войны десяткам тысяч людей пришлось эмигрировать в Мексику, Канаду или Европу. Раньше Рихард думал, что все, кого выгоняли из США, были главарями итальянской мафии или гангстерами. Газеты пестрели сообщениями об их преступлениях. Однако оказалось, что большинство высланных честно зарабатывали свой хлеб, но вели активную профсоюзную или политическую работу, боролись за право на достойную жизнь. Если человек не родился гражданином США да к тому же считался красным или левым, то его положение было очень и очень шатким.

— Власти травят не только нас, иностранцев,— хмуро говорил повар-итальянец.— Тех, кто родился в Америке, тоже частенько благословляют... пинком под зад. Все здесь продается. Есть у тебя денежки, можешь купить хоть самого президента. Вся верхушка — настоящая бандитская шайка, потому они приказывают журналистам и Голливуду изображать бандитами нас, итальянцев, негров, коммунистов, евреев. Но помяни мое слово, придет день — и верхушке не поздоровится. Тогда в этой стране начнется чертовски хорошая жизнь, даже для судомоек.

9

В отделе найма Рихарду выдали удостоверение личности, но справку о благонадежности ему почему-то задерживали.

Через месяц Рихард забеспокоился и поделился своей тревогой с поваром. Тот впервые услышал, что иммиграционные власти установили для моряков особые порядки, поэтому удивился и ничего посоветовать не смог. Рихард отбросил тревожные мысли и продолжал работать на кухне. Он уже получил тут свою первую зарплату, но, прежде чем вновь отправиться в путь, хотел прибавить к ней еще одну стодолларовую ассигнацию.

Здесь царила настоящая потогонная система, хотя считалось, что на сезонной работе студенты подрабатывают на карманные расходы. Поэтому плата была ниже, а рабочий день дольше того, что указывалось в договоре. С тех, кто работал на кухне, пот лил градом. Разбавленные им супы подавались ничего не подозревающим туристам. А может, они и догадывались об этом. Во всяком случае еда им не нравилась.

Студенты на кухне держались особняком от остальных. Они делали вид, будто работают не из-за денег, а чуть ли не для собственного удовольствия. Но постепенно Рихард понял, что большинство из них считает вроде него самого каждый цент, откладывая деньги на черный день.

Но была тут и компания богатых ребят, которые, пожалуй, и впрямь играли в летние заработки. Они нередко откупались от своей смены. Позднее дежурство называлось у них «кладбищенской сменой», и Рихард заработал не один доллар, когда те уезжали к девочкам в Хелину кутнуть и вообще показать, что они настоящие мужчины.

Студентки, уборщицы и официантки, жили в отдельной пристройке. Общаться с ними было строго запрещено. Богатые ребята с машинами тем не менее назначали свидания, и все им сходило с рук, а студенты победнее, у которых машин не было, частенько попадались. Тогда приходилось платить штраф, который вычитался из зарплаты.

Рихард мечтал о том, как приедет в Ванкувер к Селии с несколькими сотенными в нагрудном кармане (его шведский бумажник не подходил для долларовых банкнот), и у него будет с чем начать новую жизнь. Он работал, не жалея сил, нередко по две смены, поэтому не испытывал особых эмоций, когда, пошатываясь от усталости, шел мимо женской пристройки, чтобы замертво повалиться на свои нары.

Однажды вечером, когда Рихард был свободен, к нему пришел худощавый, молчаливый человек в бриджах, мундире, застегнутом, несмотря на жару, до самого горла, и в широкополой шляпе. На боку у него покачивался револьвер, а на груди красовалась большая звезда шерифа. Рихард до смерти перепугался и уже клял себя за то, что на вопрос «Стокгольм, Нью-Джерси?» ответил «да». Но было поздно. Он только что вышел из душа и стал быстро одеваться. Не мог же он разговаривать с полицейским в одних трусах.

Однако выяснилось, что у того к Рихарду совсем другое дело. Полицейский смущенно поздоровался на некоем подобии шведского и сказал, что мать его родом из Швеции. Сам он служит в здешней полиции и живет с женой и тремя детьми неподалеку в собственном домике. Не зайдет ли Рихард к ним на обед? Дети хотели бы с ним познакомиться и выучить застольную молитву по-шведски.

Полицейский объяснялся в общем-то по-английски. Запас его шведских слов можно было сосчитать на пальцах одной руки. «Ладно,— подумал Рихард с облегчением.— Почему бы и нет, черт возьми!»

По дороге Рихард постарался припомнить несколько подходящих текстов. «Домик» оказался вполне современной виллой. Хозяйка с модной челкой, в длинной юбке и свеженакрахмаленном переднике казалась сошедшей с рекламной картинки из журнала «Дэт беста». Ребятишки дошкольного возраста вели себя очень скованно и молчали. Прежде чем сказать хоть слово, они робко всматривались в каменное лицо отца, а уж если что-нибудь говорили, то тут же глядели на мать.

ища поддержки. Мать же, нервно улыбаясь, без конца поправляла волосы, словно они были плохо уложены.

Супруги в один голос заверили Рихарда, что он попал к добрым христианам. Рихард сразу же начал всему поддакивать, лишь бы каменноликий фараон не проявил вдруг служебного рвения и не вспомнил об иммиграционных правилах. Рихард умильно поведал о чикагских баптистах и «Фридхеме». Внезапно каменноликий фараон помрачнел и буркнул:

— Вероотступники чертовы...

Рихард сообразил, что с баптистами он попал впросак. К счастью, фараон больше не возвращался к опасной теме и вместо этого произнес небольшую речь о Швеции. Потом Рихард послушно прочел застольную молитву, громко и отчетливо. Малыши ловили каждое слово, будто слушали волшебную сказку.

После молитвы разговор продолжался по-английски, зато фараон и ребятишки хотели слышать только о Швеции. Вскоре Рихард заметил, что жене (ее звали Мэри, она была родом из Шотландии) ничуть не интересно. Она скучала и натянуто улыбалась. Мэри же уловила, что Рихард почувствовал ее раздражение, и несколько смягчилась. Между ними возникло незаметное для других взаимопонимание. Натянутость исчезла, а Рихард даже отважился пошутить, что американцы, дескать, стали жертвами неизвестно кем придуманного мифа о старой доброй Швеции. Тут хозяйка благочестивого дома и вовсе оживилась. Она разлила кофе, слегка оттопыривая мизинчик, потом пригладила волосы и спросила:

— Так вы считаете, что шведы самые обычные люди, Рихард?

— Без сомнения, мадам.

Фараон посмурнел, выгнал из комнаты малышей и сказал, что из Вашингтона прислали запрос на Рихарда, нужно проверить справку о благонадежности и документы. Рихард должен зайти завтра в отдел найма и уладить недоразумение. Ведь разрешение на работу у него есть?

— Конечно,— твердо произнес Рихард, но сердце у него екнуло, и он быстро откланялся.

Рихард поспешил к себе, торопливо собрал пожитки. Несколько богатых ребят как раз собрались на выходные в Хелину и пригласили его с собой. Они выехали на север. Рихарда это устраивало, так как дорога вела к канадской границе. Он доберется туда за два дня. Если повезет, даже за сутки.

Правда, Рихард остался без зарплаты за второй месяц. Но в нагрудном кармане «тысячемильной» рубашки лежала новенькая стодолларовая ассигнация и тридцать долларов мелкими купюрами. Рубашку, свою самую удачную покупку, он приобрел в Ролинсе. Она была из прочной синей материи. Реклама обещала, что такая рубашка способна выдержать тысячемильный путь, то есть Рихарду для его путешествий их требовалось всего четыре.

Рихард устроился на заднем сиденье, а все трое ребят сели на переднее. Они открыли бутылку виски, которая стала переходить из рук в руки. На заднее сиденье она не попала ни разу. Но Рихард был им только благодарен. Отправиться в путь и останавливать машины в пьяном виде значило идти на верную смерть.

Северная граница Йеллоустона совпадала с границей штата Вайоминг. Со стороны штата Монтана тоже простирался национальный парк, даже более красивый и менее эксплуатируемый в коммерческом отношении. Да и сам штат Монтана был красивее Вайоминга. Здесь, на высоких склонах Скалистых гор, росли хвойные леса, в долинах паслись жирные овцы и тучные коровы.

Солнце медленно зашло за горный хребет, и без того редкие машины исчезли вовсе. Студенты сменяли друг друга за баранкой и останавливались лишь затем, чтобы налить в бак бензина из канистры.

Рихард не решался заснуть, хотя и был один на заднем сиденье. Приятели уже прикончили первую бутылку, выбросили ее в боковое окно и достали вторую. Дорога петляла по краю пропасти, но, несмотря на хмель, парни держались ровно и не слишком газовали. Иногда они горланили песни, но чаще гоготали и, перебивая друг друга, рассказывали о забавах с телками, как они называли девушек.

Через некоторое время парни угомонились. Машина мчалась в ночной мгле, выхватывая фарами то синие, уходящие в небо отвесы скал, то черные зияющие пропасти. Как ни боролся Рихард со сном, в конце концов он заснул. Проснулся он на рассвете. Автомобиль стоял неподалеку от дорожного указателя, извещавшего, что впереди — Грейт-Фолс, а налево — Хелина.

Рихард знал, что ребята свернут в Хелину. Не будя их, он забрал свои вещи и прошагал пешком несколько миль, пока не добрался до небольшого поселка.

На бензозаправочной станции он вымылся, почистил зубы, а потом попросился в машину индейца, ехавшего к границе. Индеец, посадивший Рихарда в свою машину, не промолвил ни единого слова до Сент-Мари, небольшого поселка с несколькими гостиницами для тех, кто приезжает сюда посмотреть на ледники. Здесь их пути разошлись. Когда Рихард поблагодарил индейца, тот ответил: «Пошел ты к черту!» Озадаченный Рихард остался на дороге, глядя вслед автомобилю.

Он вошел в одну из гостиниц и спросил, нельзя ли заказать междугородный телефонный разговор. Портье с подозрением оглядел его дорожное снаряжение. Тогда Рихард разразился длиннейшей тирадой по-шведски, в которой он со множеством восклицаний постарался дать понять, что является иностранным студентом, приехавшим знакомиться с Новым Светом. Как и следовало ожидать, холодность сменилась любезностью. Портье записал номер и позвонил на телефонную станцию. Но Рихард этим не довольствовался. Разговор по телефону был для него очень важен. Он посмотрел на клочок бумаги с адресом Джека и сказал, что желал бы переговорить лично с мистером Рокендэлом, а если его нет на месте, то с кассиром профсоюза Дж. М. Смитом.

Тем временем в вестибюль набились туристы. Они глазели на Рихарда и перешептывались.

— Я разыскиваю старшего брата, который сбежал из дому и стал моряком,— пояснил Рихард в ожидании разговора. Когда его соединили, весь отель умолк и навострил уши.

Трубку взял мистер Рокендэл. Джек однажды сказал, что Рихард может положиться на этого человека. Рихард закричал — его, наверное, было слышно до самого Тихого океана,— что хотел бы узнать, где сейчас Джек Макичерн?

Мистер Рокендэл был весьма польщен, что ему звонят из Монтаны, и поинтересовался, кто с ним говорит. Рихард коротко ответил, что они с Джеком подружились в Порт-оф-Спейне. Мистер Рокендэл сообщил, что с Джеком все в порядке. Он отбыл наказание, месяц назад вышел из тюрьмы и сразу же уехал в Австралию вместе со старшим братом. Джек сказал, что ни за что не вернется в Канаду. Рихард может получить его новый адрес.

Рихард почувствовал внутри страшную пустоту. «Алло,— неслось из трубки,— алло!»

В горле у Рихарда застрял комок, но ему удалось выдавить из себя вопрос, не слышал ли мистер Рокендэл что-нибудь о невесте Джека из Порт-оф-Спейна. Мистер Рокендэл только рассмеялся:

— Чтобы Джека окрутила какая-то бабенка? Черта с два!

Он помолчал немного, а потом с некоторым удивлением спросил, чем, собственно, моряк может заниматься в Монтане. Рихард рассказал о работе в ресторане. Мистер Рокендэл полюбопытствовал, что сейчас происходит в старом парке, и Рихард ответил, что всех зати-

рают медведи. Потом он положил трубку и уставился перед собой, ничего не видя и не слыша.

Портье полюбопытствовал, неужели брата действительно зовут Макичерн, это же совсем не шведская фамилия.

— Он плавает под другой фамилией,— ответил Рихард, расплатился и пошел к выходу между двумя примолкшими рядами глядевших ему вслед туристов во фланелевых клетчатых рубашках, синих, закатанных до колен джинсах и черных ботинках.

Выйдя на дорогу, Рихард встал сначала справа, повернулся спиной к северу и принялся высматривать машины, мчавшиеся на юг.

Потом хлопнул рукой себя по лбу, не понимая, зачем ему теперь спешить к границе, перешел на другую сторону и сел на свой матросский мешок. В голове у него было пусто, он едва сдерживал слезы. Вдруг на дороге, ведущей на юг, показался возвращающийся обратно пикап. Индеец остановился и опять без единого слова впустил Рихарда к себе в кабину, хотя Рихард даже не поднял руку. Они доехали до Грейт-Фолса, и, когда прощались во второй раз, индеец буркнул:

— Все в порядке, малыш.

Проехав Хелину, похожую скорее на большой поселок, Рихард свернул на юго-запад, и тут его ограбили. Грабитель, парень его возраста, очень нервничал. «Угнал машину»,— объяснил он. Рихард закричал, что дальше не поедет. Тогда нервный парень резко затормозил и вытащил нож. С противным щелчком из рукоятки выскочил узкий, длинный клинок. Рихард поднял руки вверх, и парень, заикаясь от волнения, приказал отдать бумажник. Дрожащей рукой Рихард вытащил его, бросил к ногам грабителя и спросил, можно ли оставить вещи и дорожное одеяло. Нервный утвердительно кивнул. Он велел Рихарду выйти из машины, не делая резких движений, и сесть на обочине спиной к дороге, потом рванул вперед, визгнув тормозами на вираже, и исчез из глаз, прежде чем Рихард поднялся с земли.

Рихард надеялся, что грабитель, сам натерпевшись страху, не скоро решится остановить машину, чтобы заглянуть в бумажник, в котором было всего пятьдесят крон шведскими и норвежскими мелкими купюрами. Чего доброго, парень взбеленится и вернется обратно со своим инструментом для вспарывания животов. Жаль, что с бумажником пропало самое дорогое: фотография Селии.

В который раз Рихард призвал себя к осторожности. Благодаря бога за нагрудный карман на тысячемильной рубашке, он шел теперь прямо к бензоколонкам и тщательно выбирал попутчиков. Расстроенный, измученный недосыпанием, он упрямо пробирался все дальше и дальше, с грустью вспоминая о Селии.

10

Элко был похож на ковбойский город из голливудского фильма. Главная улица городка была застроена в стиле Дикого Запада: яркие и нарядные деревянные фасады казались театральными декорациями, за ними скрывались уродливые лачуги. Первые поселенцы не могли позволить себе большего, чем разукрасить фасад дома. Однако за главной улицей рос новый, современный город из стали и бетона, с молочными кафе, изысканными коктейль-холлами, дансингами и шикарными магазинами. Рихард переехал через реку Гумбольдт, названную по имени немецкого путешественника. На другом берегу простиралась обширная зона отдыха с плавательными бассейнами и ресторанами. Рихард решил опять наняться судомойкой, обошел весь город, но работы в Элко не оказалось. Теперь Рихард даже не знал, куда направиться.

К западу от Элко его подсадил американский швед, щупленький, седой пастор. Едва взглянув на Рихарда, он сразу же догадался, что

перед ним моряк, который действительно отправляется в Сан-Франциско. Пастор дал Рихарду добрый совет: лучше двигать в Лос-Анджелес, порт там гораздо оживленнее. А кроме того, Лос-Анджелес крупнее Сан-Франциско, который к тому же, говоря начистоту, является гнездом греха и разврата. Этот город обязательно постигнет новое землетрясение, и он погибнет в огне и дыму.

Пастор был родом из Гётеборга, в Штаты его привезли в семилетнем возрасте. Это было сразу после первой мировой войны. Свою жизнь в Америке он посвятил борьбе с алкоголизмом во имя божье. Наверное, Рихард знает, что злоупотребление алкоголем стало для скандинавских моряков своего рода эпидемией, чем-то вроде малярии? Чтобы успешно бороться с малярией, необходимо улучшить условия жизни, ответил Рихард. Пастор неожиданно посуровел и высадил его около кафе для шоферов рейсовых грузовиков, заявив, что дальше не повезет.

Рихарда подобрала строгая на вид женщина, которая долго подыскивала себе попутчика на развилке. Теперь дорога шла через высокие перевалы, дремучие леса и большой национальный парк, тоже названный в честь Гумбольдта, через луга и пустыни. Строгая женщина вела машину сама, а Рихард задался вопросом, почему она выбрала именно его.

Время от времени он украдкой посматривал на нее; она сидела выпрямившись, поджав губы и прищурив глаза. Перехватив его взгляд, женщина сказала:

— В Элко мне рассказывали, что в здешних местах водится мормонский сверчок, прямо житья от него нет. Сверчки на дорогах опаснее снежных заносов. Они налетают громадными тучами. Дороги делаются скользкими, как будто масляными, и машины падают в кювет или под откос. Женщина казалась усталой, но выглядела хорошо. Волосы были собраны в узел на затылке. Она объяснила Рихарду, почему взяла его. В багажнике у нее лежит лопата, так что, если полетят сверчки, ему придется как следует поработать. А если ему это не подходит, пусть скажет прямо и выходит из машины.

Они перевалили через горы и спустились на равнину. До сих пор даже простых кузнечиков не было видно. Женщина немного успокоилась и попросила Рихарда сесть за руль — он же не откажется отблагодарить ее за услугу?

Рихард послушно вышел из машины, чтобы сесть на водительское место, но женщина вдруг разинула и умчалась. Рихарду почудилось, будто земля разверзлась у него под ногами. Он проводил автомобиль взглядом и подумал: «Ну, теперь все пропало».

Однако, проехав с километр, женщина притормозила и выкинула из машины его вещи, а затем снова прибавила скорость и скрылась из виду. Рихард бежал, задыхаясь от жары, в голове у него стучало. Добежав до вещей и проверив, все ли цело, он почувствовал такое облегчение, что сел на дорогу и захохотал.

За два дня Рихард добрался до Рино, живописно расположившегося на склонах Сьерра-Невады. Воздух здесь был таким же чистым, как на море. Раскаленные сухие ветры пустыни смешивались с холодными потоками, идущими с перевалов. В Рино пахло снегом и пустыней, а солнце сияло под стать счастливым, только что разведенным супругам из разных уголков Америки. Множество людей приезжало сюда расторгнуть узы безнадежных браков. Рихард подумал, что каждому, кто считает развод катастрофой, стоило бы посмотреть, как бывшие мужья выходят из мэрии Рино и с радостью целуют ее колонны, а бывшие жены, не помня себя от счастья, швыряют обручальные кольца в реку Траки.

Вечером в день приезда Рихард сидел на скамейке у реки, перебирая свои вещи, и вдруг увидел ту женщину. Она стояла на набережной, глядела на воду и смеялась. Он никогда не слышал, чтобы

белая женщина смеялась так звонко и так весело, будто это был юг, приморская набережная грязноватого Порт-оф-Спейна, а не опрятный американский городок.

Женщина стояла, не отрывая глаз от реки, затем резко повернулась и быстрым шагом направилась к скамейке, где сидел Рихард. Он хотел убежать, но она увидела его и что-то крикнула ему. В один миг она оказалась рядом, ее было не узнать. Лицо сияло, волосы разметались по плечам. Она была одета в новый костюм и смыла косметику, будто сменила все, что напоминало о замужестве. Рихард, смущенно уставившись на женщину, поблагодарил ее за то, что она его подвезла, хотя поездка и кончилась так неожиданно. Тут женщина схватила его за локоть и сказала, что очень сожалеет о случившемся. О, как она раскаивается! Но ей было необходимо успеть в Рино. У нее оставалось слишком мало времени, она мчалась всю дорогу от Индианаполиса, боясь опоздать.

— Дорогой мой,— разволновалась женщина,— простите меня!

— Да, да, конечно, какой разговор,— бормотал Рихард.

Женщине было за тридцать. Когда она высматривала мормонских сверчков, тридцать лет казались солидными и строгими. Но здесь, под солнцем Рино, этих тридцати было совсем незаметно. «Это потому, что она красива,— подумал он.— И потому, что волосы у нее почти пепельного цвета».

Она снова усадила его на скамейку, села рядом и взяла его за руку. Улыбаясь, она сказала, что вела себя как последняя эгоистка. Во всем виноваты жуткие рассказы о сверчках, из-за них она посреди лета купила большую фанерную лопату для снега и подыскивала человека, который смог бы ею поорудовать. О, она действительно скверная. Вообще-то она сразу увидела, что Рихард — вполне порядочный маль... молодой человек, но ведь можно и ошибиться. Главное, ей нужно было добраться до Рино вовремя. Поэтому она и уехала так внезапно. Женщина похлопала его по руке и положила свою руку к нему на колено. Теперь ему ясно?

— Да,— ответил Рихард. Нет, он не сердится на нее и давно забыл о случившемся. Рихард засмеялся и признался, что едва не упал в обморок, когда она умчалась. Ведь она увезла его паспорт. Но все, слава богу, обошлось. А она не опоздала? Тут незнакомка крепко сжала ему руку и сказала, что теперь она совсем счастлива: уже два часа как она разведена. Не может ли она искупить свою дикую выходку, пригласив его пообедать? Ее зовут Кэрол, она медсестра.

Рихард ответил уклончиво. Ведь придется идти в дорогой ресторан, где люди будут роскошно одеты. Кэрол посмеялась над его опасениями. У нее было превосходное настроение, и ему не оставалось ничего другого, как согласиться. Он обратил внимание на тонкие черты ее лица, выразительные глаза и изящные руки, не привычные к тяжелому физическому труду. Вместе с тем в ней чувствовался характер, и это вызывало уважение. Рихарду понравилось в Кэрол манера держаться, ее откровенность и непосредственность. Неожиданно Кэрол разрыдалась чуть ли не до горловых спазм. Оказалось, что она вспомнила истории о сверчках, превращавшихся под автомобильными колесами в омерзительную, скользкую массу, и о машинах, которые теряли управление, налетали на скалы или падали в пропасть.

Глаза у нее были красивые, но в самой глубине их затаился страх, и Рихард чувствовал это.

Что-то сломалось в ней.

Кэрол привела Рихарда в мотель и взяла для него соседний номер. Она производила впечатление решительной женщины, умела командовать и приказывать. Она осмотрела его вещи. У него была пара запасных джинсов и «парадные» брюки хаки. Кэрол хотела, чтобы Рихард купил новые брюки, но он наотрез отказался, так как собирался опять наняться на судно. А для моряка нет более подходящей

одежды, чем хаки. На судах ведь нет химчистки. Кэрол сказала, что если уж она выходит на люди с моряком, так это должно быть всем видно, и отутюжила старые брюки. В тот первый вечер они обедали в шикарном ресторане, где было полно приезжих, праздновавших состоявшийся или предстоящий развод. Рихарду едва не испортил настроение щеголеватый метрдотель, который то и дело пренебрежительно поглядывал на него. Да и официант намекнул, что Рихард не так одет. Кэрол похлопала Рихарда по руке, улыбнулась и сказала официанту:

— Он же моряк, неужели не видно? Что вы имеете против моряков? Кто же, по-вашему, переправляет наши богатства через моря и океаны?

— Ах, извините, но как бы это сказать... Здесь, знаете ли, принят вечерний костюм...

На следующий день Рихард смирился и согласился купить обычные брюки. Когда Рихард хотел уплатить, оказалось, что Кэрол уже сделала это.

Рихард не на шутку рассердился. Кэрол удивилась, его возмущение даже рассмешило ее. Рихард молча вышел из магазина. В мотель он возвращался в своих брюках хаки и грубых матросских ботинках. К вечеру они с Кэрол снова помирились.

Они пошли в мексиканский ресторан. Кэрол начала расспрашивать Рихарда о его жизни, и он неожиданно для самого себя рассказал, как ребенком прятался от взрослых в «гроте» под черным роялем, о Бетховене, о Стокгольме и о своей школе.

— Ты, значит, хочешь стать писателем? — улыбаясь, спросила Кэрол.

— Непременно,— ответил он.— Можешь не сомневаться.

Ее глаза потемнели от вина, а лицо казалось бледным в неярком свете зала.

— Ты так серьезно говоришь обо всем этом,— задумчиво произнесла она.

Рихард спросил, что она читала прежде и читает теперь, но Кэрол отмахнулась:

— Убери-ка свой репортерский блокнот, мальчик. К старому возврата нет. Я свободна и направляюсь в Калифорнию, где живут свободные люди. Да здравствует свобода!

Поздно вечером посетители ушли в казино, ресторан опустел. В дальнем углу зала стоял рояль, и Кэрол попросила Рихарда сыграть что-нибудь. Долго уговаривать его не пришлось.

Он сел к инструменту, без труда вспомнил гавоты, немецкие танцы, пьески. Пальцы слушались так, словно никогда не отбивали ржавчину. Один раз он запнулся, но затем продолжил, будто по нотам.

Кэрол сидела позади Рихарда. Она внимательно слушала его, выпуская колечки дыма. Затем охрипшим голосом сказала:

— Поешь что-нибудь, мальчик, и пойдем.

В мотель они ехали на такси. Она мурлыкала себе под нос какую-то мелодию, положив голову на плечо Рихарда. Когда он взглянул на нее, она замолчала и, не поднимая головы, пожала ему руку.

Ему показалось, что она чем-то опечалена.

— Это из-за мужа? — спросил он.— Расскажи о нем, а?

— Лучше поговорим о более приятных вещах,— отозвалась Кэрол,— например, о скорпионах.

Помолчав, она сказала, что сейчас ее интересует только Рихард, и больше никто.

Рихард уже спал, когда Кэрол пришла в его номер с бутылкой виски и, смеясь, разбудила его. Она сказала, что вспоминала, как он играл. Затем Кэрол забралась к нему в постель, обвила его руками и шепотом спросила:

— Сколько тебе лет?

— Сегодня исполняется восемнадцать,— ответил он.

Кэрол рассердилась. Почему же он ничего не сказал? Это не по-товарищески! Но Рихард успокоил ее, объяснив, что день рождения у него именно сегодня, ведь уже далеко за полночь.

— Ах так,— засмеялась она и прижалась к нему,— ну, тогда мы его отпразднуем.

11

Через несколько дней Кэрол привела в порядок машину и попросила, чтобы Рихард оформил себе права. Это заняло десять минут, надо было лишь уплатить несколько долларов.

Потом они отправились в Калифорнию. Кэрол не желала распространяться о себе, но кое-что Рихард все же выведал. По происхождению она немка. Дедушка с бабушкой приехали в Америку еще в прошлом веке, но отец и мать родились уже тут. Кэрол хочет немного пожить в «немецком» пригороде Лос-Анджелеса. Ее приятельница, тоже медсестра, уехала с военным госпиталем в Корею и оставила Кэрол ключи от своего дома.

Детей у Кэрол не было, и она поклялась никогда не возвращаться в Индианаполис. Средний Запад — сущая помойка. Кэрол с упоением говорила о новой, свободной жизни, которую она начнет на берегу Тихого океана. Она так разволновалась, что даже расплакалась. Рихард впервые видел человека, плачущего от счастья. Он остановил машину, достал с заднего сиденья шерстяное одеяло и закутал Кэрол. Рукавом своей рубашки вытер ей слезы.

— На рубашке останутся пятна,— сказала она и заплакала еще пуще.

Хотя было совсем поздно и темно, на выезде из штата им устроили строгую проверку. Все машины осматривались, как на государственной границе. Серьезных, сосредоточенных полицейских интересовали не паспорта и визы, а фрукты, зелень и семена.

— Погляди-ка на наших законников,— пробормотала Кэрол из-под одеяла,— такое встретишь нечасто.

Они спустились в какое-то ущелье и переночевали в машине, а на рассвете добрались до Сан-Франциско. Через четырнадцать часов они были уже в Лос-Анджелесе. «Немецкий» район раскинулся недалеко от моря. «Их» вилла № 101, похожая на тысячи остальных, имела три маленькие комнаты. Рихард внес сумки, повалился на единственную в доме кровать и проспал как убитый всю ночь. Близость моря ощущалась даже во сне.

Наутро Кэрол с Рихардом отправились на пляж. Целых полчаса они шли в быстром темпе (по здешним понятиям это было небольшое расстояние), а последний отрезок пути пробежали.

— Чур, я первая до воды! — закричала Кэрол и легонько шлепнула Рихарда по спине. Добежав до берега, он плюхнулся на песок, чтобы отдышаться. Кэрол бегала лучше его. Она остановилась у самой воды и засмотрелась вдаль, от ветра волосы у нее разлетались. Потом она скинула хлопчатобумажный халатик и легла рядом с Рихардом. Он приподнялся на локте и огляделся. Люди расположились небольшими группками по всему пляжу. Тенты, переносные радиоприемники, сосиски, кока-кола.

Кэрол попробовала угадывать, кто тут «немец», а кто нет.

— Ну и попали мы с тобой, одни «фрицы»,— сказала она и прикрыла рот рукой, испугавшись, что ее услышат другие. Рихард заметил и сам, что люди на пляже были немного странными, в них не было обычной для американцев непринужденности. Даже дети играли в мяч так, будто находились под строгим наблюдением учителя физкультуры. Хотя, судя по разговору, это были американцы. Но Кэрол

сказала, что он не настолько хорошо знает язык, чтобы уловить немецкие вкрапления в их беглой речи.

— Немчура несчастная,— буркнул Рихард.

— Сам ты немчура,— улыбнулась она,— немец-перец в квадрате!

На следующий день они поехали в Сан-Педро. Поездка по прямой, как струна, дороге между бесконечными рядами стандартных «бунгало» заняла у них ровно час. Вот где она, американская мечта среднего класса: собственный домик на лужайке. Только в жизни эта мечта выглядела иначе, чем на картинках журнала «Дэт беста», да и Америка была не такой чистенькой, нарядной, какой она казалась по кинофильмам. Между роскошными пальмами было грязно, под щедрым солнцем простирались унылые бетонные гетто, там и сям виднелись нефтяные вышки, кивающие своими качалками и разносящие специфический запах нефти на многие мили вокруг. Повсюду разбитые машины. В автокатастрофах гибло много людей. Существовали кладбища для машин и кладбища для автомобилистов. А неподалеку теснились мексиканские лачуги из жести и фанеры.

Рихард хотел сразу же наняться на какое-нибудь судно, но ничего из этого не вышло. В Сан-Педро работы для скандинавских моряков хватало, но поскольку документы у Рихарда были не в порядке, его попросили сначала уладить дела с иммиграционными властями, а потом уж наведаться в порт.

Рихард нервничал, он пошел на пляж, где его ждала Кэрол. Они отправились в аквариум поглядеть на глубоководных рыб. Оба молчали. Потом Кэрол села за руль. В Лос-Анджелесе и его окрестностях с их хаосом гудящих машин и жестикулирующих водителей Рихард чувствовал себя неуверенно, и они поехали домой. Кэрол утешала Рихарда, говорила, что все уладится. Главное, что он добрался до Тихого океана. Проехать на попутках через всю страну — это кое-что да значит! Недаром Рихард сам говорил, что настоящий моряк проявляет себя на суше.

Кэрол устроилась на работу в больницу и днем бывала занята. Они быстро освоились с новым окружением. Вечеринки медсестер, пирушки у врачей с грилем на лужайке перед домом, вылазки на каток с соседями,— продавцами магазинов, клерками — под слащавые мелодии электрооргана, на котором играл потный малый.

Рихард знакомился с людьми среднего класса, радушными и приветливыми, но одновременно ограниченными и полными предрассудков. Кэрол представляла его будущим писателем, сыном музыканта из старушки Европы, который решил посмотреть мир. Благодаря ее «рекламе» (и намекам на немецкие корни) Рихард привлек к себе интерес, а их отношения с Кэрол до поры до времени не становились предметом пересудов.

Было съедено немало подгоревших бифштексов, кукурузных хлебцев с ветчиной, сладкого картофеля, выпито много кофе (пиво пили до и после еды), пока за общим дружелюбием Рихарду не открылось другое.

В виллах не было книг. Мужчины читали газеты вроде «Зее», напичканные рассказами о подвигах немцев во время второй мировой войны. Немецкие асы и герои-подводники, о которых Рихарду прожужжали все уши еще дома, были в США любимой темой мужских журналов. Военные операции против Красной Армии описывались в духе фашистской пропаганды, тексты сопровождались иллюстрациями, знакомыми Рихарду с детских лет, и война на Восточном фронте изображалась прямо-таки противоборством доблестных рыцарей силам зла.

Женщины читали газетную светскую хронику или дамские журналы со статьями о том, как подольше сохранить нейлоновый передник, и рекламами новой модели миксера. Это были своего рода мундир и оружие в борьбе за американский образ жизни.

Калифорнийцы кичились свободолюбием и в то же время покорно заполняли множество анкет, предписывавших указывать расовую принадлежность и вероисповедание, а также отвечать на вопросы о том, не страдала ли нервными расстройствами ваша матушка и не болела ли сифилисом тетка. Без этих анкет нельзя было ни поступить в университет, ни получить работу, ни просто спокойно помереть. Некий дантист говорил Рихарду, что такова цена свободы.

— Мы стремимся к справедливому, бесклассовому обществу, но хотим сохранить свободное предпринимательство,— уверял дантист, а Рихард вспоминал разглагольствования патера Сильвио, который называл фашистов идеалистами и оправдывал их цели. Дантист не был ни немцем, ни итальянцем, но на рассказ Рихарда о патере Сильвио он ответил, что в таком случае США стремятся к той же цели, что и немцы-идеалисты, и вообще Гитлер был не так уж глуп, хотя и свихнулся под конец, но другие за это отвечать не могут.

Потомки немцев подобных разговоров не любили. Во-первых, они считали Гитлера не немцем, а австрийцем, во-вторых, он непростительно испортил все дело, однако западным странам все-таки следовало бы, исходя из своих же интересов, поддержать его, а не снабжать русских оружием, которое теперь используется в Корее против американцев.

Однажды Рихард упомянул об Освенциме. Это произвело впечатление взорвавшейся мины. Воцарилась мертвая, гробовая тишина. Впоследствии Рихарда по-прежнему приглашали на пикники и вечеринки, но в нем уже видели опасного чудака. Писатель! Даже молодым дарованиям нельзя говорить такие вещи, что у порядочных людей из бокалов начинает расплескиваться вино.

Понадобился всего месяц, чтобы Кэрол и Рихард спустились с небес на землю. Вернее, понадобился всего месяц, чтобы их знакомые сбросили маски. Непредвзятое отношение к Кэрол и Рихарду сменилось осуждением. Ведь Рихард не ушел от Кэрол, чего все ожидали, не сыграл до конца роль залетного моряка, который неожиданно появляется, а затем так же внезапно исчезает. «Бедняжка Кэрол не может отделаться от своего альфонса!» — говорили знакомые. Или: «Эта взбалмошная особа поломает бедному Рихарду всю жизнь!» — «Подумать только, такая разница в возрасте!» — «Вот именно, не говоря уж о том, что надо соблюдать хотя бы минимальные приличия! Терпимость калифорнийцев общеизвестна, но всему же есть предел...»

Что такое настоящая Калифорния, им дали понять в один и тот же день, правда каждому в отдельности. Рихарда навестили три соседки, они были такие непосредственные, веселые, загорелые и свежие. Ах, Кэрол на работе? Впрочем, можно обойтись и без нее. Интересно, как она представляет себе свое будущее?.. Если говорить откровенно, то они беспокоятся за своих детей. Ведь дети воспитываются в христианских представлениях о морали и поэтому просто теряются, когда видят Кэрол вместе с Рихардом. Нет-нет, не стоит сердиться, они зашли к Кэрол, к милочке Кэрол...

А Кэрол вызвали к старшей медсестре, и та приказала ей либо устранить причину сплетен, либо уволиться.

С ними перестали здороваться, и Рихард теперь не раз слышал ругательства по их адресу от подростков на пляже. Сначала Кэрол смеялась над этими переменами, надеясь, что все еще утрясется. Но вскоре Кэрол занервничала и ей захотелось уехать отсюда.

Ей предложили работать в госпитале для инвалидов войны в Перл-Харборе, и она дала согласие. Работа казалась ей интересной и благородной, тем более что газеты и телевидение окружали их прямотаки мученическим ореолом.

Однажды, когда Рихард вернулся с пляжа, его подозвал их ближайший сосед пенсионного возраста, который целыми днями ковырялся у себя на участке или подглядывал за молодыми женщинами

на пляже. Со злорадной улыбкой он сообщил, что Рихарда разыскивали двое мужчин.

— Иммиграционные власти? — спросил Рихард.

— Держу пари, что так,— лаконично подтвердил сосед.

Кэрол пришла домой измученной после тяжелого дня, и ее всю затрясло, когда узнала, что Рихарду необходимо уехать немедленно. С колотящимся сердцем Рихард носился по дому, собирая свои вещи, книги, одежду. Что угодно, но только не снова в тюрьму!

Кэрол заперлась в комнате, чтобы выплакаться. Она вышла оттуда с красными, воспаленными веками, взяла себя в руки и принялась помогать Рихарду. Они выехали после полуночи, Кэрол окончательно успокоилась.

На рассвете они перевалили через горы и холодным багровым утром оказались в пустыне Мохаве. Под Барстоу они распрощались. Кэрол погладила Рихарда по голове, а он прижался к Кэрол и никак не мог от нее оторваться.

Наконец Кэрол развернула машину, Рихард долго провожал ее взглядом, пока машина, постепенно уменьшаясь, не скрылась из виду.

Он подобрал свои вещи и побрел на восток. Несколько часов Рихард плелся по совершенно голой местности, сгорбившись от палящего солнца и тяжести пережитой потери. Воздух дрожал от зноя, большие черные птицы парили на неподвижно распростертых крыльях без малейшего усилия, как будто их держало невидимое течение. Из пустоты знойного марева выскакивали редкие запыленные автомобили и исчезали, как мираж. По старой привычке Рихард пытался разобрать их номера, чтобы определить, в какой штат они спешат. Может быть, им по пути?

Пройдя десяток миль, он сдался, смирил гордыню и доехал на автобусе до Далласа, дальше не хватило денег. Он ехал, полный тоски и отчаяния. На душе у него было пусто.

12

Рихард зашел на бензоколонку и попросил кусок картона. Ему показали мусорный бак на задворках, и коробка из-под баночного пива пошла на плакат с надписью: «В Новый Орлеан!»

У бензоколонки стоял старый, обшарпанный грузовик с треснувшим ветровым стеклом. Он был той же модели, что и у Мэя Уэста. Несколько мексиканцев сидели на корточках на прицепленной платформе и курили, поглядывая на Рихарда из-под соломенных сомбреро своими темными глазами и перешептываясь по-испански. Он улыбнулся, повернул к ним плакат. Тогда они умолкли и подтолкнули вперед невысокого жилистого человека в черном. Тот нехотя спрыгнул с машины и подошел к Рихарду. Он говорил по-английски свободно, но с сильным акцентом. Мистеру нужно в Новый Орлеан? В самом деле? Дальний путь. Водительские права есть? Замечательно, просто замечательно. А он живет в Новом Орлеане? Ах вот как, моряк!

Посреди платформы шумел примус, мексиканцы отодвинули свои вещи и одеяла, посадили Рихарда в свой тесный кружок, угостили черным кофе. Все время они нерешительно улыбались и вопросительно заглядывали Рихарду в глаза. Тень робости мелькала на их лицах неопределенного возраста.

Это был закаленный народ с огрубевшими от тяжелого труда руками. Их старомодная манера держаться, полная скромного достоинства, понравилась Рихарду. Ему до сих пор мало доводилось соприкасаться с испаноязычными американцами, хотя он и побывал в Южной Америке. Рихард знал, что в Техасе полно мексиканцев, выполнявших черную работу, но не знал, что говорят они только по-испански, живут изолированно от англоязычного Техаса и даже предпочитают

ездить по ночам, когда прочие люди спят. Днем они ставят свои машины на обочине дорог, чтобы не мешать движению.

Мексиканца, говорившего по-английски, остальные спутники звали просто Омбре, то есть Человек, выражая этим свое уважение. Они посовещались о чем-то, склонившись над кружками кофе, и Омбре, повернувшись к Рихарду, предложил поработать у них шофером. Гарсиа, их шофера, прошлой ночью покалечили в драке, которая произошла в здешнем кабачке. Гарсиа очень плохой человек. Они рады от него избавиться, но никто из них не умеет водить машину. Они направляются в Новый Орлеан, где их родственники обещают подыскать им работу. Если Рихард согласится, можно было бы ехать и в дневное время. Тогда они прибудут на место быстрее. У Рихарда, наверное, есть водительские права? Рихард вынул их и показал, мексиканцы улыбнулись. Они обещали Рихарду бесплатную еду и ночлег в машине.

— А откуда вы едете? — спросил Рихард.

— Издалека,— глухо отозвался Омбре,— рабочим-мексиканцам в Техасе делать нечего.

К полудню они добрались до Шривпорта, штат Луизиана, переехали через Ред-Ривер и свернули на шоссе, которое вело на юго-восток, к городу, где родилась бабушка Рихарда. Омбре сидел с Рихардом в кабине. Мексиканец радовался, что Техас остался позади.

Омбре прямо-таки грезил Новым Орлеаном, где его с распростертыми объятиями встретят родственники и где он найдет свое счастье. У него будет работа, потом он женится. Омбре мечтал о стройных новоорлеанках в белых платьях, с печальными, смущенными улыбками. «Они похожи на газелей»,— тихо сказал он.

Рихард улыбался, слушая попутчика, а потом рассказал ему о своей бабушке. Мексиканцу казалось вполне естественным, что бабушка родилась именно в Новом Орлеане, как, например, естественно то, что человек может быть музыкантом. Жизнь богата и прекрасна, считали мексиканцы, и они поклонялись ей с горячностью и одновременно с достоинством, совсем непохожими на нелепую суету янки. Эти люди не умели водить машину, зато знали, как надо жить.

В сумерках, когда они добрались до национального парка Кисатчи, Рихард обнаружил, что в машине сел аккумулятор. С неисправными фарами Рихард не решился продолжать путь, и они разбили на ночь лагерь под деревьями. Мексиканцы приготовили очень вкусное жаркое из баранины с бобами и луком и угостили Рихарда горячими кукурузными лепешками. Они свертывали сигареты, пили черный кофе и тихо разговаривали, выразительно жестикулируя. Рихард завернулся в одеяло и заснул.

Он проснулся на рассвете. Было влажно и туманно. Тоскливой пустоты в груди как не бывало, и Рихард вдруг почувствовал себя счастливым. Спутники сразу заметили в нем перемену. Сели завтракать. Утренний ветер принес в смолистый хвойный лес аромат субтропических растений.

Потом они без остановок проехали Александрию с ее современными зданиями, роскошными парками и мутной рекой. По ней меж мусора и бревен плыли лодки. Через несколько часов они достигли Миссисипи и переправились через нее по старому железному мосту. На другом берегу Рихард притормозил и вылез из кабины. От волнения он чувствовал, как бьется его сердце. Перед ним простиралась широкая, величественная река. Омбре разделял восхищение Рихарда, но был сдержан, как подобает вожаку. Этой гордой сдержанности Омбре не терял ни при каких обстоятельствах. Он не проявлял волнения даже теперь, когда конечная цель уже вырисовывалась за широкими излучинами реки. Впрочем, Омбре немало поколесил по белу

свету и видел всякое, поэтому сейчас на восклицания Рихарда лишь кивал головой да говорил: «Vamos» [1].

Улицы в Новом Орлеане были прямыми, а кварталы казались вычерченными на клетчатой бумаге. Но в то же время здесь чувствовалась какая-то южная непринужденность, делавшая Новый Орлеан похожим на гигантский Порт-оф-Спейн. Целые дни Рихард проводил в прогулках по городу. Каждая улица напоминала известные джазовые мелодии, которые полюбил весь мир, но почему-то здесь их не было слышно либо играли их никудышные исполнители. Казалось, новоорлеанцы не понимают, что всемирная популярность обязывает их хранить замечательные музыкальные традиции.

И все же Рихарду удалось разыскать, например, прекрасный белый джаз-банд, исполнявший упругий, живой суинг в зале, похожем скорее на сарай, и старого девятипалого пианиста, который наигрывал блюзы в небольшом баре.

Словом, в этом отношении Новый Орлеан Рихарда разочаровал. У него создалось впечатление, что талантливые музыканты перебрались в Нью-Йорк, Калифорнию или Европу, где им жилось получше.

Рихард вместе с другими четырнадцатью мексиканцами жил, по существу, на нелегальном положении. Мексиканцы постоянно были настороже, даже когда ели, стирали или разговаривали о чем-то своем. Почти все время они проводили на заднем дворе, и в дом они заходили лишь тогда, когда на улице появлялся полицейский патруль, моросил дождик или наступала ночь. Зима в Новом Орлеане была похожа на холодное и дождливое шведское лето с редкими проблесками солнца. Едой и ночлегом их обеспечивал тот самый родственник Омбре. Его называли Патроном. Родство Патрона с Омбре было, видимо, весьма отдаленным. К прибывшим мексиканцам Патрон — дородный тип с фатоватыми усиками — относился свысока. Разговаривал он как мексиканский бандит в плохом голливудском фильме, в его голосе звучала постоянно истерическая нотка. Вероятно, он делал это нарочно, зная, что мало кто решится пререкаться с человеком, который вот-вот разразится истерикой. Патрон был явно недоволен последней экспедицией. Грузовик, правда, вернулся с нужным ему товаром, но потерян шофер. Патрон винил в этом Омбре.

Однажды утром Патрон явился со строительным подрядчиком, владельцем ресторана и хозяином овощного магазина. Те отобрали людей для разных подсобных работ. Через четырнадцать часов мексиканцы вернулись измотанные настолько, что у них едва хватило силы поужинать. Мексиканцы работали по пятьдесят—шестьдесят часов в неделю, а получали всего от девяти до пятнадцати долларов. Это была третья или даже четвертая часть обычного заработка. Они не знали, сколько получает за посредничество Патрон, но видели, что он живет припеваючи, эксплуатируя своих земляков. Патрон брал также деньги за еду и матрасы. Таким образом, мексиканцы могли послать домой лишь несколько жалких, замусоленных долларов. Мечты о хорошем заработке быстро сменились горьким разочарованием.

Однажды в музыкальном магазине Рихард увидел электропроигрыватель с динамиком ценой в пятьдесят долларов, точнее, сорок девять долларов девяносто пять центов. Это была новинка, предназначенная специально для долгоиграющих пластинок. На каждой стороне такой пластинки было записано четыре-пять джазовых мелодий, а целый концерт или симфония умещались всего на одной пластинке. Пластинки были небьющимися, короче говоря, как раз то, что нужно моряку. Послушав проигрыватель, Рихард решил его купить вместе с набором пластинок. Потом он сможет наняться на любое судно и плавать себе по всему свету, сходя на берег за новыми пластинками.

Патрон, потерявший шофера, относился к Рихарду дружелюбно, поскольку тот доставил ему людей в целости и сохранности, однако

[1] Здесь: вперед *(исп.)*.

опасался предложить Рихарду работу. Как-никак Рихард был белым и сразу привлек бы к себе внимание среди цветных рабочих-поденщиков. Вместе с тем Патрону не хотелось, чтобы грузовик простаивал. Патрон придумал компромиссное решение. Он сдал внаем грузовик стройподрядчику, а тот платил Рихарду за работу.

Рихард теперь ни о чем, кроме проигрывателя, не мог и думать. Главное — собрать денег на его покупку. Мечта настолько завладела Рихардом, что ему казалось, будто отныне он не сможет жить в море без музыки.

Рихард возил землю со стройки у озера Понтчартрейн и вываливал ее на мысу, где находился большой аэродром. Трудился он до седьмого пота и чувствовал себя распрекрасно, а по воскресеньям наведывался на Сент-Филип-стрит, чтобы убедиться, что проигрыватель еще стоит в витрине.

Перед каждым рейсом Рихарду приходилось погрузить вручную две тонны земли, и так семь-восемь раз в день, а порою он перевозил до двадцати тонн. Босс прямо-таки сиял от удовольствия. Строительство вел генеральный подрядчик, который пользовался услугами примерно двух дюжин мелких «субподрядчиков», набиравших дешевую рабочую силу на день или на неделю, генеральный подрядчик платил за нее субподрядчикам втридорога. Профсоюзов тут не было, точнее, их попросту запретили.

В будни у Рихарда по вечерам наступал как бы провал сознания от тяжелой работы и удушливого запаха бензина. Часто по воскресеньям он ходил смотреть на свой проигрыватель или просто бродил по улицам. Правда, иногда он заглядывал в кондитерские, чтобы поесть французских пирожных. Там за мраморными столиками он видел новоорлеанок, о которых мечтал Омбре. Но была зима, и женщины не носили белого, да и взгляды у них были вовсе не смущенные.

Скопив денег на проигрыватель, пластинки и книги, он начал подумывать о том, чтобы купить что-нибудь из одежды. Можно пока остаться тут и еще немного подзаработать. Потом с деньгами опять будет туговато. Во всяком случае если перевести в доллары зарплату шведского или норвежского матроса второго класса, то это и впрямь совсем мало. Но в конце третьей недели полиция устроила вечером облаву и схватила всех, кто отдыхал и курил на заднем дворе. Произошло это так быстро, что Омбре не успел даже подняться из-за стола.

Два пожилых фараона в зеленой форме пограничников, увидев Рихарда в такой компании, удивились. Мексиканцев увели, а Рихард от страха едва не лишился речи. К счастью, фараоны слишком устали, чтобы орать на Рихарда. Они почти дружелюбно выслушали Рихарда, рассказавшего о себе: моряк, весной уволился на берег в Нью-Йорке, собирается опять в море, ищет работу. Затем Рихард вытащил паспорт. «Учащийся...» — прочли полицейские, осветив паспорт карманными фонариками. Фараоны переписали паспортные данные в блокнот. Показав свою мореходную книжку, Рихард окончательно развеял их сомнения. Вместо ругани, побоев и ареста дело неожиданно кончилось тем, что полицейские дали Рихарду адрес иммиграционного ведомства и посоветовали заглянуть туда в понедельник.

Патрона в городе не было, и Рихард остался в хибаре совсем один. Он только теперь догадался, что вез от Далласа до Нового Орлеана мексиканцев, которые попали в США нелегально. Ведь Рихарду показалось, что мексиканцы едут из Техаса, а они просто сделали большой крюк от границы, чтобы не попасться. Припомнив подробности, Рихард убедился, что Омбре его, однако, не обманул: Омбре не говорил, что они едут из Техаса, а только сказал, что мексиканцам там плохо.

В понедельник утром Рихард пришел в полицию, где его встретили те самые полицейские, которые говорили с ним накануне. Они удивились его приходу, но велели пройти за барьер, взяли у Рихарда

отпечатки пальцев, покачали головами и повезли его в городскую следственную тюрьму Пэриш-призн. По пути они даже намекнули Рихарду, что, имея кое-какие деньги, он мог спокойно уехать куда угодно. Какого черта он заявился? Они его внимательно выслушали и вошли в его положение, а теперь ничего не могут поделать!

Рихарду казалось, что все вокруг рушится. Он с трудом выдавил, что действительно хочет наняться на какое-либо судно. Фараоны посочувствовали Рихарду и объяснили, что обычный залог составляет пятьдесят долларов. Как только будет установлена окончательная сумма, Рихард может выложить деньги и его освободят до суда.

В Пэриш-призн заключенные ожидали суда или следствия, а после вынесения приговора — высылки или отправки на исправительные работы. Рихарда повели по коридорам, в которых шаги отдавались гулким эхом, в тюремный флигель. Раздвинулись стальные двери, и Рихард вошел в большую клетку. В ней было сорок мексиканцев, включая Омбре и его друзей. Одни молча сидели, другие лежали или спали, третьи расхаживали по клетке. По другую сторону коридора была точно такая же клетка с сорока белыми заключенными. Они кричали, ругались, ссорились или хором поносили иммигрантов.

Омбре подошел к Рихарду. Лицо у него было серым. Опустив глаза, он проговорил:

— Во всем виноват я, Рихард. Ты из-за меня сюда попал.

Омбре уже четвертый раз сидел в тюрьме за нарушение закона об иммиграции.

Рихард подсел к остальным.

— Вас тоже взяли, Рихард,— бормотали, вздыхая, мексиканцы,— плохо, очень плохо.

Вечером после «еды» электрические решетчатые двери раздвигались, и заключенные шли по коридору к маленьким стальным клеткам с двумя трехъярусными нарами в каждой. Рихарду досталось место на самом верху, всего в полуметре от стального потолка. Было невыносимо душно, спать невозможно. Около двери вонял унитаз из нержавеющей стали. Пользоваться им приходилось на виду у всех.

Рихард с нетерпением ждал, когда будет установлен залог, но прошла неделя, а иммиграционные власти никакого решения не принимали.

Днем Рихард лежал на скамье в большой клетке. Он старался заснуть, отрешиться от окружающего и погружался в мрачное молчание, из которого его тщетно пытался вывести Омбре. Рихард дремал, скрючившись, словно младенец в материнской утробе, зажав руки между коленями, будто ему было холодно в тюремной духоте. Он опять мечтал, совсем как когда-то прежде. Но теперь он не летел в космические дали, он ехал в машине по Америке. С протяжным воем «Д-о-с-П-а-а-с-с-о-с» мелькали телеграфные столбы и встречные рейсовые автобусы, города и поселки бежали назад и растворялись в мареве, вдали поднимались горные хребты... Внезапно Рихард просыпался, падал на пол, хватал руками воздух, кричал: «Стоп! стоп!» Смех или участливые, смущенные взгляды товарищей по камере возвращали его к действительности.

Однажды к Рихарду подошел Омбре, положил свою жилистую руку ему на плечо и прошептал:

— К тебе пришли.

Рихард мутными глазами посмотрел на решетчатую дверь. Там стояли знакомые полицейские. Они слышали его сонное бормотание, поэтому теперь многозначительно переглядывались.

— Эй, бедолага! — заговорили они в один голос.— Собирай-ка свое барахлишко!

От радости Рихард оторопел и не сразу понял, что фараоны спрашивают его, не хочет ли он пойти в море.

— Иди, Рихард,— сказал Омбре. Остальные молча поддержали его.— Иди, Рикардо.

Рихард так громко крикнул фараонам «да!», что наступила мертвая тишина. Белые заключенные отошли друг от друга, повернулись спиной к коридору и сели, молча опустив головы. Решетчатые двери уже раздвинулись, и тут один из мексиканцев взволнованно заговорил. Омбре перевел:

— Он говорит, что тебе надо научиться братству и солидарности. А еще научиться ненависти, Рикардо, но не слепой ненависти, а той, что открывает человеку глаза.

Полицейские с ухмылкой глядели на Рихарда, пока он тщательно пересчитывал деньги в своем бумажнике, проверял вещи и, наконец, расписался в ведомости. Старший надзиратель хотел было попрощаться с ним за руку, но Рихард словно не заметил протянутой к нему белой лапы. Забрав свои пожитки, он вышел на улицу.

Полицейские действительно подыскали для Рихарда работу. Похоже на сказку и тем не менее правда. Был канун рождества, и они, возможно, хотели изобразить из себя дедов-морозов. Рихард попросил отвезти его на Сент-Филип-стрит в музыкальный магазин. Там полицейские терпеливо ждали, пока Рихард выбирал шесть долгоиграющих пластинок. А когда Рихард решился-таки купить проигрыватель, они даже помогли ему поторговаться, и он выгадал пять долларов, точнее, четыре доллара и девяносто пять центов. Потом полицейские отвезли Рихарда в норвежское консульство, где он оформился на судно «Сёрфьорд» из Осло. Рихард был так счастлив, что подписал контракт, не задав ни одного вопроса. Он пожал руку консульскому чиновнику, получил десять долларов аванса и билет на поезд до Мобила, где поздно вечером его должны были встретить. «Сёрфьорд» поджидал в порту Рихарда и еще двух парней, подписавших контракт в тот же день.

Полицейские доставили Рихарда на вокзал. От радости Рихард был готов броситься им на шею. Они стояли на перроне до самого отхода поезда, но уже потеряли к Рихарду всякий интерес.

Через несколько часов Рихард прибыл в Мобил. На вокзале его встречал отставной шкипер, флегматичный, приземистый человечек с брюшком, седыми волосами и приветливым взглядом. Он стоял на перроне и держал написанный от руки плакат со словом «Сёрфьорд». Рихард подошел к плакату, и шкипер заулыбался. Но улыбка у него скоро исчезла, так как последние пассажиры покинули перрон и стало ясно, что двое других матросов не успели на поезд, а следовательно, и на судно.

Рихарду не терпелось скорее попасть на корабль, в свою каюту, чтобы послушать проигрыватель. Перрон совсем уже опустел, и шкиперу пришлось примириться с тем, что ему придется везти в порт одного Рихарда. Несмотря на это, у шкипера был довольный вид, может быть просто потому, что сам он был уже на пенсии и в плаванье не ходил.

«Сёрфьорд» отошел от причала в полночь. Порт назначения — Рио-де-Жанейро. Это был маленький пароход, построенный в 1948 году в Гётеборге и совсем недавно сменивший шведский флаг на норвежский. Удобное грузовое судно. Кубрики чистые, светлые и довольно просторные, с двумя койками. Рихард один занял целый кубрик и мысленно поблагодарил грешниц Нового Орлеана, заворожив-ших, видимо, двух матросов, хотя их отсутствие сулило ему немало сверхурочной работы. Он включил проигрыватель на полную громкость. Двигатели «Сёрфьорда» работали спокойно, надежно, и когда они вышли в открытое море, Рихард опять почувствовал безудержную радость.

Тут в дверь каюты постучали, и не успел Рихард встать с койки, как на пороге возник Донкис. Рихард вскочил разинув рот, а кочегар невозмутимо закрыл за собой дверь и попросил извинения за поздний визит. Донкис поглядел на проигрыватель, потом осмотрел Рихарда с головы до ног и, наконец, широко улыбнулся:

— Правильно, Рихард, революцию надо соединить с красотой.

Донкис опустился на вторую койку. Его было просто не узнать. Чистая рубашка хаки, отутюженные выходные брюки, до блеска начищенные модные туфли.

Голос Рихарда сорвался от удивления и радости:

— Как, почему? Донкис, это немыслимо! Как тебя сюда занесло?!

— Ну, это,— ответил кочегар,— мы еще обсудим. Времени у нас будет достаточно, ведь судно зафрахтовано на долгий срок.

— Прекрасно! Именно это мне и нужно, Донкис!

Кочегар кивнул.

— С тех пор как мы с тобой не виделись, Рихард, началась война в Корее. Янки настроены очень агрессивно.

— Так то богачи, Донкис,— ответил Рихард,— а не простой народ.

Кочегар, пролетарий моря, был доволен ответом и согласно кивнул.

— Ты взрослеешь, Рихард, и становишься настоящим человеком,— произнес он.

Рихард смутился от похвалы, а Донкис засмеялся, и Рихард, как прежде, подхватил его смех. Они заговорили, перебивая друг друга. Маленький пароход уходил все дальше, дальше, и соленая приветливая тьма раскрывала ему свои объятия.

◆

БУЛОВСКАЯ ЗИНАИДА АРСЕНЬЕВНА

Советский переводчик со шведского. В ее переводе опубликованы произведения современных писателей — Б. Даниельсона, Б. Густафсона, С. Вернстрёма, Я. Пальме и др.

АНА БЛАНДИАНА

Рассказы

Перевод с румынского *АНАСТАСИИ СТАРОСТИНОЙ*

История литературы знает немало примеров, когда поэт по одним ему ведомым причинам обращался вдруг к прозе — прозе особой, поэтической. Читать такую прозу порой непросто, она требует от читателя большого напряжения мысли и, как и поэзия, предполагает особое творческое содружество писателя и читателя. Часто она озадачивает, предлагая вопросы, на которые не дает однозначных, готовых ответов.

Известная румынская поэтесса Ана Бландиана так осмысляет свой отход от форм чистой версификации: «Эпическое начало ничего не определяет в моей прозе, оно — всего лишь удобная оболочка, вместившая преследующие меня мысли и выводы, которые поэзия не могла полностью выразить. Трудно определить место моих последних книг, возможно, лучших из всего написанного: оно где-то между поэзией и прозой, между былью и небылью — и именно в этом двуединстве, очевидно, их особая выразительная сила».

Что же стремится объять поэтесса своим прозаическим слогом? Точно определить или отграничить мир ее прозы почти невозможно. Ибо она объемна и многогранна, как и мир, ее окружающий и ею отраженный. И пусть отражен он в самых невероятных, фантастических ситуациях, за ними всегда ощущается человеческая тревога, живая, напряженная мысль художника, вглядывающегося в этот мир, улавливающего его болевые точки и бьющего в набат во имя их исцеления. Цель творчества Аны Бландианы — поиск гармонии с этим миром, поиск, который мыслится как бескомпромиссная борьба против зла, бездуховности, против засасывающего болота потребительства, словом, всего того, что мешает нравственному становлению нашего современника в условиях социалистической действительности.

Так мыслится задача, которую поставила перед собой Ана Бландиана, и в этом, очевидно, и объяснение ее обращения к прозе, позволившей ей более масштабно выразить и призыв к победе духовного начала (рассказ «Птица потребительская»), и веру в силу человеческого духа, неподвластного давлению косных обстоятельств («Подделка под кошмар»), и ощущение нерасторжимой слитности человека и окружающей его природы («За городом»).

Возможно, наш читатель, подготовленный к восприятию подобного рода литературы всем наследием великих русских и зарубежных фантастов, сатириков, сказочников, предпочтет иную трактовку предлагаемых рассказов. Редакция журнала попросила известного советского прозаика, драматурга и критика Михаила Рощина поделиться с читателями своими раздумьями по поводу рассказов Аны Бландианы. Это особое, личностное их прочтение, опубликованное в конце подборки, открывает еще одну из граней сложной прозы румынской писательницы.

АНА БЛАНДИАНА — ANA BLANDIANA (род. в 1942 г.)
Румынская поэтесса. Начала печататься, будучи студенткой Клужского университета. Первая книга ее стихов «Первое лицо, множественное число» («Persoana intiia plural») появилась в 1964 г. Известность принесли сборники «Уязвимая пята» («Călciiul vulnera bil», 1966) и «Третья тайна» («A treia tainá», 1969). Затем вышли еще семь стихотворных сборников и избранное под заголовком «Песочные часы» («Ora de nisip», 1983). Эссе, очерки и путевые заметки составили книгу «Зеркальные коридоры» («Coridoare de oglinzi», 1984). Фантастическая проза вошла в сборник «Четыре времени года» («Cele patru anotimpuri», 1977).
Предлагаемые рассказы взяты из второго прозаического сборника Аны Бландианы «Проекты прошлого» («Proiecte de trecut». Bucureşti, Cartea Românească, 1982).

За городом

Уже много лет я не выбиралась за город, а только перемещалась из своего города в другой, причем в дорогу, чтобы не скучать, всегда запасалась журналами и прочитывала их, против обыкновения, от корки до корки, а прибыв на место, еще долго держала в чемодане как напоминание о приятном путешествии (моим идеалом путешествия было, как ни странно, не замечать дороги), сопряженном с пользой: «Три журнала одолела». Или четыре, или пять, смотря по длине пути. В окно я никогда не смотрела, не тратилась на такое пустое и бессмысленное занятие. Конечно, все это ерунда, но она нужна мне, чтобы подготовить вас к одному в общем-то невероятному сообщению, а именно — что до того момента, о котором пойдет речь, я за свою взрослую жизнь ни разу не видела поля. Без этого вы или не все, или вообще ничего не поймете в моем рассказе. В детстве, двадцать с лишним лет назад,— да, видела и хорошо помню, как это случилось в первый раз. Мне сказали, что я поеду за город, к дедушке и бабушке, на машине. От машины осталась в памяти тесная кабинка (грузовика?) с огромным передним стеклом, на котором, как на экране, бежало бесконечное поле. Я насмотрелась вдоволь, сидя на коленях у кого-то, кого я время от времени спрашивала: «А когда же загород? Загород скоро будет?» Я уж не помню, как, по моим представлениям, должен был выглядеть «загород», но помню, что жадно высматривала его, боясь пропустить миг, когда он появится, и еще помню смертельную обиду — ту обиду на грани бурных слез, которую знают только дети,— когда этот кто-то, устав от моих приставаний, небрежно обронил: «Да это он и есть, твой загород». И я, ничего не понимая и пялясь на равнину, которая тянулась уже несколько часов, с внезапным суеверным страхом, как будто там притаились невидимые мне, но оттого не менее опасные страшилища, набухая ревом, за который детей чаще всего дерут, чтобы по крайней мере не зря ревели, едва успела спросить: «И давно он начался?»

Навестить село, где не была с детства, я решила неожиданно для себя и без всякого повода. То есть я хочу сказать, что не было никакого толчка или хотя бы ностальгии. Просто сорвалась с места и поехала, зная, что у меня там никого нет: бабушка с дедушкой давно уже умерли, и бог весть что стало с их домом. Про поле я тоже не думала. А между тем оно-то меня и встретило, да еще как! Чуть опомнившись от потрясения, я серьезно задала себе вопрос: не по его ли тайному зову я пустилась в путь, безотчетно, как лунатик,— до такой степени оно, поле, кричало и просилось на глаза.

С чего бы начать? Стояла глубокая осень, по сути почти зима, но зима, сама себе противная, вялая, шаткая, слякотная: то подморозит, то развезет. Хотя истекли только первые утренние часы, дню уже не терпелось кончиться, небо меркло и провисало все ниже и ниже в попытке коснуться поля. А полю не было конца. Шоссе разрезало его ровно пополам. Обычный обман зрения: где бы ты ни находился, горизонт берет на себя заботу описать вокруг тебя круг, вежливо уверяя, что ты — пуп мироздания. Но в этом мирозданье я, кажется, действительно была единственной живой душой. И в этом мирозданье, которое позвало меня, не объясняя зачем, и в которое я сейчас наугад углублялась,— в нем было что-то ненормальное, что-то, чего, по моим ощущениям, не должно было быть. Что за источник излучал тревогу и почему меня так властно потянуло сюда, я не могла сказать, только чувствовала, что с каждой минутой пути меня обволакивает и все глубже засасывает — то ли болезнь, то ли просто загадка поля. Уже сам его вид показался мне неестественным — по краскам и по странному движению, происходившему на нем. Оно было желтым, даже золотым, но позолота местами сбежала, и в черных

проплешинах шебуршилось что-то скользкое, глянцевитое — оно-то и сеяло смуту. Да, речь шла о смуте, я это поняла довольно скоро, о войне двух цветов, о схватке с неясным исходом — за кем останется поле брани. Черное и желтое схлестывалось, накатывалось друг на друга, расползалось и начинало все сызнова — и так на протяжении тысяч и тысяч гектаров. Тысячи гектаров копошения живой, пятнистой, аморфной субстанции. Одно было ясно с первого взгляда: уровень поля заметно поднялся, как будто его в несколько слоев удобрили какой-то пегой комковатой кашей, не загадив только шоссе, оказавшееся словно между двух плеч, вздернутых вверх до упора в крайнем недоумении.

Когда я остановилась — не без опаски, с ощущением, что каша тут же стала подбираться ко мне с двух сторон, грозя поглотить нейтральную полосу дороги,— к предметам, деформированным скоростью, вернулись их обычные очертания, и я, наконец, смогла рассмотреть поле, которого, в сущности, никогда не видела и по детским воспоминаниям — если я вообще о нем вспоминала — представляла совсем другим. Первое, что ошеломляло,— это отсутствие земли, то есть что земли просто не было видно. Она утонула под метровым, не меньше, слоем кукурузных початков и зерен, в которых рылось, возилось, топталось несметное множество всевозможных живых тварей — от червей до хомяков, зрячих и слепых, в шубах и голых, с усиками и без, пресмыкающихся, четвероногих, многоногих и даже пернатых — потому что над этим клокочущим месивом кружили на бреющем полете целые эскадрильи воронов, отчаянно балансируя при посадке на ускользающий из-под ног ковер. Поскольку все шевелилось, все бурлило, кукурузные зерна, получавшие со всех сторон тычки, словно бы впадали в исступление и тоже начинали дергаться, как живые, то давая себя проглотить, то пускаясь в самосев: набухали, прели, плесневели, бродили, выделяя миазмы, проваливались вглубь, доставали до земли, пускали корни и снова начинали путь наверх в виде жалкого, слюнявого, чуть зеленеющего ростка; и эта бледная немочь упрямо лезла к свету, продираясь между крысиными хвостами и жучиными брюхами, между птичьими лапами и кротиными рылами и, наконец, вырывалась на мутный воздух в готовности следовать вывихам своей судьбы, расти и родить и снова вступать в круговерть разложения заживо, сквозь которую она пробивалась затем только, чтобы ее увековечить. Это зрелище, едва увиденное мной воочию, тут же судорожно рванулось из лямок правдоподобия, норовя ускользнуть в символ, в кошмар: не движение, не просто движение происходило тут, а работа гигантской утробы — заглотить, перетереть, переварить. И не только насекомые, звери и птицы пожирали кукурузу, но и кукуруза как будто бы пожирала их, так яростно метались зерна, набрасываясь на обидчиков, силясь засыпать, удушить их и пропадая в плотоядных клювах и глотках. Без передышки, не утихая, на моих глазах грязь и золото мешались в тошнотворную, копошащуюся, слизкую кучу малу, глумливо напоминающую о величии жизни, которая хоть как-то, а продолжается — всегда, везде, наперекор всему. Страсти кипели, но я не могла разобрать, кто с кем воюет: то ли воронье нападает на ползучих и грызучих, то ли те атакуют, карабкаясь по птичьим лапам, впиваясь в перья; как, впрочем, и вообще было неясно, что тут, на вороний взгляд, заманчивей: оставшиеся в живых зерна или падаль — трупы перестаравшихся обжор. Так или иначе небо, провисшее почти до земли, и сама земля, страдая от унижения под своими плодами и испражнениями, словно только выжидали момент, чтобы сомкнуться и скрыть это бесчинство, этот разношерстный мир, живой донельзя — и недостойный жизни. Я стояла, застыв от отвращения, перед зараженной кишением далью и спрашивала себя: интересно, это все поля, которые я проезжала в своей жизни, уткнувшись в книгу, чтобы не дай бог не потратить зря времени и внимания,—

неужели все поля, которые я не удостаивала ни единым взглядом из окна, все были — как это? Вопрос действительный, конечно, лишь в том случае, если на земле существует много полей, если они еще не слились каким-нибудь образом в одну непрерывную, расползшуюся повсюду степь. И — и если да, и если нет — все равно я почувствовала, как губы дрожат, глаза моргают, а в груди теснится тот отчаянный, беспомощный рев, который смеет обнаружить себя только в детстве и против которого я сейчас собрала все силы, вложив их в вопрос — кому-то в пространство, без малейшей надежды на ответ: «И давно это началось?»

С пригорка, где я затормозила, село выглядело маленьким, серым, предельно затертым мощным натиском равнины, прихлынувшей со всех сторон. Оно как будто съежилось, свернулось в клубок, не сумев втянуть или закамуфлировать только скорбные кроны орехов,— и чудом выжило, не поддалось этой въедливой каше, подчинившей себе просторы. Выжить — довольно скользкий термин применительно к жизни, у которой больше общего с небытием, чем с бытием. Я ничего наперед не знала и все-таки при виде сжавшегося в комок села поневоле пустила машину почти ползком. Как в зыбком сне, готовом чуть что улетучиться, я начала узнавать места. У самой околицы — заброшенная маслобойка, она не работала уже во времена моего детства, а теперь решительно слилась с природой: стены замшели, оконные и дверные рамы растащены, вместо половиц, тоже повыбранных, высокая, сухая, но тем не менее живописная трава, особенно теперь, когда она простирала свои задубелые метелки к черным, горестным балкам крыши, не прикрытой черепицей. Дальше тянулся черешневый сад, принадлежавший учителю. Черешни одичали, выродились в корявых и мрачных уродов, и никак нельзя было представить, что когда-то они могли наивно обвешиваться красными сережками. Дальше шли дома, с виду совсем незнакомые. Вообще-то следовало бы удивиться, что я узнала сад, не похожий сам на себя, а дома, старые уже во времена моего детства и совсем вроде бы те же, не вызвали во мне никакого отклика. Но я не удивлялась: сад для меня существовал сам по себе, отдельно от хозяев (я могла часами сидеть в траве, выжидая минуту, когда пустели солнечные коридоры между ровными рядами черешен, и быстро влезала на ближайшее дерево), а дома я различала только по хозяевам. Я не признала их, как не признала бы платье, поразившее меня на ком-нибудь, найди я его в шкафу на плечиках. Дело в том, что в домах больше не жили. Я догадалась не только по безлюдью и беззвучью, не только по застойной, ломкой тишине, пропитавшей все насквозь, но и по виду галерей — по виду их дерева, из которого ушла жизнь, по тому, как посерели — не от грязи, а от времени — белые стены, как вспучилась земля на плотно убитых прежде двориках. Я ехала по улице, заглядывая во все ворота и, не встречая ни одной хоть сколько-нибудь живой души, все же чувствовала, что за мной украдкой следят — не иначе как само безлюдье провожало меня из окошек, воплотясь в испытующий взгляд. Потом я завидела в одном дворе собаку, старую и вялую. Она не приподнялась с места и даже не оживилась, едва повернув голову в мою сторону. Потом курица с повадками бестолковой и суматошной хозяйки, которые так виртуозно даются только курам, прошмыгнула через дорогу, вывернувшись прямо из-под колеса. Значит, не такое уж оно нежилое, село. Тогда, может быть, этот дух всесветного запустения идет не от отсутствия людей, а — глубже — от их присутствия? Стоп. Чуть не проехала. Все было вроде бы по-прежнему, но нет, прежним на меня не повеяло. Первое, что бросилось в глаза,— айва перед домом не обобрана, стоит вся в желтых светящихся лампах, как будто забыли потушить иллюминацию после какого-то давнишнего праздника. Вероятно, это дерево так трогательно и нелепо понимало свой долг: рожать десятки лет подряд, не отчаиваясь, не удивляясь тому,

что творится вокруг, и даже не интересуясь, нужны ли кому-нибудь его плоды. Впрочем, поинтересоваться было не у кого, и живая айва на ветках светилась над грудами опавшей, но тронутой не гниением, размягчающим плоть фруктов, как всякую живую плоть, а окоченелостью минерала. Залежи бугристых, твердых, обуглившихся шаров выстилали весь двор, не оставляя сомнений, что я никого здесь не найду. Я толкнула тугую калитку и осторожно пошла по айвовому настилу. В доме кто-то, очевидно, жил после смерти моих дедушки и бабушки, потому что оконные рамы из старого и нежного на ощупь дерева лоснились зеленой масляной краской, а двери с массивными наружными засовами на старинный лад, отодвинутыми за ненадобностью, были заперты на никелированные замки. Я заглянула в пыльные, засиженные бог знает сколькими поколениями мух окна: обстановку подновили — мебель ширпотребовская, коврики базарные, все кричащее и вместе с тем безликое, скопище не вещей — барахла. Причем — знаменательно — это новомодное убранство не скрадывало впечатления заброшенности, а усугубляло его — настолько больше жизни было в прежних линялых половиках и в лавках, до блеска натертых теплыми человеческими телами. Такой, каким я его застала — с новым бетонным фундаментом, с газовой плиткой без баллона, торчащей в углу на месте старой чугунной печки,— дом дедушки и бабушки, забарахленный и чужой, явился мне более призрачным, чем если бы его не оказалось вовсе. Впечатление насилия над домом возникало, наверное, оттого, что последние его обитатели были жильцами, а не хозяевами, они не умерли тут, они бежали, и дом опустел не в силу естественных причин, а по стечению обстоятельств — его бросили, как обузу, как жалкую халупу, которой грош цена со всеми ее потрохами. А ведь подумать — какой сокровенный смысл был у каждой мелочи в угасшем мире бабушки и дедушки! Я помню, с каким трепетом я копалась в ящиках комода, набитых россыпью волшебного хлама, сокровищами неизвестного назначения или вообще без назначения и оттого еще более красноречивыми. Деревянные катушки, чья нитка давно кончилась, что не повредило их солидности и моему к ним почтению; расписные бонбоньерки, сначала годами служившие колыбелью для атласных «подушечек» с хрустящей ореховой начинкой, а потом с подобающими почестями переведенные в чин таинственных ларцов, где дремали пуговицы: осанистые латунные красавицы и алюминиевые пигалицы с ободком и четырьмя симметричными дырочками; вязальные крючки и пугливые наперстки в рельефную точечку, как мурашки на коже металла; старые банкноты, имевшие хождение до стабилизации, с астрономическими цифрами и забытыми портретами; химические карандаши с хитрыми наконечниками, крепящимися на неоточенном конце тонким эбонитовым колечком; массивные, какие-то средневековые ножницы с прохватами для пальцев, предусмотрительно обмотанными тряпкой; круглые очки в проволочной оправе с бечевкой, которой бабушка привязывала их под пучком...

Я почувствовала на себе чей-то взгляд и с готовностью обернулась. Две старушки — одна во дворе справа, другая с улицы,— держась за колья забора узловатыми руками, смотрели на меня. Довольно рассеянно и как-то без особого любопытства. Я бы сказала, что они разглядывали меня объективно, без эмоциональной окраски. И хотя я не делала ничего дурного, а всего-навсего навещала дом своего детства, я все же сочла нужным объясниться, потому что для них-то я была взрослой и чужой.

— Я — внучка Маманы,— представилась я в уверенности, что имею дело с бывшими бабушкиными соседками, а Мамана — так на южный лад звучала мама Ана — была в селе почитаема. Еще бы — все проходили через ее руки: младенцев она заворачивала в смоченные уксусом простыни и р а з м и н а л а, то есть подвергала чему-то

вроде энергичного массажа, когда ее пальцы, кривые и жесткие, но словно наделенные собственным, независимым от головы разумом, уходили глубоко под кожу и безжалостно разгоняли сгустки застоявшейся у суставов крови, а взрослым ставила банки и прописывала сложный коктейль из трав, которые сама собирала, сушила и раздавала бесплатно, со строгими наказами — теперь я без особого преувеличения могу назвать их научными. Я, помню, гордилась ее наукой и всеобщим к ней уважением и, когда во время игры возникали споры, решала их в свою пользу, без зазрения совести прибегая к испытанному заклинанию: «Так мне Мамана сказала».

Итак, представляясь внучкой Маманы, я не сомневалась, что звуком ее имени пускаю в ход изъявления самых добрых чувств. Но не тут-то было: старушки и глазом не моргнули, глядя на меня как на пустое место. Не зная, что и думать, я растерянно спустилась с крыльца, откуда заглядывала в дом сквозь пыльные стекла, от старости тронутые по краям ржавым налетом, и вошла в сад. У колодца с большим колесом и деревянными створками я невольно задержалась. Он не изменился, и я не могла припомнить, встречала ли я после колодцы такой глубины: перевесишься через край, и даже в самый знойный августовский полдень тебя обдаст истовой волной холода, и ничего не видно, только далеко-далеко внизу что-то поблескивает и быстро, таинственно бормочет источник. Колодец уходил под землю круглой кладкой из узких бурых кирпичей, от времени и сырости обросших зеленым шелковистым мхом, а над землей возвышался примерно на метр срубом из бревен, пригнанных друг к другу без помощи гвоздей. Сруб продолжался с трех сторон решетчатыми стенками искусной работы, а с четвертой — такой же двустворчатой дверцей. Сооружение венчала островерхая черепичная крыша, так что по внешнему виду его можно было принять за экзотическую беседку, которая озадачивала наблюдателя огромным, как у каруцы, колесом, закрепленным сбоку мощной стальной скобой. Нет, колодец держался молодцом. Тяжелая цепь не заржавела, ведру не надоело болтаться впустую, а скрытый в глубине, все такой же невидимый и далекий источник журчал по-прежнему. Я перегнулась над срубом, прислушиваясь и вспоминая захватывающий обряд спускания на холод арбузов: дедушка опускал их по одному в ведре, а потом брал нас под мышки и подсаживал, чтобы мы посмотрели, как они там, пузатые, плавают. Видеть мы, конечно, ничего не видели — зато грозно поднималась снизу волна холода и гулко отдавал от стен дробный говор воды, и эта таинственная угроза, перевитая с бесспорным чувством безопасности, шедшим от больших и теплых дедушкиных пальцев, крепко держащих меня под мышками, и с предвкушением праздника заклания арбузов, была и вот, оказывается, осталась во мне чуть ли не самым живым впечатлением детства. Нет, колодец не сдал, и щедрый дар вызывать детские чудеса был при нем. Я непроизвольно обернулась — поделиться своим открытием с двумя молчаливыми зрительницами той сцены, в которой и я тоже играла роль зрителя. Но оказалось, что моя беззвучная свита неожиданно выросла. Еще три старушки глазели на меня с улицы, прижав ладони ко рту, остолбенело и в то же время отчужденно. А из соседнего двора ковылял к ограде, чисто условной, небрежно сплетенной из лозняка, тщедушный старичок, станиолевое создание, с чьей легкостью и хрупкостью никак не вязались всклокоченные седые волосы и борода. Я кивнула им, еле заметно, молча, как будто заразилась их немотой или приняла как условие, что между нами — безвоздушное пространство. Ответа ждать не приходилось.

Наш сливовый сад оказался по крайней мере наполовину против прежнего вырублен и засажен виноградом. Но ни виноградником, ни садом, видно, уже долгие годы никто не занимался. Сливы одряхлели и непомерно разрослись. Ветки, которые весной не прореживали, пе-

реплелись и сцепились намертво. Иные засохли и, надломленные ветром, кое-как висели в общем завале. Иные, наоборот, одичав и потеряв всякую щепетильность, извивались, толкались направо и налево, вверх и вниз, чтобы из плотного колтуна пробиться к свету и воздуху. Но странно — не эти пробивные ветки родили больше ягод, а затертые, оттесненные в гущу кроны, они, туго усаженные дряблыми, заплесневелыми сливами, сами удивлялись, как это у них получилось, и не знали, чего им ждать. Потому что и сливы не были убраны, и если какие-то из них — уже не сливы, а мумии, жалкие побрякушки, чуть ли не постукивающие на ветру, чудом не опали, то остальные давно уже тоннами гнили на земле, насытив до отвала и пчел, и червей и покрывшись слоем палых листьев, в прорехи которого скалились сливовые косточки, как гнилые зубы чьего-то раздробленного и неузнаваемого черепа. Земля забрала назад все, что подарила, соки, которые она гнала по стволам, стекли обратно, никого не напитав, не послужив никакой мало-мальски полезной цели, если, конечно, не считать целью откорм червей до такого состояния, пока они не лопнут и тоже не стекут в землю. Однако ни отсутствие цели, ни заброшенность не помешали саду дотянуть до старости, и я не могла без щемящего чувства смотреть на деревья, которые помнила молодыми и гибкими. (Раз меня выпороли за одну игру, которую я сама придумала и которую с восторгом подхватила соседская детвора, вечно вертевшаяся у нас во дворе и в саду, стоило мне приехать: каждый выбирал себе по дереву и, держась за ствол, начинал носиться по кругу, пока не падал на землю в полном обалдении. Тот, чья слива тряслась после этого дольше всех, выигрывал.) Теперь стволы покоробились, кора сморщилась, растрескалась, кое-где облупилась, кое-где замшела, а внутри чаще всего не было ничего, кроме рыжей трухи, молотой-перемолотой муравьями. Местами и эта труха осыпалась, и полый скрученный ствол из последних сил удерживал ветки, со стыдом и тоской маскируя свою пустоту. Я пошла дальше, не оглядываясь, спиной чувствуя, как прибывает зрителей. И очутилась на винограднике, которого при мне не было, но который тоже не избежал общей участи: крупные, уже с гнильцой виноградины покорно ждали порывов ветра, облетая при легчайшем прикосновении, обнажая остов грозди, полузасохший, без дела болтающийся в воздухе. Кое-где подпорки рухнули под тяжестью урожая, проволока обвисла, и лозы, пренебрегая дисциплиной, нарушили ряды и, выпроставшись из подвязок, живописно раскинулись по слякоти. Я попробовала виноград. Он был сладкий и вязкий, насыщенный сахаром. И все это пропадало зря. Пропадало? Нет. То, что человек так бестолково бросил, подбирали птицы — деликатно и с достоинством. Стайка скворцов — кажется, это были они — клевала ягоды, не суетясь и не опасаясь, что их спугнут, только время от времени замирая и пытливо изучая меня. Зато дятел ни на кого не глядел, всем своим видом показывая, что у него — вероятно, после долгой отлучки — накопилась тьма дел, весь сад на нем, и он трудился проворно и добросовестно — выстукивал каждое дерево, а потом, заморочившись, перешел на виноградник и так же деловито отстукал заодно бетонные столбы шпалер. Меня он миновал, не удостоив ни единым взглядом, не допуская мысли, что я могу его остановить. Как и скворцы, он был здесь свой — больше, чем я. Между тем от винного запаха перебродивших слив и винограда мне стало дурно, дурно по-настоящему. А тут еще это невыносимое ощущение разрухи и одичания, запустения и упадка, которые ставили меня в тупик, отдавали во власть самых зловещих и невероятных подозрений. Взгляды, буравящие мне затылок, только усугубляли мое замешательство, мои предчувствия, дальше откладывать объяснение было нельзя. Я круто обернулась. Но нет, такого я не ожидала. Свита, исчисляемая уже десятками, шла за мной по пятам, и теперь мы стояли в открытую друг против друга. Толпу старух чуть

разбавляли старики, а поскольку все сговорилось быть шиворот-навыворот, мужчины подобрались еще мельче, чем женщины, совсем жидкие — в чем только душа держится. Первой стояла старушка ростом от силы с десятилетнего ребенка, легкая и точеная, с белой и сухой, как гофрированная бумага, кожей. Она смотрела на меня в упор, не смущаясь моим вопросительным взглядом, пока я не отвела глаза. Но сколько можно быть предметом такого странного созерцания? Я решила — хватит, надо развязать им языки. И, снова встретив пронзительный взгляд передней старушки, я открыла было рот, но в голове у меня так все перепуталось, а ее глаза так необъяснимо сверкали, что вместо длинной фразы я только неопределенно взмахнула рукой и с натугой выговорила:

— Почему?

Но старушка, то ли не слыша, то ли не сочтя нужным ответить и по-прежнему не сводя с меня зоркого, какого-то приценивающегося, непонятного мне взгляда, придвинулась поближе и, легонько потрогав меня пальцем — как будто хотела удостовериться, что я есть на самом деле, или определить, из какого я теста,— проронила еле слышно, как бы только для меня:

— Молодая...

Я подумала, что ослышалась: какая, собственно, могла быть связь между моим возрастом и этой дурацкой игрой в переглядки, и наугад подтвердила:

— Да.

Но она, совсем уже поедая меня глазами, дотронулась до моей щеки и, тут же отдернув руку, сухую, чуть шероховатую на ощупь, как древесина, повторила, на этот раз погромче, словно желая придать своему наблюдению официальный характер:

— Молодая, ей-богу.

А вслед за тем, еще больше повысив голос, зазвеневший от напряжения, теперь уже открыто обращаясь к остальным, выкликнула чуть ли не торжественно:

— Она молодая!

И вся толпа, будто этого знака только и ждала, ринулась ко мне, растопырив корявые пальцы и приговаривая:

— Молодая, и правда.

— Вот не чаяли.

— Привел же господь.

И заскорузлые, скрюченные работой и ревматизмом руки — усталая плоть, кое-как прилаженная к костям узловатыми жилами,— руки, как самостоятельные зверьки, поползли по мне снизу вверх, дрожа от страстного любопытства. Я не знала, что делать, как избежать этих чудовищных ласк. И решив оградиться от жадных, почти недобрых прикосновений хотя бы тонкой броней слов, попыталась завязать диалог:

— Что там творится, на поле?

Но в тесном кольце вокруг меня были свои заботы: одни отодвигались, чтобы дать место подле меня другим. В общей давке меня толкнули, я чуть не упала, а моя попытка удержать равновесие была расценена как попытка к бегству. Тут же руки замельтешили, вцепились мне в платье, и чей-то истерический голос — непонятно, мужской или женский — задребезжал, срываясь и комкая слова:

— Держите не пускайте

Хор тут же подхватил:

— А то и эта сбежит

— Ишь прыткая

— Оставим ее у нас пусть хоть одна будет

— Связать бы ее

Мне все больше хотелось проснуться и убедиться, что ничего этого на самом деле нет. Можно было сойти с ума не столько от того,

что происходило, сколько от полного пренебрежения моим присутствием — будто я была не я, а просто вещь, редкая и нужная, за которой все гоняются. Меня ни о чем не спрашивали, мне не отвечали, словно мои вопросы давно уже набили всем оскомину, а настоящие ответы мне не понять. Оставалось одно — вырваться из тисков, бежать, уносить ноги подальше от этого гиблого места, которому я не настолько чужда, чтобы не заразиться тлением. Но вырваться, не решившись наносить удары, было немыслимо, я могла спасти себя, только перейдя в наступление, только без жалости распихивая старые тела, окружившие меня трясущейся, шаткой, но неподатливой стеной. Я вступила в бой поначалу с оглядкой: как можно деликатнее упирала ладонь в хилые старушечьи груди, раздвигая себе проход, осторожно отрывала лоскутки от своего подола, чтобы не разжимать сведенные судорогой стариковские пальцы, и полегоньку ввинчивалась в гущу тел. Но моя предупредительность их только ожесточила. Раздраженные собственной немощью, они усилили свой жалкий натиск. Сквозь свистящее дыхание и кряхтенье прорывались глухие возгласы и отрывистые команды:

— Вот так
— Не упустите
— Осторожно
— Вот сюда
— Поаккуратнее

Я не могла понять: то ли к ним подошло подкрепление, то ли меня просто стала одолевать усталость, но борьба шла вничью: вот уже, кажется, всех разбросала, а кто-то снова на пути. Я как будто барахталась в куче зерна: разгребу проход, а он снова смыкается, и так до бесконечности. Отпихнутые получали короткую передышку и снова висли на мне. Я уже начала сомневаться, что это когда-нибудь кончится, но тут, сделав шаг в сторону все в той же попытке выцарапаться из толпы, которая перемещалась вместе со мной, я споткнулась о чей-то башмак и, путаясь в телах и ногах, рухнула вниз, не достав, однако, до земли, потому что в последний миг — как будто все было рассчитано и мне нарочно поставили подножку — множество рук подхватило меня, мучительным усилием рвануло куда-то вбок и наконец опустило на что-то ровное, но не на землю. Не могу утверждать, что меня бросили, но все же при падении я больно ударилась головой и в ту же секунду услышала стук двери и очутилась в пустом и светлом пространстве. Я приподнялась на локте и вдруг зашлась в долгом, облегчающем смехе. Оказывается, во время битвы я, не отдавая себе в том отчета, отступала (или меня толкали?) к кукурузному амбару, чья дверь и захлопнулась за мной и чей пол, скопивший летнее тепло, я чувствовала сейчас под собой. Старый амбар! Он когда-то служил мне театральной сценой. А ведь это настоящая клетка, теперь я поняла, клетка, в которой я была птицей, трясущейся от хохота, а за деревянной решеткой разъезжались в ухмылках глядя на меня торжествующие стариковские лица. Я хохотала перед этими шутовскими масками, прижатыми к решетке, а сама была далеко, в тех летних днях, когда мы, вся уличная ребятня, собирались в пустом амбаре, восхитительно разлинованном тенями, пахнущем пылью и нагретым деревом. Сначала мы играли в праздник и по очереди читали стишки и пели песни кто какие знает. Причем девочки относились к делу серьезно и старались перещеголять друг друга, а мальчишкам скоро надоедало они начинали валять дурака, кривляться, таскать нас за косы, пока мы — а девочек всегда было больше — не выставляли их вон. И всякий раз, оставшись одни, мы затевали игру в барыню-сударыню. Она состояла в том, что мы парами прохаживались под ручку из угла в угол и, встречаясь, церемонно обменивались любезностями:

— Добрый день, сударыня.
— День добрый, сударыня.

— Как поживают ваши детки, сударыня?
— Спасибо, хорошо. А ваши, сударыня?
— И мои хорошо, сударыня.
— А как здоровье вашего супруга, сударыня?

Каркас сценария придумала, само собой, я, но заполняли его всем миром, часами в упоении ведя светские беседы. Важно было не столько их содержание, сколько слово «сударыня», которое мы смаковали в хвосте каждой фразы, как магическую, поглощающую время формулу... Я глядела на неуверенные улыбки из-за решетки, на оскал гнилых десен и не могла унять хохот, который рвался из меня неостановимым потоком, тряс лихорадкой. Все, все было смешным до невероятности: игры девочки, мечтающей поскорее стать взрослой, я, взрослая, зачем-то затеявшая это жалкое путешествие во время, где мне уже никого не найти, кукурузное поле, засеянное машинами и отданное на растерзание крысам, одичавший, заваленный гнильем сад, разнузданный виноградник, обираемый птицами, эти зажившиеся старики и старухи, сами себе в тягость, но зато — какое счастье — заполучившие меня, и село, село вообще, брошенное молодыми, которые больше не понимают, что тут делать, которые выпали из нормального миропорядка. Все казалось мне смешным, и я смеялась до упаду, пока не потекли слезы, и старые люди не отошли прочь в недоумении, наверное усомнившись, что сделали хорошее приобретение. И это тоже было уморительно, и я хохотала что было сил, пока из груди вместо смеха не вылетел хрип, жуткий, зловещий, и от ужаса я утихла, но еще долго судорожно всхлипывала в ритме хохота, от которого остались только спазмы в груди, никак не напоминающие веселье. Наконец, я сумела встать, переборов смех, как болезнь, и, поколебавшись, отодвинула одну доску — ту, что и в детстве была отодрана и еле держалась,— выбралась на волю, еще раз пересекла сад и виноградник и вышла на зады, к перелазу через плетень. Пора было уходить, теперь уже насовсем.

Я свернула к церкви — ее-то я отлично помнила,— в меру высокая белая, в форме креста, надставленного крыльцом на столбах, купол обит жестью, но весь блеск закрашен зеленым. Я так хорошо ее помню, потому что тысячи раз крутилась рядом в воскресные утра. Мамана выстаивала обедню, а я изучала полустертые фотографии на фарфоре и непонятные надписи на крестах старого кладбища, все чаще и нетерпеливее поглядывая на кованые дубовые двери с железными полосами крест-накрест — кустарное изделие местной кузницы,— откуда по окончании службы высыпали вереницей умиротворенные старушки. Что-что, а церковь я надеялась застать в прежнем виде, она одна имела естественное право не меняться. Она и не изменилась. Только была обложена. Вместо церкви стояло теперь причудливое альвеолярное сооружение землистого цвета — холм из сотен и тысяч выпуклых шершавых ячеек, плотно пригнанных друг к другу. Нет, так вы не поймете. Попробую иначе. Представьте себе ласточкино гнездо. Вспомните последнее ласточкино гнездо, которое вы видели, и сосредоточьтесь на нем, попробуйте мысленно увидеть его как можно точнее: шероховатое, скрупулезно слепленное из комочков глины, лазейка сверху, замаскирована под стрехой. Если вы хорошо закрепили его в уме, попробуйте представить два или три десятка таких ласточкиных гнезд рядом, целую птичью улицу, вытянувшуюся под крышей дома, от угла до угла, а если и это вам удалось, тогда возьмите десять, двадцать, пятьдесят таких рядов и обложите ими стены, обложите ими все стены дома, от стрехи до основания, до завалинки, а если вы преуспели и в этом, умножьте все на десять, на двадцать, на сто и дерзните нарисовать себе целую церковь, большую церковь с куполом, с башней колокольни, обложенную целиком, обложенную полностью ласточкиными гнездами. Так это было. Она была обложена сверху донизу, и кованые двери, оставшиеся еще от преж-

ней церкви и перенесенные, как утешительный символ стойкости, в новую,— ее двери утонули под хижинами затейливой архитектуры, так что об их местоположении можно было только догадываться по плавной впадине в глиняной облицовке. Впрочем, контуры церкви сохранились — я различила и колокольню, и купол, и столбы крыльца,— только вот этот пугающий налет, этот культурный слой, похоронивший первообраз под панцирем из слюны и глины.

Сколько времени понадобилось на такой полный переворот основ? Век? Тысячелетие? Моя собственная, резиной натянутая жизнь, готовая к жгучей боли разрыва, не могла ни мерить, ни рассуждать. Я стояла и смотрела, долгие минуты, застрявшие где-то на предельной черте, стояла перед этим курганом, сложенным из отходов полета. Сейчас, зимой, заброшенность здания била в глаза особенно вопиюще непереносимо, и я почувствовала, что тишину, сгустившуюся вокруг меня, вероломно пропускающую, как сквозь сито, шорох одушевленного и вездесущего поля,— что ее надо сломать, не важно, чем и как. Я слишком долго смотрела. Слишком долго воображала, что увидеть — означает спасти, надо было спешить, надо было что-то делать, иначе я завязну, иначе мне не уйти. Я кинулась к колокольне и заколотила руками и ногами по облепившим дверь гнездам, не останавливаясь и даже не смущаясь, когда по рукам потекла клейкая жидкость разбитых яиц, когда пальцы натыкались на голое, неоперившееся тельце. Я била и крушила без остановки, а вокруг уже летали несчастные птицы, и в их отчаянном гвалте были и возмущение, и страх, и покорность. А я все колотила, и вот уже дверь, наверное давно подгнившая, рухнула с каким-то мясистым хрустом, и встречная волна старых вспугнутых птиц ударила мне в лицо — и тут я поняла с внезапной, нечеловеческой усталостью, что это не ласточки. Ласточки, первые узурпаторши церкви, давно улетели, и ее, в свою очередь, узурпировали воробьи. Из чистеньких ласточкиных жилищ летели теперь ошметки грязи, солома, крошево листьев, нечистоты. И здесь — все та же неумолимая, издевательская эволюция, барьер, о который расшибались мои попытки понять. Я бросилась вверх по винтовой лестнице, деревянные ступени трещали и проламывались одна за другой у меня под ногами, как будто радуясь этой гонке, этой необратимости. Когда проломилась последняя, верхняя, я успела ухватиться и повиснуть на длинных, черных, залоснившихся веревках колоколов — они качнулись, но не ударили, как будто давали мне секунду на размышление.

За эту секунду, отмеренную мне так скупо, я, как потом мне казалось, передумала всю свою жизнь и, досконально ее разобрав, решилась на выбор. Я всегда думала, что ни одно мгновение, которое я проживаю без толку, зря, не пропадает, а где-то откладывается, и когда-нибудь мне пригодятся эти по крупицам собранные сбережения. И даже если я без конца тяну и не беру из банка времени накопленный там почти без моего ведома ворох секунд, дней и лет, все же сам факт существования этого банка греет мне душу. В конце концов, самый богатый человек на свете — не тот, кто всегда сыт и лучше всех одет, а тот, кто мог бы быть таким — при желании. И когда вслед за секундой выбора колокола резко и рискованно накренились, с силой дернув меня, и взвыли — протяжно, жалобно, безумно, в последней наготе,— я уже знала, что вот, час пробил, пора взять из банка времени все до последней минуты и растранжирить просто так, транжирства ради — например, разбросать их с высоты этой колокольни, как банкноты, швырнуть их на ветер — и пусть озолотятся те, кто ждет внизу.

Но первый удар только разорвал воздух, чтобы выплеснуть в прореху весь клокот восставшего металла, все вопли избиваемой меди, чтобы влить в закисшую зимнюю муть ярость запоздалого протеста. И тогда как по трубному гласу страшного суда на монастыр-

ских фресках мертвые выходят из могил и хищные звери выплевывают обратно их растерзанные члены — так из тысяч гнезд, усаженных вплотную, из тысяч невидимых лазеек полезли и в страхе завихрились, захлопали крыльями, закружились вокруг церкви несметные полчища птиц. Мощная дубина звона размешивала их в воздухе, затягивая в водоворот, из которого они рвались, отчаянно выгребая крыльями. Удар — и их раскидывало, удар — снова стягивало, снова засасывало в птичье месиво, снова ворочало, кромсало, швыряло в облака, раскручивало и плющило о землю — и все под оглушительный рев колоколов, грозящих возмездием, зовущих к бунту, все — под мстительный и безжалостный клич. Поглощая птиц, он ширился, расходился кругами — и громогласное половодье крыльев, когтей и клювов простиралось над полем, которое лежало, само не ведая своих пределов, и от этого медного, неумолимого рева даже крысы перестали грызть и, навострив уши, встали на задние лапы, опираясь на кольца липких хвостов, а хилые, безнадежные стебли рывками потянулись вверх — услышать, о чем речь, и им ли вообще адресованы горячечные проклятья колоколов, посылаемые на поиски виновных. Застигнутые волнами воробьев, вороны с мышами в когтях распахнули крылья, с удивлением и гордостью отметив их размах, и заскользили, как угрюмые альбатросы, над бушующим морем звона.

Черные, в страхе вскинув руки, старики и старухи тоже стеклись под реющий стяг набата — торопливо, со всех ног, разгребая воздух, словно и они вот-вот отделятся от земли и вольются в птичий смерч, который вихрился все ритмичнее, все стремительнее вокруг церкви. В качке колоколов меня, повисшую на веревках, всей тяжестью швыряло из стороны в сторону, и взгляды, которые я бросала вниз, не находили точки опоры, так что мир балансировал вместе со мной, потеряв равновесие. И поскольку все вокруг ходило ходуном и меня болтало взад и вперед не переставая, прошло довольно много времени, пока я поняла, что этому живому, оперенному кольцу вокруг церкви, что этому клубящемуся птичьему туману удалось втянуть во вращение и само здание и легкими толчками и верчением вокруг оси отделить его от земли. Когда я это поняла, толпа старых людей стала всего лишь черным пятнышком на фоне другого, побольше — серого оазиса посреди равнины, исподволь прибирающей его к рукам. Птицы, как будто невидимыми нитями привязанные каждая к своему гнезду, нитями особо крепкими, не рвущимися под тяжестью каменной ноши, держали церковь в воздухе силой своих крыльев, силой ни на секунду не отпускавшего их страха. В тот миг, когда я поняла эту зависимость, качаясь маятником в ритме колокольного гуда, зависимость биения крыльев от биения колоколов, мне стало вдруг ясно, что церковь со звонницей и гнездами и я сама со всеми моими грехами, откровениями и воспоминаниями — что мы будем существовать только до тех пор, пока мне хватит сил висеть на летящем конце веревки, в знак опасности и тревоги расшевеливая колокольцы на шее у бога, раздирая уклончивое и низкое зимнее небо боем набата, которым мы только и держимся на лету. Потому-то я изо всех сил раскачивалась, при каждом ударе ощущая в мозгу медное громыхание, а в паузах, как эхо на эхо, как глухой, но тем более зловещий отголосок звона, как шушуканье в ответ на звучный вопрос металла, слыша панический шум крыльев, со свистом рвущих воздух. Но вот крылья стали заплетаться от усталости, и колокола зазвонили все реже, все жалобнее, растворяя угрозу в мелодичном и томном ламенто, и я отчаянно забилась из стороны в сторону, ушибаясь о стены звонницы и чуть не вырывая из медных петель языки колоколов, которые зияли надо мной разинутыми ртами, воющими теперь в недоумении и обиде. Земля с пергаментной ветхостью ее жителей, с сумбуром садов, вечностью колодцев и местью полей едва виднелась сквозь дымку, в пятнах желтого и черного, и только я знала,

что все зависит от ужаса, который мои метания смогут звоном перелить в птичьи крылья, взмахивающие все реже, все натужнее. Дело было за мной. А надолго ли мне станет сил биться, исторгая крик у колоколов, удерживая птиц в полете, надолго ли?..

Меня нашли без сознания в горах, за много верст от злополучного села. Когда через несколько дней я очнулась, неподвижная, в оболочке гипсовой статуи, мне рассказали, что нашли меня в сугробе неподалеку от высокогорной турбазы, но что моих лыж, как ни искали, найти не удалось.

Сначала я слушала в недоумении, но когда стала понимать их логику (они не представляли, как можно сюда добраться — по горам, по снегу, без дорог,— если не на лыжах, только лыжи могли быть оправданием моего здесь присутствия), я попыталась объяснить во всех подробностях, что случилось. Меня слушали с сочувствием, без всяких переглядываний и вздохов, мне поощряюще кивали, как будто в гниющем поле, в вымирающем селе, в летающей церкви не было ничего особенного, пока до меня не дошло, что они просто-напросто берегут меня, что врач не рекомендовал со мной спорить. Поэтому я отказалась от мысли кого бы то ни было убедить и приняла спортивный вариант, живо интересуясь, на какой стадии находится поиск лыж, чем очень всех порадовала. Таким образом отречение от реальности стало верным знаком поворота на поправку. Мои спасители были столь любезны, что я не могла позволить себе их разочаровывать. Хотя бы из вежливости.

Подделка под кошмар

В поисках одной частной лавки я забралась в совершенно незнакомые места, на самую окраину города. Об этом заведении в очередях рассказывали чудеса, а оно оказалось грязным и тесным, но, впрочем, не лишенным прелести тех мелочных лавок, которые я еще застала в раннем детстве и в которых торговали всем на свете: леденцами и разливным маслом, пражской ветчиной и фитилями для ламп, крахмалом и липучками, ванильными палочками, повидлом, дрожжами и кукурузной мукой. Их сумрачные недра всегда томительно пахли смесью корицы, сырости и керосина. Сейчас на щербатых замасленных полках, под засиженным мухами целлофаном, громоздились шоколадные торты в пене кремовых завитушек, горы красной икры и исполинских маслин и штабеля сибийского сервелата. Помню, я накупила всего понемногу, внутренне сжавшись и боясь, что сейчас все исчезнет и я останусь в глупом положении, с протянутыми в пустоту деньгами. Однако все прошло гладко, и я благополучно отступила от прилавка, если чем и задетая, так это бестрепетностью, с какой отоваривались другие покупатели, народ горластый, бойкий и явно привычный к изобилию. Их развязность ставила меня — пусть ни для кого не заметно — в положение существа низшего порядка, незаконно проникшего в их мир, и у меня мороз пошел по коже — а что, если разоблачат? Поэтому я заторопилась к выходу с неспокойной душой, тем более что в дверном проеме, загораживая проход, встал, прислонясь к косяку, здоровенный мужичина, в видавших виды галифе, нависающих над сапогами, и в клеенчатом переднике до колен. Правда, он стоял спиной ко мне и глядел на улицу, и я, теша себя надеждой, что не вхожу в круг его внимания, уже было протиснулась мимо, когда он, качнувшись, схватил меня за руку.

— Гражданин! Что вы себе позволяете? — запротестовала я, но, кажется, без нужного напора, ведь в сущности чего-то подобного я как раз и ждала.— Отпустите сию же минуту,— добавила я тоже не слишком уверенно, тем самым как бы поощряя его действия и сводя протест на нет.

Между тем детина с багровым и потным лицом, определенно пьяный, пошатываясь, выволок меня к уксусному дереву, которое караулило пустырь, зажатый между низкорослыми домами за длинными виноградными шпалерами,— и встал. Я упиралась, и его липкая, влажная ладонь тошнотворно елозила по моей руке. К тому же он ухитрился зажать между своими сапожищами мою туфлю, словно прибавив к наручникам еще и кандалы. Отпрянув от него так, что руки-ноги чуть не вывернулись из суставов, я все же не ушла из облака перегара, махорочной вони и испарений тучного тела. Он не проронил ни слова, даже не взглянул на меня, только держал мертвой хваткой, но как-то безучастно, давая мне повод засомневаться: а не схватил ли он меня по ошибке.

— Послушайте, уважаемый! — громко заговорила я, думая польстить ему таким обращением и повысив голос сильнее, чем того требовало расстояние между нами: надо было как-то пробить его безразличие, и потом я надеялась шумом привлечь кого-нибудь на помощь.— Уважаемый, я не понимаю, что все это значит! Отпустите меня немедленно! Посмотрите хорошенько — вы убедитесь, что я — не та, за кого вы меня принимаете. Хотя бы взгляните!

Как я и предполагала, мои крики привлекли любопытных. А может, это были просто прохожие, спешившие в лавку. Так или иначе, я сочла себя спасенной.

— Сюда! Сюда! На помощь! — зачастила я навстречу приближающимся людям.— Вцепился как клещ, чего ему надо, не знаю. Дефективный какой-то, а уж пьяный — это точно. Пожалуйста, скорее, мне одной с ним не справиться.

Но они остановились на приличном расстоянии и, с жадностью глядя на нас и не проявляя ни малейшего намерения вмешаться, стали переговариваться как зрители, которых актерам со сцены не слышно.

— Кто их знает, чего они там не поделили,— сказал один, выскочивший, вероятно, из ближайшей калитки, чумазый, с садовыми ножницами в руках.

— Нет смысла встревать между мужем и женой,— отозвался другой, помахивая сумкой в знак того, что идет за покупками.

— Помилуйте, какой там муж, я его первый раз в жизни вижу! — завопила я в отчаянии, не представляя, как можно назначить мне в мужья эту тушу, дышащую перегаром. Но в то же время я осознавала, что веры мне нет, что я как бы оправдываюсь, и это играет против меня, тогда как тупое молчание детины производит, по всей видимости, самое хорошее впечатление. Вокруг нас вырос круг зевак. Кому надоедало глазеть, уходили, подходили другие, и я снова и снова, все безнадежней звала на помощь. Правда, некоторые издали бросались стремглав на мой зов, но, подбежав, топтались на месте и отступали, как будто вблизи в этой сцене было что-то такое, что сковывало благие порывы. Что именно, я не улавливала, и то, что все, как сговорившись, приписывали мне какие-то отношения с пьяным громилой и отказывались видеть пропасть между нами, тоже было выше моего разумения.

— Помогите! — твердила я, сама устав от своего голоса, дергая онемевшей рукой.— Спасите, я не знаю, кто это такой и что ему надо, спасите.

Несколько раз я уже принималась бессильно плакать — и вдруг сквозь слезы мне почудилось в толпе знакомое лицо. Я быстро отерла глаза свободной рукой — сумку я давно уже бросила, и деликатесы, растерзанные, валялись в пыли. Да, я не ошиблась, это был мой сослуживец. Мы встретились глазами, и он поклонился мне с подчеркнутой почтительностью, хотя у нас в редакции все запанибрата.

— Слава богу, Виктор,— крикнула я ему,— это ты. Ты тоже прослышал про эту лавку, да? Смотри, как я влипла. Не знаю, что взбре-

ло в голову этому пьяному олигофрену. Помоги мне вытащить руку из его клешни.

Но сослуживец не спешил и только глядел на меня пристально, в упор, как будто хотел передать мне мысль, которую опасался произнести вслух.

— Нет, мне везет,— я попыталась рассмеяться.— Прямо дар божий: идиоты ко мне так и липнут. И в редакции, если придет какой-нибудь психопат, так непременно по мою душу. Ну что ты стоишь? Помоги же. Виктор, ты что, тоже спятил, что ты стоишь?

Но Виктор, не двигаясь с места, смотрел на меня с безграничной печалью, как бы жалея, что я вынуждаю его говорить.

— Я не могу вам помочь.— Он произнес это с оттенком назидания, раздельно и четко, как будто выступал перед микрофоном.— Он очень сильный, мне крайне жаль, что вы не понимаете серьезности ситуации.

— Но вас же много! — крикнула я вне себя от такой трусости.— Нажмите на него все вместе, мне же только руку вырвать!

— Мне очень жаль, что вы не понимаете ситуацию,— повторил он с достоинством, не опуская глаз, как будто был чист передо мной и его коробило от моей бестактной настойчивости.

Спасительная мысль, что я сплю, что меня мучает кошмар и что все вокруг ненастоящее, ни на секунду не пришла мне в голову. Напротив, за достоверность деталей можно было поручиться, так скрупулезно было выписано каждое лицо, так продуманы обрывки долетавших до меня разговоров, тяжелый дух, шедший от детины, и его бессловесность, и сама нелепость ситуации, которая не уменьшала ее ужаса и которая была не чем иным, как подделкой — довольно грубой, но добротной — под ночной кошмар.

В приливе ожесточения, которое время от времени накатывало на меня, мучительно обостряя чувства, я высмотрела в поредевшей публике, недовольной однообразием спектакля, двух солдатиков, судя по всему, новобранцев: стриженные под ноль головы, совсем еще детские лица, голые, беззащитно торчащие из ворота гимнастерок шеи,— и, поймав в их взглядах теплоту и готовность к сочувствию, робко позвала:

— Ребята! Хоть вы помогите, не может быть, чтобы и вы струсили. Солдаты — храбрый народ, они не дрейфят перед хамами и громилами. Помогите!

И они — я не поверила глазам — шагнули вперед, словно польщенные, что их позвали на выручку. Приблизясь и держась в полуметре от нас, слипшихся в чудовищную скульптурную группу, они на цыпочках зашли в тыл к детине, и один, набравшись храбрости, рывком вытащил у того из заднего кармана галифе небольшой, но острый кухонный нож. Без памяти от собственной отваги, потеряв всякую бдительность, он тут же, под боком у детины, принялся рассматривать свой трофей, пробуя пальцем лезвие, примеряясь к рукоятке, потом дал подержать товарищу и в заключение осмотра аккуратно засунул нож туда, откуда взял, а мне сообщил, заговорщически понизив голос, будто открывая некий утешительный секрет:

— Его голыми руками не возьмешь, он вооружен.

Затем, надувшись от гордости, как после честно исполненного долга, они отправились восвояси.

Я молчала, уже почти не дергаясь, в изнеможении и от борьбы, и от усилия понять, что происходит. В установившейся тишине раздавались только булькающие звуки: это сонно и беспредметно бранился детина. Разочарованная публика стала расходиться. Тогда две-три самые ретивые кумушки, подогреваемые тем, что я слышу их нелестные отзывы, принялись перемывать мне косточки: как одета, как причесана — и горячо сочувствовать моему мучителю. Сослуживец

по-прежнему сверлил меня многозначительным взглядом, да какой-то высокий мужчина, по виду интеллектуал, оставался стоять поодаль.

Больше надеяться было не на что, и чем все это кончится, я не могла себе представить. Я слабела с каждой минутой — клонило обмякнуть, осесть на землю, повиснуть на собственной руке, выше локтя защелкнутой кулачищем, как наручником. И тут интеллектуал — когда я скользнула взглядом в его сторону — обратился ко мне, робко, просительно, как будто со мной было все в порядке и самое время обращаться ко мне за советом.

— Простите, мне кажется, мы с вами где-то встречались, только я никак не вспомню где,— сказал он, краснея и смущаясь.— Вы случайно не работали в Доме печати или в Центральной поликлинике?

Я в недоумении помотала головой и тихо, без выражения пробубнила:

— Помогите мне, пожалуйста, надо только разжать его кулак. Я не знаю, кто это и что ему от меня надо.

Но интеллектуал, словно не слыша, в раздумье поднес было руку ко лбу и вдруг просиял:

— Вспомнил! Можете мне не отвечать, мы не встречались, просто вы похожи на одну даму, исключительно похожи на одну даму!

— Какая разница, на кого я похожа,— простонала я,— помогите мне, помогите, умоляю.

Но он, глухой ко всему, кроме собственного открытия, так и искрясь восторгом, закружил вокруг меня, разглядывая со всех сторон.

— Поразительное сходство, может быть, вы и сами знаете, да наверняка вам многие уже говорили, что вы похожи на Ану Бландиану. Невероятно похожи, как две капли воды.

— Нет,— сказала я, цепляясь за крохотную надежду и стыдясь, что прибегаю к этому последнему средству.— Я не похожа, это я и есть, я — Ана Бландиана. Я рада, что вы меня узнали, но теперь прошу только об одном — помогите.

Он стал как вкопанный, уставясь на меня потухшим, недоверчивым взглядом, постепенно набухавшим неприязнью. Мое признание пришлось так некстати, разрушив всю радость его открытия. Видя, что он мучительно размышляет, как бы половчее ретироваться, я не выдержала и с бесстыдством крайнего отчаяния, с непотребством, которого за собой не подозревала, завопила, надсадно, истошно, сама себя не узнавая:

— Нет, только не уходите, не бросайте меня! Я, я — Ана Бландиана, это меня вы видели по телевизору, спросите, если не верите, вон там стоит мой знакомый, он подтвердит!

Но поскольку знакомого тем временем и след простыл, я, в нарастающей панике, в ужасе, что мне не поверят, рыдая, заголосила:

— Хотите — прочту стихи, хотите — скажу, когда я родилась, сколько у меня сборников, откуда взялся мой псевдоним, проверьте, проверьте меня, возьмите любую литературную энциклопедию!

У меня было ощущение, что я раздеваюсь, рву на себе платье, я зябла и дрожала, но уже не могла остановиться, клочья летели, я срывала с себя последние лоскутки, все, все до последней нитки. Мало того, не переставая рыдать и заклинать, я ухватила за рукав интеллектуала, который норовил улизнуть, досадливо бормоча:

— Нет, нет, простите, мне показалось, вы не так уж и похожи. Простите, пожалуйста, со мной такое бывает. С вашего позволения я, пожалуй, пойду.

Но не тут-то было. Чувствуя, как слабеют затекшие пальцы, я судорожно вцепилась другой рукой в полу его пиджака. Другой рукой? У меня перехватило дух: да, обе руки были свободны и нога тоже. Клещи разжались. Детина, переминаясь с ноги на ногу, шарил по карманам галифе под фартуком. Вытащив большой носовой пла-

ток, он отер лицо, как будто только-только очнулся. К тому же нас разделяло несколько шагов, так что у меня промелькнула мысль: да держал ли он меня вообще? Я поспешно взглянула на свою несчастную руку: синяк отпечатался на ней браслетом, но вовсе не таким темным и широким, как я ожидала, и в этом было что-то унизительное — во всяком случае, теперь я не могла бы определить, давно ли я свободна и как долго длилась неволя. Я разжала пальцы, совсем деревянные, выпустив чужой рукав, и осторожно сделала шаг в сторону, потом еще и еще. Детина сосредоточенно растирал себе запястье, как будто это его зажали в тиски и чуть не изувечили. Кумушки судачили о своем, интеллектуал с оскорбленным видом одергивал пиджак. Никому не было до меня дела.

На миг мне неудержимо захотелось повернуться и бежать — скорее испытать свою свободу. Но тут же я поняла, что о свободе не может быть и речи, если я не сумею объяснить себе, почему я не была свободна в продолжение всего этого кошмара. И я осталась.

Птица потребительская

Когда одна ученая дама, в решимости принять собственные меры по снабжению, надумала развести на балконе цыплят, она не предвидела ни трудностей осуществления подобного замысла, ни его ошеломляющих последствий. Прежде всего встал вопрос, где достать наседку. Даже чисто теоретически она долго не могла добиться ни у кого совета, а затем, когда стала на свой страх и риск объезжать пригороды Бухареста, нарвалась на ухмылки крестьян, которых приводила в веселье сама мысль, что их могут заподозрить в разведении кур. Наконец проблема разрешилась экстравагантно — взятием наседки напрокат. Старушка, сохранившая четырех кур, долго упиралась, не решаясь с ними расстаться, и только после ходатайства директорши школы, бывшей сокурсницы нашей дамы, согласилась на разлуку, и то временную, с одной из своих питомиц, заломив за прокат втрое против того, что эта курица стоила. Что же касается яиц — оплодотворенных, конечно, яиц «с зародом», из которых могли бы вылупиться цыплята,— то их раздобыть так и не удалось. С подозрением выслушивая назойливую горожанку, крестьяне отвечали, что они и сами покупают яйца в городе, потому что у них в кооперативе и сахар, и керосин, и подсолнечное масло, и соль меняют только на яйца. В конце концов дама отказалась от своей затеи и уже приготовилась было вернуть хозяйке наседку, бушующую на балконе, но тут-то к ней и нагрянул старик, чей визит она потом много раз восстанавливала в памяти, пытаясь отыскать в нем подсказку, намек на дальнейший оборот событий.

Старика она знала: он эпизодически поставлял ей творог и сметану, звоня в дверь, как и на этот раз, непременно на рассвете и объявляя не допускающим возражений тоном, что товар прибыл. Он никогда не отвечал ни откуда он, ни когда придет еще, но таинственности на себя не напускал, а просто всем своим видом давал понять, что ему некогда разводить разговоры, что у него есть дела поважнее. В самом деле, хотя он был очень стар и медлителен, всегда оставалось ощущение, что он спешит, что его ждут в других местах. Еще более странным было то, что внешне он не слишком напоминал крестьянина, и ученая дама не удивилась бы, заговори он о Горации или Ювенале, потому что позже, когда он превратился в персонаж, день и ночь занимающий ее мысли, про себя определила его как гимназического учителя латыни.

В то утро, впервые за много месяцев, старик позвонил в дверь в седьмом часу настойчивым, бесцеремонным, повелительным звонком, с каким в дом входит беда, и когда пожилая дама, вырванная из

сна, добытого поздно ночью и со снотворным, в раздражении распахнула дверь, невозмутимо объявил, что у него имеется дюжина яиц для высиживания, если ее это интересует. Не веря своим ушам и в то же время не задумываясь, откуда старик знает, что она ищет яйца для наседки, и более того, как ему взбрело в голову принести их в такое место, где только в бреду можно было бы предположить на них любителя, дама купила всю дюжину, слегка подивившись их величине и совсем растаяв, когда старик, как всегда важный и внушительный, обронил несколько слов про особые качества данной породы птиц. «Птица потребительская, то, что вам надо, насколько я понял,— добавил он на прощанье (он никогда не проходил дальше прихожей). И хотя у дамы еще не было никаких причин для тревоги, эта реплика под занавес, с темным смыслом, со странным звучанием, зацепилась в ее сознании. Впоследствии она не могла, хоть убей, припомнить, что когда-либо упоминала в разговоре с ним про «птицу потребительскую», а чем больше она повторяла про себя сие варварское выражение, тем чудовищнее оно ей казалось — да могло ли такое вообще сорваться с ее губ? Но это потом, а в ту минуту почтенная дама, даже не прикрыв как следует дверь за стариком, метнулась — в той лихорадочной спешке, которой рок всегда сопровождает наши непоправимые поступки,— на балкон посадить наседку на дюжину отборных, чуть ли не сияющих яиц, в которых на свет виднелась серебряная, подвижная, как ртуть, сердцевинка. Наседка, нерешительно оглядев яйца, все же растопырила крылья и заключила их под свирепую защиту своего наемного материнства с почасовой оплатой. В наступившие затем недели дама выстаивала обычные очереди за продуктами с необычным чувством: чувством солдата, который вынесет все, потому что уже нащупывает у себя в ранце будущий маршальский жезл. Дама запасалась книгой и часами читала стоя, изредка перемещаясь на шаг вперед (со временем она приобрела сноровку откликаться на малейшее движение очереди, не отрывая глаз от страницы), но при этом, целиком уйдя в чтение и отгородясь от обступавшего ее мира страницей книги, как защитной завесой, она какой-то одной клеточкой мозга творила в себе чувство глубокого покоя, почти блаженства — единственно мыслью о балконе, на котором как раз в момент этого унизительного чтения по маршруту медленно, невероятно медленно, но верно подрастали шансы ее будущей независимости. Ибо добытые с трудом наседка и странные яйца стали для нашей дамы вескими символами ее грядущей свободы от общества. Впрочем, почему «странные»? Надо честно признаться, что предчувствия не мучили почтенную даму и все, что было сказано об этих яйцах и об их странности (кстати, абсолютно очевидной с самого начала), говорилось гораздо позже, когда они уже прекратили свое существование, перейдя в нечто совсем иное. А пока что микронная доля ее мозга, не поглощенная чтением, рисовала себе балкон с навесом, гнездо в коробке из-под телевизора, куда вместо соломы она настелила нарезанную лапшой газету и — специальный заказ по мерке балкона — курятник: четыре полки из прессованной стружки, покрытые бесцветным лаком, за проволочными дверцами, запертыми на кокетливые китайские замочки. Снова забегая вперед, как бы ни раздражала читателя такая наша невоздержанность, скажем, что позже даме оставалось только похвалить себя за элегантность курятника,— позже, когда она на скорую руку обивала его стенки белым атласом и временно выстилала полки вместо ковриков сложенными вчетверо махровыми полотенцами. Пока же наше повествование дошло лишь до того момента, когда почтенная дама еще стояла в очередях за мясом и яйцами с воодушевлением солдата, который нащупывает в ранце будущий маршальский жезл, и думала, что, пожалуй, переборщила с лаком и китайскими замочками для курятника, готового принять жильцов вне зависимости от собственного изящества. Тревога стала

просачиваться в ее ожидание, лишь когда оно затянулось, грозя перевалить за пределы биологических календарных сроков. Сначала лопнуло терпение у курицы. Еще не истекли три положенные недели, как она забеспокоилась, и, не находя себе места, заерзала в нагретом гнезде, приподнимая крыло и заглядывая под него с шизоидным изумлением, силясь понять и бурно отказываясь понять то, что она видела: яйца лежали все такие же глянцевитые (разве что стали чуть побольше?), и не было ничего живого в их кварцевом сиянии, от которого слепило глаза и закрадывались опасения насчет их истинной природы.

Но почтенная дама не поддалась панике наседки. Ведь если хорошенько вспомнить, старик и не говорил, что яйца — куриные. «Птица потребительская» — вот как он выразился, правда, каким-то канцелярским, оскорбляющим ухо слогом. В смущении дама полезла в справочники и вычитала, что у гусей, уток и индюшек инкубация длится месяц. Таким образом, она выиграла еще неделю покоя, выигрыш, надо добавить, не совсем честный, потому что в глубине души дама больше не верила, что и этот второй срок внесет ясность в положение. Беспокойство наседки, явно чуявшей неладное, только усиливало дурные предчувствия дамы, которая все же положила себе выждать, пока не минуют тридцать дней. Но, само собой разумеется, и тогда ничего не произошло, и, едва дойдя до установленной черты, дама поняла, что у нее нет другого выхода, как связать наседке лапы и вернуть ее хозяйке, а яйца выкинуть на помойку. Новый рейд по окрестным селам прошел впустую: крестьяне, сколько их еще оставалось, либо уже утратили все сельские навыки, либо не хотели проникнуться доверием к профессорше с подозрительными хозяйственными потугами; так или иначе, ничего путного она не добилась: кивая и тут же отнекиваясь, противореча самим себе, сбиваясь на другую тему, а то и вообще уходя от разговора, они так и не дали ей ни вразумительных советов, ни хотя бы разъяснений по зашедшему в тупик яичному вопросу. А старика, конечно, и след простыл. Да она на него и не рассчитывала: чаще чем раз в пять-шесть недель он никогда не появлялся.

Дама страдала — не от материального ущерба, а от духовного. Ее ткнули носом не столько в собственную полную хозяйственную несостоятельность, сколько в бессилие перед тисками обстоятельств, перед паутиной зависимостей, через которую ее могли унижать,— в оскорбительное бессилие и крах мечты о непритязательном, но достойном, не из чьих-то рук, существовании. Да, как бы ни упорствовала в своих фантазиях пожилая профессорша, факты ее переупрямили, и ей все же хватило юмора, чтобы вернуться с небес на землю. Она решила пресечь злополучный хозяйственный эксперимент: вернуть балкон к его тривиальному назначению, а научные занятия попытаться втиснуть в перерывы между очередями. Но такое примиренчество, конечно, дорого ей обошлось, камнем придавив ее интеллектуальную свободу, и это бремя настолько подточило силы старой дамы, что последующие события застали ее не просто врасплох (иначе и быть не могло), но и слабой духом, разбитой и уязвимой до крайности.

А произошло вот что.

В то утро ее разбудил шум, доносившийся из-за стены,— шум, который сначала вплелся в ее сновидение злым, пагубным началом, густо, как это умеют только сны, залившим темной краской и само пробуждение, и долгие минуты после него,— шум, который, прибывая, прорвал наконец плотину забытья и, пронзительный и нестройный, перелился в реальность. Благим матом орали соседские дети, поднятые с постели родителями, которым надо было забросить их в ясли и садик и поспеть к семи на работу. Сатанея от детского плача, уставшая еще до начала дня, мать кричала на них, пытаясь утихо-

мирить и вызывая этим только новые взрывы рева. Почтенная дама легла спать поздно. Часов до двух она просидела над статьей, которую надо было срочно сдавать, и потом, переработавшись, еще долго не могла уснуть, так что, разбуженная в шесть утра, она только лишилась сна, но в жизнь не включилась. Лежа в изнеможении, не в силах пошевельнуться, она ощущала в себе нарастающую ярость против всего мира, каким бы несчастным, забитым, измученным и эксплуатируемым он ни был. Попыталась встать, но жилка на шее забилась так угрожающе, что пришлось опять откинуться на подушки. Шум внезапно стих: ушли! С харканьем обрушилась вода — это наверху заработал унитаз, после чего наступило долгое затишье. О сне уже не могло быть и речи, а до работы оставалось еще почти три часа: ее лекции в университете начинались в половине десятого! Она вдруг почувствовала потребность что-то сделать, с толком использовать неожиданно подвернувшееся окно. Теперь, когда барьер слабости был преодолен, она даже радовалась, что удалось отнять время у сна. Варя себе кофе, она решила употребить непредвиденный досуг на ликвидацию балконных иллюзий. Разбирать полки не стоит, их можно отвести под непортящиеся продукты, пустые бутылки и даже консервы. Наседку надо вернуть сегодня же утром, а яйца, эти дурацкие яйца, разбить, не только из научного любопытства, но и со злорадством: посмотрим, что там кроется, за их упрямством. И она твердым шагом пошла к балкону, попутно бросив взгляд на часы с маятником: было без семи минут семь.

Едва отворив балконную дверь, она сразу поняла — по совершенно безумному виду наседки — началось! И притом началось что-то из ряда вон выходящее. Если бы продолжение оказалось сколько-нибудь банальным, ученая дама по завершении событий не преминула бы описать, как выглядела наседка: она вся трепетала, не смея двинуться с места, чуть не лопаясь от чудовищного напряжения, в котором смешались непомерная гордость, панический ужас, немое изумление и безграничное отчаяние, и всем своим видом вопияла о совете и помощи. «Кто бы мог подумать, что и куры чувствовать умеют»,— сказала себе дама в приступе веселья от того, что вот наконец-то дождалась, но никогда впоследствии она не вспоминала про веселье той минуты, потому что минуту спустя она у в и д е л а.

Через край гнезда, из-под взъерошенных перьев наседки, свешивалась маленькая, не толще, пожалуй, стебля лилии, розовая рука с грациозно сжатым во сне кулачком. Да, по виду кулачка, сжатого как бы в забытьи, дама поняла, что крохотное существо, которому он принадлежит, погружено в сон. Несмотря на ошеломление первой минуты, она приняла это открытие как отсрочку — ей давали собраться с духом. Однако тут же с другого края гнезда высунулась наружу ножка, подлиннее, чем рука, но такая же нежная, чуть влажная и неожиданная. Они не могли принадлежать одному и тому же существу, слишком далеко, по их собственным пропорциям, они отстояли друг от друга. Дама сохраняла спокойствие, пытаясь сделать логические выводы. Она всегда считала, что и у абсурда есть своя логика. Но сейчас это не утешало и не подсказывало выхода. То, что под ее наседкой, взятой напрокат и противозаконно водворенной на балкон блочного дома № 12-бис по бульвару Вийторулуй, район Антим, из добытых с трудом и с переплатой яиц вывелись вместо цыплят какие-то другие созданья, было фактом, но фактом совершенно бессмысленным и не укладывающимся в голове. Однако ученая дама по собственному опыту прекрасно знала — и минутное замешательство не затемнило ей рассудок,— что реальности нет дела до того, принимаем мы ее или нет. От нее просто никуда не денешься, и хочешь не хочешь, а надо что-то решать. Надо было шевелиться, хотя бы на тот случай, если все это окажется просто дурным сном, из которого таким образом еще можно вырваться. Так ничего и не при-

думав, она шагнула вперед. Наседка, как и она, в полной растерянности, повернулась к ней боком, чтобы лучше увидеть, и отчаянно закудахтала. Ее ужас и подсказал женщине следующее движение. Обеими руками она решительно схватила наседку, сорвала с гнезда, впихнула в курятник и захлопнула за ней дверцу. Только тогда она осмелилась *взглянуть*. Но увиденное не прибавило к прежнему ничего нового. Та же рука со стиснутым во сне кулачком, та же пухленькая, розовая нога, торчащие с двух разных сторон из большого, бесформенного клубка, состоящего из множества ручек, ножек и островков золотистого пуха, блеском спорящего с кварцевым сиянием валяющейся вокруг скорлупы. На миг забыв о розовой плоти странных маленьких конечностей и отключаясь от причитаний запертой курицы (а может быть, напротив, поддавшись ее истерии, которую она поначалу сочла материнской), дама нагнулась, чтобы взять одно из пушистых созданий, только что вылупившихся из яйца. Но, как единый организм, клубок всколыхнулся, выставив из своих недр новые и новые нежные маленькие конечности, и отпрянул от бережных рук женщины, заставив ее выпрямиться — обиженно и вместе с тем в безотчетном радостном волнении от того, что движение началось. Но это первое движение было только прелюдией, сигналом к пробуждению. Разбухая и видоизменяясь, клубок, поблескивая, стал распадаться на бесконечно разнообразные и сложные формы: влажные, вполне материальные протуберанцы выстреливали из него и начинали двигаться сами по себе, на ощупь, потягиваясь, выходя из сна и небытия, загадочные и не поддающиеся определению. Хотя из неразберихи линий стали уже вырываться покрытые сверкающим пухом крылышки, расправляясь первыми, неловкими движениями, считать их цыплячьими не приходилось, настолько далеки от птичьих были очертания тел, усердно и пока неумело подлаживающихся под взмахи крылышек. Почтенная дама стояла в какой-то оторопи и от этого зрелища, и от своей полной к нему невосприимчивости. Самым неправдоподобным в случившемся — а неправдоподобия тут было хоть отбавляй — ей казалось то, что эти, неизвестной природы, свежеиспеченные создания соединяли в себе два несовместимых начала: великолепие и срам. Ослепительный блеск золотого пуха и алмазоподобной яичной скорлупы все же не скрадывал ощущения физической неловкости, возникавшей при виде преувеличенно розовой, с испариной, аморфной плоти, отлитой в нетвердые пока, нечеткие формы. Почтенная дама больше не испытывала ни малейшего желания взять в руки один из живых комочков, которые беззвучно копошились в общей куче. Сколько их там? Двадцать, тридцать? Она вдруг вспомнила, что клала под курицу двенадцать яиц. Если и была какая-то доля ясности во всей этой головоломной истории, то она заключалась в том, что загадочные существа вылупились из яиц, положенных под курицу. Значит, их там двенадцать. Определенность хотя бы относительно числа очень ее подбодрила, нашелся первый элемент логики, в пору было посмеяться над собственной трусостью — не только жалким, но и негодным прикрытием. Одно из двух: либо назвать вещи своими именами, то есть признаться без обиняков, что она *поняла*, и собрать все свое мужество, либо решить, что вообще нет повода для страха, который пронзительным холодом поднимался по ее жилам. Впрочем, когда клубок распался, ей стало не до выбора. Она еще успела подумать, что вопли ошалевшей взаперти курицы в конце концов соберут соседей, и даже протянула руку, чтобы выпустить ее, но так и осталась с протянутой рукой, прикованная глазами к возне на цементном полу. Существа распутались и просто-напросто разлетелись кто куда, чудом держась на своих хлипких крылышках, чья форма скрывалась за туманом золотистого пуха— кто дольше, кто короче планируя в воздухе и бросаясь врассыпную, как только касались пола. Теперь их можно было рассмотреть: голые крылатые

фигурки размером с пол-ладони, еще совсем мягкие перышки на крыльях, вызывающие жалость и даже легкую брезгливость. Ничего сверхъестественного, разве что какая-то внеземная порода существ, мало ли, и если бы ученая дама не знала их по картинкам — этих сморщенных младенцев с пристроенными на спине крылышками,— она сейчас, возможно, с любопытством ждала бы, что будет дальше. Пока же происходило такое захватывающее событие: один из них, самый храбрый или самый глупый, изо всех сил карабкался на носок ее ночной туфли, все время соскальзывая и оставляя на черной коже влажный слизистый след. Дама не смела пошевельнуться, чтобы не наступить на него, и только сверлила его взглядом, пытаясь передать отчаянный приказ об отступлении. Ее передергивало при мысли о том, что ему удастся взгромоздиться на туфлю и дотронуться до ее ноги. Не отрывая подошв от пола, чтобы никого не раздавить, она стала потихоньку, шаркая, пятиться к балконной двери. Потеряв опору, голыш опрокинулся навзничь, замер на какую-то долю секунды, потом вскочил, но не остался в вертикальном положении, а, старательно работая крыльями, косо взлетел, как будто падение напомнило ему и о такой возможности. Дама испугалась было, что он налетит на нее, и даже взмахнула рукой, словно прогоняла осу, но он уже спокойно приземлился на краю гнезда. Остальные тоже, кажется, ее не замечали. Одни принялись играть и валяться, сцепившись, как котята, другие лезли по проволочной дверце, за которой исступленно билась курица, третьи — как тот, что сидел на краю гнезда,— занялись своим туалетом, расчесывая перышки прямо пятерней. Двое боролись, таская друг друга за крылья и пытаясь сбить с ног. Почтенной даме удалось незамеченной дошаркать до двери, нащупать сзади ручку, нажать, спиной шагнуть в комнату и быстро и бесшумно дверь за собой прикрыть. Еще минуту она не могла оторвать глаз от балкона, потом сделала усилие и опустилась на стул.

Надо было навести порядок в себе самой, попробовать резюмировать события прежде, чем что-то предпринимать. Итак, в безудержном порыве (вечно эти ее порывы, просто беда), решив положить конец растрате времени в очередях, она достала — и с каким трудом! — наседку, но, не сумев раздобыть яйца, уже собиралась было отказаться от своей затеи, когда один старый чудак, который много лет снабжал ее творогом и сметаной, принес ей, хотя его, подчеркнем, и не просили, дюжину чрезвычайно крупных яиц со словами — тут почтенная дама похолодела — про «птицу потребительскую». А она, уже пожилая женщина, автор научных трудов, доктор философских наук и профессор университета, она не увидела в этом ничего особенного, ничего не заподозрила и, как будто так и надо, взяла эти яйца, накупила пособий по выращиванию домашней птицы и стала ждать цыплят, предназначенных для жарки, и кур, которые будут каждый день нести ей яички и для которых она превратила свой балкон черт знает во что. Эта подготовительная кутерьма, надо сказать, ее порядком измотала, и когда все инкубационные сроки вышли и ей оставалось только честно признаться самой себе, что она оплошала,— она испытала даже своего рода оппортунистическое облегчение, что, кажется, избежала, и притом как бы не по своей воле, несладкого жребия птичницы. Однако оказалось, что ей не суждено потерпеть столь приятное поражение (теперь-то она видела, что недооценивала его приятность).

Ее эксперимент удался, и так баснословно, что грозил — в случае, если она немедленно не примет радикальных мер,— перекосить всю ее жизнь. Так думала ученая дама, но в глубине души она не до конца верила в серьезность ситуации, полагая, что нарочно ее драматизирует, чтобы поскорее найти выход. Как бы ни была она напугана (а она была напугана не на шутку), в ней работал потайной механизм — амортизатор реальности,— нашептывая, что все это про-

бред. Но не бреду ли мы обязаны самыми совершенными логическими построениями? И ученая дама рассуждала, пытаясь увязать факты между собой. Итак, из великолепных и подозрительных яиц, принесенных тем, кто выдавал себя за молочника, вылупились не цыплята, не утята, не гусята, не лебедята, не перепелята и даже не страусята. Нет, из сверкающих яиц, доставленных сомнительным стариком, вывелись какие-то другие существа с крылышками. Что за существа, что за птицы? Потребительские, чуть было не обмолвилась она, но вовремя прикусила язык. Варварская, чреватая смутным ужасом формула старика была самым каверзным моментом во всей истории, потому что она-то как раз крепче всего и коренилась в реальности.

Дама не знала, чем кормить эти мудреные существа, какой за ними нужен уход и какими темпами они будут расти, что им полезно и что вредно и, конечно же, не смела даже подумать, на что они годятся и можно ли вообще ставить вопрос об их пригодности для чего-либо. Она поднялась посмотреть, что делается на балконе. Существа по-прежнему без устали резвились, как всякие детеныши, то и дело выдумывая все новые и новые забавы. Двое висели на проволочной дверце, за которой металась курица, и, просовывая в отверстия ручонки, пытались до нее дотронуться. Курица забилась в самый дальний угол и так очумело кудахтала, что вызывала не сочувствие, а насмешку. «Хотя кому-кому, а мне-то следовало бы войти в ее положение»,— подумала дама, невольно улыбнувшись. И, забыв на губах улыбку, загляделась на новых жильцов своего балкона. Она знала их в основном по альбомам итальянской живописи XVI и XVII веков, запечатлевшей их пухлые ягодицы и ножки с перетяжками. Знала так хорошо, что поминутно забывала, что знает только по книгам, а не из жизни. Ее брезгливость прошла — то ли они изменились, то ли она просто к ним привыкла. Но даже если они и в самом деле немного подросли и окрепли, все равно в них оставалось что-то жалкое — слишком уж беззащитной была их нагота, слишком открытой взгляду. Бедняжки — по-другому их и не назовешь,— они возбуждали в ней теперь щемящую жалость и симпатию, а не гадливость. Вдруг она очнулась: курица, у которой все-таки вырвала перо дерзкая маленькая рука, зашлась в таких душераздирающих руладах, что дама снова вспомнила про соседей, которые, конечно, не могли не переполошиться. В ту же минуту зазвонил телефон, и сосед справа, врач на пенсии (чрезвычайно любезный и почтительный в обращении, иногда даже до приторности), осведомился достаточно учтиво, но не без ноток раздражения, что там за шум на ее балконе и не нуждается ли она в его помощи. Дама извинилась, в свою очередь раздраженная иронией, сквозившей в его предложении, и сбивчиво объяснила, что все дело в курице, которую она купила, чтобы зарезать, и которая не хочет, видите ли, спокойно дожидаться на балконе часа расправы. Врач, на этот раз без иронии, предложил свои услуги, напомнив ей, что он как-никак хирург, а когда она поспешно отказалась, перевел разговор в другую плоскость, поинтересовавшись, где она достала курицу. Ей пришлось выдумать длинную историю про одного своего студента, у которого родители живут в деревне и от которого она эту курицу получила (еще не кончив фразу, она поняла, что ее занесло не туда), но поскольку ее рассказ и так был путаным и бессвязным, то сосед, уже без следа прежней любезности, сам оборвал этот тягостный разговор и еще раз сухо попросил прекратить, если можно, безобразие на балконе.

Кладя трубку, почтенная дама никак не могла попасть на рычаг — так у нее дрожали руки. И хотя было ясно, что нельзя больше терять ни минуты, она все же присела на край дивана, потому что и ноги ее не держали. Только теперь, мысленно оглянувшись, она отдала себе отчет еще в одной странности новорожденных существ:

они не издавали звуков. По телефону речь шла только о курином кудахтанье, ни на какой другой шум сосед не жаловался. Неужели эти существа с изъяном? Она быстро поднялась — проверить свое наблюдение. Курица кликушествовала, а ее невинные мучители, тихо улыбаясь, играли выдранными из нее перьями и развлекались тем, что пролетали почти вплотную к ее клетке, заставляя несчастную вжиматься в угол. На их крохотных рожицах не было написано ни злобы, ни жестокости, напротив, такая безмятежность исходила от их розовогубых улыбок (они действительно выросли или это ей кажется?), что дама заподозрила в них не только немоту, но и глухоту: их безмятежность означала нарушенный контакт с миром, наводила на мысль о физических недостатках. Но сейчас некогда было об этом думать. Единственная не терпящая отлагательств проблема, и единственная из разрешимых, была проблема наседки. Вытянув руки, ощущая кожей легкие щипки летучих существ, которые наконец-то ее заметили, дама благополучно добралась до клетки, где томилась горемычная мать, крепко схватила ее за крылья и потащила в комнату. В отчаянье держа ее одной рукой, другой она притворила балконную дверь, оттолкнув любопытного, который норовил влететь за ней (не тот ли самый, что карабкался на ее туфлю?). Не дав себе ни секунды передышки, чтобы не растерять остатки мужества и энергии, не выпуская отяжелевшую, рвущуюся из рук курицу, она пошла по квартире искать веревку, туго связала страдалице лапы и крылья, завернула ее в банное полотенце и засунула в элегантную сумку, привезенную когда-то из Италии, не до конца застегнув молнию, чтобы узница не задохнулась. Сумка, поставленная на пол, колыхалась едва заметно: курица, как только ее унесли с балкона и связали, моментально затихла, будто положение пленницы само по себе оградило ее от всех источников страха.

Пытаясь ни о чем больше не думать, почтенная дама на скорую руку оделась, причесалась и, когда была готова, внимательно оглядела себя в зеркале, выискивая в своей внешности следы безумного утра. Успокоенная осмотром, не удостаивая ни взглядом балкон, чьи жители выстроились теперь цепочкой на подоконнике, приплюснув носы к стеклу и разинув рты (ей показалось или они и правда выросли?), дама самым естественным, на который была способна, жестом взяла сумку и вышла, заперев дверь и два раза толкнув ее для проверки. На улице она приказала себе держаться невозмутимо, хотя прохожие, все до единого, глазели на нее (из детективов, которыми она увлекалась в отпусках, с первых десяти страниц угадывая ход событий и потом упиваясь совершенным совпадением сюжета с ее догадками, она знала, что так чувствуют себя все, кому есть что скрывать). А в ее тайну входила не только завернутая в банное полотенце курица в самой элегантной из домашнего реквизита сумке, но и много больше того.

Вернув курицу хозяйке и объяснив в ответ на не слишком доброжелательное удивление той, что из яиц ничего не вышло и поэтому приходится отдавать наседку раньше времени, и доплатив еще двадцать пять лей, потому что у старухи был такой вид, будто она же еще и осталась в накладе из-за чьих-то капризов, дама вздохнула с облегчением: хоть с одной морокой покончено! И — странно устроен человек! — почувствовала такой подъем, что, отчитав как во сне двухчасовую лекцию, остаток дня провела в толкотне по магазинам, покупая тот самый белый атлас, который впоследствии нашли на стенах курятника, и бесчисленные толстые махровые полотенца, выстелившие его вместо ковриков. По правде говоря, где-то в тылу безответственного блаженства, с которым она слонялась по магазинам в толпе, бесповоротно отгороженная от нее своей тайной, гнездился страх — страх вернуться домой, где ее может встретить все что угодно.

И ее опасения оправдались. Подходя к дому, она поискала глазами свой балкон, словно что-то предчувствуя. И не зря. Впрочем, кто

же предчувствует, не будучи уверен в том, что произойдет? С ее балкона, видного за несколько сот метров, свешивался, раскачиваясь, какой-то мохнатый золотисто-розовый канат. Сначала она не поняла, не посмела понять, но чем ближе подходила, тем меньше оставалось у нее надежды на оптический и всякий другой обман: обитатели балкона, пресытясь, вероятно, изучением своего жизненного пространства, уцепились один за другого и, помогая себе крыльями, перемахнули через балконную решетку и теперь висели, заглядывая в окна нижней квартиры. Кажется, это их чрезвычайно развлекало, и они чисто по-братски уступали друг другу место на конце каната, чтобы все по очереди могли подсмотреть, что творится в чужой квартире. Разобравшись, в чем дело, почтенная дама на секунду окаменела: не ровен час, нижние соседи заметят своих соглядатаев,— потом буквально ворвалась в дом и, поскольку лифт не шел (кто-то снова оставил открытой дверь на своем этаже), побежала через две ступеньки, от волнения и спешки еле отыскала ключ и влетела в квартиру. На балконе дама схватилась за конец живого каната и ничтоже сумняшеся дернула. Однако при ее прикосновении существа расцепились и, легко порхая, сами вернулись назад — значит, это висение было для них просто веселой игрой, а может быть, способом привлечь ее внимание. Так или иначе от них, слава богу, по-прежнему не исходило ни звука, ни шороха. Она обратила внимание, что на этот раз прикоснулась к ним без брезгливости. Подогревая в себе организаторский запал, она решила посадить их под замок. Надо прежде оградить себя от подобных сюрпризов, а потом уже решать, как выпутаться из этой истории. Она забегала, захлопотала, вынула из элегантной сумки, с помощью которой для курицы был восстановлен естественный порядок вещей, свою дневную добычу: махровые полотенца и белый атлас,— вернулась на балкон и тщательно, даже, пожалуй, с нежностью обила внутренние стенки курятника. Потом собрала в кучу всю ватагу — без труда, двоих даже изловила прямо на лету, как непуганых пичуг,— и заперла их в отделанные клетки. Перед уходом пересчитала — их было, разумеется, двенадцать,— ушла, но тут же вернулась, добавив в каждую клетку по лишнему полотенцу — укрыться на случай прохлады; она вдруг пронзительно ощутила их наготу, и ее захлестнуло волной жалости к этим бедным существам, застрявшим между мирами.

На ночь она запаслась кипой альбомов по живописи XVI и XVII веков, итальянской и фламандской, и лежа стала их перелистывать. Не подтверждения она искала — ей нужно было, чтобы кто-нибудь сказал за нее то, чего она не осмеливалась сама. И альбомы благосклонно согласились взять на себя этот труд. Она разглядывала репродукции, усмехаясь собственной гибкости: и суток не прошло, как она вполне освоилась и, выискивая знакомые фигурки на знаменитых картинах, придирчиво сравнивала их с натурой, от которой ее отделяла только балконная дверь. Отпали последние сомнения: на ее балконе находились двенадцать крохотных ангелов. В этот час они сладко спали, натянув до подбородка китайские полотенца, выставив только пушистые кончики крыльев, подрагивавшие в ответ на сны. В первый раз она сформулировала для себя четко, без обиняков, ту истину, от которой целый день пыталась ускользнуть в иллюзии и полумеры: у нее на балконе из яиц, положенных под курицу, вместо мясной и яйценоской породы птиц вылупились ангелы. Дюжина ангелов, которых надо скрывать и что делать с которыми — решительно непонятно.

Поскольку ученая дама отнюдь не была религиозна — не позволяли материалистическое образование и философская подготовка,— сам этот факт, несмотря на его неординарность, ее не то чтобы испугал, а скорее взбудоражил. Если что и вызывало в ней досаду и страх, так это не явление само по себе, а следующий за раскрытием его природы этап — публичное разглашение, столкновение с общественным мне-

нием и политические последствия. В сущности, ученая дама была скандализована не больше, чем если бы вместо ангелов обнаружила у себя на балконе пегаса, сирену, сфинкса или какое-нибудь другое существо двоякой природы с известным мифологическим статусом. Но если в случае пегаса, сирены или сфинкса дама, удостоверившись, что это не обман зрения и не сон, помчалась бы, не чуя под собой ног от радости, оповестить коллег, компетентные инстанции и научные круги, срочно засела бы за информационные отчеты и статьи, развернув в них свои гипотезы и подводя под феномен научную базу, то признаться в существовании ангелов казалось ей куда как сложнее. Ученая дама с трудом представляла, как она — многолетняя бессменная руководительница семинара «Эволюция европейской атеистической мысли» — входит на кафедру философии и объявляет, что у нее на балконе, в курятнике, обитом белым атласом и устланном китайскими махровыми полотенцами, заперты двенадцать ангелов. Да одной только боязни за свою репутацию хватило бы, чтобы постараться всеми силами сохранить происшедшее в тайне. Но дама прекрасно понимала, что дело не только в этом. В то время как всемерно ожесточается борьба с распространением сектантства, сделанное вот так, с бухты-барахты, сообщение о том, что ты завела на балконе двенадцать — да и число-то, как назло, сакральное — ангелов, может получить превратное истолкование и вызвать весьма нежелательные комментарии. Итак, решительно исключив этот путь, но не в состоянии найти или придумать что-то другое, ученая дама в конце концов уснула, а альбом «Итальянское Возрождение» тихо соскользнул с кровати и встал на ковре стоймя, полуоткрытый.

Там она и нашла его утром, проснувшись в холодном поту, в судорогах ужаса. Несколько мгновений она пролежала, уставившись на шедевр Веронезе, который вопросительно смотрел на нее с разворота листа, потом почти звериным прыжком соскочила с кровати и кинулась, на бегу захлопнув книгу ногой, к раковине, над которой долго стояла, склонившись, как будто хотела освободиться не от остатков вчерашнего небрежного ужина, а от самого кошмара, явственно, как отрава, въевшегося в ее внутренности.

Ей приснилось, что не произошло неожиданного поворота в судьбе положенных под наседку яиц или она не разглядела, что из них вышли не цыплята, во всяком случае, она изловила одного крылатого бедолагу и, во исполнение своих кулинарных планов, самозабвенно приготовила из него рагу под белым соусом — рагу, которое затем ничто не помешало ей съесть, с легким сердцем и с той обостренностью вкусовых ощущений, которую дает только сон. Но, благополучно разделавшись с последним куском, она почувствовала на себе чей-то взгляд и увидела, что напротив, за столом, сидит тот самый старик, глядит на нее, трясясь от ненависти, и шевелит губами, едва выговаривая слова. Она, не расслышав, попросила повторить, и он повторил, как будто с кашей во рту, ту же фразу (что ту же, она поняла, но по-прежнему не могла разобрать слов). И тогда в третий раз он произнес более чем членораздельно, как бы выплевывая по слову:

— Ты съела ангела.

И добавил, задохнувшись от ярости и отвращения:

— Несчастная!

Теперь она расслышала, но не сообразила, что он имеет в виду, и предложила — тоном экзаменатора, предназначаемым для нерадивых студентов,— выражаться яснее, без метафор.

— Без метафор? — взревел старик, поднимаясь на ноги, невообразимо длинный, до потолка, и, выпрямляясь, высадил головой потолок. А оттуда, с высоты, голос его прозвучал подобно грому:

— Без метафор, говоришь?

И, раздвинув ей зубы спустившейся откуда-то из высей рукой, он стал вынимать, как из мешка, то крылышко в золотистом пуху, то пух-

лую детскую ручку, сжимающую и разжимающую кулачок, как во сне. Но не дикие действия старика, не его исполинские размеры, не голос, громыхающий с невидимого потолка, ужаснули ученую даму и вырвали ее из сна, а то, что при виде останков крылатого существа к ней вернулась память и вместе с ней — осознание, во всей их чудовищности, слов, три раза выкликнутых стариком. Проснувшись и добравшись до раковины, она старалась вывернуться наизнанку, как будто хотела вырвать грех с корнем, увериться на случай, если это был не только сон, в полном отторжении от себя святотатства и скверны. Придя наконец в чувство, она поспешила взглянуть на ангелов. Запертые по трое в клетке, они спали, сплетясь в клубки, как котята. Спали ненакормленные — она до сих пор так и не решила, что из еды им подходит. Но ведь они подросли и так, может, они вообще обходятся без еды? Во всяком случае, голодом их не уморишь. Она отбросила минутную низкую мысль и наклонилась над ними. Днем они не стояли на месте, и она их как следует не разглядела. Теперь, прижавшись друг к другу, выставив крылышки, они казались единым организмом, удивительно мягким, шарообразным, осененным воздушной пенистой сферой: лучами сложенных, стоящих торчком крылышек. Она отметила, что из детского пушка кое-где прорезались перья, вполне отчетливые, гораздо светлее, чем пух, почти серебряные. Любуясь, как они дружно и мерно дышат, как разрумянились во сне их щеки, как подрагивают под веками глазные яблоки, она не находила в них больше ни следа чего-то скользкого и срамного, как вначале, они будили теперь только умиление, только желание заслонить, защитить их. Отдав себе в этом отчет, дама впервые с начала событий по-настоящему испугалась и поспешно вернулась в комнату. Ей предстояло самое трудное: внять голосу разума и признать случившееся абсурдным, а то и вообще неслучившимся, ведь ангелы на балконе — это что-то из области безумия и бреда. Но стоило суровому рацио ослабить надзор, и почтенная дама начинала думать, что она не просто поразительно скоро свыклась с обстоятельствами, но и что бедные существа, так по-детски спящие у нее за окошком, ей теперь не чужие и — к чему скрывать? — она к ним привязалась. Конечно, так быстро освоиться ей помогли и репродукции, в конце концов, у нее на балконе жили всего-навсего самые обычные плоды воображения поэтов всех времен, абстракции — только абстракции во плоти. Что может быть знакомее, чем ангел? Встретив его, многие удивятся, но найдется ли хоть один, кто его не узнает? Это, конечно, никак не меняло дела, и ученая дама нисколько не сомневалась в реакции коллег, если бы она — случись с ней приступ мазохизма и эксгибиционизма — поделилась с ними своим чрезвычайным балконным секретом. Во-первых, ее версии никто, ни одна душа, не поверит. Станут доискиваться — нет ли здесь какой-нибудь запретной, позорной подоплеки. Не найдут, так придумают — когда надо друг друга перещеголять, за домыслами дело не станет. Ясно, что одними словами их не убедить.

«А чем же еще?» — спросила себя почтенная дама, чисто риторически, потому что никто не задает вопроса, не предугадав ответа, и, посреди сборов на работу, забыв в волосах гребень, которым начала причесываться, за секунду до поступка еще не приняв решения, бросилась на балкон, раскрыла клетки и осторожно, не распутывая клубки спящих существ, ссыпала их в разверстую пасть сумки, аккуратно сомкнув ее затем молнией. Внутри, после короткого шебуршения, все снова утихло. Как будто самое трудное было позади, дама вернулась к зеркалу и кончила причесываться. Доводы, подсказанные страхом, до сих пор такие ясные, улетучились без следа. Легкость от того, что решение принято, хмель от собственной отваги превратили ее как бы в стороннего наблюдателя, не без любопытства ждущего развязки. Как это будет, она не знала, но что будет — не сомневалась.

Все утро, часа четыре, пока шло заседание ученого совета, почтен-

ная дама, силясь вслушаться в обычные, изрекаемые менторским тоном фразы, разглядывала лица коллег, сидящих за длинным столом, прикидывая, какая у кого будет мина, когда она это сделает. «Как и когда?» — подспудно, безотчетно трудилось тем временем все ее существо, но из-за того ли, что она не могла найти ответа, или из-за того, что на самом деле ответ уже был найден, дама наконец запустила правую руку в сумку, висящую на спинке стула, и пока ее пальцы погружались в теплый, ласковый шелк волос и крыльев, пытливо переводила глаза с одного коллеги на другого, стараясь в последний миг уловить знак — пора? не пора? — как бы надеясь, что ее что-то остановит. Но ничто не остановило ее руку, когда она скупыми жестами, не опуская глаз, стала по одному вынимать и ставить на длинный стол ангелов из сумки. Очутившись на алой скатерти, за годы заседаний изрядно прожженной окурками и заляпанной чернилами, крохотные существа, утонув в нагромождении бумаг, брошюр, авторучек, стаканов с водой и чашек кофе, мгновенье медлили, а потом, с детской непосредственностью, заменяющей все церемонии, бросались кто куда, не дожидаясь товарищей, как будто им нельзя было терять ни минуты. Вынув последнего, дама закрыла глаза и застыла, уронив руки на колени, опустошенная, словно разом сказалось все напряжение последних дней. Она чувствовала, что ангелы разбежались по столу, наклоняясь над чашками, шурша бумагами, играя авторучками, потом услышала шелест крыльев: значит, полетели. Она представила себе, как сейчас они закружат вокруг очередного оратора. И правда, голос говорящего странно дрогнул и оборвался, пустив в ход механизм неправдоподобной тишины, какая бывает в преддверии взрыва.

Почтенная дама сидела, по-прежнему крепко сомкнув веки, и ждала, что будет.

Фантастика или поэзия?

Отчего так много фантастики? Такой спрос на фантастику? Такое поветрие — отобразить действительное как невероятное, через невероятное, к плюсу приплюсовать плюс? Скорее всего виновата сама действительность, чудеса XX века, превзошедшие чудеса всех иных времен, тоже чудесами не обделенных. С одной стороны, действительность на самом деле фантастична и с трудом укладывается в оробелом нашем уме — причем речь идет не только о чудесах техники или великих социальных катаклизмах нашей эпохи, но и о повседневности, о том самом кирпиче, который, по выражению Булгакова, так просто никогда на голову тоже не свалится,— жизнь, как известно, великий драматург, и ее ходы и коллизии бывают невероятны. С другой стороны, действительность современного урбанистического существования во многом так механична, однообразна, регламентирована, человек так устает от раз и навсегда заведенного порядка (заведенного им самим), от заданности своего образа действий, поведения, даже мышления, что ему, конечно, все время хочется вырваться — как всем нам хочется вырваться в отпуск — в нечто необычное, из ряда вон выходящее, яркое и необыкновенное. Мечта и обыденность всегда высекают искру, вспыхивает фантазия — так испокон веков рождались сказки. Изумление человека перед миром и перед самим собою, перед космическим и духовным, восторг и ужас, сила и бессилие разума, раскаленного или остуженного познанием,— вот почва фантастических растений, лесов, дебрей. Мы набрасываемся на фантастику, которая в лучших образцах своих есть скрытая философия, и она помогает нам понять нас самих, нашу жизнь, ей позволены символы и выводы, образы и поэтика, в других жанрах не принятые.

Сегодня мы снова встречаемся с именем Аны Бландианы, румынской поэтессы, эссеистки, прозаика, с рассказами из ее второго сборника рассказов фантастического толка «Проекты прошлого» (1982), а первый вышел еще много раньше (1977). Эти столь разные произведения, взятые вместе, прежде всего дают, мне кажется, достаточно полное представление об авторе, о мятущейся и возвышенной душе, светлом и ироническом уме, о страдающем, как и положено поэту, сердце, о даре изысканного талан-

---

СТАРОСТИНА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Советский переводчик с румынского. Переводила повести «Чезара» Михаила Эминеску и «Крошка» Б. Хашдеу, миниатюры Тудора Аргези, рассказы Йона Атырбичану, повести и рассказы Д. Р. Попеску, С. Титела, М. Сынтимбряну, Э. Урикару, Ф. Нягу, стихи Вирджила Теодореску и Захарии Станку.

та. Перо у Бландианы твердое и острое, как рисунок, а речь густа и цветиста, как живопись, но ее орнаменты не прячут сути: попробуйте рассказать любой из ее рассказов вслух, и выйдет точная и ясная притча — одна о том, как ностальгическая и вполне реальная поездка городского человека в свою деревню на автомобиле погружает его в естественно изменившийся и умирающий мир прошлого, который ужасен в своем старении и гниении, но о надвигающейся смерти которого не может не скорбеть горько и не выть набатом душа, выросшая когда-то в этом самом исчезающем теперь мире, помнящая свое босоногое детство. На мой взгляд, этот рассказ «За городом» сродни многим нашим произведениям «деревенской прозы», и нужно совсем немного времени, чтобы его «фантазмы» стерлись из памяти, а образ меняющегося, уходящего в прошлое, исчезающего в его облике села ярко запечатлелся в памяти. Несомненная социальность и актуальность этого рассказа, есенинская, можно сказать, печаль об «уходящем»—поэзия вообще остро чувствительна к теме осени, увяданья, ухода, что уж тут поделаешь. Но какая здесь замечательная и мощная метафора гремящего над миром колокола, который разбудила героиня,— гласа жизни, нового ее возрождения, кругового восхода в небо птичьей стаи, надежды,— нет, речь не о том, чтобы вернуть невозвратное. Бландиана смело пишет о смерти, об умении умирать, речь о преемственности, о связях времен, о мощи жизни, всегда восстающей из пепла. И еще о мощи искусства, которому до конца предана поэтическая душа Аны Бландианы. Она словно рыцарь искусства, женщина в мужском рыцарском костюме, стоит на страже поэтического слова и образа, которые сами по себе уже есть хранители духовности. В своем воинственном желании уберечь и отстоять замороченную будничностью и потребительством поэзию человеческой души Ана Бландиана зовет на помощь искусство, она придумывает историю о том, как обыкновенная наседка высиживает из яиц ангелов, ангелочков, фантастическое чудо появления которых на свет уже уводит героиню от ее мелочных, утробных забот, заставляет душу волноваться и трепетать, ум — искать объяснения и смысла; маленькие забавные ангелы, будто сошедшие во сне с полотен старых мастеров (они ведь и там тоже были плодом фантазии), по крайней мере наполняют жизнь радостным и странным волнением, нарушают ее однообразие, заставляют человека, ставя его в ситуацию необыкновенного, напрячь все свои лучшие силы. Третий рассказ «Подделка под кошмар» тоже может быть прочитан не как «женский» рассказ о взаимоотношениях мужчины и женщины, о взаимной борьбе и нерасторжимости, но как рассказ о художнике, схваченном, связанном темой, требованием, велением жизни, пусть грубой и жестокой, но привязывающей к себе, но требующей от художника отображения ее такою, как она есть,— и уж тут не до разглагольствований об абстрактной свободе творчества, о непричастности, о «высоком» и «низком»,— не зря рассказ кончается столь символически: героиня, которая все силы употребила на то, чтобы «вырваться», ощутив свободу, «не уходит», а остается на месте. Может быть, я преувеличиваю, но мне чудится именно такое прочтение этой вещи.

Ана Бландиана несомненно остается поэтом в своей фантастической прозе, она пошла как бы третьим путем: избрала фантастику не от изумления перед чудесами, не от скуки будней, а от полноты чувств, оттого, что эта форма, может быть, больше всего сродни поэзии. Это не научная фантастика, а фантазии поэтического ума и сердца, и корни их — глубоко-глубоко в народной поэзии, в древних метаморфозах. Ана Бландиана стоит на той же дороге, по которой шли Апулей, Гофман, По, Гоголь, Булгаков, Маркес и все на свете поэты, которым вечно хочется, чтобы из простого яйца в один прекрасный день вылупился бы не цыпленок, а либо ангел, либо антихрист, смотря по настроению.

МИХАИЛ РОЩИН

ЭДВАРД РИКАРДО БРЕЙТУЭЙТ

Учителю — с любовью

РОМАН

Перевод с английского М. ЗАГОТА

Глава 13

Экскурсия в Музей Виктории и Альберта заняла основное место в сочинениях за неделю. Она была описана свободно и вдумчиво, многие не обошли молчанием даже собственное поведение. Мистер Флориан пришел в восторг и сказал, что, если я захочу сводить ребят еще куда-нибудь, он с удовольствием мне поможет.

Я работал с классом уже два месяца, и с каждым днем уроки становились интереснее. Чего я только не придумывал, чтобы раскачать их, пробудить интерес к занятиям! Поле деятельности у меня было обширное, ибо знали они очень мало — сплошные пробелы. Наши уроки походили на непринужденную беседу, я просто направлял ее, всячески стараясь, чтобы ребята, прочитав учебник, высказывали свое мнение.

Скелет, давно пылившийся в кабинете естествознания без дела, я стал использовать на уроках практической физиологии, и он явно пришелся ко двору. Ребята спрашивали, я отвечал как можно подробнее. Я говорил с ними как с юношами и девушками и по их реакции видел — этот тон самый верный. Когда я сказал, что скелет — женский, они попросили меня это доказать. Пришлось объяснить, что дело здесь в форме и глубине таза, почему у женщин он такой, а у мужчин — другой. Естественно, последовали вопросы о поле, супружестве, беременности, родах. Меня поразило, как много они об этом знают. Хотя чему удивляться? Все они живут в больших семьях, теснота, комнаты маленькие, всего навиделись и наслышались, и кормить их сказочками об аистах поздно.

Даже Силс, из которого раньше нельзя было выжать и слова, стал разговорчивее, и весь класс скоро убедился, что он ничуть не глупее других и наделен природным чувством юмора.

Как-то я начал урок географии с таких слов:

— География занимается изучением мест на поверхности земли, народов, населяющих ее, а также флоры, фауны и полезных ископаемых.

— А что это такое, учитель, флора и другая штука?

— Флора — это термин, который используется для описания всего растительного мира, будь то на земле или в воде: деревья, водоросли, в общем, все, что растет. А фауна — это животный мир, от самых крупных особей до самых мелких. Сегодня мы поговорим о жизни на африканском континенте.

Окончание. Начало см. в № 2.

— А вы ведь не из Африки, правда, учитель? — поинтересовался Силс, хотя на этот вопрос я уже отвечал много раз.

— Нет, Силс, я родился в Британской Гвиане.

— А где это, учитель?

— На северном побережье Южной Америки, это единственная английская колония в том районе. Вы легко найдете ее на карте между Суринамом и Венесуэлой.

— Это то же самое, что Демерара, откуда привозят сахар, да, учитель?

Вопрос задал Фернман, но мне приходилось слышать его и от наших преподавателей — в большинстве своем они, как это ни грустно, имели о колониях, протекторатах и зависимых территориях весьма туманное представление.

Они знали, что на Ямайке производят сахар, ром и бананы, в Нигерии — какао, а Британская Гвиана богата полезными ископаемыми. Названия этих стран были им хорошо знакомы, не хуже привозимых оттуда продуктов, и все же... За названиями стояли какие-то далекие земли, и мало кто проявлял подлинный интерес к жизни народов колоний или их борьбе за улучшение своего политического и экономического положения.

Для наших учителей все люди с темным цветом кожи, включая живущих в Англии, были «туземцы». У них выработался свой стереотип негра, главным образом на основании карикатуры, которая ходит от книги к книге, от фильма к фильму: бесхитростный и добродушный человек, он живет в примитивной глиняной хижине или влачит жалкое существование в городской лачуге и все жизненные невзгоды встречает белозубой улыбкой, ритуальным танцем и песней под барабан.

В общем-то, винить их в этом нельзя. Они учились по тем же учебникам, что и нынешние школьники, и хорошо усвоили: люди с темной кожей уступают им в физическом, умственном, социальном и культурном развитии, хотя говорить об этом вслух не принято.

Я давал своим ученикам несколько иную картину жизни на колониальных территориях, но они возражали, часто ссылаясь на сведения из старых, а порой и новых учебников. Сила печатного слова, как известно, велика, и мне было трудно разубедить их. А если иногда в качестве примера я приводил себя, у них всегда был один ответ:

— Ну, учитель, вы — другое дело.

С помощью атласа я объяснил Фернману, что Демерара — это только один из трех крупных районов Британской Гвианы, а сахар — лишь один из основных видов продукции.

— Но мы отклоняемся от темы урока, а тема эта — Африка. Африканский континент очень интересен своим разнообразием народностей, религий, культур и климатических условий. Цвет кожи разнится от черного — у негров в бассейне реки Нигер, до более светлого — у многочисленных арабских народов, и белого — у переселенцев из Европы.

— А южноафриканцы белые, да, учитель?

— Южноафриканцы — это жители Южной Африки, независимо от цвета кожи. Вот ты, Фернман — житель Лондона, и Силс тоже, хотя кожа у вас разного цвета. А моя родина — Британская Гвиана, но там живут тысячи людей с белой кожей и светлыми, рыжими или темными волосами.

Да, было трудно — я почти не мог опираться на учебники,— и все же работа с этими непоседливыми, любознательными сорванцами приносила мне массу удовлетворения.

Как-то вечером по дороге домой я увидел старого табачника, стоявшего возле своей лавки. Он пригласил меня зайти. Маленькое помещение было заставлено банками с конфетами, бутылками с содовой водой, деревянными ящиками и разрисованными подносами.

Хозяин, наклонившись над узким прилавком, крикнул что-то на идиш, за полуоткрытой дверью послышался женский голос, и из внутренней комнаты выплыла полнотелая хозяйка — глава семейства.

— Мама, это новый учитель в школе «Гринслейд».

И он простер руки, словно фокусник, показывающий публике кролика. Я с улыбкой поклонился пожилой женщине, она заинтересованно кивнула в ответ.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Брейтуэйт,— ответил я.— Рикардо Брейтуэйт.

— Я Пинкус, а это — Мама Пинкус.— В его голосе и жестах чувствовалось сыновнее почтение.

— Здравствуйте, Мама Пинкус.

— Кажется, я нашел для вас жилье.— Табачник подошел к маленькой конторке и взял с нее карточку, на которой было написано объявление о сдаче комнаты.— Мама думает, это хорошая комната, может быть вам подойдет.

Я поблагодарил их и взял карточку. Как трогательно — эти добрые люди не забыли обо мне, о моей просьбе.

Я решил посмотреть комнату не откладывая — уже несколько раз я опаздывал на занятия. Мистер Флориан, правда, относился к моей транспортной проблеме с пониманием, тем не менее надо «окапываться» где-то неподалеку от школы. Если получится, скажу Маме и Папе, они, конечно, меня поймут. А не получится... что ж, все пока останется как есть.

Адрес привел меня к домику на малопривлекательной улице, но мостовая возле дверей, как и в соседних домах, была выскоблена добела, а медное дверное кольцо и кружевные занавески на окнах говорили о стремлении жильцов поддерживать чистоту. Для многих местных жителей семейный очаг был предметом вожделенной гордости. Я постучал, и дверь тут же открылась. На пороге, улыбаясь, стояла большая краснолицая женщина.

— Добрый вечер. Я пришел справиться о комнате.

Улыбка сменилась холодной отчужденностью, так хорошо мне знакомой.

— Извините, я ничего не сдаю.

— Но мистер Пинкус сказал мне об этом несколько минут назад,— возразил я.

— Извините, мы передумали.— Она скрестила руки на груди. Суровый облик ее говорил: решение окончательное.

— Кто там, ма? — послышался из глубины дома девичий голос.

— Какой-то чернокожий ищет комнату.— Слова вылетали из ее рта, словно ядовитые стрелы.

Охваченный смятением и гневом, я повернулся, чтобы уйти, как вдруг за спиной женщины раздался какой-то шорох, и полный ужаса девичий голос пролепетал:

— Ой, господи, это же учитель, это же наш учитель.— Я оглянулся и увидел удивленное лицо женщины, а из-за ее спины, перепуганная и веснушчатая, выглядывала Барбара Пегг.— Ой, господи...

Я сказал себе, что это была первая и последняя попытка найти «берлогу» в этом районе. Пока от меня не отрекутся Папа и Мама, их дом — это мой дом. А бедная Барбара еще долго избегала меня и заливалась краской всякий раз, когда я обращался к ней на уроке.

Примерно месяц спустя мы с Джиллиан впервые договорились встретиться за пределами школы. Со дня похода в музей мы, словно сговорившись, обходили молчанием все, что касалось только нас двоих, но возникшее между нами чувство день ото дня становилось сильнее и глубже.

И наконец Джиллиан предложила провести вечер вместе. Какой это был чудесный вечер! Мы смеялись и разговаривали, сидели в ки-

но, держась за руки, ужинали в Сохо и каждую секунду наслаждались обществом друг друга. В жизни я не был так счастлив.

Вскоре мы стали встречаться регулярно, ходили в театры, в кино, на концерты. В такие вечера Джиллиан много рассказывала о себе. Ее родители жили в Ричмонде. Отец часто ездил за границу — он занимался международными банковскими операциями, мать была модельершей. Сама Джиллиан жила в Челси, а в Ричмонд ездила повидаться с отцом и с матерью. Два года назад она закончила колледж и отделилась от родителей, решила жить самостоятельно. Полтора года Джиллиан проработала редактором в женском журнале, потом ей это надоело, и она пошла преподавать. Дело не в деньгах — в редакции она зарабатывала неплохо, да и родители помогали,— просто ей хотелось более живой работы.

Однажды после уроков я сидел в классе и проверял тетради, как вдруг раздался стук в дверь, и на пороге появилась миссис Пегг. Я поднялся и пригласил ее войти.

— Добрый день, миссис Пегг.

— Добрый день, учитель. Вижу, вы меня запомнили.

Я ничего на это не ответил и ждал, что она скажет дальше.

— Я пришла сказать вам насчет комнаты, учитель. Я ведь не знала, что моя Барбара учится у вас, понимаете?

Я прекрасно понимал ее и тогда и сейчас.

— Думаю, нам лучше об этой истории забыть, миссис Пегг.

— Но как же я могу забыть, учитель? Барбара целыми днями меня пилит: иди, мол, и скажи о комнате. Так что, если желаете, комната — ваша.

— Спасибо, миссис Пегг. Но я уже передумал.

— Вы сняли в нашем квартале другую комнату?

— Нет, миссис Пегг. Просто решил пока не переезжать.

— Что же мне сказать Барбаре, учитель? Она ведь подумает, что вы сердитесь на меня, потому и отказываетесь.

В голосе ее слышалась неподдельная тревога. Да, Барбара — девчонка с характером, раз сумела нагнать такого страху на эту большую, грозную женщину — свою мать.

— Я все улажу, миссис Пегг. Я сам поговорю с Барбарой и все ей объясню.

— Ох, учитель, я буду вам так благодарна. Обижать-то вас я не хотела, а мне от нее теперь житья нет.

Мне наконец удалось выпроводить ее. Разумеется, ей не было никакого дела, найду я комнату или нет, но, как часто бывает с такими женщинами, чтобы ублажить дочь, она была готова поступиться всеми принципами и убеждениями. В общем, я уже понял: не нужно сердиться на миссис Пегг из-за того, что она мне отказала. Стоит ли удивляться, что мать не захотела сдать комнату мужчине, когда в доме у нее подрастает несовершеннолетняя дочь? Да не просто мужчине, а негру... хотя вызывающему поведению миссис Пегг все равно нет оправдания. Но Барбара не разделяла предрассудков матери — вот что главное. И если молодые учились отстаивать свое мнение в таких вопросах, значит, этот урок, пусть болезненный, стоил многого.

В тот же день я поговорил с Барбарой. Я сказал, что ее мама предложила мне снять комнату, но я решил пока отказаться от переезда.

— Но ведь раньше, учитель, если бы мама не отказала, вы бы согласились?

— Наверно, да, мисс Пегг, но нам всем свойственно менять свои решения.

— И вы больше не сердитесь на нее, учитель? — Ей отчаянно хотелось, чтобы я утешил ее, успокоил.

— Сначала я и правда был немного огорчен, но сейчас это прошло. С вашей стороны очень великодушно предложить мне комнату, и я благодарен вам обеим. Знаете что? Если надумаю переезжать и ваша комната еще будет свободна, я сниму ее. Договорились?

— Хорошо, учитель.

— Вот и прекрасно, а теперь давайте забудем об этой истории, ладно?

— Ладно.

Она улыбнулась, у нее явно гора свалилась с плеч. Хорошая девчонка, может, она преподаст своей матери еще не один урок гуманности и нравственности.

Глава 14

Августовский отпуск я провел неторопливо и спокойно. Много читал, ходил на выставки, в театры, на концерты. Джиллиан с матерью уехала отдыхать в Женеву и прислала мне оттуда два письма — задорных, полных сведений о том, где была, что видела, что больше всего запомнилось. Как чудесно, что скоро мы снова встретимся!

К началу семестра класс заполнился только наполовину, многие мои подопечные вместе с семьями работали в графстве Кент на уборке хмеля. Эти осенние работы в сельской местности были обычным явлением — люди совмещали приятное с полезным. Из лидеров и заводил класса вовремя не вернулся почти никто, и остальные ходили какие-то потерянные — скучали без друзей и подруг и с нетерпением, как и я сам, ждали их приезда.

Памела была на месте, но за лето она заметно изменилась. Стала какой-то тихой, угрюмой, замкнутой, в танцевальных переменах, которые раньше так любила, не участвовала. Я решил, что ей просто не хватает Барбары Пегг — та с матерью убирала хмель — и скоро все придет в норму.

К концу сентября класс был снова полон, и вскоре, как я и надеялся, на уроках установилась прежняя атмосфера. Ребята рассказывали мне, как весело им работалось, сколько заплатили и что они купят на заработанные деньги. Я ожидал, что с возвращением Барбары Пегг гнетущую меланхолию Памелы как рукой снимет, но, хотя на ее лице изредка появлялась улыбка, Памела все еще пребывала в заторможенном состоянии, словно ее что-то необъяснимо тяготило. От живительной бодрости, которая всегда била из нее ключом и так меня восхищала, не осталось и следа.

Она теперь не выходила из класса после звонка, и я заметил: безо всяких просьб с моей стороны она делает для меня уйму всяких мелочей, словно стараясь предвосхитить мои желания. Например, она стала следить за порядком на моем столе и приносить мне из учительской чай. Клинти со смехом пожаловалась, что мои девочки отбивают меня у учительниц. Я пытался возражать, но действительно, как только раздавался звонок на перемену, я вдруг оказывался в окружении своих мальчишек и девчонок, они забрасывали меня вопросами, просили рассказать о себе, делились домашними новостями, своими интересами, планами на будущее. Мысль о том, что школьная жизнь через три месяца закончится, как бы подгоняла их, за оставшееся время они стремились узнать как можно больше.

Я был заочно представлен всем членам их семей и знал о том, что «наша Джоанни» перешла на новую работу; что у «нашего Альфа» появилась новая девушка; что «дома сейчас трудно», потому что отец бастует в порту; что «у мамули скоро появится маленький». Я стал своим, и это приносило мне огромную радость.

Иногда утром я находил у себя на столе сверток с куском свадебного или именинного пирога, сверху было просто написано: «Учи-

телю». А в перемену кто-то из них подходил и объяснял, что это от него, от нее или от кого-то из членов их семей. Меня угощали, и я не отказывался, съедал такой кусок пирога за чашкой чая.

Памела всегда была где-то рядом, молча, с какой-то настороженностью она следила за всем, что происходило в классе. Словно по волшебству она вдруг превратилась из девочки в девушку. Волосы ее теперь не болтались конским хвостом, его сменили две аккуратно заплетенные большие косы, которые в свою очередь были уложены на затылке аккуратным, изящным венчиком. Движения ее были полны достоинства — постоянная серьезность на лице подкрепляла это впечатление. С ней что-то происходило, но вмешиваться в ее личную жизнь я не собирался и решил просто подождать — вдруг у нее все пройдет само или представится удобный случай для разговора. Они стали мне далеко не безразличны, эти мои ученики, и заботы любого из них были моими заботами.

Как-то утром на перемене ко мне с новым футбольным мячом подошел Денэм, а вместе с ним — Поттер, Фернман, Джексон и Силс.

— Учитель, помогите, пожалуйста, зашнуровать мяч. Нам обещал помочь мистер Уэстон, но сейчас он говорит, что очень занят.

Меня всегда забавляло, как они обращались ко мне с просьбой. Будто об отказе не могло быть и речи. Они приходили ко мне с полной уверенностью, что любую их проблему я решу с большим желанием и охотой. И действительно, отказать им было невозможно.

— Хорошо, Денэм, давайте.

Девочки разошлись, позволив мужчинам заняться мужской работой. Осталась лишь Памела, она наблюдала за нами со своего места. Мы как следует накачали мяч, потом двое ребят крепко прижали его к столу, и я взял шнур. Продевая его в последнее отверстие, я зацепил стальной шнуровательи немножко поранил палец, из него засочилась кровь.

— Вот это номер! Кровь-то красная!

Поттер изобразил на своем широком добродушном лице удивление, изумленно выкатил глаза, и остальные, глядя на него, залились громким смехом. Но тут рядом с Поттером возникла Памела.

— А ты что думал, жирный боров? Что там чернила? — зашипела она на него. Потом, полная спокойного презрения, отошла к своему столу и села, надменная и недоступная.

— Ни фига себе! — воскликнул Денэм, пораженный яростью, с какой Памела набросилась на Поттера. Силс и Фернман от удивления лишились дара речи и просто смотрели то на Поттера, то на Памелу. Бедняга Поттер покраснел как рак и залепетал:

— Я ничего такого не хотел сказать, учитель. Просто я хотел сказать, что у вас только кожа черная, вот и все.

— Вы правы, Поттер,— ответил я, стараясь как-то показать, что не сержусь на него за шутливую реплику.— Цвет имеет только верхний слой кожи.

Зашнуровав мяч, я открыл ящик стола, где у меня всегда лежал пластырь. Я был сердит на Памелу — зачем ей понадобилось набрасываться на Поттера, да еще с такой яростью? — но решил ничего не говорить, положение и без того было щекотливое.

Ребята подошли к Памеле, смотревшей на них с холодным безразличием.

— Чего это ты вдруг? — Денэм уселся на крышку стола прямо перед Памелой и воинственно выпятил подбородок.

— Это вы мне, Денэм?

— Да.

Памела молча смотрела на него.

— Ну хорошо, мисс Дэр. Так в чем дело?

— Не понимаю, Денэм, о чем вы,— спокойно, чуть насмешливо произнесла она.

— Пот просто пошутил, а ты накинулась на него, как ведьма, да еще при учителе. Зачем назвала его «жирным боровом»?

— Разве он не жирный?

Памела перевела взгляд с Денэма на Поттера и смерила его сверху донизу.

— Подумаешь, чуть-чуть пошутил, да и учитель не против,— попробовал оправдаться Поттер, поеживаясь под взглядом Памелы.

Услышав это, Памела одним движением вскочила на ноги и вплотную подошла к Поттеру. Глаза ее горели, голос от нахлынувших чувств совсем загустел.

— Не против? Откуда ты знаешь, что он не против? Потому что он тактичный человек и умеет прятать свои чувства? Кретин ты безмозглый, вот ты кто, и все вы тупые, безмозглые кретины!

Я сидел и молчал, словно загипнотизированный гневной тирадой этой рыжеволосой фурии. Памела, казалось, стала больше ростом, глаза ее буравили беспомощного Поттера. Она продолжала:

— Тебе бы понравилось, жирный Поттер, если бы к тебе вечно цеплялись с одним и тем же? Идиоты вы все, самые настоящие идиоты! Господи, только послушать ваши вопросы! — Она сделала гримасу и начала уничтожающе пародировать: — Вы когда-нибудь умываетесь, учитель? А вам бывает холодно, учитель? А в парикмахерскую вы ходите, учитель? Дураки, и слова другого нет для вас!

— Ай да старушка Памела! — воскликнул Тич Джексон.

Памела быстро обернулась и окинула его испепеляющим взглядом, но Тич тут же поправился:

— Мисс Дэр, я хотел сказать.

— Но учитель разрешил спрашивать его о чем угодно,— не сдавался Денэм. По сообразительности и быстроте мышления тягаться с Памелой он не мог, но, наверно, хотел загнать ее в угол с помощью логики.

— Замолчи, Денэм. Разве это называется «задавать вопросы» — если все только и вертится вокруг цвета кожи! Конечно, поумней-то спросить нечего!

Не желая щадить никого из них, Памела вдруг повернулась к Силсу, который, как всегда, играл роль стороннего наблюдателя.

— А уж тебе должно быть совсем стыдно!

— А я при чем? Я-то что сделал? Я ни слова не сказал.— Он был встревожен.

— А ты всегда молчишь. Ты тоже цветной, но просто сидишь и помалкиваешь в тряпочку. Боишься их, что ли?

Она была прекрасна в этом всплеске гнева и презрения: разгневанная королева, огненно-рыжая, величественная. Силс терпеливо смотрел на нее, и терпение делало его на несколько веков старше этой взбеленившейся бестии.

— Я правда не думаю, мисс Дэр, что кто-то хотел оскорбить или обидеть учителя. Ребята задают вопросы, потому что чего-то не знают или не понимают, вот и хотят разобраться.

Но унять Памелу было невозможно.

— Чего же они тебя не спрашивают, если им так хочется узнать?

— Потому, мисс Дэр, что у учителя есть авторитет. А у меня?

Денэм еще раз попробовал доказать, что он прав.

— Не много ли на себя берешь? Учитель может сам за себя постоять.

— Я и не заступаюсь,— вспыхнула Памела.— Просто мочи нет слушать ваши дурацкие вопросы. А сколько я на себя беру, это не ваше дело, мистер Денэм, провались ты! Красная кровь, нашел чему удивляться! — Язык ее был острее медицинского скальпеля. Настоящее жало!

Поттер отвернулся от нее и бросил через плечо:

— Пошли вниз, братцы. Она совсем чокнулась, это точно.

Остальные двинулись за ним и дошли уже до двери, как вдруг Денэм, словно в голову ему пришла неожиданная мысль, остановился и обронил хриплым шепотом:

— Знаю, что за муха тебя укусила. Ты просто втрескалась в учителя, и все.

Не дожидаясь ответа, он кинулся за дверь, и она громко захлопнулась за ним. Памела не пошевелилась, она стояла с раскрытым ртом и смотрела на дверь. Потом перевела взгляд на меня, и наши глаза встретились. Наверно, выражение лица у меня было глупее некуда, потому что она густо покраснела и бросилась вон из класса.

Итак, все стало ясно. Где-то в глубине души я подозревал это с самого начала, но не хотел признаваться себе — несмотря на сформировавшуюся фигуру, на «взрослое» поведение, она была для меня ребенком, за судьбу которого я к тому же нес личную ответственность. Я понимал, что, хоть ей всего пятнадцать лет, душевные треволнения могут значить для нее очень много — бывает, девушка в таком возрасте обручена или даже замужем,— но что я мог поделать? Да, она нравилась мне, я восхищался ею, и все же для меня она была просто ученицей моего класса, я относился к ней с тем же отцовским чувством, что и ко всем остальным. Если фраза Денэма отражала общее мнение, моему положению не позавидуешь, но Денэм скорее всего выстрелил наугад, в темноту. Надо обязательно с кем-то посоветоваться. Только не с Джиллиан, тогда выяснится, что ее предсказание сбылось, а мне не хотелось слышать от нее: «Я же говорила». Пожалуй, Грейс. Да, Грейс, она сама выросла в тех же условиях, что и эти девчонки, и хорошо знает, чем они живут.

После обеденного перерыва я отвел Грейс в сторону и шепнул ей, что хочу поговорить по личному делу, и мы пошли в ее класс. Она внимательно, не перебивая, выслушала меня. Потом сказала:

— И что же, Рик, вы удивлены?

— Прошу вас, Грейс, мне совсем не до шуток. Мне нужен совет, потому что на этот счет личного опыта у меня нет.

— Я не шучу, Рик. Такое случается постоянно в любом заведении, где есть учителя-мужчины и ученицы-девочки: в детском саду, школе и университете. Садитесь, я введу вас в курс дела.

Мы устроились поудобнее, и она продолжала:

— В нашей школе уже бог знает сколько лет не было хорошего учителя-мужчины — не считая, конечно, директора. Мужчины-то были, но такие экземпляры! Их и видели эти девчонки: неопрятных, нечесанных, забывающих чистить не только обувь, но и зубы, в мешковатых костюмах. Представьте себе, эти прощелыги каким-то образом влезали в колледж, умудрялись получить диплом, право на преподавание, а потом заявлялись в класс в таком виде, что смотреть тошно!

В порыве красноречия она поднялась и принялась ходить взад-вперед, скрестив руки на груди. Потом остановилась передо мной.

— И вдруг появляется мистер Рик Брейтуэйт. Он одет в хорошо сшитый и отглаженный костюм. На нем вычищенные туфли, он гладко выбрит, зубы сверкают белизной, галстук и носовой платок одной расцветки — картинка, и все тут! Он высок, строен и красив. Господи, милый вы мой, чего же еще ждать от бедных девчонок? Ведь вы так не похожи на их отцов, братьев и соседей. Мало того, вы обращаетесь с ними как со взрослыми, разумными людьми, это для них совсем в новинку. И вы им нравитесь. Когда они приходят ко мне учиться стряпать или вязать, я только и слышу: «Учитель то, учитель это, учитель сказал, учитель говорил», они мне этим «учителем» все уши прожужжали!

Грейс «завелась». Кажется, в таком возбуждении я ее раньше не видел.

— Я, Рик,— продолжала она,— знаю эту публику давно, слава богу, преподаю здесь уже двадцать лет. Многих помню с пеленок, и, конечно, знаю о них все, и всех их люблю, этих маленьких задиристых мерзавцев. Могу сказать, Рик, что у вас дело идет здорово. Только вчера мне вас нахваливал Старик. Вы добры с ними, вежливы, столько им даете. Будьте терпеливы с Памелой. В ней пробуждается женщина, и вы, наверно, первый настоящий мужчина, который ей встретился. Побольше такта, уверена, скоро у нее это пройдет.

Я поднялся. На такой исчерпывающий ответ я и не рассчитывал, даже смутился, но был очень ей благодарен.

— Спасибо, Грейс, вы мне очень помогли.

— Приходите к тетушке Грейс, и она избавит вас от всех хлопот,— засмеялась она.

Я уже почти вышел, когда Грейс, словно вспомнив о чем-то, сказала:

— Мисс Бланшар мне нравится. А вам?

Ничего не ответив, я закрыл за собой дверь.

Грейс оказалась права. Эмоциональная вспышка, должно быть, действительно сняла тяжесть с души Памелы — настроение у нее вскоре улучшилось, она перестала быть замкнутой и зажила общей жизнью со всеми — в классе, на танцах. Иногда, правда, я замечал какое-то озабоченное выражение на ее лице, но особых причин для этого не видел и считал, что скоро она совсем перестанет хандрить.

В последнее время мистер Флориан стал частенько заглядывать к нам на урок и участвовать в беседах. Естественно, уроки только выиграли — это был человек с богатым опытом и широким кругом интересов. Он втискивался за один из столов и сидел там возвышаясь, сцепив руки на коленях. Глаза его радостно сияли, когда он разговаривал или спорил с учениками. Он то поддразнивал их, то хвалил, стараясь, чтобы они откровенно и без оглядки высказывали свое мнение. Он был похож на любимого, приехавшего в гости дядюшку с пригоршней сюрпризов в кармане. Я подозревал, что многие мои ученики были готовы броситься и расцеловать его — такое в их глазах читалось обожание.

Иногда он делил класс на две группы, и начиналось подробное обсуждение какого-нибудь вопроса, который либо интересовал их сейчас, либо мог коснуться в будущем. Во главе одной группы становился сам мистер Флориан, во главе другой — я. Такие споры проходили живо, весело, приносили много пользы. Эти девчонки и мальчишки не поступили в специальную школу или даже в обычную районную школу, где уровень якобы выше, и кто-то, наверно, считал их отсталыми, не умеющими самостоятельно мыслить. Но в этих спорах они показывали отличную способность к анализу, и, несмотря на пробелы в знании грамматики и синтаксиса родного языка, доведись им схлестнуться с детьми из продвинутых школ, еще неизвестно, кто кого заткнул бы за пояс. Тут-то и чувствовалось, что убеждения нашего директора верны, взгляды на воспитание обоснованны. Мои ученики не носили школьной формы, но у них вырабатывался характер, уверенность в себе и умение отстаивать свою точку зрения. Они не умели спрягать латинские или греческие глаголы, но были готовы или почти готовы к встрече с суровой реальностью, до которой оставалось несколько коротких месяцев.

Глава 15

Как-то в октябре меня с утра вызвал к себе директор. Еще с порога я увидел, что он чем-то расстроен и огорчен. Оказалось, вчера вечером моего ученика Патрика Фернмана арестовали: в потасовке он нанес другому мальчику ножевую рану. Раненым оказался зади-

ристый новичок из класса мисс Филлипс, его отвезли в больницу в тяжелом состоянии, и операцию пришлось делать немедленно.

Фернмана взяли под стражу до понедельника, до заседания суда по делам несовершеннолетних. Был только вторник. Директор предложил мне написать характеристику и отразить в ней посещаемость занятий, поведение, способности и интересы мальчика.

— Это серьезно, сэр?

— Да, Брейтуэйт, гораздо серьезнее, чем вы думаете. Рана мальчика очень опасна, к тому же оба — учащиеся нашей школы, а в магистрате о ней не слишком высокого мнения. Наше отношение к наказанию там критикуют при любом удобном случае и даже позволяют себе заявлять, что наша школа является благодатной почвой для роста преступности. И любое появление перед ними нашего ученика будет для них лишним козырем.

— А кто-нибудь из них бывал у нас в школе?

— О да, один их работник даже закреплен за нами. Не поймите меня превратно — я вовсе не хочу сказать, что взгляды магистрата на дела в нашей школе приведут к предвзятости при выявлении истины. Но было бы значительно легче, если б в официальных кругах к нашим усилиям относились с бóльшим пониманием. Наши дети легко могут превратиться в преступников, потому мы и отдаем им всю душу. Жаль, что в магистрате этого не понимают.

— Я что-нибудь еще должен сделать?

— Нет, по крайней мере не сейчас.

— Может быть, сходить к родителям мальчика?

Он подумал немного и сказал:

— Что ж, хуже от этого не будет. Я напишу им несколько слов, а вы, когда пойдете, передадите мое письмо.

Из кабинета директора я пошел в класс. Ребята спокойно работали, но я сразу почувствовал: о случае с Фернманом им все известно. Никто, однако, не называл его имени и вообще не подавал виду, что его нет в классе. При малейшем намеке на опасность они, как и их старшие братья и отцы, тесно смыкали ряды, и в такие минуты даже я был для них посторонним.

Я подготовил характеристику на мальчика, оценив его самым положительным образом. Мне не пришлось кривить душой, потому что Патрик Фернман, насколько я его знал, действительно был способным, отзывчивым и умным пареньком. Раненый же, Бобби Эллис, тринадцатилетний забияка, считал, что ему все нипочем, задирал учеников младших классов, надоедал девочкам и смущал их своими приставаниями, а однажды даже сцепился с Поттером и получил по заслугам. У меня и в мыслях не было оправдывать или извинять поступок Фернмана, но я нисколько не сомневался: на такую крайность его толкнул особенно жестокий выпад зловредного драчуна.

Во время обеда я рассказал Джиллиан о случившемся, и она предложила пойти к Фернманам вместе со мной. Они жили в прибранной квартирке в доме без лифта на Джубили-стрит. Дверь открыла мать Фернмана — на лице виднелись предательские следы долгих безутешных рыданий. Она провела нас в маленькую уютную гостиную, где мы представились, потом появились отец и бабушка Фернмана. На их лицах отпечаталось выражение глубокого горя. Мистер Фернман прочел письмо директора и попросил от всей семьи поблагодарить его за участие. Затем, под тихие всхлипывания двух женщин, рассказал, как все произошло.

Нож этот был одной из ценных реликвий бабушки Фернмана. Им она срезала узелки, когда пряла пряжу. Нож всегда был заточен как бритва, и в обязанности Патрика входило носить его к парикмахеру в Шедуэлл для заточки. Видимо, он опрометчиво показал нож в замшевом футлярчике Бобби Эллису, но в руки не дал. Вспыхнула ссора, и маленький драчун решил отобрать нож силой. Ростом он Патрику

не уступал, а в плечах был пошире и сразу пустил в ход весь арсенал хулиганских приемов. В борьбе футляр открылся, и Патрик каким-то образом схватил нож и нанес им удар, заодно глубоко порезав руку себе.

Ошалев от испуга при виде крови, слыша пронзительные крики раненого, Патрик в ужасе бросился домой — помимо потрясения сильно болела рука. Мальчика быстро отвели в аптеку, где рану перевязали, после чего мистер Фернман сказал: нужно идти в полицию. Пострадавшего мальчика, Эллиса, тем временем отвезли в больницу.

Происшедшее потрясло маленькое семейство до основания. Я заверил их, что все мы в «Гринслейде» глубоко взволнованы и сожалеем о случившемся, но сделаем для Патрика все, что сможем, потому что он зарекомендовал себя как общительный, честный и хорошо относящийся к своим обязанностям ученик. Я сказал, что подготовил на него положительную характеристику, и это было для них хоть каким-то утешением. В разговор вступила Джиллиан, причем так, что я только порадовался — хорошо, что она пошла со мной. Она заговорила с несчастной матерью Патрика на идиш, чего я никак от нее не ожидал, и скоро стало ясно, что она покорила сердца этих простых людей своим очарованием, теплотой. Никакой игры или фальши — она сочувствовала им искренне, они это видели и были ей очень благодарны.

На следующее утро я попросил директора разрешить мне пойти на слушание дела в понедельник. Мне хотелось самому увидеть, как Закон обходится с молодыми правонарушителями, как они ведут себя, когда приходится столкнуться с его величеством Законом.

В здание суда по делам несовершеннолетних я вошел в понедельник утром, чуть позже десяти. В большой комнате ожидания толпились родители и дети в возрасте от шести до шестнадцати, чьи проступки, как я выяснил позже, отличались большим разнообразием — от непосещения школы до взлома магазина и обвинений в половой распущенности. Я объяснил полицейскому, зачем пришел, и тот пошел справиться, могу ли я присутствовать при слушании дела.

В углу комнаты ожидания стоял Патрик Фернман с родителями и бабушкой. Вид у них был отрешенный и несчастный. Зато многие ровесники Фернмана выглядели так, будто им на все плевать, а беззаботность детей младше их говорила о том, что они пребывают в счастливом неведении относительно серьезности своего положения. Я не стал подходить к Фернманам. Эти простые лондонцы — люди гордые и предпочитают, чтобы их не трогали, когда им больно и стыдно.

В зале заседаний меня поразило отсутствие какой-либо напыщенности и атрибутов, с которыми обычно отождествляется машина закона. Это была небольшая квадратная комната, посреди нее стояли три покрытых грубой шерстяной тканью стола, три стороны квадрата. С четвертой стороны в несколько рядов — стулья для родителей и опекунов детей, преступивших закон.

За центральным столом сидели судьи, мужчина и две женщины, за боковыми — судебный секретарь и судебный исполнитель. Поблизости разместились представители различных отделов Комитета по детским проблемам, они торопливо готовили и складывали стопки документов по делам, которые должны слушаться сегодня. У двери стояло несколько полицейских — мужчин и женщин.

Первым слушалось дело четырнадцатилетней розовощекой девочки со сформировавшейся фигурой, держалась она с подчеркнутым безразличием. Вперед вышла молодая женщина-полицейский и начала читать обвинение. Голос ее звучал неестественно и монотонно — будто задача ее не передать смысл, а произнести каждое слово ясно и отчетливо.

Дело слушалось вторично. После первого слушания девочку оставили под стражей — требовалось собрать по делу дополнительный

материал. Из обвинения следовало, что девочка имела «связь с лицами другого пола» и нуждалась в надзоре и попечительстве.

Оказалось, девочка состояла в интимных отношениях сразу с несколькими парнями из одного и того же дома в Степни, в результате она забеременела, не имея понятия, кто отец будущего ребенка.

Плотно сжав губы, девочка слушала подробный рассказ о своих мытарствах. Она выглядела моложе строгой и подтянутой девушки-полицейского, читавшей обвинение, но было ясно, что в жизни она повидала куда больше — четырнадцатилетняя женщина, ждущая ребенка, единственная вина которой заключалась в том, что жила она в условиях нищеты, перенаселенности и невежества. Теперь от нее отказывалась родная тетя, которая сидела выпрямившись, воплощая собой разгневанную добродетель, непоколебимая в своей решимости отречься от сбившейся с пути племянницы. Казалось, девочку мало печалило происходящее, видимо, ей было не под силу осмыслить весь трагизм ее положения, да и обвинение облекли в такую форму, использовались такие недоступные для детского ума термины, что осознать его девочка просто не могла. Судебную процедуру постарались по возможности упростить, но терминология была туманной и неопределенной. «Связь с лицами другого пола» — до чего нелепые слова. То, что произошло, ведь очень просто, неужели и объяснить это нельзя как-то проще?

Вел заседание крупный мужчина с грозным выражением лица, и он слушал печальную историю, шевеля косматыми седыми бровями. Посовещавшись шепотом с коллегами, он обратился к девочке неожиданно нежным голосом:

— Дитя мое, тебе понятно все, о чем здесь говорилось?

— Да.

— Ты не хочешь ничего сказать?

— Нет.

— Понимаешь ли ты, что своим поведением ты сильно огорчила тетю?

Девочка в ответ лишь пожала плечами. Душевное состояние тети ее не интересовало.

Судья попросил зачитать школьную характеристику, из которой следовало, что девочка была умной, трудолюбивой, общительной и прилежной школьницей, она всегда получала высокие оценки и никогда не пропускала занятий. Увы! Я представил на ее месте девочек из моего класса — ведь характеристика большинства из них была бы столь же гладкой и безупречной! Но много ли я знал о них, об их жизни за пределами школы, о том, какие струны будит в их душах процесс физического созревания — предмет их интереса и гордости? В районе хватало и проституток, и сутенеров, и других «специалистов» этого подпольного бизнеса. Что я как учитель мог противопоставить подобному влиянию? Некоторых, кому не повезло, вылавливали и публично обличали, как эту девочку. А остальные? Кто скажет, чем переполнены души подростков на пороге зрелости? Где граница между детством и зрелостью, если сегодня ты еще школьница, а завтра служащая в какой-нибудь фирме и твой заработок так необходим не в меру большой семье? И если они созрели для того, чтобы зарабатывать деньги, значит, созрели и для других вещей, которые делают взрослые? А если к тому же им платят за это больше, чем на работе, и деньги добываются быстрее и не таким изнурительным трудом?

История и география, арифметика и религиозное воспитание — разве этого достаточно? Я говорил с моими учениками о жизни, но, помня об их молодости и неопытности, хотя и старался быть объективным, важные аспекты развития полов как-то вуалировал, питая нелепую надежду на то, что мои слова не причинят им боли, но и не будут неправильно поняты или истолкованы. Может, довольствуясь

их хорошим поведением и хорошим отношением ко мне, я просто подводил их?

— Итак, дитя мое, тетя не хочет брать тебя к себе, поэтому ты будешь жить в специальном доме, там с тобой будут обращаться хорошо и сделают все необходимое, чтобы у тебя родился ребенок.

В голосе судьи звучала неподдельная забота. Долгие годы работы в суде научили его — за показным безразличием и вызовом у подростков, чьим единственным преступлением было невежество, стояли страх, отчаяние, беспомощность. Девочку увели из зала суда.

После разбора еще нескольких дел назвали имя Фернмана. Мальчик вошел с низко опущенной головой, чуть впереди своих родителей, рука его была на перевязи. Он выглядел совершенно подавленным. Несчастные родственники сели группкой на жесткие стулья, а мальчик остановился перед судьями. Полицейский зачитал предварительное заключение, четко выделяя каждое слово, будто читал на иностранном языке, затем перечислил пункты обвинения против мальчика:

1. Обладание холодным оружием, а именно — восьмидюймовым ножом.

2. Предумышленное нанесение телесного повреждения.

3. Нанесение тяжелого телесного повреждения.

Нож предъявили судьям, и с моего места мне показалось, что это вполне безобидный и привлекательный предмет. Когда полицейский приступил к описанию повреждений, полученных пострадавшим, а также ранения, которое Фернман нанес сам себе, мальчик побледнел как полотно. Изредка секретарь суда перебивал полицейского, требуя более подробной информации.

Протокол обвинения и школьная характеристика Фернмана были переданы судьям.

— Мальчик впервые попал в подобную историю? — задал вопрос судья.

Поднялся сотрудник по надзору за малолетними правонарушителями.

— Да, сэр. Другой мальчик, жертва нападения, проходил по суду месяц назад, вы должны его помнить. Он обжег свою мать горячей кочергой. Он будет под надзором в течение года.

— Сколько он пролежит в больнице?

— Доктор говорит — месяца полтора, сэр.

— Спасибо.

Судья повернулся к Фернману, бывшему на грани обморока.

— Против тебя выдвигается очень серьезное обвинение. Если бы не счастливое стечение обстоятельств, оно было бы еще серьезнее. Из материалов следует, что, будь удар чуть сильнее, тебя обвиняли бы сегодня в убийстве.

Бедный мальчик весь затрясся, он никак не мог облизнуть пересохшие губы. Бдительный полицейский шагнул к нему, затем обратился к судье:

— Может быть, сэр, вы разрешите ему сесть? По-моему, он едва держится.

— Да, дайте ему стул.

Голос судьи был холоден. Он быстро посовещался с коллегами-женщинами, осторожно взял нож за декоративную ручку. Лезвие было надежно скрыто в полированном дереве.

— В нашей стране применение такого оружия подвергается крайнему осуждению и порицанию. Я был бы рад узнать, что правительство вообще запретило продажу таких предметов. В лучшем случае это оружие вредно, в руках же неопытного и глупого ребенка опасность его возрастает невероятно.

Он сделал паузу, давая возможность слушающим ощутить глубину и весомость его слов.

— Мать или отец, которые позволяют ребенку играть с заряженным пистолетом, несут в нашем обществе заслуженное и серьезное наказание. Мы считаем, что во многих отношениях такой предмет,— он нажал на кнопку в рукоятке, и из нее с мягким щелчком вылетело тонкое зловещее лезвие восьми дюймов длиной,— такой предмет в руках мальчика представляет не меньшую опасность. Будь это оружие применено с большей силой, никакими слезами не удалось бы вернуть человеческую жизнь.

Голос звучал размеренно и значительно, он то повышался, то понижался, и вся неофициальность исчезла из маленького зала заседаний. Это была судебная машина в действии, величественная, строгая и неприступная, как и ее представитель,— казалось, чем дальше он говорил, тем значительнее и суровее становился.

— Суд ознакомился с письменными и устными показаниями мальчика и его родителей, и нам совершенно ясно, что мальчик не вооружил себя сам, а был лишь послан отнести нож точильщику. Казалось бы, обычное поручение, но оно повлекло за собой серьезные последствия. Перед лицом нападения, особенно если оно исходит от человека, более сильного физически или который внушает непреодолимый страх, многие, ища выход из положения, склоняются к применению оружия. Этот страх порой заставляет их применить оружие с большей силой и нанести ущерб куда больше предполагаемого. Хочу предупредить тебя, Патрик Фернман, и предостеречь от применения какого бы то ни было оружия в будущем. Ты должен сделать серьезные выводы из этого случая, ты и твои легкомысленные родители.

Затем судья заговорил о школе, в которой учился Фернман. Он не назвал ее, но всем, кто знал район, было ясно — речь идет о «Гринслейде». Когда он говорил, каким злом может обернуться «свободная дисциплина» вообще и практика, применяемая в одной из близлежащих школ в частности, в голосе его звучали жесткость и сарказм. Такие школы, утверждал он,— рассадники преступности, уж слишком часто ученики и ученицы этих школ появляются перед судом, обвиняемые в самых разных нарушениях.

Он заявил, что чудаки и фантазеры, проповедующие систему воспитания, никак себя не оправдавшую за многие годы, приносят подросткам района больше вреда, чем пользы. Подростки чувствуют, что могут совершать неблаговидные поступки, заодно теряя всякое уважение к общепризнанным общественным институтам.

— Люди, в чьих руках находятся судьбы и воспитание подростков, должны знать — им не уйти от ответственности за результаты, к которым приводят их непродуманные замыслы. Иногда мне кажется, что правосудие отправлялось бы справедливее, спроси мы с этих людей за правонарушения, к которым они причастны, можно сказать, самым непосредственным образом.

Он снова повернулся к мальчику, который сидел молча, ошарашенный столь гневной тирадой. На сей раз, однако, в голосе судьи звучали доброта и родительские нотки. Несомненно, сказал он Фернману, его страдания и страдания, которые он причинил родителям, уже достаточно строгое наказание. Но для его же блага мальчик будет находиться под надзором, и ему надо еженедельно в течение года приходить к сотруднику по надзору за несовершеннолетними. После этого он отпустил мальчика, тот присоединился к родным, и маленькая группка вновь в полном составе покинула зал, пытаясь улыбаться сквозь слезы облегчения.

Немного выждав, чтобы не смущать их встречей со мной, я вышел из здания суда. Я ни на йоту не был согласен с жестокими обвинениями судьи, но во мне всколыхнулось чувство ответственности за жизни подростков, по шесть часов в день находившихся под моей опекой.

Глава 16

Примерно неделю после суда Фернман держался замкнуто, все время молчал. Из-за больной руки он не мог писать и большую часть урока либо читал учебник, либо с интересом слушал обсуждение, но сам в нем не участвовал. Постепенно его нежная, отзывчивая душа успокоилась, и он опять стал полноправным членом класса.

В этот месяц мы, с разрешения директора, провели еще несколько походов. Выбрались на «Коппелию» в «Олд Вик», посмотрели «Гамлета» с Лоуренсом Оливье в главной роли. Для разнообразия сходили и на «Уэмбли», где выступали знаменитые американские баскетболисты «Гарлем Глобтроттерс».

Все эти выходы мы организовали на собственные деньги. За несколько дней до поездки мы прикидывали стоимость билетов, транспорта и сколько должен внести каждый. Назначался ответственный за сбор денег. Не было случая, чтобы кто-то отказался от поездки, и мы с директором решили: надо, чтобы суммы сборов были доступными для всех. Обычно мы нанимали автобус, так удобнее — все ехали вместе, все на глазах.

Поскольку поездки готовились заранее, а билеты были со скидкой, многие учителя с удовольствием ехали с нами. Вскоре и они заметили, как сильно изменились мои мальчишки и девчонки. Сначала мы в классе подробно обсуждали балет или спектакль, на который шли: когда происходит действие, какие детали быта или истории могут вызвать интерес. На обратном пути мы давали волю критике, причем их взгляды на какие-то устоявшиеся и знакомые явления часто были свежи и необычны. Им удавалось понять и оценить разные формы искусства — часть национального наследия, принадлежавшего в равной степени им и всему миру. Как мне хотелось, чтобы в эти минуты в автобусе, только обязательно невидимый, оказался кто-нибудь из ярых хулителей нашей школы и исповедуемых в ней принципов!

Поездка на «Уэмбли» тоже была по-своему интересной. «Глобтроттерс» оказались командой классных, отлично подготовленных профессионалов, сочетавших поразительную ловкость с артистизмом и умением работать на публику. Мячом они владели так, что дух захватывало, это были настоящие кудесники, и зрители, разинув рты, следили за быстротой и точностью их движений, ревели от восторга, когда непритязательной клоунадой они выставляли на посмешище своих незадачливых соперников.

Мои ребята смеялись до хрипоты, да и на обратном пути тряслись от смеха, вспоминая тот или иной забавный эпизод. На другой день меня забросали вопросами о команде и спортсменах. Ребята с удивлением узнали, что некоторые из этих мастеров учились в университетах и колледжах: стереотип американского негра, сложившийся у них в основном под влиянием фильмов, высокий интеллектуальный уровень никак не подразумевал. По ходу разговора я почувствовал, что они начинают смотреть на мир несколько иначе, переоценивать ценности.

Как-то утром вскоре после начала урока в класс вошел директор.

— У меня в кабинете сидит женщина, она пришла поговорить с вами,— шепнул он, повернувшись к классу спиной, чтобы его не услышали.— Знаете, обычно я не позволяю родителям встречаться с учителями, но она объяснила мне причину, и, думаю, поговорив с ней, вы окажете ей большую услугу. Идите, я побуду с классом.

В директорском кабинете я увидел высокую, со вкусом одетую женщину, она стояла у окна и смотрела в церковный дворик. Она обернулась, и я тут же понял, кто это. Яркие, с рыжеватым отливом волосы, свежий цвет лица, горделивая осанка — передо мной стояла миссис Дэр, мать Памелы.

Мы поздоровались и сели друг против друга.

— Меня зовут Брейтуэйт. Директор сказал, что вы хотели меня видеть.

— Да, учитель, я пришла поговорить о дочери, Памеле. Я — миссис Дэр.

Я вдруг заволновался. Что, черт возьми, привело ее сюда?

— Я ужасно за нее беспокоюсь, учитель, и мне пришло в голову, что, если с ней поговорите вы, это поможет. Она очень прислушивается к вашим словам, учитель, вы для нее авторитет.

Это были приятные слова, и от сердца у меня отлегло.

— О чем поговорить, миссис Дэр? Что случилось?

Ее красивое лицо было бледным и встревоженным.

— Она стала поздно приходить домой, учитель, иногда даже после одиннадцати. Где была, что делала — ни слова, и я ужасно беспокоюсь. Она ведь уже не ребенок, учитель, мало ли что может случиться... Понимаете, я просто не знаю, что делать.— Губы ее дрожали, она пыталась справиться с волнением. Сильные пальцы тискали шелковые сетчатые перчатки.

— Но чем могу помочь я, миссис Дэр? Я только ее учитель, не более. Может быть, мистер Флориан...

— Нет, учитель,— перебила она,— если вы велите ей приходить домой пораньше, она вас послушает. Я знаю, как она дорожит вашим мнением. Когда к ней приходят подруги, я слышу, как они говорят о вас: «Учитель сказал то-то, учитель сделал то-то». И Памела всегда на вашей стороне.

— А отец не может помочь?

— Джим умер еще в 1943 году, Пам было всего восемь лет. Он летал, был стрелком-пулеметчиком, их самолет сбили над Германией. Вы ведь тоже летали, учитель?

— Летал, миссис Дэр.

— Пам говорила. Она очень тоскует по отцу, может, поэтому и питает к вам особые чувства. Пожалуйста, учитель, поговорите с ней.

В глазах ее стояли слезы. Я быстро поднялся и успокоил ее, сказав, что сделаю все возможное. Мы попрощались.

В классе ко мне сразу подошел мистер Флориан.

— Она ушла?

— Да, я проводил ее до выхода.

— Вы выполните ее просьбу?

— Похоже, у меня нет выбора.

— Думаю, нужно это сделать не столько ради матери, сколько ради дочери. Поговорите с ней, хотите — прямо здесь, хотите — у меня в кабинете. Лучше всего после уроков.— С этими словами он вышел из класса.

Когда пришло время обеда, я отозвал Памелу в сторонку и сказал, что хочу поговорить с ней сегодня после уроков. Моя просьба ее ничуть не удивила.

— Приходила моя мама, да, учитель?

— Да, встретиться со мной.

— Ясно, учитель.

— Мисс Дэр, если вы не хотите, чтобы я вмешивался, только скажите.

— Нет-нет, учитель, я не против.

— Что ж, тогда поговорим после занятий.

В учительской за чаем с бутербродами я рассказал Джиллиан об утренних событиях. Она немного помолчала.

— Ты действительно вкладываешь в них всю душу, Рик?

— По-моему, все мы так или иначе вкладываем в них душу.

— Но как ты — никто.

— А ты сама?

— Меньше других. Для меня это просто временная работа. К

педагогической работе нужно иметь призвание, как говорит миссис Дру, а у меня его нет.

— Но у меня тоже. Я стал учителем по чистой случайности. Как-нибудь в дождливый день напомни — я расскажу тебе эту грустную историю.

— Нет, в дождливый день давай обойдемся без грустных историй. Но я права — они для тебя значат много.

— Да, как и для Старика, Клинти, Грейс, миссис Дру и всех остальных.

— Ну, не для всех. Джози Доуз и ее подружка интересуются только друг другом.

— Да, это странная парочка.

— Это еще мягко сказано. Для такой «странности» есть более точное определение.

Я с удивлением посмотрел на нее. Такое толкование их отношений мне в голову не приходило.

— Господи, ты в самом деле так думаешь?

— А что остается думать? Все время шепчутся, тайком держатся за руки... В этом есть что-то противоестественное, а уж детям смотреть на это вовсе незачем.

— Но обе — хорошие учительницы, согласна?

— Что ж, спасибо им хоть за это, тем более вреда они никому не причиняют.

— Вижу, ты тоже вкладываешь в детей душу, хоть и не хочешь в этом признаться. Сейчас ты выдала себя.

— Вот тебе на! — Она улыбалась.— Вижу, убеждать тебя бесполезно, оставайся при своем мнении. А сам, кстати, будь осмотрительнее, особенно с твоей Памелой Дэр. Это не просто глупая школьная любовь. Я присматривалась к Памеле и точно знаю. Она не ребенок, а женщина, чем скорее ты это поймешь, тем лучше. Будешь относиться к ней как к ребенку, сделаешь большую ошибку.

— Ладно, учту.

Обед кончился, и в учительскую вошла группа учителей. Уэстон сразу обратился ко мне с вопросом:

— Сегодня утром здесь была мать Памелы Дэр. Что случилось, Брейтуэйт?

— Почему что-то должно случиться?

— Эти люди просто так не приходят. Раз пришли — значит, хотят пожаловаться или поплакаться о чем-нибудь.

— Зачем она приходила, Рик? — заинтересовалась Клинти.

— Не знаю, наверно, встретиться со Стариком.— Выкладывать правду не хотелось.

— А хороша штучка, верно? — шаловливо воскликнула Клинти.

— Спросите Уэстона,— ответил я.— Он говорит, что видел ее.

Уэстон был рад оказаться в центре внимания. Он сказал:

— Что ж, думаю, некоторым мужчинам она покажется привлекательной.

— Ударение, как всегда, на слове «мужчины», Уэстон?

Клинти не упускала случая поддеть его, но мне не было жаль этого несуразного, заросшего до глаз человека.

Когда уроки кончились, Памела вышла из класса вместе со всеми, но через несколько минут вернулась. Она поставила стул у моего стола, села и принялась смотреть в открытое окно.

— Знаете, мисс Дэр, мама очень о вас беспокоится.

— Пожалуйста, учитель, называйте меня Памелой,— тихо попросила она.

— Хорошо, Памела. Ваша мама говорит, что вы стали поздно приходить домой.

— Я бываю у бабушки, учитель.

— И засиживаетесь допоздна?

— Она живет близко, за углом.

— Почему же вы скрываете от мамы, где бываете?

— Да ей, учитель, до меня больше дела нет. У нее друзья, вот они ее интересуют.

— Это неправда, Памела, вы сами знаете. Стала бы она приходить сюда ко мне! — Памела промолчала.— Что-нибудь случилось, Памела? У вас что-то не ладится в школе?

Она покачала головой, потом сказала:

— С учебой у меня все в порядке, учитель, но... просто многие наши то и дело сплетничают обо мне. И я каждый раз это вижу... Почти все, даже Барбара.

— Но почему, Памела? Разве что-то случилось? С вами что-то произошло?

Она снова покачала головой, взгляд ее был устремлен за окно. Я чувствовал себя неловко — вдруг спрошу что-то, от чего она смутится? Она, правда, охотно согласилась на разговор, но вторгаться в ее личную жизнь я не хотел — передо мной сидела молодая девушка, и у меня не было для нее нужных слов.

— Мисс Дэр, то есть Памела, если вы не хотите, чтобы я вмешивался, я не буду.

— Нет-нет, учитель, дело не в этом.

И она начала медленно рассказывать свою грустную историю.

Когда умер отец, Памела с матерью остались вдвоем и были друг для друга радостью и утешением. Они всюду ходили вместе, и, когда Памела подросла, их принимали не за мать и дочь, а за сестер. Миссис Дэр работала продавщицей в магазине в центре Лондона, Памела помогала дома по хозяйству. Эта идиллия продолжалась довольно долго, но вдруг к интересной вдовушке стали заглядывать друзья-мужчины. Соседи начали сплетничать.

В дни каникул обстановка накалилась до предела. Вдруг произошло что-то, ужасно огорчившее Памелу, но рассказывать об этом она не хотела.

— А вы пытались поговорить с матерью, объяснить ей, как вы к этому относитесь?

— Сначала пыталась, учитель, но она меня не слушала, а теперь мне все равно.

— А разве ваша бабушка не понимает, что, когда вы приходите домой поздно, мама волнуется?

— Иногда мама сама приходит очень поздно, и бабушка считает, что нечего мне там сидеть одной.

— Ну, Памела, просто не знаю, чем вам помочь.

— Может, вы придете к нам и поговорите с мамой, учитель?

— Это что-то даст?

— Думаю, даст, учитель.

— Что ж, ладно. Когда она будет дома?

— В четверть седьмого, учитель.

— Отлично. Вы скажете ей, что я приду?

— Скажу.

Впервые за время разговора она улыбнулась, потом поставила стул на место и вышла.

Я пошел в учительскую забрать пальто. Там меня ждала Джиллиан.

— Ну как?

— Вечером встречаюсь с ее матерью.

— Зачем?

— Памела считает, если мы поговорим вместе, все может наладиться.

— И где встреча?

— У них дома.

— Разумно ли это?

— Не знаю, Джиллиан, хочу верить, что да, очень хочу верить.

Несколько секунд она молчала, потом сказала:

— Ты собираешься работать в «Гринслейде» долго, Рик?

— Наверно. Во всяком случае, об уходе пока не думал. Почему ты спрашиваешь?

— Тебя с удовольствием возьмут в школу получше этой. Все знают, что ты очень хороший учитель. Будет обидно, если ты так и останешься здесь.

— Я только начал преподавать, сама знаешь, всего несколько месяцев. По-моему, рано решать, хороший я учитель или плохой.

— Ну, это излишняя скромность.

— Нет, я серьезно. Может, мне действительно удалось найти общий язык с этими детьми, но с другими все может пойти иначе. Думаю, мне какое-то время надо поработать здесь, побольше узнать о профессии учителя, оценить свои возможности, а уж потом думать, стоит ли уходить...— Я взглянул на часы.— Смотри, как много времени, пожалуй, мне пора.

— Будь осторожен, Рик.

— Постараюсь. Пока.

— Пока, Рик.

Как и большинство женщин этого района, миссис Дэр и Памела содержали свое жилище в безупречной чистоте. Дверь открыла Памела. Я поздоровался с матерью и сразу ощутил напряженную атмосферу, в которой они жили последнее время. Мы уселись в кресла, и я начал:

— Миссис Дэр, Памела пригласила меня к вам домой, сказала, что такой разговор, может быть, принесет пользу. От нее я узнал немного, но если вы считаете, что это не мое дело, я не настаиваю.

Теперь, когда я был здесь, мне хотелось как можно скорее покончить с этим щекотливым делом. Я ведь вторгался в жизнь этих людей без всякого права. Да, я учитель дочери, но это — сомнительное оправдание.

— Что вы, мистер Брейтуэйт.— Мать повернулась к дочери и сказала: — Пам, иди приготовь, пожалуйста, чай. Я хочу поговорить с учителем наедине.

Боже мой, уже и матери моих учеников называют меня учителем! Памела послушно вышла, и миссис Дэр начала:

— Наверно, во всем виновата я сама. Я предала Памелу.

— Каким же образом, миссис Дэр? — Если мне суждено узнать об этом, то чем скорее, тем лучше.

— Я расскажу вам, как все было. В каникулы Памела захотела съездить на пару недель в Чокуэлл, навестить родственников отца. Я согласилась, и мы сначала поехали в Скарборо — я смогла вырваться на неделю,— а потом отвезла ее в Чокуэлл и вернулась сюда. Решила пожить какое-то время для себя, вы, конечно, понимаете: у меня есть друзья, время от времени они меня куда-нибудь приглашают. Ну вот, Пам прожила там неделю, написала мне два письма, все ей нравилось, и я решила, что ей отдыхается хорошо. В среду я встретилась со своим другом и пригласила его на чашку чая. А потом... ну, знаете, как бывает... короче, он остался у меня на ночь.

Она не переставая крутила в руках носовой платок, на глаза навернулись слезы, но она даже не пыталась их остановить.

— Пам вернулась, когда мы спали. У нее свой ключ. Наверно, просто заскучала по дому — с чего бы она так вдруг приехала? Она вошла тихонечко, хотела сделать мне сюрприз... вот и сделала, застала нас.

Она помолчала, судорожно глотнула, потом продолжала:

— Что-то заставило меня открыть глаза, сама не знаю что, может, свет в прихожей. Я никогда не забуду ее лица, учитель, никогда. Она посмотрела на меня, выбежала и заперлась в своей комнате. Я

разбудила своего друга, велела ему одеться и уйти. Потом пошла к ней, но она меня не впустила.

Голос ее упал до шепота, и мне пришлось наклониться вперед, чтобы дослушать до конца.

— Утром я пробовала ей все объяснить, но она просто сидела и плакала, плакала и молчала. Между нами словно выросла стена.— Лицо ее было мокро от слез.

— А где она может бывать так поздно, вы примерно знаете?

— Она часто ходит к бабушке, моей матери, это недалеко, на Гровер-стрит, но мать не позволила бы ей засиживаться допоздна.

— А вы с матерью говорили?

— Нет. У нас с ней немного испортились отношения. Ей насчет меня наплели всякого. Есть тут такие — больше всего на свете любят чужие косточки перемывать.

— Памела думает, что она вам больше не нужна.

— Что вы, учитель, как она могла подумать такое? Я же ночей из-за нее не сплю! Ведь она уже не ребенок, понимаете, а выглядит и того старше, на восемнадцать или девятнадцать лет. Не дай бог, что может случиться! А вдруг она, когда меня застала, пошла и сделала какую-нибудь глупость?

Господи, ну что я могу на все это ответить? Чем дальше я слушал миссис Дэр, тем больше терялся. Что мог я знать о жизни этих двух людей, если судьба свела меня с ними, забросила в этот квартал лишь несколько месяцев назад? Как поступить? Мать Памелы старше меня, я просто не вправе навязываться с советами не только ей, но и дочери — уж слишком деликатный вопрос, да и не хватает у меня жизненного опыта. Мать верно сказала: Памела уже не ребенок, а девушка, притом вполне самостоятельная — как она отделала Денэма, как расправилась с дамочками в метро! Зачем же здесь нужен я? Взглянув на опечаленное лицо матери, я выдавил из себя:

— Едва ли Памела станет делать глупости.

— Вы же знаете, что у нас за район, мистер Брейтуэйт, а она где-то ходит допоздна. Да может случиться что угодно! Я потому к вам и пришла, что, попроси вы, она будет вечерами сидеть дома.

Джиллиан была права: зачем я сюда пришел? Надо же быть таким недальновидным! Я переоценил роль, которую играл в жизни своих учеников, и вот... В голову полезли отрезвляющие мысли. Что скажут или подумают мои ученики, узнав об этом визите? Расскажет ли им сама Памела, и если да, то как объяснит мой приход? Любая болтовня об учителе и его ученице, даже самая беспочвенная, ничего хорошего не сулит, а в устах такого типа, как Уэстон... Чем скорее уйду отсюда, тем лучше.

— Может быть, позовем Памелу? — предложил я. Я не знал, что скажу Памеле, но ясно одно: надо что-то быстро сказать и уйти. Постараюсь впредь не делать таких ошибок. Памела вошла, села рядом с матерью, и я решительно начал:

— Памела, мама обо всем мне рассказала, и мне кажется, я понимаю твои чувства, твои и мамины. Все же ты, по-моему, неправа, что приходишь домой поздно и заставляешь маму волноваться. Чем ты занимаешься после школы — это, в общем-то, не мое дело, но раз вы попросили меня вмешаться, скажу вот что — твое поведение в классе достойно всяческой похвалы, и хотелось бы, чтобы и за пределами школы ты вела себя не хуже.

Я специально выбрал строгий, менторский тон. Едва ли ей потом захочется рассказывать об этом.

— Давай все расставим по местам. Ты, конечно, должна быть вежливой с учителями в школе, но твой первостепенный долг — относиться почтительно и с уважением к своей матери, и мне было бы неприятно сознавать, что этот дочерний долг ты не выполняешь. У каждой семьи и так масса трудностей, надо ли усложнять и без того

сложную жизнь? Помни, Памела, я полагаюсь на тебя, мы оба полагаемся на твое благоразумие. Нет нужды говорить, сколько опасностей подстерегает тебя на этих улицах в вечернее время.

Я поднялся. Кажется, моя миссия была выполнена.

— Ну, миссис Дэр, мне пора,— сказал я. Потом повернулся к Памеле: — Надеюсь, если будешь задерживаться, ты предупредишь об этом маму?

— Да, учитель,— тихо ответила она.

Мы попрощались, и я вышел. Что ж, теперь дело за ними. Миссис Дэр, наверно, впредь будет осторожнее, а Памела... скоро мир взрослых откроется ей в полной мере, станет понятнее. А мне в ближайший месяц надо держать ухо востро, так, на всякий случай. Я шел к автобусу и внимательно смотрел по сторонам — лучше не попадаться на глаза тем, кто меня знает. И лишь благополучно добравшись до станции метро на Ливерпуль-стрит, я вздохнул с облегчением.

Глава 17

На 15 ноября была назначена общешкольная конференция — одно из важнейших событий в жизни школы «Гринслейд». Такие конференции проводились два раза в год. Мне о них много рассказывали, и я ждал этого дня с нетерпением, как и ребята. 15 ноября они были полными хозяевами в школе, все мероприятия готовили сами, сами их проводили и следили за порядком. Я наблюдал, как готовился к этому дню мой класс. Ими можно было гордиться — они по-деловому распределили выступления, четко расписали программу. В коридорах и на лестницах проводились тайные совещания с ребятами из других классов — никто не хотел ударить в грязь лицом.

Обычного сбора в этот день не было. Ученики пришли в школу нарядные, чистые, аккуратные. Мисс Джозеф и Денэм были, видимо, выбраны распорядителями и с озабоченным видом ходили от одного школьника к другому, проверяя, все ли готовы сыграть отведенную им роль.

В десять утра прозвенел звонок, и вся школа хлынула в зал, где каждый класс расположился отдельной группой. Распорядители, мисс Джозеф и Денэм, заняли места на сцене по обе стороны от мистера Флориана. Когда все уселись и успокоились, он встал и обратился к аудитории.

Он подробно говорил о задачах, стоящих перед школой, о том, как каждый ученик может помочь выполнению этих задач. Он не скупился на заслуженные похвалы, но подчеркнул, что работы еще непочатый край — не все в порядке с дисциплиной, ученики не всегда приходят в школу чистыми и опрятными, есть пробелы в знаниях. Я слушал его и понимал: неправда, что он витает в облаках. Этой школе, каждому, кто сидел в зале, он отдавал всю душу. Пожелав конференции успеха, он под бурные аплодисменты спустился со сцены.

Дальше события разворачивались быстро. Мисс Джозеф вкратце объяснила, для чего созвана конференция и как она будет проходить. Каждый класс через своих представителей отчитается о том, что нового усвоено за полугодие, по каждому предмету будет отдельный выступающий. После докладов на сцену поднимутся несколько учителей и ответят на вопросы, возникшие во время докладов. Выбор учителей для этой цели, как и все остальное в день конференции, полностью зависел от учеников, и учителя не знали, кто из них попадет под обстрел.

Первыми выступали ученики младших классов. В основном это были двенадцатилетние пареньки, пришедшие в школу только летом. Почти все они стеснялись и даже боялись — как-никак перед всей школой они никогда не выступали,— но со своей задачей справились.

Впервые в жизни им пришлось самостоятельно работать с материалом, и, вполне понятно, их доклады оказались очень короткими.

Один класс сменял другой. Было заметно: чем старше ребята, тем лучше они выражают свои мысли. Многие их достижения казались довольно скромными, но для них самих каждое было открытием, ведь они докапывались до сути и улавливали связь между явлениями. Во всех докладах речь шла о том, что действительно было усвоено и понято.

Пришел черед моего класса, и меня охватило волнение. Денэм объявил, кто и по какому предмету будет делать доклады.

Поттер	Арифметика
Сапиано	Природоведение
Мисс Пегг и Джексон	География
Мисс Дэр и Фернман	Физиология
Мисс Доддс	История
Денэм	Физкультура и спортивные игры
Мисс Джозеф	Домоводство.

С какой сдержанной учтивостью обращался Денэм к старшеклассницам! Как прозвучало это «мисс»! Я был горд и тронут. Это само по себе будет отличным примером для младших, словно символ, извещающий о прощании с детством. Мои ученики, услышав свои имена, поднялись на сцену и сели там с подобающей серьезностью.

Краткое вступление сделала мисс Джозеф. Она сказала, что все их уроки как бы проходили под девизом «Все люди — братья» и каждый предмет помогал им понять, что люди на Земле не могут существовать друг без друга, независимо от географического положения, расы, цвета кожи и вероисповедания. Затем она дала слово Поттеру.

Поттер рассказал, что класс узнал о системе мер и весов, о связи между килограммом и фунтом, метром и футом. Он заметил, что во всем мире используется либо та, либо другая система, а известны, как правило, обе, и это тоже говорит о понимании между людьми в разных частях земного шара.

Сапиано выбрал темой доклада сельскохозяйственных вредителей, в частности черную гниль на пшенице, долгоносиков на хлопке и колорадских жуков на картофеле. Он сообщил, что в разных странах ведутся исследования, собрано много данных о поведении, размножении и миграции этих вредителей, и опасность для продуктов питания постепенно уменьшается.

Доклад по географии мисс Пегг и Джексон поделили пополам. Джексон рассказал, как распределяются на земле полезные ископаемые и растительный мир, что даже страна с большими природными богатствами в чем-то обязательно испытывает нехватку. Отсюда между разными странами неизбежно возникает взаимосвязь и взаимозависимость. Мисс Пегг говорила о народонаселении: недавно кончилась мировая война, и сейчас многие живут впроголодь, без нормальной одежды, крыши над головой. Не обошла она молчанием и тысячи беженцев, лишенных родины и обездоленных, а в заключение рассказала о планах и деятельности Детского фонда ООН.

Фернман, как всегда, припас козырную карту. Когда пришла его очередь, он сделал знак кому-то за сценой, и появились Уэлш с Элисоном. Они выволокли на всеобщее обозрение скелет и какое-то подобие виселицы. Небольшие приготовления — и скелет с крюком в черепе тихонько закачался на веревке. Это была хорошая разрядка — по залу прокатилась волна смеха. Но когда Фернман начал говорить, веселье быстро улеглось. Голос его звучал ясно, четко, он знал, как

завладеть вниманием зала. Он спокойно сказал, что скелет — женский, это факт, и доказать это очень просто. Но кем была эта женщина? Китаянкой, француженкой, немкой или гречанкой? На этот вопрос ответа нет. Неизвестно и другое: была ли она белой, черной или мулаткой. Поэтому, сказал Фернман, в классе пришли к выводу: в принципе все люди одинаковы. Здание можно строить по-разному, это верно, но фундамент всегда один и тот же. Фернман был великолепен, зал слушал его разинув рот.

На фоне Фернмана выступление мисс Дэр как-то поблекло, и она сама это поняла. Говорила она о медицине, о том, что человечеству предстоит тяжелая борьба с разными болезнями и недугами, что в этой области очень важен обмен знаниями и взаимопомощь.

Мисс Доддс рассказала о периоде истории, который изучался в классе,— о Реформации в Англии. Тогда вольнолюбивые люди поднялись на борьбу с господством церкви, они хотели разорвать цепи религиозных устоев. Мысль о терпимом отношении к чужой вере, чужой культуре зародилась уже тогда, в те давние времена, а теперь интерес к пониманию и осмыслению чужой культуры — дело вполне естественное.

Несколько обескуражило выступление Денэма. Он в пух и прах раскритиковал уроки физкультуры, заявив, что в школе нет хорошей спортплощадки и нет возможности вволю заниматься игровыми видами спорта. Уроки физкультуры всегда проходят однообразно. Стало быть, в них нет никакого толку. Куда лучше и полезнее потратить время на хорошую, настоящую игру. Наверно, он высказывал мнение всех мальчишек, потому что они громко его подбадривали.

Когда с докладами было покончено, Денэм наугад вызвал из зала двух учеников младших классов и попросил их написать на листках бумаги имена всех учителей, включая директора. Листки бросили в шапку, как следует ее встряхнули и вытащили один за другим три листка. Имена зачитали вслух:

Мистер Уэстон,

Миссис Дейл-Эванс,

Мисс Филлипс.

Денэм и мисс Джозеф увели школьников со сцены, их места заняли выбранные учителя. Уэстон, лохматый и неопрятный, уселся между женщинами. Началась игра в вопросы и ответы.

Да, здесь было что послушать. Игра эта произвела на меня сильное впечатление.

Тон задавали два старших класса — те, кто помладше, то ли стеснялись, то ли не умели сформулировать свои вопросы. Учителя заранее вопросов не знали, и зачастую им приходилось выкручиваться как бог на душу положит. Тут меня снова ждала неожиданность. Манерная и глупая с виду мисс Юфимия Филлипс оказалась из всех троих самой хладнокровной и подкованной. На вопросы, которые задавали ей, отвечала прямо и уверенно, а если в трудное положение попадал кто-то из коллег, она неназойливо вмешивалась и искусно вызволяла его или ее из беды.

Уэстон совсем осрамился. После резкой критики, с которой на него накинулся Денэм, он спасовал перед заковыристыми вопросами Фернмана и, пытаясь сохранить достоинство, напустил на себя вид оскорбленной добродетели. В защиту уроков физкультуры, за которые он частично отвечал, никаких логичных доводов он не привел. Денэм, тренированный боксер, уверял: уроки дадут пользу, если будут ежедневными и более продолжительными. А два раза в неделю по двадцать минут — это пустая трата времени.

Тут мисс Филлипс снова взяла инициативу в свои руки и осадила Денэма. Она напомнила аудитории, что каждый предмет, в том числе и физкультура, включен в школьное расписание после подробного обсуждения, чтобы всем учащимся была от него максимальная

польза. Возможности школы ограничены, и она ориентируется на большинство, хотя кто-то обязательно будет недоволен.

— Некоторые из вас,— заключила она, не сводя с Денэма невинных глаз,— по счастью, крепки и здоровы от природы и не нуждаются в простых физических упражнениях, которые предлагает школа. А вы подумали об остальных, для кого школьная программа как раз по плечу? Между прочим, кое-кто из старшеклассников мог бы и помочь товарищам.

Но Денэма эти увещевания не смутили, он поднялся с места.

— Ну, а нам-то зачем ходить на физкультуру? Кому надо, пусть те на нее и ходят. А остальные могут в это время погонять в футбол, еще во что-то сыграть — зачем нам на ерунду время тратить?

Вопрос был не из легких, но она ничуть не растерялась, даже заморгала от удовольствия детскими голубыми глазками — так ей нравился этот обмен уколами.

— Видите ли, Денэм, на занятиях по физкультуре вы тренируете не только тело, но и разум. Все уроки, которые вы получаете в этой школе, имеют одну цель — помочь вам в будущем, когда вы начнете самостоятельную жизнь. И необходимость делать то, что вам не нравится,— это часть общей подготовки. Уверена, вы со мной согласитесь.

Тут Денэму крыть было нечем. Парень понял, что его карта бита. Он удрученно уселся на место, а улыбка мисс Филлипс стала еще шире. Эта манерная кошечка с невинными глазками слопала канарейку со всеми потрохами. Я начал понимать, как такому слабому с виду существу удается держать в руках целый класс.

Вскоре на сцену для заключительного слова поднялся директор. Он сказал, что гордится своими учениками и благодарит их за отличную подготовку конференции.

Глава 18

В четверг 18 ноября у Джиллиан был день рождения. В понедельник вечером я зашел в магазин «Фойл» и купил ей в подарок книжку стихов. Собирался преподнести ее в четверг, в обеденный перерыв. Но во вторник утром, на перемене, когда я как обычно сидел в кресле в окружении стрекочущих девчонок и мальчишек, Джиллиан вдруг пришла сама. Увидев ее, я извинился перед ребятами и кивнул ей.

— Можно вас на минуточку, мистер Брейтуэйт?

Вся моя братия тут же навострила ушки.

— Конечно, мисс Бланшар.— Все заулыбались, зашушукались. Мы отошли в сторонку, где нас не могли услышать.

— Для тебя есть небольшой сюрприз.

— Правда? Какой же?

— У меня в четверг день рождения.

— Какой же это сюрприз? Ты мне уже говорила.

— Я заказала столик на двоих в «Золотой рыбке». Это будет особенный ужин, с вином.

— Прекрасно. А где это — «Золотая рыбка»?

— Это новый ресторанчик в Челси. Там должно быть здорово. Très élégant [1].

— Чудесно. Обожаю, когда Très élégant.

— Значит, договорились. Можем сначала сходить в кино на «Крестьянина», а потом поужинать.

— Согласен.

Она улыбнулась и быстро вышла из класса.

Я вернулся к ребятам, и они забросали меня вопросами. Джиллиан зашла ко мне в класс впервые, и они сразу почуяли, что это неспроста.

— Мисс Бланшар ваша девушка, да? — напрямик спросил Тич Джексон.— А она в порядке, будь здоров!

[1] Очень элегантно *(франц.)*.

Я согласился, что мисс Бланшар «в порядке», и замял, таким образом, ответ на вопрос. Девочки стали обсуждать прическу, платье и туфли Джиллиан, и разговор ушел от опасной темы. Памела молчала. Похоже, она не разделяла общего энтузиазма по поводу Джиллиан.

Наступил четверг. Я волновался, как мальчишка, и не мог дождаться последнего звонка.

В светло-сером костюме и забавной черной шляпке, кокетливо сдвинутой набок, Джиллиан была само очарование. Уэстон вышел из ворот следом за нами, и я подумал: хотел бы ты, милейший, оказаться сейчас на моем месте? Мы сели в автобус, в Олдгейте сделали пересадку и уселись в передней части двухэтажного автобуса. Джиллиан сразу взяла меня под руку, и мы оказались в уединенном прекрасном мире, мы нежно и счастливо шептались, глупо ворковали обо всем, что встречалось по дороге. Тут же мы изобрели игру и назвали ее «дилижанс». Дилижансом был наш автобус, а каждая остановка — постоялым двором или гостиницей. Мы смотрели по сторонам и по очереди придумывали названия для остановок. Например, остановку в Олдгейте мы окрестили «Насос и колокол» — здесь находится олдгейтская насосная станция, а неподалеку от нее — церковь. Следующая остановка возле поворота на Лиденхолл-стрит — «Топор и дева» и так далее. Кто не мог придумать хорошего названия, терял очко. Каждое очко оценивалось в пятьдесят пенсов. Мы здорово позабавились, от души смеясь над собственными импровизациями.

Фильм оказался прекрасным, и мы вышли из кино под впечатлением — от превосходной игры актеров, от горькой правды жизни. Возле Пикадилли-серкус сели в автобус, идущий в Челси.

«Золотая рыбка» действительно была, как сказала Джиллиан, très élégant. Такие уютные ресторанчики становятся популярными за один вечер и так же быстро выходят из моды. На каждом столике вместо цветов стояла небольшая стеклянная ваза, в ней плавала живая золотая рыбка. Соответственно были разрисованы и стены: переплетающиеся водоросли, кораллы. Очень уместны были манипуляции со скрытым освещением — казалось, ты попал в подводное царство. Наверно, ужин здесь стоит недешево.

Появился метрдотель и, окинув меня вопросительным взглядом, провел нас к заказанному столику. Мы сели. Завязался тихий уютный разговор, мы думали об одном и том же: между нами происходит что-то очень важное, уже понятое, но еще не окончательно признанное. Но вдруг выяснилось — нас никто не обслуживает, хотя вокруг других столиков официанты так и вертелись.

Но вот официант принес меню, положил его на стол и удалился. Я видел, что Джиллиан едва сдерживается, но взял меню, и какое-то время мы выбирали, что будем заказывать. Официант вернулся и принял заказ, держась крайне непочтительно, а потом его не было так долго, что я не на шутку заволновался. В кошки-мышки, что ли, он вздумал с нами играть?

Наконец, он принес первое. Не знаю, нарочно он это сделал или случайно, но суп из моей тарелки пролился прямо на скатерть. Я чуть отодвинулся от стола, полагая, что официант, как и положено в хорошем ресторане, быстро примет меры, но он просто стоял и смотрел на меня, а на губах его играла легкая усмешка. Затянувшуюся паузу внезапно нарушила Джиллиан. Она быстро поднялась, взяла перчатки и сумочку.

— Идем отсюда, Рик.

С гордо поднятой головой она пошла к дверям, пожираемая десятками пар любопытных глаз. Я забрал свое пальто в гардеробе и поспешил за ней.

На улице она обернулась ко мне, глаза горящими углями сверкали на бледном лице.

— Отвези меня, пожалуйста, домой.

Я остановил такси. В машине она отодвинулась от меня и забилась в угол, холодная и чужая, словно мы никогда не были знакомы, и увела взгляд за окно. Я вдруг почувствовал, что теряю почву под ногами. Захотелось куда-нибудь убежать — от Джиллиан, от школы, от всего.

Что я такого сделал? Да, официант вел себя глупо и вызывающе, но разве в этом виноват я? Она сама выбрала этот ресторан и вот при первом же намеке на трудности срывает на мне зло. Неужели наша дружба значит для нее так мало? Возле многоэтажного дома на тихой улочке у набережной Джиллиан попросила водителя остановиться. Она вышла из машины, подождала, пока я расплачусь, потом быстро побежала наверх по ступенькам. Я смотрел ей вслед. Сейчас она исчезнет, уйдет из моей жизни навсегда. Но она повернулась и сказала:

— Ну, что же ты стоишь?

В голосе звенело раздражение. Это была другая Джиллиан — холодная, злобная. Я даже хотел быстро уйти прочь, но она значила для меня слишком много. Придется испить эту чашу до дна, какой бы горькой она ни оказалась. Я поднялся за ней.

Квартира ее находилась на первом этаже. Мы вошли в небольшую, но уютную комнату: глубокие кресла, огромный старомодный диван. Три низкие этажерки с книгами, на каждой выстроились всевозможные безделушки, керамические и медные украшения, серебро и стекло. На полу лежал толстый ковер, на стенах висело несколько репродукций современных художников-импрессионистов. Из комнаты выходило три двери, наверно, в спальню, кухню и ванную. Все гармонично, и гармонию эту нарушали мы.

Джиллиан нервничала. Она швырнула шляпку, сумочку и перчатки на диван, предложила мне сесть, а сама стала бесцельно ходить по комнате и поправлять вещицы на этажерках. Движения ее были резкими, стремительными, словно она безуспешно пыталась обуздать пришедший в движение мощный двигатель. Я сидел и ждал — сейчас скопившаяся в ней энергия вырвется наружу. Но Джиллиан скрылась за одной из дверей.

Я вынул из портфеля книжку стихов и положил ее на низкий столик. Вечер безнадежно испорчен, и торжественное вручение подарка будет сейчас просто неуместным.

Вскоре она вернулась, кажется слегка успокоившись. Уже хотела сесть, но на глаза ей попался сверток с книжкой. Она разорвала обертку и заглянула внутрь. Руки ее опустились в неподдельном отчаянии.

— Ненавижу, ненавижу тебя! — Каждое слово отлетало от нее сухим, болезненным кашлем.— Ну почему ты сидел и молчал как пень?

— Ты имеешь в виду официанта?

— Кого же еще?

— А что я должен был делать? Ударить его? Ты хотела, чтобы я устроил там сцену?

— Да, я хотела, чтобы ты устроил сцену. Со скандалом и мордобоем.— В ее устах это звучало похуже сквернословия. Глаза метали молнии, она выгнулась вперед, приподнятые руки чуть сзади — разгневанная птица.

— Что бы это дало?

— Не знаю и знать не хочу. Но ты должен был ударить его, избить, растоптать...— От ярости и всхлипываний ее речь стала почти бессвязной.

— Это ничего бы не изменило.

— Почему? Тоже мне Иисус Христос нашелся! Сидишь и терпишь, как над тобой издеваются. Или ты просто боялся? Боялся? Этого обиженного богом официантишку, эту неотесанную деревенщину?

— Ты не владеешь собой, Джиллиан. Бить людей — от этого никогда не было толку.

— Неужели? А ты знаешь другой метод? Хорош метод — подстав-

лять то одну щеку, то другую, не лучше ли показать, что ты все-таки мужчина? — Она почти визжала, как торговка на базаре.— Кто-то все время должен за тебя вступаться, брать под крылышко. Клинти заступилась за тебя перед Уэстоном. Эта девчонка Дэр заступилась за тебя в метро. Наверно, сегодня за тебя должна была заступиться я?

Я вдруг почувствовал, что устал, безумно устал.

— Давай не будем больше об этом.

— Конечно, закроем на все глаза.

— Правда, давай забудем об этом.

— Забудем? Да ты знаешь, что сегодня за день? Я так его ждала, так к нему готовилась — мне хотелось, чтобы все у нас сегодня было чудесно, празднично. Именно сегодня! Я могла найти себе другое занятие, пойти куда-то еще, но я хотела быть с тобой, а ты мне спокойно заявляешь, что нужно об этом забыть? О, как ты мне противен, гадкий черный...

Она с воплем швырнула в меня книгой и сама кинулась на меня, словно взбесившееся животное, норовя расцарапать мне лицо. Нападение было таким внезапным, что я едва не потерял равновесие, но тут же сграбастал ее и крепко схватил за руки, отвел их подальше от моего лица. Выплеснувшийся наружу гнев придал ей сил, какое-то время она не уступала, борясь со мной яростно и молча. Потом вдруг обмякла, зарылась лицом мне в пиджак и начала рыдать.

Почувствовав, что запал иссяк, я отвел Джиллиан к креслу, и она, продолжая всхлипывать, боком уселась в него. Я сел рядом и в волнении смотрел на нее. В глубине души я понимал — это конец. Сейчас мне придется расстаться с ней навсегда. Неужели? Как хочется отдалить эту минуту! Наконец, она повернулась ко мне и спросила:

— Что же нам делать, Рик?

— Не знаю, Джиллиан.— Что я мог ей ответить? Мелькнул проблеск надежды, и я затаил дыхание: что она скажет дальше?

— Неужели мы будем сталкиваться с этим постоянно?

Она говорила о нас, о нас обоих.

— Ты имеешь в виду официанта?

— Да, с тобой часто бывает такое?

— Нет, пожалуй, редко. Видишь ли, когда я служил в ВВС, такого не случалось никогда, а после демобилизации я никуда особенно и не ходил... пока не начал встречаться с тобой.

Я смотрел на нее, не зная, что сказать. Официант своим дерзким поведением унизил и оскорбил ее, но неужели ни о чем подобном она не слышала? Она была англичанкой, всю жизнь прожила в Англии. Возможно ли, что вирус расовой исключительности не поразил ее?

— Ты не знала, что такое бывает? — спросил я.

— И да и нет. То есть где-то что-то я слышала и читала, но и представить себе не могла, что такое может произойти со мной.

— Это произошло, потому что с тобой был я.

Она резко вскинула голову, в темных глазах все еще стояла боль.

— Что ты хочешь этим сказать, Рик?

— Что ничего подобного впредь с тобой случаться не должно.

Я говорил эти слова против воли, умирая от любви к Джиллиан, и все-таки говорил, сам не знаю почему.

— Ты действительно этого хочешь, Рик?

Легко ли ответить на такой вопрос? Я вдруг почувствовал, что наша проблема слишком велика, слишком сложна, к ней имеют отношение слишком много людей, миллионы, которых я не знал и никогда не узнаю, но эти люди способны в одну секунду возненавидеть меня лишь за то, что рядом будет она. Не потому, что она красивая, добрая, воспитанная и очаровательная — нет. Только потому, что она — белая.

— Нет, Джиллиан, я этого не хочу.

Мозг взвешивал опасность, оценивал трудности, а сердце дало

ответ прямо и без оглядки. Джиллиан поднялась, подошла и села на ручку моего кресла.

— Я люблю тебя, Рик.

— Я люблю тебя, Джиллиан.

— Но мне страшно, Рик, мне вдруг стало так страшно. Раньше все казалось таким безоблачным, а сейчас я просто боюсь. Как ты можешь относиться к этому так спокойно, неужели тебе не противно?

— Противно? Да, мне очень противно, но жизнь учит меня, что, как бы противно ни было, надо жить. Сначала эта наука давалась мне ох как тяжело, но теперь я знаю, как сохранить человеческое достоинство, даже если у тебя черная кожа.

И я рассказал ей о моей жизни в Англии, все-все, без утайки, вплоть до того, как я стал учителем. Она слушала тихо, не прерывая, но скоро ее рука оказалась в моей, и крепкое нежное пожатие придавало мне сил, успокаивало, вселяло надежду.

— Извини меня, Рик,— пробормотала она, когда я кончил.

— Не нужно извиняться, дорогая. Я просто обязан был рассказать тебе, что со мной случалось в жизни и еще может случиться.

— Я не о том. Ведь я тебе такого сегодня наговорила.

— Понимаю. Забудь об этом — я тебя уже простил.

Мы сидели, поглощенные одними мыслями. Ни слов, ни взаимных утешений — просто сидели и молчали. Потом она сжала мою руку и сказала:

— Завтра я напишу о нас маме. Я ей столько о тебе рассказывала, что она не удивится.

— Она не будет против?

— Может, немножко и будет, но она все поймет. Мы с ней в прошлый раз об этом уже говорили.

— А твой отец?

— Наверно, придется провести с ним работу. В общем, я напишу им, что на следующие выходные мы приедем вместе. Думаю, Рик, они тебе понравятся. Честное слово, они очень милые люди.

Я задумчиво смотрел в окно, в густые сумерки. Удивительная штука — жизнь! Она не течет по проторенному руслу. Ведь я только сегодня впервые поцеловал эту чудную, прелестную девушку, а сейчас — хорошо это или плохо — жребий уже брошен.

— Рик.

— Да?

— Мне немного не по себе, когда подумаю, что могут сказать о нас люди, но я так сильно тебя люблю, Рик, правда, и я постараюсь, чтобы тебе было со мной хорошо. Мне кажется, мы можем быть счастливы вместе.

— Попробуем.

Она снова заплакала, едва слышно. Я прижал ее к себе. Мне хотелось защитить ее, защитить раз и навсегда, от всего на свете. Я боялся не за себя, а за это нежное создание, девушку, столь бесповоротно решившую связать свою судьбу с моей. Но ведь мы — не первые, такое бывало и раньше, и люди выдерживали, оставались людьми. Видит бог, я тоже попробую выдержать. Мы попробуем — вместе.

Глава 19

Школа вливала в меня свежие силы, наполняла мой мир радостью. Я чувствовал уверенность в себе, постепенно мне открывались не только души моих подопечных, но и жизнь всего района и его обитателей. Иногда я прогуливался по Уотни-стрит, куцей замызганной улочке, обрамленной двумя рядами крохотных лавчонок. Возле каждой — лотки на колесах, и торговали с них кто чем: фруктами, рыбой, бакалеей, овощами, сладостями, галантереей. Зачастую эти лотки загораживали посетителю вход в саму лавку.

Продавцам моя личность скоро стала известна, и когда я проходил мимо, на их лицах зажигались приветливые улыбки. Иногда до слуха доносилось: «Это учитель нашей Мэри». Или: «Он работает учителем в «Гринслейде». Наша Джоан — в его классе, уж так его нахваливает».

Как-то я остановился возле лотка с фруктами. Крупная женщина в ярком переднике и высоких сапогах с улыбкой стала взвешивать мне яблоки.

— Знаете, а наша Мор в воскресенье обручилась.

Она не сомневалась, что мне прекрасно известно, кто такая «наша Мор», но я был озадачен, и она это поняла.

— Как же, у вас в классе учится Энн Блор, а Мор — ее старшая сестра. Так вот, она обручилась с американским солдатом, чудо, а не парень.

Или в другой раз:

— Жаклин не придет сегодня, всю ночь промучилась с желудком. Наша бабуля как раз повела ее к доктору. А я так и думала, что вы здесь пойдете, вот и хорошо, предупредила вас.

Тут все было понятно. В моем классе училась только одна Жаклин.

Часто я останавливался поболтать с этими простыми людьми, и они всегда были рады показать, что относятся ко мне дружелюбно, признают меня. Они делились со мной чем-то личным, касающимся их детей и их самих,— значит, считали, что я имел право на такое доверие.

Иногда доходило до курьезов. Однажды меня здорово смутила миссис Джозеф, дородная еврейка, продавщица фруктов. Она молча вытащила меня из конца очереди за яблоками, быстро взвесила мне пакет и объяснила хмурившимся покупателям, что я учитель «ее Мойры» и, наверно, очень спешу.

Я и мои ученики все больше привязывались друг к другу — какой это был стимул в работе! Каждый день я старался дать им что-то новое, расшевелить их, пробудить интерес к материалу, и постепенно они стали участвовать в обсуждениях с охотой, терпимее относиться к чужому мнению, даже если оно резко отличалось от их собственного. Поначалу из-за этих расхождений во взглядах на уроках кипели страсти, и если кто-то оказывался прижатым к стенке, он, не долго думая, отбивался с помощью уличного лексикона. Я сознательно закрывал глаза на такие методы ведения дискуссии, и со временем бранная речь ушла из класса сама по себе.

Я учил их, но и сам многое постигал рядом с ними. Я научился видеть их сквозь призму условий, в которых они жили и росли, это помогало мне лучше понять их. Я долго не мог примириться с их стилем одежды. Мне казалось, что облегающие свитера, узкие юбки и джинсы — не самый подходящий туалет для школы. Но теперь, когда они стали больше следить за собой, я понял: эта одежда лишь отражала неуемную тягу моих энергичных воспитанников к самовыражению.

Примерно в это время в школу для работы на несколько недель прислали нового учителя, мистера Белла. Это был высокий мускулистый мужчина лет сорока, с опытом работы на курсах военной подготовки. Директор решил, что иногда мистер Белл будет заменять других учителей, а также вести два занятия по физкультуре со старшеклассниками. Одним из увлечений мистера Белла было фехтование. Его отличало некое стремление к совершенству, и он был нетерпим к любому, кто не мог управлять своим телом так умело, как он сам. Когда на уроке физкультуры разучивалось новое упражнение, он заставлял ребят повторять его снова и снова, требуя полного автоматизма. Такая строгость была ребятам не по душе, но они стремились доказать, что могут выполнить любое задание, и не хуже, чем он сам.

Особенно это относилось к Ингэму, Фернману и Силсу, они всегда становились в голову колонны и заражали своим примером остальных.

Самым плохим спортсменом в классе был Ричард Бакли, маленького роста толстяк, этакий добродушный дурачок, он едва умел читать и писать. Всегда спокойный и невозмутимый, он был весельчаком и любимцем общества, и ребята, хотя сами любили над ним поиздеваться, другим его в обиду не давали.

Физкультурник из Бакли был никудышный — тут природа просто его обошла. Но у любого человека, как известно, есть свои причуды, и Бакли решительно пресекал попытки одноклассников провести какую-нибудь игру без него, «забыть» его или не включить в команду. Когда он пытался выполнить такие простые упражнения, как «кувырок вперед», в классе стоял гомерический хохот, но Бакли и не думал падать духом, и его усилия, пусть безрезультатные, вполне тянули на героические.

Белл выбрал Бакли на роль козла отпущения. Он прекрасно видел, что парень физически слаб, но заставлял его делать все более сложные упражнения с одной, по-видимому, целью — поразвлечься при виде жалких смехотворных потуг. Бывало, ребята начинали протестовать, и тогда Белл давал волю гневу, не особенно выбирая выражения. Ребята написали об этом в своих сочинениях, и мистер Флориан поднял этот вопрос на педсовете.

— Мистер Белл, ребята жалуются на замечания, которые вы им делаете на уроках физкультуры.

— О каких замечаниях идет речь, мистер Флориан? — Белл никогда не прибегал к обращению «сэр» — видимо, считал это ниже своего достоинства. Даже одаривая директора «мистером», он вкладывал в это слово едва уловимую насмешку.

— Сочинения могут навести на мысль, что вы без нужды унижаете достоинство детей.

— Когда говорю, что от них пахнет потом?

— Да, и когда критикуете состояние их одежды.

— Я посоветовал им чаще мыться.

— Сейчас я процитирую одно из сочинений.— Директор взял в руки тетрадку Фернмана и прочитал: — «От некоторых из вас несет, как из помойки».

Голос его звучал холодно, бесстрастно и ровно.

— Речь шла о ногах. Похоже, многие из них вообще не моют ноги, и когда снимают обувь, вонь стоит страшная.

— Многие из них, мистер Белл, живут в домах, где не всегда удается помыться.

— Надо только захотеть, и на мытье ног вода найдется.

— А потом они снова наденут грязные носки и туфли, и вы снова будете недовольны.

— На уроке я все время рядом с ними, и удовольствия в этом мало.

— Вы когда-нибудь жили в этом районе, мистер Белл?

— Не имел счастья.

— Значит, вы и представить себе не можете, в каких условиях здесь живут люди. Для вас вода — нечто само собой разумеющееся, вы привыкли мыться в ванне, а в домах многих ваших учеников воду скорее найдешь на стенах или на полу. Некоторые ребята живут на верхнем этаже, а воду нужно таскать в ведре со двора, где всего один кран, а желающих — пять или шесть семей. Согласитесь, что такая, казалось бы, элементарная вещь, как мытье ног, может оказаться очень сложным делом.

Белл ничего не ответил.

— Я вовсе не собираюсь вмешиваться или учить вас работать. Вы опытный учитель и знаете о физкультуре столько, сколько мне не узнать вовек.— Старик снова стал терпеливым, доброжелательным.— Но, прошу вас, отнеситесь к их трудностям с пониманием.

Дальше он заговорил о другом, но всем стало ясно — настроение Беллу он здорово подпортил.

А в понедельник случилось ЧП. Меня в спортивном зале не было, но со слов ребят и из последующих разговоров с Беллом я могу более или менее точно воспроизвести ход событий.

Шел урок физкультуры. Белл до одури отрабатывал с ребятами опорный прыжок через козла. Прыгали все, кроме Бакли, которому что-то нездоровилось, и он разумно решил не рисковать, но не сказал об этом Беллу. Тот, разумеется, быстро заметил, что его «любимчик» не прыгает.

— Бакли! — закричал он.

— Да, сэр.

— Давай прыгай. Я жду.

Он, как всегда, стоял рядом с козлом для страховки, на случай если кто-то, неудачно оттолкнувшись или неправильно выполнив упражнение, потеряет равновесие. Бакли, однако, не двигался с места, и учитель уставился на него в гневе и изумлении — не ожидал такого неповиновения от мальчишки, за которым укрепилась репутация самого робкого и послушного в классе.

— Толстяк не прыгнет, сэр, это для него слишком высоко,— вмешался Денэм.

— Тебя не спрашивают, Денэм! — взревел Белл.— Когда мне потребуется твое мнение, я скажу.

Покинув свой пост у козла, он направился к Бакли. Тот со страхом следил за его приближением.

— Итак, Бакли,— Белл навис над несчастным парнем,— ты будешь выполнять мою команду?

— Да, сэр.

Бакли сдался с той же внезапностью, с какой только что отважился на неповиновение.

Все столпились вокруг. Белл зашагал к своему месту, а Бакли, нервно облизывая губы, сверлил глазами снаряд. Подгоняемый страхом или решимостью, Бакли яростно кинулся на козла. Расставленные руки Белла не помогли — парень вместе с козлом рухнул на пол, одна из ножек козла сломалась, причем звук был такой, словно выстрелили из пистолета. При виде лежащего Бакли, бледного и неподвижного, всех словно парализовало. Потом ребята кинулись поднимать его. Но не Поттер. Огромный добродушный Поттер, казалось, лишился рассудка. Он схватил отломившуюся ножку с металлической облицовкой и двинулся на Белла с криком:

— Ах ты, сука! Ах ты, паскуда!

— Брось эту штуку, Поттер, не делай глупостей,— процедил Белл, отодвигаясь от Поттера, совершенно не владевшего собой.

— Это ты его заставил! Он не хотел, а ты его заставил! — вопил Поттер.

— Не делай глупостей, Поттер, брось ножку,— повторил Белл.

— Сейчас ты получишь свое, проклятый убийца.

Беллу силы было не занимать, но сейчас Поттер — разгневанный, с крепкой палкой, угрожающе торчавшей из толстой руки,— выглядел внушительно.

В эту минуту в зал вбежал я. Испугавшись при виде распростертого на полу Бакли и обезумевшего Поттера, Тич Джексон стрелой кинулся наверх и ворвался ко мне в класс с криком: «Учитель, скорее, в зале дерутся!» Я поспешил за ним и успел вовремя: Белл стоял, прижавшись к стене, а на него надвигался Поттер.

— Стой, Поттер! — выкрикнул я. При звуке моего голоса он обернулся, и я тут же встал между ними.— Дай мне это.— Я протянул руку, но он смотрел мимо меня на Белла, с губ его срывалось какое-то бормотанье. Он весь трясся и мог сделать в таком состоянии что угодно.

— Успокойся, Поттер,— повторил я.— Давай ее сюда, а сам помоги Бакли.

Он оглянулся на лежавшего товарища, а я быстро шагнул вперед и выхватил у него палку. Поттер отпустил ее без всякого сопротивления и пошел к ребятам, сгрудившимся вокруг Бакли. Белл сразу вышел из зала, а я присоединился к остальным. Денэм поднялся с пола и встал передо мной. Лицо его побелело от ярости.

— Зачем вы не дали Поттеру отделать этого паскуду? Вон он как толстяка поломал, заставил, сука, прыгать, когда человек не может.

Я пропустил это мимо ушей. Они были разъярены и, как всегда в такие минуты, быстро вспоминали старые привычки, язык улицы, грубость. Я склонился над Бакли, он уже сидел на полу, но был какой-то обмякший, его поддерживали Сапиано и Силс. Он смотрел на них и улыбался, словно стыдился, что причинил всем столько беспокойства.

— Как самочувствие, старина? — поинтересовался я.

— Порядок, учитель,— с улыбкой откликнулся он.— Только пузо здорово отшиб.

— Он полетел прямо на козла. Ой, что было, учитель!

— Ух, а вы бы слышали, с каким треском ножка сломалась!

— А мистер Белл даже не мог толстяка подхватить, представляете, учитель?

Все пытались говорить одновременно, сыпали подробностями.

— Чертов негодяй, всегда к толстяку цепляется.— Это Сапиано, темпераментный мальтиец, готовый вспыхнуть по любому поводу.

— Будь эта деревяшка у меня, я бы этого подлюгу уделал, хрен бы меня кто остановил.— Денэм лез на рожон, не думая о последствиях. Белл обидел его друга, а сам смылся, остался безнаказанным, и Денэм жаждал крови. Но я не посмотрел в его сторону, я его просто не слышал. Кроме всего прочего, Денэм мне нравился. Он не отличался изысканными манерами и чистотой речи, но это был честный человек, на которого можно положиться, человек в высшей степени самостоятельный.

— Вы можете подняться, Бакли?

С помощью Силса и Сапиано парень поднялся. Его слегка покачивало, по лицу разлилась бледность. Я повернулся к Денэму:

— Помогите, пожалуйста, отвести Бакли к миссис Дейл-Эванс, пусть она напоит его сладким чаем. Оставьте его там, и через несколько минут прошу всех быть в классе.

Не дожидаясь ответа, я торопливо зашагал к учительской — надо найти Белла.

Положение было не из простых. Возможно, Бакли цел и невредим, но, кто знает, может, он получил какую-то внутреннюю травму, и она проявится позже. По правилам Совета по школьному образованию все происшествия нужно регистрировать и сообщать о них. Конечно, надо рассказать директору, и в свете его недавнего разговора с Беллом замять эту историю, пожалуй, не удастся.

Я вошел в учительскую. Белл был там — умывал лицо под краном.

— Я послал Бакли наверх, там его напоят чаем,— сказал я.— Думаю, с ним ничего страшного, во всяком случае шел он на своих двоих.

— Что будет дальше? — По голосу я понял: он огорчен случившимся.

— Вы знаете не хуже меня,— ответил я.— По-моему, вам следует повидать Старика и дать какое-то объяснение.

— Да, пожалуй, я прямо к нему и пойду. Я бы помог Бакли, но на меня кинулся этот малый. Спасибо, что выручили.

— Пустяки,— отмахнулся я.— Но почему вы настаивали, чтобы он прыгал?

— Иначе было нельзя, поймите. Он отказался подчиниться, и весь класс смотрел на меня. Я был обязан действовать.

Высокомерия не было — он только защищался.

— Я вас не осуждаю, мистер Белл, просто спрашиваю. Понимае-

те, Бакли в классе— что-то вроде талисмана, наверно, поэтому Поттер и сорвался.

— То ли он неудачно оттолкнулся, то ли еще что, но поймать его я никак не мог. Он прыгнул слишком низко и буквально снес козел.

— Он, конечно, парень неуклюжий. В общем, Старик все поймет правильно, уверен.

— Боюсь, после нашей последней беседы ему будет трудно это сделать.

— Не думаю. В конце концов, это всего лишь несчастный случай и, слава богу, кажется, без серьезных последствий.

Он вытер руки и пошел к двери.

— Представляю себе, как они раздуют эту историю в своих сочинениях,— заметил он.

— Я попрошу ребят не писать об этом ни слова. Да и Поттер, наверно, уже раскаивается в своем поступке.

Вскоре после его ухода в учительской появилась Клинти.

— Что происходит, Рик? — спросила она.— Я сейчас видела, как ребята вели наверх толстяка Бакли. Что с ним?

Я рассказал ей о происшедшем и добавил:

— Белл пошел к Старику сообщить, как все было.

— Чтобы Поттер вот так взбеленился, кинулся на Белла? — Она хмыкнула.— Никогда бы не подумала. Всегда считала, что он так себе, тютя. Впрочем, от тихонь всегда можно ждать сюрприза.

— Разъярился не только он. Сапиано и Денэм тоже были готовы растерзать Белла, но, к счастью для него, они бросились помогать Бакли.

— Он вообще-то по натуре тиран. Ничего, теперь будет поосмотрительнее.

— Не думаю, что у ребят на него зуб из-за дисциплины на уроках. Просто Бакли — парень немного придурковатый, и они терпеть не могут, когда его обижают. Случись такое с Денэмом или с кем-то еще, никакого скандала бы не было.

— Пожалуй, вы правы. Белл — хороший учитель. Интересно, его к нам прислали надолго? Надеюсь, он не очень испугался.

— Да переживает, конечно. Пойду поговорю с ребятами.

Я вышел. По необъяснимой причине душа у меня была не на месте всякий раз, как я оставался с Клинти наедине. Я чувствовал — она хочет мне что-то сказать, но совсем не хотел это «что-то» услышать.

В классе ребята сидели с виноватыми лицами. Я знал, они удручены, это вполне естественно. Но закрывать глаза на поведение Поттера нельзя.

— Как там Бакли? — спросил я.

— Мы оставили его наверху, учитель, у миссис Дейл-Эванс. Он хотел уйти с нами, твердил, что у него все прошло. Но она сказала ему: «Не уймешься, заставлю выпить касторовое масло». Представляете, учитель?

После этих слов Силса они все же заулыбались.

— Ну и прекрасно,— сказал я.— Надеюсь, все обойдется. Но у этой истории есть и другая сторона, и об этом я хочу с вами поговорить.

Я присел на краешек стола Фернмана.

— Поттер, я не могу найти оправдания вашей выходке в зале.

У Поттера от удивления отвисла челюсть. Он тупо уставился на меня, несколько раз глотнул, потом затараторил:

— Но это же все он, учитель, мистер Белл, из-за него толстяк упал и все такое.— Он почти кричал, так возмутили его мои слова.

— Старшим в классе, Поттер, был мистер Белл, стало быть, за все, что там происходило, отвечает он. Да, Бакли неудачно прыгнул, но это никак не извиняет вашего нападения на учителя.

— Но, учитель, толстяк же сказал ему, что он не может, а тот его заставил, вы понимаете, учитель, заставил.

Поттер был готов расплакаться. Отчаяние его усугублялось тем, что я порицал поступок, который он искренне считал правильным. И на других лицах я прочел недоумение.

— Может, и так, Поттер. Но меня сейчас интересует поведение не мистера Белла, а ваше. Вы не совладали с нервами и едва не навлекли на себя тяжелую беду. Мало того, что вы отвратительно ругались, вы взяли в руки предмет, которым человеку можно нанести увечье. Подумайте, что случилось бы, если бы вслед за вами все кинулись на мистера Белла, словно стая обезумевших волков?— Я сделал паузу, дать им осмыслить сказанное, но Поттер вмешался:

— Я-то подумал, учитель, что он угробил толстяка, тот лежал, будто дух вон.

— Понимаю. И вы не стали ничего выяснять, а просто кинулись напролом с палкой, чтобы, как настоящий гангстер, избить человека или даже убить его? Вашему товарищу причинили боль, и вы хотели отомстить. А если бы вместо куска дерева у вас в руке оказался нож или пистолет, что тогда?

Поттер побледнел, другие тоже.

— Пот и подумать не успел. Когда он увидел толстяка на полу, у него сразу шарики за ролики зашли, да у него одного, что ли? У всех. Я вообще себя ни хрена не помнил.

— Вы упускаете важную вещь, Денэм. Не только вы, весь класс. Мы сидим в этой комнате день за днем, обсуждаем разные разности, и вы, казалось бы, знаете, чего от вас ждут. Но при первом же отклонении от нормы вы обо всем забываете. Через какие-то две недели вы пойдете работать, и вас все время будет что-то раздражать, сердить. Что же, вы будете хвататься за палки и ножи всякий раз, когда возникнут причины для огорчения и гнева? — Я поднялся.— Вам обязательно встретятся мастера, бригадиры, а то и просто рабочие, чьи действия, порой умышленные, будут выводить вас из себя. Что тогда, Денэм? Что будете делать, Поттер? Вашего директора постоянно критикуют, потому что он верит в вас — верит, что школа научит вас не срываться, не терять голову в трудную минуту. Прав он был или ошибался, когда строил отношения с вами на доверии — посмотрим, какими людьми вы станете после школы. И если сегодняшний эпизод — это пример вашего поведения в будущем, боюсь, вы подведете директора.

В эту секунду в класс, широко улыбаясь, вошел Бакли. Судя по всему, он отделался легким испугом. Я подождал, пока он займет свое место, потом продолжал:

— Я вовсе не собираюсь читать вам нравоучения, но закрыть глаза на этот случай тоже не могу. Поттер, вы вели себя с преподавателем физкультуры в высшей степени грубо, и я считаю, вам нужно перед ним извиниться.

У Поттера от изумления открылся рот. Но не успел он и слова вымолвить, как с места вскочил Денэм.

— Извиниться? — возмущенно воскликнул он.— Почему это Пот должен извиняться? Он ничего не сделал. Раз он преподаватель, так теперь перед ним извиняться? Пусть выкусит!

Он стоял, чуть расставив ноги, широкоплечий и свирепый, и буравил меня колючим взглядом. Класс следил за нами. Они были на его стороне, и я чувствовал: недовольство их растет.

— Пожалуйста, сядьте, Денэм, и запомните: какие бы сложные или неприятные проблемы мы здесь ни обсуждали, повышать друг на друга голос не следует.

Я ждал. Мне вдруг стало страшно: наша дружба оказалась под угрозой. Денэм нерешительно оглядел класс, потом сразу сел. Я продолжал как можно дружелюбнее:

— Это хороший вопрос, Денэм, но, согласитесь, задали вы его в несколько... ну, неделикатной форме.

При этих словах я улыбнулся, и на лице Денэма, хоть он еще не остыл, тоже промелькнула улыбка. Я спросил:

— Скажите, Поттер, вы довольны тем, как вели себя с учителем физкультуры?

Поттер взглянул на меня и буркнул:

— Нет, учитель.

— Но он же себя не помнил,— вставил Денэм.

— Может, и так, но Поттер сам понял, что был неправ. На трезвую голову разобрался — так вести себя было нельзя.

— Ну, ладно, а мистер Белл, он тоже извинится перед Бакли? — Утихомирить Денэма было не так-то просто.

— Да, как насчет мистера Белла? — подхватил Сапиано.

— Мои ученики — вы, а не мистер Белл,— ответил я.

Попробуй-ка справься с ними! Денэм так и лез в драку, из его речи исчезло обычное «учитель». Не уступал ему и Сапиано.

— Вам легко говорить, учитель, вас не шпыняют, как Бакли.

Все обернулись на голос Силса, уверенный и негромкий. Они готовы были поддержать его. Эти слова всколыхнули во мне что-то забытое, уже несколько месяцев покоившееся в тайниках души, отозвались резкой болью. Не понимая, что делаю, я поднялся, подошел к парте Силса и остановился возле нее.

— Меня шпыняли, Силс,— сказал я спокойно,— не буду объяснять, как именно. Одно время я стал так ненавидеть людей, что хотел причинять им боль, настоящую боль. Поверьте, Силс, я очень хорошо знаю, каково это — сносить постоянные обиды, но я усвоил одно: надо быть выше твоих обидчиков. Конечно, легче всего схватиться за нож или пистолет. Но тогда в орудие превращаешься ты сам, нож и пистолет тебе уже не подвластны, и ты попадаешь в большую беду, ничего не добившись. А если под рукой ничего нет, как быть тогда?

Я вдруг разозлился на себя — разве можно так распускаться?— и быстро вернулся к своему столу. Но класс почувствовал — что-то задело во мне незажившую рану.

— Мне очень важно выяснить, Поттер,— продолжал я,— стали ли вы самостоятельным человеком, научились ли крепко стоять на своих ногах. Вот вы начнете работать в Ковент-Гардене, и в один прекрасный день произойдет что-то такое, что вам не по душе. Как вы будете себя вести? Главная задача этой школы — выработать у вас чувство самодисциплины. Произошло ЧП — вы сорвались и вели себя с учителем недостойно. Можете ли вы подняться над собой и попросить у него извинения?

Поттер поерзал на сиденье, неуверенно посмотрел на меня и ответил:

— Могу, учитель.

— Извиняться всегда трудно, Поттер, особенно если вам кажется, что человек не заслуживает уважения. Но поймите, Поттер, это извинение нужно не столько мистеру Беллу, сколько вам.

Я сел. Все молчали, и мне стало ясно — они поняли, что я хотел сказать. Поттер поднялся.

— Где я могу его найти, учитель? В учительской?

— Думаю, он сейчас там, Поттер.

С мест поднялись Денэм и Силс и вместе с Поттером отправились искать Белла. Я повернулся к Бакли:

— Как вы себя чувствуете, Бакли?

— Как огурчик, учитель.— Этот весельчак был верен себе.

— А ваши родители, Бакли, как к этому отнесутся? — Я хитрил, но сейчас это было нужно.

— А я им ничего не скажу, учитель. Что, обязательно разве говорить?

— Это решать вам, Бакли. Раз ничего у вас не болит, пожалуй, волновать их не стоит. Но если через неделю, через месяц вы вдруг почувствуете боль, придется родителям обо всем рассказать.

Парламентеры вернулись через несколько минут. Лицо Поттера было залито краской смущения. Следом вошел мистер Белл.

— Мистер Брейтуэйт, я бы хотел сказать ребятам несколько слов.— Я кивнул, и он встал рядом с моим столом.

— Хочу сказать вам,— начал он,— что очень сожалею о случившемся. Думаю, все мы вели себя немного глупо и чем скорее мы об этой истории забудем, тем лучше. Ну, как ты себя чувствуешь? — обратился он к Бакли.

— Все нормально, сэр,— ответил тот.

— Что ж, прекрасно. Ну, встретимся, как всегда, на следующей неделе.

С этими словами он, стараясь подавить нервозность, дружелюбно махнул на прощание рукой и вышел.

Ребята и сами были рады обо всем забыть, и я перешел к теме очередного урока.

Глава 20

В конце этой же недели в школу нагрянули газетчики. Директора убедили, что через газету он может донести свои педагогические принципы до широкой общественности, что ему представляется отличная возможность ответить всем своим критикам и противникам. Разрешение на такой визит дал Совет Лондонского графства. За день до прибытия репортеров директор собрал нас на педсовет и рассказал о предстоящем событии, попросив оказать посильную помощь. Его неподдельный энтузиазм передался и нам, и мы согласились сделать все, что нужно. Детям решили ни о чем не говорить — их будут фотографировать, и нам хотелось, чтобы они выглядели как всегда.

В десять утра приехали репортер и два фотографа. Вскоре они развили бурную деятельность, щелканье затворов и сверканье вспышек было неожиданным и назойливым. Дети, разумеется, пришли в волнение, а мои ученики так и тянули шеи к двери — им очень хотелось, чтобы их «щелкнули». Незадолго до полудня директор послал за мной и представил меня репортеру и фотографам, которые пили чай в его кабинете.

— Мистер Брейтуэйт, джентльмены хотят побеседовать с вами.

Я сел, и репортер начал:

— Когда мистер Флориан сказал, что здесь преподаете вы, я подумал: а не сфотографировать ли вас с вашим классом? Как символ того, что в школе царит дух демократии и равенства.

Я внимательно посмотрел на него. Демократия и равенство. Как они любят щеголять такими словами! Все во мне восстало, и я невольно воскликнул:

— Но зачем, для какой цели?

— Ну, например, чтобы показать — расовой дискриминации в Англии нет.

— Прошу меня извинить,— сказал я. Какая гротескная пародия на правду!— Видите ли, в этой школе я — только учитель, только это, и ничто другое. Совет прислал меня работать сюда не потому, что я цветной, и я не желаю пропагандировать какую-либо идею или теорию, а в особенности ту, о которой упомянули вы.

Видимо, я немного распалился, потому что все взглянули на меня с удивлением. Директор сказал:

— Должен признаться, мистер Брейтуэйт, что это предложение исходило от меня. Мне казалось, если людям станет известно, что у нас работаете вы, школа от этого только выиграет. Думаю, в английских школах не так много преподавателей-негров, одна из таких

школ — наша, мы вправе этим гордиться, почему же не сказать об этом вслух?

— Мне очень жаль, мистер Флориан,— ответил я,— но общественный смысл моего пребывания здесь меня мало интересует. Умиротворять общественное мнение по вопросу о всеобщем равенстве — увольте. Я просто учитель и не нуждаюсь в рекламе, по крайней мере при таких обстоятельствах.

Они были разочарованы, но уговаривать меня не стали и вскоре снова взялись за работу: фотографировали ребят в классе, за обедом, на площадке, во время танцевальной перемены. На уроке у Белла ребята показывали фотографам высокий класс, облачился в спортивную форму и сам Белл. Ребята старались вовсю, предвкушая минуту, когда они откроют газету и увидят себя, вошедших в историю, на радость родителям и друзьям, на зависть менее везучим ученикам младших классов.

В следующий понедельник фоторепортаж был опубликован. Я говорю «фоторепортаж», потому что просто не знаю, каким еще термином назвать свершившееся бесчинство. Фотографии действительно были, что касается «репортажа», он состоял из нескольких подзаголовков и короткого абзаца, причем текст никак не раскрывал содержания фотографий. Всего их было три. На одной мистер Флориан, маленький седой согбенный старец, танцевал с кем-то из девочек, а вокруг него лихо отплясывали другие девчонки, и вид у них был неряшливый и диковатый. Такой контраст вызывал только смех. Второе фото запечатлело группу ребят, они стояли и лениво курили, на лицах отпечатались порок и развращенность. Третье показывало столовую во время обеда — казалось, тюремная «столовка» выглядит лучше. От этого «фоторепортажа» разило ужасной мерзостью, при виде его меня едва не затошнило, а в учительской я застал всеобщее негодование — слишком зло подшутили над школой газетчики. Миссис Дру объявила, что на первой перемене директор просит всех зайти к нему.

Детей такая реклама ничуть не огорчила, наоборот, они считали, что репортаж удался на славу. Что касается снимка с сигаретами, ребят, как выяснилось, соблазнили позировать. Мы, конечно, знали, что кое-кто в школе покуривает, но из фотографии следовало, что курят они открыто и вместе. Им было неважно, что изображено на фото, главное — напечатали, и многие даже поехали куда-то к черту на кулички, чтобы достать побольше экземпляров этого номера. Наверно, если у ответственных за публикацию и были какие-то угрызения совести, повышенный спрос на газету с этим «шедевром» надежно рассеял все сомнения.

Никогда еще педсовет не проходил так бурно. Все до одного восприняли «репортаж» как личное оскорбление. Что до Старика, он был глубоко опечален происшедшим.

— Когда я согласился, чтобы о нашей школе напечатали в газете,— сказал он,— имелось в виду, что это будет честная и объективная информация о различных сторонах нашей деятельности. Они обещали, что так и поступят, и я им поверил. Для написания статьи я дал репортеру тщательно подготовленный обзор всей нашей работы в школе. И что же? Они сделали все, чтобы очернить нас и высмеять. Они сыграли на руку тем, кто поливал нас грязью, ничего толком о нас не зная. Теперь наши недруги могут ткнуть пальцем в эти фотографии и сказать: «Камера не лжет».— В волнении он закусил нижнюю губу, эта странная привычка проявлялась, когда он принимал что-то близко к сердцу.— Не знаю, могу ли я призвать их к ответу за клевету.

— Да, идея, конечно, была довольно опрометчивой,— высокомерно заметил Уэстон, мгновенно забыв, как он сам голосовал за нее обеими руками.

— Согласен, мистер Уэстон,— безропотно ответил директор.— Это было очень опрометчивое решение, и вся вина лежит на мне.

— Как не стыдно, Уэстон,— воскликнула Клинти.— Вы были от этой идеи в восторге, как и все остальные.

— С вашей стороны, мистер Уэстон, не совсем честно говорить сейчас такое. В восторге были все, за исключением, пожалуй, мистера Брейтуэйта... да и у него были возражения личного порядка.

— Интересно, куда они подевали остальные фотографии? — спросила Грейс.— Я у себя наверху столько времени убила — и так девочек усаживала, и сяк.

— Ясно, все обычное, нормальное им было ни к чему. Кому интересно читать, как обыкновенные дети делают обыкновенные вещи? Зато как интересно написать об инкубаторе, где выводят кретинов, подонков и малолетних преступников! То-то ничего не подозревающий мир подивится!

— А вы почему возражали, мистер Брейтуэйт? — повернулась ко мне мисс Филлипс.

— Просто не хотел, чтобы меня выставляли напоказ, как какую-то диковинку.

— А разве вы не диковинка? Много ли вы встречали в Англии учителей-негров? — Уэстон был прав и знал это.

— Если интересно мое мнение, Уэстон, то смотреть на меня как на диковинку могут только дураки, которые считают: раз у меня темная кожа, значит, я хуже моего белого коллеги. Я учитель, и во мне нет ничего странного или диковинного. Репортер же, как я понял, заинтересовался возможностью показать учителя-негра с белыми учениками — отличная приманка для обывателей! А моя работа с ними, как я ее делаю — это ему было безразлично. И вот поэтому, и только поэтому, я возражал.

— Не унывайте, Уэстон,— поддела его Клинти.— Газет много, ваша очередь еще придет.

— Меня по крайней мере на посмешище не выставили,— пробормотал он. Все поняли, что это камень в огород Старика.

— Это не ваша вина, любезный,— парировала Клинти.— Что поделаешь, если вы не умеете танцевать.— Ох уж эта неукротимая Клинти, последнее слово всегда оставалось за ней.

Вдруг заговорила Джиллиан. На педсоветах она всегда молчала, да и на разговоры в учительской смотрела как на пустую болтовню — таковыми, в сущности, они и были. Поэтому теперь все повернулись к ней.

— Я немножко знаю, как делаются газеты, и, мне кажется, не следует поспешно сваливать вину за этот репортаж на репортера и фотографов. Что печатать, а что — нет, зависит не от них. На то есть редактор, он решает, какая часть материала пойдет в газету. А его решения в основном определяются вкусами читателей. Насколько я знаю, в определенных кругах нашу школу часто критикуют, и этот репортаж, как ни прискорбно,— воплощение такой критики. Скажу только, что к завтрашнему дню читатели о репортаже навсегда позабудут — может, вам станет легче.

— Спасибо, мисс Бланшар.— Впервые за все собрание директор улыбнулся.

Вскоре завязался общий разговор, и тяжелая, мрачная атмосфера постепенно рассеялась.

— Сэр, а не пора ли готовить рождественский вечер? — спросил кто-то. Жизнь шла своим чередом.

Шестого декабря на первом уроке не было Силса, и я отметил его как отсутствующего. Но перед самым звонком он объявился и быстро подошел к моему столу.

— Извините, учитель, но я сегодня не могу быть на уроках, утром умерла моя мама, и надо помочь отцу.

Он хотел казаться сильным и взрослым, но не выдержал — лицо его сморщилось, и он заплакал, как маленький мальчик. Я быстро

поднялся и посадил его на свой стул. Он не сопротивлялся, лишь тихо всхлипывал, обхватив голову руками.

Я сказал о случившемся классу. Они встретили это известие тягостным молчанием, охваченные порывом жалости и сострадания. Некоторые заплакали.

Я как мог успокоил Силса и отправил его домой. Потом пошел сказать директору.

После перерыва, когда начался урок истории, поднялась Барбара Пегг. От имени класса она объявила мне, что они договорились собрать деньги на венок или просто букет цветов, чтобы послать его Силсу домой. Я сказал, что не возражаю, если и мне позволят внести свою лепту. Мы знали, что похороны назначены на субботу. К пятнице у Барбары набралось два фунта. Я был очень рад, и после уроков мы стали думать, какие цветы купить и у какого цветочника. Потом я спросил:

— А кто отнесет цветы?

Их реакция была для меня холодным душем. Атмосфера дружелюбия и взаимопонимания мгновенно испарилась, уступив место настороженному антагонизму, с каким я столкнулся в первый день занятий. Между нами словно возникла плотная прозрачная завеса.

Что это значит? Я вдруг перестал быть своим, меня почти возненавидели, но откуда такая внезапная перемена?

— Что с вами? — Я не узнал своего голоса.— Чем вас так взволновали цветы?

Поднялась Мойра.

— Мы не можем отнести их, учитель.

— Не понимаю, мисс Джозеф. Как это не можете?

Она быстро оглянулась, словно ища поддержки у класса.

— Люди-то что скажут, если увидят, что мы входим в дом цветного.— Она села.

Вот оно что. Я почувствовал себя слабым и беспомощным, чужим среди них. Все недели и месяцы прекрасного содружества были перечеркнуты этими несколькими словами.

Все впустую — уроки, рассказы, личный пример, терпение, заинтересованность. Все это без толку. Как и обыватели в поездах и автобусах, они видели только цвет кожи, а не человека под этой кожей. Силс родился с ними, с ними вырос, они вместе играли. Его мать была белой, англичанкой до мозга костей.

В голове застучали знакомые до отупения фразы. Цветной мальчик с белой матерью, вест-индский мальчик с матерью-англичанкой. И только так. Никогда я не слышал: «Английский мальчик с негром-отцом, с отцом вест-индцем». Нет, как можно, ведь тогда подчеркивается принадлежность к ним, англичанам.

Это была какая-то эпидемия, и дети, которых я любил, невзирая на цвет кожи или происхождение, тоже были заражены этим отвратительным вирусом, он влиял на их миропонимание, искажая все, что было не белым или не английским.

Мне вспомнились слова Уэстона: «Они же кретины, холодные, как камень, у них нет абсолютно ничего святого».

Глубоко оскорбленный, я повернулся и вышел из класса. Хотелось с кем-то поговорить, но с кем? Ведь они все белые, даже Джиллиан, и что они могут мне сказать? Может, будучи лучше воспитанными и образованными, они лучше замаскируют свои чувства, спрячут их за красивыми словами, но и только.

Я направился в кабинет директора. Он слушал меня, и на его лице отражались глубокая человечность и сочувствие, так ему присущие.

— Я рад, Брейтуэйт, что это произошло. Вы будете только в выигрыше.

— Почему, сэр?

— Видите ли, мне кажется, вас слишком обнадежили быстрые

результаты. В конце концов, мы занимаемся не только академической подготовкой наших учеников, мы должны научить их жить в обществе, делиться друг с другом, заботиться, помогать. Им это нелегко.

Опять то же самое, подумал я. Что бы эти маленькие мерзавцы ни делали, они всегда правы. Даже сейчас. Неужели он способен понять лишь одну точку зрения — ту, что защищает их?

— Не знаю, мистер Флориан, трудно им или легко, но Силс — один из них, он вырос вместе с ними, он им не чужой, как я.

— У местных жителей очень сильные религиозные и расовые предрассудки, к тому же очень давние.

— Может, и так, сэр, но миссис Силс — белая. Она родилась здесь, работала в местной прачечной вместе с родителями других наших учеников. Ее знали не меньше, чем ее сына.

Я начинал сердиться — он пытается их оправдать.

— Думаю, ваш успех в классе мешает вам трезво смотреть на вещи. Ребята очень любят Силса, не сомневаюсь, но за пределами школы все гораздо сложнее, и мне кажется, Силс скоро в этом убедится.

— Но, мистер Флориан...

— Будьте терпеливы, Брейтуэйт,— сказал он поднимаясь.— Сколько вы у нас работаете? С мая, около семи месяцев, а добились уже многого. Проявите терпение. Может быть, на следующий год, через год — кто знает? А пока возвращайтесь в класс и проявите терпение и добрую волю.

Этот маленький человек, стоило ему заговорить, сразу становился больше и значительней. Природа, исковеркав его внешний облик, наградила его праведностью, глубоким терпением и мудростью, и более солидные и представительные фигуры рядом с ним казались карликами.

Выйдя от него, я минуту-другую постоял в коридоре, пытаясь справиться с нахлынувшими на меня чувствами. Отношение этих детей и их родителей к Силсу было мне хорошим уроком. Я вошел в класс.

Там стояла тишина. Я хотел что-то сказать, но слова застревали в горле. Со своего места поднялась Жаклин Бендер.

— Учитель, вы, наверно, неправильно нас поняли. Мы ничего не имеем против Силса. Мы любим его, честное слово, но если люди увидят, что кто-то из нас, девочек, пришел к нему домой, вы не представляете, какие пойдут разговоры. Нас обвинят в таком, что подумать страшно.— И она села, видимо затратив слишком много энергии на эту длинную речь.

— Спасибо, мисс Бендер, теперь все более или менее ясно. А к ребятам сказанное тоже относится?

Отчужденности не было — они просто отвели глаза.

— Я отнесу цветы.— Это поднялась Памела, высокая и горделиво-величественная.

— Зачем, мисс Дэр? Разве вас не пугает общественное мнение?

— Нет, учитель, сплетен я не боюсь. А Ларри, то есть Силса, я знаю еще с детского сада.

— Спасибо, мисс Дэр. Похороны назначены на десять утра. Я приеду своим обычным автобусом, так что мы, наверно, там увидимся. Спасибо.

Ее слова меня обрадовали и ободрили; немного успокоившись, я возобновил урок.

В субботу я выехал из Брентвуда ранним автобусом. Забрался наверх, на открытую площадку, и сел на заднее сиденье. Мне не хотелось ни с кем общаться, смотреть на кого-либо или привлекать чье-то внимание. Я ушел в себя и желал одного — быть от белых людей как можно дальше. Столько сил я положил на этих детей, отдал

им часть себя — бесполезно! Все кончилось тем, что в оправдание своего поведения они выдвинули избитую формулу, так хорошо знакомую их отцам и дедам: «Лично против него мы ничего не имеем, но...» Сколько раз я это слышал! Будь ты сутенер или гомосексуалист, кретин или убийца — не страшно, лишь бы ты был белый. И никакие благородство, ум и воспитание не избавят тебя от самого страшного греха — родиться с черной кожей.

А какие сладкие речи произносились в колледже! Какие умные и убедительные! Разговоры об общем наследии и неотъемлемом праве были просто прекрасными! Все гладко и просто, но как только требовалось что-то сделать в подтверждение этих слов, аккуратно построенное здание рушилось и разваливалось, потому что оно, как и его строители, было из непрочного материала. Распять его за то, что он черный! Линчевать его за то, что он черный! Поставить его вне закона за то, что он черный!

Рев и стук движущегося автобуса ритмично нагнетали гнев в моем сердце, он превращался в пульсирующую ненависть — у меня даже закружилась голова. Перед зданием лондонской больницы я вышел и зашагал в направлении Коммершэл-роуд и Приддл-стрит, где жил Силс. Свернув в узкий переулок, я увидел безвкусно украшенный похоронный фургон и группу любопытных, которые всегда собираются, чтобы поглазеть на несчастье других. И вдруг я замер. Свежая волна смыла всю скопившуюся во мне ненависть, злость и неверие. В глазах появились слезы, но я и не думал их скрывать, потому что в стороне, ближе к дому Силса, отдельной группой стоял весь или почти весь мой класс, мои дети, торжественные и смущенные, в лучшей одежде. О господи, прости мои злобные мысли, потому что я люблю их, этих грубых, но таких притягательных зверьков, я люблю их...

Я поспешил к ним, чтобы снова соединиться, слиться с ними. Молча поздоровавшись, они столпились вокруг, глаза их светились гордостью. В руку мне сунули что-то мягкое. Обернувшись, я встретил ясный светлый взгляд Памелы Дэр и вытер глаза ее платком.

Глава 21

Наступил конец семестра. После демобилизации из ВВС я никогда еще не был так счастлив. Моя жизнь была полна работой, полна Джиллиан. День ото дня мы становились все ближе друг другу, потому и мир вокруг нас становился богаче и интереснее. Как было условлено, я познакомился с ее родителями. Эти несомненно милые люди из-за меня попали в очень сложное положение, но старались не терять достоинства и вести себя как подобает «цивилизованным» людям. С детства они воспитывали в дочери самостоятельность — в образе мышления, в поведении — и теперь не пытались как-то повлиять на нее. К тому же они безмерно ее обожали, и счастье дочери было для них превыше всего на свете. Я, пожалуй, держался с ними несколько замкнуто, все ждал — вот сейчас проявится их враждебное или покровительственное отношение. Они тоже были слегка не в своей тарелке.

Сторонники расового неравенства очень любят задавать вопрос: «А вы отдали бы свою дочь за негра?» В Англии мне часто приходилось говорить на эту тему, и английские родители, надежно застрахованные от такой перспективы, без всяких колебаний утверждали, что, конечно же, их чада могут выходить замуж за кого им вздумается, но сама быстрота их ответа заставляла усомниться: а так ли это? И вот теперь этим милым людям, родителям Джиллиан, приходилось отвечать на этот вопрос не вообще, а по весьма конкретному поводу. Все у них было в порядке, дела шли неплохо, имелись

связи и обязанности, соответствующие их положению в обществе. Я задал им нелегкую задачу и в душе очень им сочувствовал.

До встречи с Джиллиан я никогда не думал, что могу связать жизнь с белой женщиной, да мне этого и не хотелось. У меня были белые подруги, некоторых я знал довольно близко, но мысль о женитьбе на ком-то из них никогда не приходила мне в голову. Я ничего не имел против них, нет, это были симпатичные, умные, общительные девушки. Просто я знал, что к смешанным бракам общество относится с глубоким предубеждением. И вдруг словно гром грянул — я встретил Джиллиан, и все мои логические построения рассеялись как дым. С первой встречи она вошла в мою жизнь так естественно и гармонично, что будь она синяя или зеленая — это ничего бы не изменило. Мы оба верили, что созданы друг для друга, и никого и ничего не желали слушать. Но мы согласились, что ее родители, как и мои, имеют право обо всем узнать заранее. И вот я предстал перед ними, опасаясь, не будут ли они вмешиваться в нашу жизнь?

Мы вместе пообедали, поболтали о том и сем. Они расспрашивали обо мне, моих родителях, об образовании и службе в армии, о планах на будущее. Кажется, мои ответы их удовлетворили, но что-то оставалось недоговоренным, не хватало катализатора, который помог бы нам сблизиться.

Позже мы перешли в гостиную, уселись возле веселого каминного огонька и закурили, мистер Бланшар заговорил о Южной Америке. До войны он по делам службы бывал в южноамериканских государствах и на островах. В частности, на Арубе.

Арубу я знал очень хорошо, потому что после университета работал там технологом на нефтеочистительном заводе в Сан-Николасе по контракту с фирмой «Стандард ойл». Мы беседовали об этом острове, его людях, экономическом значении в нефтяном мире — в Сан-Николасе большая естественная гавань, а не так далеко, в Маракайбо, есть богатейшие залежи нефти.

— Местные жители говорят на каком-то странном языке. Что это за язык? — спросил он.

— Папиаменто. Это местный говор, состоит из смеси голландского, испанского и диалекта аборигенов-индейцев. В последнее время в него проникают даже американизмы.

— Вы говорите на этом языке? — поинтересовалась миссис Бланшар.

— Вполне сносно. Главное — знать испанский, остальное просто.

— Помню, как-то в Ораньестаде я видел, как местные жители ездят на маленьких осликах,— продолжал мистер Бланшар.

— Они называются буро.

— Да, верно, буро.

— Жители Арубы — люди степенные, держатся с достоинством.

Ни к чему не обязывающая болтовня, только бы отдалить серьезный разговор насчет Джиллиан и меня.

— А какой прекрасный клуб на Лаго-Хайтс,— сказал я.

— Да, я играл там в баскетбол и волейбол.

— Настоящая мужская игра.

— Это ведь город мужчин. Везде мужчины, мужчины и снова мужчины.— Вдруг он засмеялся, вспомнив что-то забавное.— Hija del Dia,— сказал он.

Я уставился на него, мысленно благодаря бога, что он наделил меня темной кожей — она скрыла краску, заливщую мое лицо.

— Вы помните? — настаивал он.

Его жена и Джиллиан переглянулись.

— О да,— пробормотал я, делая ему глазами знак сменить тему.

— Да вы не беспокойтесь, я им об этом рассказывал.

Боже мой, эти англичане — удивительные люди! Как могут порядочные люди рассказывать об этом, слушать это?

— А внутрь вы когда-нибудь заходили? — Мое смущение его явно забавляло.

— Нет, я обходил это место стороной.

— А очереди помните? — И, предавшись воспоминаниям, он затрясся от смеха. Сейчас он стал самим собой, забыл, что нужно взвешивать, оценивать, присматриваться. Именно этот катализатор и был нам нужен — общие воспоминания об Арубе, мужском клубе и очередях.

Более длинных очередей я за свою жизнь не видел и, уж конечно, никогда их не забуду. В них стояли мужчины, старые и молодые, белые и черные, одни в чистой, свежей одежде, другие прямо после восьми часов работы — в пропитанных грязью и потом спецовках. Кто-то болтал с соседом, кто-то молчал, но все терпеливо ждали, когда подойдет очередь, и они войдут в большое, выкрашенное яркой краской здание, где за высокую плату продается самый дефицитный на острове товар — женщины.

Для таких, как я, еще не отвыкших от удобств нормальной американской жизни, тяготы бытия на Арубе переносились легко и даже казались романтичными, потому что терпеть их приходилось недолго. Вопрос поставок был решен на современном уровне, и арубские магазины были завалены продуктами не только консервированными — фрукты, овощи, мясо вынимались из огромных холодильников свеженькими, в хрустящей упаковке. На острове росли только кактусы, гигантские кактусы с колючками по десять — двенадцать сантиметров — очередная шутка природы, ведь на Арубе не росла даже трава. Даже пресную воду на остров привозили в специальных танкерах — одряхлевшая водоочистительная станция острова перерабатывала морскую воду в безвкусную, чуть солоноватую, идущую на все нужды жидкость и со спросом уже не справлялась.

Но по-настоящему не хватало женщин. Нефтеочистительный завод, который был построен американцами и принадлежал им, дал работу десяткам тысяч белых и цветных американцев, жителей Карибских островов и Южной Америки, и местному населению. День и ночь эти тысячи текли через ворота нефтеочистительного завода нескончаемым потоком — работа велась в три смены. Они наводняли магазины, рестораны, винные погребки и кафе.

А женщины были большой редкостью. Никто не подумал, где разместить семьи мужчин, приехавших на заработки из дальнего далека, вплоть до Монтевидео. Сами они жили как сельди в бочке, в крохотных, наспех сколоченных клетушках, с общей столовой и уборной. Правительство Арубы проявило дальнозоркость и практичность и разрешило (а может, и предложило) принять меры для смягчения тягостной ситуации. На остров разрешили въезд проституткам. Это были невинного вида юные создания, приезжали они из разных портов и крупных городов континента на две недели и после нестрогого медицинского обследования брались за свое ремесло. Привозил их внутриостровной пароход, заходивший в Сан-Николас два раза в месяц и прозванный вскоре «мясокомбинатом». Почти всех женщин селили в большом вычурном здании недалеко от главных ворот завода, на здании висел огромный щит с надписью «Hija del Dia» — «Лучшая девушка дня», и как только проходил слух, что «приехал мясокомбинат», возле дома выстраивались очереди мужчин, они шутливо поторапливали уставших за две недели барышень и с энтузиазмом приветствовали новеньких.

Я взглянул на мистера Бланшара, пытаясь представить его в этой очереди. Словно прочитав мои мысли, он улыбнулся и сказал:

— Я тоже не был внутри. Я приезжал на Арубу на два дня, по делам англо-голландской фирмы «Шелл» в Ораньестаде. Приятель предложил съездить в клуб «Лаго» чего-нибудь выпить, тогда я и увидел это своими глазами. Господи, чего только не встретишь в жизни! Никогда не забуду эти очереди.

В воскресенье после обеда мы наконец-то сели поговорить на тему, которая не давала всем нам покоя. Родители Джиллиан высказали свое мнение очень откровенно. Мистер Бланшар сказал:

— Не буду ходить вокруг да около, Рики. Когда мы с матерью впервые услышали, что Джиллиан встречается с вами, мы с ней решили не вмешиваться, думали, что просто увлечение и скоро оно пройдет. Но когда Джиллиан написала, что хочет привезти вас познакомиться с нами, мы поняли: ваши отношения куда серьезнее, чем нам казалось. Мы хорошо знаем дочь, Рик, и нам стало ясно, что речь идет о чем-то очень для нее важном. Теперь мы видим, что так оно и есть.— Он поднялся, раскурил трубку и сел на ручку кресла Джиллиан.— Не скрою, даже сейчас мы предпочли бы, чтобы Джиллиан полюбила человека с тем же цветом кожи, что у нее самой. Для нее, да и для нас все было бы проще. Я всегда считал, что свободен от предрассудков, расовых или любых других. Но теперь, когда дело коснулось меня лично, я знаю — я бы постарался расстроить этот брак, будь я уверен, что мне это удастся. Ведь речь идет не только о вас двоих, Рик. У вас могут быть дети. Какая судьба их ждет? Кому они будут нужны?

Я сидел и терпеливо, с должным уважением внимал ему — он старше меня, а главное, он отец Джиллиан. И вот, пожалуйста, этот добрый и уверенный в себе человек прибегает к тем же набившим оскомину отговоркам и сентенциям, бьет ниже пояса. Сколько раз я все это слышал!

— Думаю, мистер Бланшар, вопрос о детях мы с Джиллиан решим сами,— возразил я как можно спокойнее.— Если мы поженимся, надеюсь, дети у нас будут и они будут нужны нам.

Я взглянул на Джиллиан — согласна ли она со мной, прав ли я, говоря за двоих. Она улыбнулась мне глазами, губами и сердцем — она со мной.

— Не беспокойтесь о нас или наших детях, сэр. Наверно, в свое время и вы не могли гарантировать миссис Бланшар, что дети ее будут крепкими, здоровыми и нормальными. Мы рискнем, хотя я прекрасно понимаю, что иметь цветных внучат вам будет не очень приятно.

При этих словах он вспыхнул, но решимость оставаться цивилизованным человеком взяла верх. Он поднял руку — не стоит разжигать страсти.

— Давайте не будем горячиться, молодой человек, свою точку зрения вы уже высказали. Не забывайте, что Джиллиан — наша дочь и, выйдя за вас, все равно ею останется.

Я сидел и ждал, что он скажет дальше.

— Я говорю вам все это на трезвую голову, как ее отец. А как отнесутся к вашему браку остальные? Они могут не пожалеть желчи. Я хочу, чтобы вы оба хорошо поняли, какой ответственный шаг собираетесь сделать.— Он вдруг улыбнулся мне и продолжал:— Вы нравитесь нам, Рик, и мы верим, что все у вас с Джиллиан будет хорошо. Все же нам кажется, что лучше немного подождать, минимум полгода, а уж потом окончательно связывать свои судьбы. За это время вы привыкнете друг к другу, к совместному общению с людьми. И вот еще что,— сказал он поднимаясь,— раз уж вы вступаете в нашу семью, не худо бы нам подружиться, а? — С этими словами он протянул мне руку, и я пожал ее.

— Спасибо, сэр,— сказал я.

Глава 22

Вскоре после встречи с родителями Джиллиан к нам в класс пришел районный агент по трудоустройству молодежи. Он рассказал, что в районе есть предприятия, куда выпускников нашей школы охотно возьмут на работу. Речь шла главным образом о ткацкой и мебельной фабриках. Но еще до его прихода агитационную кампанию провели мамы и папы, братья и сестры, дяди и тети, они давно трудились на этих фабриках и очень хотели, чтобы дети работали рядом.

Кое-кто из класса подыскал себе работу младшего конторского служащего за пределами района. Силса взяли учеником в крупную электротехническую компанию в Миддлсексе. Фернман застолбил себе место курьера в радиотелефонной компании. Тича Джексона обещали устроить коридорным в большом лондонском отеле. Поттер собрался идти работать на рынок «Ковент-Гарден». Денэм решил, что будет сам себе хозяином, заведет свое «дело», и отец взялся помочь ему стать уличным торговцем. Памела и Барбара хотели идти ученицами в ателье готового платья в фешенебельной части города, и мать Памелы была убеждена, что со временем Памела станет манекенщицей; внешность, фигура и осанка — все при ней. Короче говоря, птенцы разлетались на все четыре стороны.

В свое время они не могли дождаться, когда наконец уйдут из школы, станут зарабатывать деньги и смогут их тратить по своему усмотрению. Но теперь, когда день прощания со школой неумолимо приближался, они были подавлены, их пугала перспектива сидеть где-то от звонка до звонка и подчиняться приказам начальства. Но жизни они не боялись. Их страшила не сама река, а необходимость сделать первый шаг, броситься в эту реку. Они знали — плавать они умеют. Сильные, бесстрашные, полные задора и энтузиазма — этого достаточно, чтобы не пойти ко дну. Наверно, придется подлаживать силу гребков, следить за дыханием, может, течение или препятствие даже заставят сменить курс — но всего этого они не боялись.

Мы стали еще ближе друг другу. Времени оставалось совсем мало, и они спешили высказать все, что копилось у них в душе. Последнюю неделю отсутствующих в классе не было.

Одна девочка даже попросила разрешения принести в школу свою крохотную сестричку — ее мама уходила к зубному врачу. Малышка мирно лежала в коляске, и временами, ко всеобщему удовольствию, оттуда доносилось ее гуканье.

Мы разговаривали. В этой атмосфере общего возбуждения формальные уроки были невозможны, и мы просто разговаривали. Особенно их интересовали отношения между разными народами. Я не мешал им высказывать свое мнение и часто искренне поражался меткости их суждений.

Они выросли в районе, где обитали представители разных рас, но это ничего не изменило. Некоторые из них жили на одной улице и даже в одном доме с неграми или индийцами, но, повинуясь родительскому запрету, не удостаивали их и словом. Другие, когда были малышами, младшеклассниками, дружили с цветными детьми, но при первых признаках полового созревания этой дружбе приходил конец.

Они спрашивали меня: как улучшить межрасовые отношения в их районе, что могут сделать они сами? Я напоминал им, что мы узнали о людях, территориях и многом другом из курсов истории и географии. Старался показать, что люди не привязаны к определенной территории только из-за цвета кожи, что во всех частях света живут представители различных рас. И где бы они ни оказались, люди при желании могут уживаться друг с другом.

Ничего специального для негра, индийца или еще кого-то делать не надо, говорил я, ведите себя с ними так же, как с любым незна-

комым англичанином. Не проявляйте к ним особой благосклонности или, наоборот, недоброжелательности, будьте с ними просто учтивыми и вежливыми — именно так должны относиться друг к другу нормальные люди.

Я объяснил им, что, сейчас в Англии люди с небелой кожей пытаются сами улучшить свое положение — мало жаловаться, что с ними обращаются несправедливо, мало полагаться на заинтересованные стороны, выступающие от их имени. Они действуют сами и хотят показать, что действительно чего-то стоят, что не теряют достоинства и чести, хотя и сталкиваются с трудностями.

В среду на перемене ко мне в класс впорхнула Клинти. На лице ее играла лукавая улыбка, как у кошки, только что слопавшей канарейку.

— Как делишки, Рик?

Я пробормотал что-то в ответ. В чем дело? Что еще взбрело на ум этой хорошенькой лондонке?

— Слышала, в конце следующего семестра мисс Бланшар от нас уходит,— весело объявила она. Я взглянул на нее. Это что за новости? Ничего такого Джиллиан мне не говорила.

— Откуда вы это взяли? — Я постарался скрыть удивление.

— Старик составлял штатное расписание на следующий семестр и проводил опрос. Так вот она сказала, что еще семестр здесь проработает, а насчет дальнейшего обещать ничего не может.— Она взгромоздилась на свое любимое место, край моего стола.

— А по какой причине, она не сказала? — Ведь мы с Джиллиан договорились, что о наших делах — никому ни слова, чтобы никаких пересудов в учительской.

— Наверно, сыта трущобами по горло,— прострекотала Клинти.

Я с облегчением улыбнулся. Милая моя Джиллиан.

— Вы ее не любите, да, Клинти?

— Ничего против нее я не имею, не раз встречала таких вот надменных. В общем, скучать по ней не буду.

— А мне, Клинти, она кажется очень приятной и умной особой.

— Я это заметила,— поддела Клинти.— Что ж, уйдет она, и придется довольствоваться тем, что есть,— особами обычными и ничем не примечательными.

— Не надо наводить тень на божий день, Клинти. Вы все здесь — милые люди. Или почти все.

Она улыбнулась, и я переменил тему:

— Кстати, а какова дислокация войска на завтра?

— Праздник будет хоть куда! — ответила она.— В столовой решено закатить рождественский обед. Старик хочет, чтобы на нем были все, так что, боюсь, ваша скромная трапеза тет-а-тет завтра не состоится.

Я засмеялся. Знала бы она, как все обстоит на самом деле! Мы еще поговорили о программе на ближайших два дня, и со звонком она вышла. У меня опять возникло чувство, что пришла она с чем-то другим, но сказать это другое не представилось случая. Может, оно и к лучшему.

В четверг утром я своих питомцев почти не видел. Девочки в классе домоводства готовили стол для рождественского пиршества. Ребят подрядила Грейс, они чистили миски и сковородки, что-то все время таскали. Разочек мне удалось к ним заглянуть — работа кипела и спорилась. Молодцы! Примерно в двадцать минут первого они ввалились в класс и столпились вокруг меня. До звонка на обед мы весело болтали.

Вид у столовой был нарядный: на окнах и вдоль стен висели бумажные цепи и воздушные шары. Повара приготовили угощение на славу: свиная отбивная, печеный картофель, закуски. На сладкое был подан бисквитный торт — дети его обожали. Прочитав короткую

молитву, директор сделал какой-то знак, и в дверях в дальнем конце зала появились две девчушки, они несли огромный завернутый в целлофан букет цветов. Под вопросительными взглядами притихших школьников они прошли прямо к миссис Дру. Передав ей букет, они сделали трогательный реверанс и быстро убежали.

Это была дань уважения нашей грациозной миссис Дру — наверно, тут не обошлось без подсказки директора. Миссис Дру густо покраснела. Кто-то закричал: «Просим выступить!» — и клич этот был подхвачен всеми. Со свойственным ей горделивым достоинством она поднялась, готовая, казалось, обратиться к школе с речью, но мужество вдруг покинуло ее, она сказала лишь: «Большое спасибо» — и под бурные аплодисменты села на место.

В три часа в зале начался праздник для младших классов. Не скажу, что он мне понравился. Как и столовая, зал был разукрашен бумажными цепями, шарами и выглядел празднично, но дети, особенно кто помладше, своим поведением испортили все. Они накинулись на угощение, словно голодные волки, хватая со стола все подряд и крича друг на друга. Обслуживали их ребята постарше, и даже их такая грубость и невоспитанность обескуражила. Некоторые надкусывали печенье или кусок пирога и тут же бросали на стол — до чего отвратительно! Мистера Флориана эта шумная вакханалия, казалось, ничуть не огорчала, он спокойно расхаживал среди ребятишек, помогая то одному, то другому — видимо, ничего иного он от них и не ждал. Этот ураган смел со стола все съестное в мгновение ока, и когда детвору распустили, я вздохнул с облегчением.

Все мы тут же принялись за уборку, убирать было что. Старшие ребята принесли из кухни веники, тряпки и ведра с водой, вскоре на столах был наведен порядок, а полы снова заблестели. Мои питомцы старались вовсю, ведь в шесть часов начинался их вечер — вечер старшеклассников. В углу составили несколько столов для напитков и закусок, наготове был проигрыватель с пластинками — каждый мог принести любимые пластинки из дому. На вечер пригласили несколько бывших выпускников и выпускниц школы, и все ждали шести часов с нетерпением.

Около четырех часов ребята стали расходиться по домам — принарядиться. В коридоре ко мне подошла Памела.

— У меня к вам просьба, учитель,— сказала она.— Потанцуете со мной сегодня?

— С удовольствием, мисс Дэр,— ответил я.— Только не джайв, кажется, я для него слишком стар.

Она звонко засмеялась:

— Хорошо, учитель, я принесу пластинку специально для вас. Обещаете?

— Обещаю, мисс Дэр.

— И еще, учитель...

— Да?

— Пожалуйста, называйте меня Памелой, ну, хоть этот вечер.

— С удовольствием, Памела...

К приходу учеников все учителя до одного были на месте. Первыми пришли Денэм и Поттер, свеженькие и расфранченные, в лучших костюмах и надраенных до блеска туфлях. За ними явился Тич Джексон в сопровождении брата, высокого симпатичного юноши, который закончил «Гринслейд» в прошлом году. Потом пришла группа ребят: Силс, Фернман, Бакли, Сапиано и Уэллс, они смущенно улыбались и держались вместе. Но вот на лестнице послышалась шумная болтовня, задорный смех — и в класс ворвались девочки, от них, словно от горных фиалок, веяло чистотой, свежестью, радостью. Они долго готовились к этому дню, откладывали деньги на покупки, и результаты превзошли все ожидания. Яркая помада, модные высокие

каблуки — они ничуть не уступали своим более обеспеченным сверстницам, и смотреть на них было одно удовольствие.

Мойра Джозеф надела строгое облегающее черное платье с длинными зауженными рукавами, без всякой отделки. Коротко остриженные волосы, густые брови, алая помада — Мойра выглядела утонченной молодой дамой, стройной, элегантной и знающей себе цену. Барбара Пегг надела кружевную блузку в обтяжку и широкую юбку со сборками — этот туалет подчеркивал обаяние молодости и чудесно оттенял ее веснушки.

Но царицей бала стала Памела, новая, прекрасная, взрослая Памела. Волосы ее были высоко подхвачены на затылке блестящей лентой из темно-зеленого шелка, откуда они ниспадали на правое плечо мягкими волнами. Очаровательная точеная шея, на ясном лице алел красиво очерченный рот. На ней было платье из темно-зеленой шерсти, оно мягко облегало плечи, талию и грудь и взрывалось книзу широким колоколом. Когда Памела шла, это платье творило с ней чудеса. А на ногах — туфли из зеленой кожи. Она была ослепительно красива, и я загляделся на нее в восхищении. Этот шедевр наверняка создавался искусными мамиными руками.

— Вот это да! — воскликнула Джиллиан.— Настоящая красавица! — В голосе ее слышалось нечто вроде поклонения. Памела направилась прямо к нам.

— Добрый вечер, учитель. Добрый вечер, мисс.

— Добрый вечер, Памела,— ответили мы в один голос.

— Вы не забыли свое обещание, учитель? — спросила Памела, глядя мне в глаза.

— Нет, Памела, не забыл.

— Тогда увидимся.— И она подошла к кому-то из подруг.

— Меня она даже не заметила,— тихо сказала Джиллиан.

— Что значит не заметила, она сказала «добрый вечер» нам обоим,— возразил я.

— Да, но для нее меня здесь просто не было, понимаешь, не было.— Голос ее чуть дрожал, я даже повернулся к ней: откуда такое волнение? Она перехватила мой взгляд, улыбнулась и взяла меня за руку.— Какое счастье, Рик, что я нашла тебя первая,— прошептала она, не заботясь о том, что на нас могут смотреть.

Скоро зал был почти заполнен смеющейся молодежью. Мне представили несколько бывших выпускников, приглашенных на торжество — Джекки Фишер, Джуни Торп, Ада Филлипс, близнецы Пити и Морин Блор, их представила сестра, моя ученица Энн. Морин пригласила меня к себе на свадьбу, на День Благодарения.

Вечер прошел чудесно. Мы танцевали, играли в забавные детские игры, и преподаватели резвились не меньше учеников. Даже Уэстон позабыл о своей маске и смеялся и шутил с ребятами вполне искренне. Танцевать он не умел, но вызвался отвечать за музыку, и роль распорядителя вечера пришлась ему по душе. Позже он угостил меня сигаретой, мы даже мило поболтали. Общее благодушие передалось и ему; может, он останется таким весь следующий семестр?

Почти все танцы я танцевал с Джиллиан. Рядом с ней я был спокоен и счастлив. Наверно, только слепой мог не видеть, что мы влюблены. Вальс Штрауса я танцевал с Клинти, и она сказала:

— Вы из-за нее совсем голову потеряли, да, Рик?

— Из-за кого?

— Ладно, бросьте. Из-за мисс Бланшар, кого же еще?

Не только Клинти, но и все остальные называли Джиллиан «мисс Бланшар» — никак иначе. Видимо, что-то в ней удерживало их от сближения.

— Так что вы о ней сказали?

— Ладно, Рик. Намек поняла. Но если между вами то, что мне кажется, вам здорово подфартило.

Я рассмеялся. И пусть, в самом-то деле!

Вскоре к Уэстону со своей пластинкой подошла Памела. Они о чем-то пошептались, затем он провозгласил:

— Объявляется белый танец.

Первые такты прекрасного вечно юного танго «В ночной тиши» поплыли по залу. Памела повернулась и пошла ко мне, приглашая меня своими ясными глазами, потаенной улыбкой на губах. Я шагнул ей навстречу, и она приняла мои руки легко, уверенно, словно танцевала со мной всегда. Чувство партнера возникло у нас с первой секунды, музыка и очарование момента захватили нас и повели мягко и плавно. Она была рядом: нежное дыхание, изящные округлые формы, ритмичные движения бедер. Это уже не девочка, нет, это молодая женщина, и она завладела моими мыслями, моим телом. Увы, музыка быстро кончилась. Нас на мгновение прижали друг к другу, потом круг распался.

— Спасибо, Памела.

— Можно иногда приходить к вам?

— Конечно, всегда буду рад вас видеть.

— Спасибо. До свидания, учитель.

— До свидания, Памела.

Она забрала у Уэстона свою пластинку и вскоре ушла.

На следующее утро класс встретил меня полной тишиной. Я начал проводить перекличку, называть ставшие такими знакомыми имена. Как быстро летит время! Совсем недавно я пришел сюда впервые, не знал, как с ними держаться, даже побаивался их. И вот прошло восемь месяцев — как же хорошо я знаю их теперь! Почти наверняка угадаю, что они скажут или как поступят в определенных обстоятельствах. Но кончится сегодняшний день — и они пойдут своей дорогой, наши пути разойдутся, будто никогда и не пересекались.

Некоторые из них здорово закалились изнутри: Фернман, Барбара Пегг, Уэллс, Силс, они, конечно, не пропадут, это люди с головой, находчивые и тянутся к знаниям. Кое-кому придется в жизни трудно, например Сапиано и Джейни Персел, эти хотят жить на дармовщинку, мечтают о больших деньгах, а трудиться не любят. Ну, а остальные? Что же, это будет честный, трудящийся люд, они будут нормально работать и жить, не терзая себя излишним честолюбием. Денэм и Поттер. Через несколько лет они станут самостоятельными мужчинами, кормильцами, отцами семейств. А может, судьба забросит их куда-нибудь далеко от дома, служить в войсках ее величества? Кто знает?

Перекличка окончилась, и тишины как не бывало — все принялись наперебой обсуждать вчерашний вечер. Кто во что был одет, как кормили, понравилась ли музыка, кто с кем танцевал, как себя вели учителя. Восторгам не было конца, но самое главное — они оказались на равных в компании со взрослыми. Одним словом, вечер был «что надо», «люкс», не то что «танцульки» в местном молодежном клубе. Немножко промыли косточки и мне — все заметили, что я слишком часто танцевал с Джиллиан.

— Она ваша девушка, учитель? — поинтересовался Тич Джексон.

— Но я видел, Джексон, вы тоже танцевали с мисс Бланшар.— парировал я.— Я было подумал, уж не ваша ли она девушка?

— Хо-хо, я бы не отказался,— выпалил Джексон под общий хохот. Так в неспешных дружеских разговорах прошло утро — всем хотелось отдалить минуту расставания.

Кончился обеденный перерыв. Сделав отметки в журнале, я просто сидел и смотрел на них, не зная, что сказать. Тут с места поднялась Мойра Джозеф.

— Учитель,— начала она,— я хочу... то есть мы хотим сказать, что очень благодарны за все, что вы для нас сделали, для всех нас.— Она медленно окинула взглядом класс.— Мы знаем, иногда вам с нами приходилось нелегко,— тут она улыбнулась Денэму, тот вспыхнул и наклонил голову,— но вы не унывали. Нам очень повезло с учителем — из-за вас мы стали лучше. Нам всегда нравилось, как вы с нами разговариваете — не как с глупыми детишками, а как со взрослыми людьми. Вы были к нам очень добры, учитель, и мы хотим преподнести вам на память маленький подарок.— И под одобрительные возгласы она подала знак Памеле.

Памела поднялась и с большим красиво упакованным свертком направилась ко мне. Я встал. Какая все-таки она красавица! Она шла величавой походкой, но едва я принял сверток из ее рук, она резко повернулась, побежала к своему месту и спрятала лицо за приподнятой крышкой стола. Детство заявило о себе в ту самую минуту, когда ей так хотелось казаться взрослой.

Я поблагодарил их и уже сел, но тут открылась дверь, и в класс тихонько вошел мистер Флориан — услышал громкие возгласы. Мы вместе взглянули на большой лист бумаги, прикрепленный к свертку. На нем было написано:

УЧИТЕЛЮ —
С ЛЮБОВЬЮ,

а ниже стояли их подписи — всех до одного.

Директор взглянул на меня и улыбнулся. А я поднял голову и посмотрел через его плечо на мой класс — на моих детей.

◆

ПЬЕР ДЕ РОНСАР

К 400-летию со дня смерти

■

Перевод с французского ВЕРЫ ПОТАПОВОЙ

Из «Второй книги сонетов к Елене»

■ ■ ■

Куст можжевельника, пустынных мест жилец,
И уроженец рощ, мой остролист колючий,
Пещера дикая, что плющ обвил дремучий,
И белопенный ключ, болтливый, как скворец,

И с красным горлышком касатка, и певец,
Что в тишине ветвей рассыпал дробь созвучий,
Вдовица-горлица под ивою плакучей
И голуби — четы нежнейшей образец!

Когда Любовь моя, как нимфа, в день весенний
С охапкою цветов под лиственные сени
Придет — скажите ей, что я устал гореть

ПЬЕР ДЕ РОНСАР — PIERRE DE RONSARD (1524—1585)

Французский поэт, один из крупнейших деятелей французского Возрождения, глава «Плеяды». Им были опубликованы пять книг од (1550, 1559); «Любовные стихотворения» («Les Amours», 1552—1553); два сборника философских «Гимнов» («Les Hymnes», 1555, 1556); «Рассуждения» («Les Discours», 1562—1563) — сборник стихотворений и посланий, отражающих события религиозных войн XVI в.; «Элегии» («Les Elègies», 1565) и др. Ронсару принадлежит также незавершенная эпическая поэма «Франсиада» («La Franciade», 1572). Еще при жизни Ронсара были изданы собрания его сочинений. В русском переводе стихи Ронсара печатались отдельными книгами: Ронсар. Перев. С. В. Шервинского (М., 1926); Ронсар. Избранные стихотворения. Перев. В. Левика (М., 1946); Ронсар. Лирика. Перев. В. Левика (М., 1963), а также в сборнике «Поэзия Плеяды» (М., 1984) и других антологиях. В настоящее время издательство «Художественная литература» готовит наиболее полное издание произведений Ронсара разных жанров, куда войдут многие из публикуемых журналом переводов.
В предлагаемой подборке печатаются сонеты Ронсара из второй книги позднего лирического цикла «Сонеты к Елене» («Les Sonnets pour Hélène», 1578), посвященные придворной даме Элен де Сюжер, и раннее послание поэта из книги «Оды» («Les Odes»).

На медленном огне, что чахнуть — безрассудно,
А милости ее дождаться слишком трудно.
Разумней не в пример мне сразу умереть!

■ ■ ■

Я возлиянье всем богам творил, как жрец,
Один в лесной тиши, и замер, восхищенный
Тобой, кристальный ключ, Елене посвященный,
Чье имя на сосне запечатлел резец.

Но белорунные стада своих овец
Не приводи, пастух, под сень сосны зеленой,
Где светлая волна вспоила анемоны,
Душистый тмин расцвел и розовый чабрец.

Прохожий у ручья найдет приют, быть может,
И песнь еще одну он в честь Елены сложит.
Но если путник — будь он молод или стар,—

К прозрачному ключу склонясь, воды напьется,
По жилам у него мгновенно разольется
Неугасимый жар, которым жил Ронсар.

■ ■ ■

Ты не влюблен, воды испив из родника,
Что посвятил поэт божественной Елене?
Тогда укромный грот среди зеленой сени
Найди в холме крутом и подремли слегка.

По шелковой траве росистого лужка
Задорно пропляши, без вялости и лени!
Но ждет Святой Жермен [1] почтительных молений!
Патрону вознеси их с ветхого мостка.

И, девять раз обход вокруг дуплистой ивы
Свершив, ты ощутишь внезапно жар счастливый
В груди, где у тебя застыл осколок льда:

Амур, измазанный гигантов кровью красной [2],
Усердно отмывал в ручье свой торс прекрасный,
И пыл его страстей еще хранит вода!

■ ■ ■

Ортигией [3] тебя назвав, я остров твой
Мог возвеличить вновь, однако предпочтенье
Елене отдал я, в чьем имени — веленье
Судьбы, что создала твой образ роковой,

Гомером избранный для славы мировой.
Пускай он явит мне свое благоволенье
И следовать за ним позволит в отдаленье,
Дабы воспеть стихом черты красы живой.

Придись тебе одной мой жесткий стих по нраву,
Его считал бы я поэзией по праву!
Лауры блеск затмить способна ты, но зря

[1] Святой Жермен — покровитель края. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] После битвы богов с гигантами Амур умывается в ручье, посвященном Елене,— такова поэтическая картина, созданная воображением Ронсара.

[3] Диана, именовавшаяся также Ортигией, родилась, по преданию, на острове Делос, древнее название которого было Ортигия.

Ей небо лучшего послало звонаря! [1]
А горький жребий твой — обоим нам в растраву —
Дал худшего тебе, по правде говоря.

■ ■ ■

Созвездья Близнецов любимая сестра
И Леды с Лебедем пленительное чадо! [2]
Краса твоя была причиною разлада
Европы с Азией, но стала ты стара.

Посмотришь в зеркало, и впрямь берет хандра:
«Иль тело дряблое и сеть морщин — отрада,
Из-за которой шла Троянских стен осада,
Глупцов, мужей моих, кровавая игра?

Но кожу каждый год меняя змеям, боги
Весну у нас навек, завистливы и строги,
Спешат отнять: глядишь — и осень на дворе!»

Красавицы! Нельзя не внять словам Елены
О том, что свойственны природе перемены.
Кто упустил апрель, заплачет в октябре!

■ ■ ■

Не вечен красоты венок благоуханный!
Ты, время упустив, ей втуне дашь пропасть!
Но если у тебя очарованья часть
Осталась — раздели с друзьями дар желанный.

Киприда, я кляну твой нрав непостоянный.
Зачем тобой, как раб, я отдан был во власть
Мучительнице той, что надо мною всласть
Натешилась, пока не пал я, бездыханный.

Мятущихся валов тебе покорна дурь.
Дитя пучины — мне пошлешь ты много бурь!
Какого ждать еще блаженства, Киферея? [3]

Раскатов громовых и языков огня
Ты припасла, жена Вулкана, для меня.
Страстей, ножей и стрел — любовница Арея.

■ ■ ■

В купальне, развязав, тебе вручила пояс [4]
Киприда и беречь его дала наказ.
А ты стрелу метнуть в меня из дивных глаз
Успела, стан обвив и с волшебством освоясь.

Но доброхотства Муз, увы, не удостоясь,
От раны гибну я! Богини, разве вас
Я, как школяр, спросил о свойствах лунных фаз
Иль об эклиптике, лениво в книгах роясь?

---

[1] Ронсар, с присущим ему юмором, величает поэтов, воспевающих своих возлюбленных, «звонарями»: под «лучшим звонарем» здесь подразумевается певец Лауры Петрарка, под «худшим»— сам Ронсар.

[2] Прекрасная Елена, согласно мифологии,— дочь Леды и Зевса, явившегося к ней в образе лебедя, сестра Диоскуров.

[3] Киферея (она же Афродита, Киприда, Венера)— жена бога огня и кузнечного ремесла Гефеста (Вулкана); со своим любовником Ареем (Аресом, Марсом, богом войны) была поймана в сеть Вулканом.

[4] Чудесный пояс Киприды (Афродиты), в котором скрывалась тайна ее обаяния.

За вами волочусь я не затем, чтоб мог
Узнать, кто создал мир — Фортуна или Бог?
Я помышлял смягчить Еленино коварство,

Ей посвятив сонет, но беден был мой слог!
Вам нужен ученик, чей стих не столь убог.
Прощайте, ухожу! Окончено школярство.

■ ■ ■

Превозносить любовь — занятье для глупца,
Но трудно совладать с певцом полубезумным,
Хотя в безверья век ни тяжбам хитроумным,
Ни разрушительным сраженьям нет конца [1].

Амур — исчадье зла! Я сед и спал с лица.
С повязкой на глазах, мальчишкой полоумным
Он делает меня, что мужем был разумным,
Но жалким слепком стал с коварного юнца.

Неужто, увидав с чужим гербом знамена,
В родном краю — под власть Амурова закона
Я, к своему стыду, беспечно подпаду?

Нет! Поспешу в Париж — искать в нем правосудья!
У Муз, у старых ведьм, не соглашусь отнюдь я
На побегушках быть, ходить на поводу!

■ ■ ■

Расстался я с тобой, блаженная свобода.
На шею мне ярмо надел прекрасный пол.
Хоть я ломал его, но — подъяремный вол! —
Подставил шею вновь, как мне велит природа:

Я без любви — свинец, я — сущая колода!
Но полюбил — и вновь гармонию обрел,
Окрепла Муза, стал торжественным глагол,
Рассудок прояснен, и в мыслях нет разброда.

Созданья моего пера! Ронсаров род,
Как сыновьям, продлить приходит вам черед.
Кого мне воспевать — я знаю, бог свидетель!

В античности седой всегда найдешь пример.
Елена, красота ее и добродетель —
Сюжет, которым так утешен был Гомер!

■ ■ ■

К индийскому купцу, что вынет из тюка
Душистую смолу, запястья, ожерелья,
Сходить — и не купить заморского изделья,
Как без охапки роз уйти из цветника,

[1] Ронсар имеет в виду религиозные войны во Франции второй половины XVI в.

Иль, уст не увлажнив, стоять у родника,
Что солнечной струей забил из подземелья,
Иль в круг прелестных дам проникнуть без веселья,
Не ощущая стрел крылатого божка.

К чему самообман? Глупец — и тот рассудит:
Жжет пламя нашу плоть, а лед нам тело студит,
Жаровни, может быть, Амуру не раздуть,

Но берегись его: свой факел взяв опасный,
Тебе, Любовь моя, столь юной и прекрасной,
Хоть искру заронить он изловчится в грудь!

■ ■ ■

Душистый сноп цветов, печали не тая,
Сложила ты на холм Лукреции могильный.
Увидел я слезу, услышал вздох умильный
И понял, что в плену у смерти жизнь твоя.

Ты ценишь все, на чем печать небытия
Лежит, но есть закон души любвеобильной:
Я должен умирать сто раз в тоске бессильной,
Суровости твоей и жертва и судья.

Когда, живых презрев, ты почестями гробу
Являешь нам свою тщеславную особу,
Когда тебе одни фантомы по нутру,

Не мнишь ли ты, что я, от мира отрешенный
И милостей твоих неласково лишенный,
Стремясь любовь снискать, возьму — и впрямь умру?

Послание к Одэ де Колиньи, кардиналу Шатильонскому

Господний мир — театр. В него бесплатный вход,
И куполом навис вверху небесный свод.
На сцене, как всегда, теснятся персонажи.
Иной переодет, иной без маски даже!
Костюмы госпожа Фортуна им раздать
Заранее спешит — кому какой под стать.
И Добродетели, чтоб не остаться втуне,
Пытаются помочь навязчивой Фортуне.
Из кожи лезет всяк, свою играя роль.
Судьбу смешит, как фарс, печальная юдоль.
Ты зришь монарха блеск, его великолепье,
Но крючник рядом с ним является в отрепье.
А кто Эдип, Креонт иль Агамемнон днесь,
Телеф или Аякс [1] — тот завтра станет здесь
Разбойником в лесу прибрежном иль корсаром,
Ограбившим купца заморского с товаром.
Поставил паруса отважный мореход,
Но стряпчим быть ему на суше через год.

[1] В данном случае Ронсар упоминает этих мифологических героев в связи с трагедиями Эсхила, Софокла, Еврипида (V в. до н. э.).

В роскошных париках играют лицедеи
Господ, а между тем их не берут в лакеи.
Вступает человек с природой часто в спор,
И может изменить Фортуна приговор.
Пажом во цвете лет, исполненным отвагой,
В Шотландии владеть я научился шпагой,
Не зная, что судьба, мою умерив прыть,
Прикажет мне домой с попутным ветром плыть,
И шпагу заменив оружием бескровным,
Не меченосцем стать, но пастырем духовным[1].
Все это говорил мне Феб, но, дерзкий паж,
Я отвечал: — И ты, и твой треножник — блажь!
Я грезил битвами, и Марсу, а не Фебу
Хотелось мне служить воинственную требу.
Я ввязывался в спор и попадал впросак,
Не склонен к мировой, зато охоч до драк.
Но озорство пришлось не по нутру Фортуне.
Как только я приплыл во Францию на шхуне,
Судьба веселый мой и простодушный нрав
Перекроила вмиг, меня к рукам прибрав.
Я помыслы свои отверг и, твердой воле
Фортуны покорясь, явился в новой роли.
Шальному ремеслу поэзии мой дар
Меня обрек, и я прилежный стал школяр.
Трудиться был готов я и во сне и въяве,
Дабы мои стихи служили Вашей славе.
Я мыслил, что перо мое не только честь,
Но разом с ней добро сулит Вам приобресть.
Ты без богатства век протопчешься на месте,
Но хуже, если есть оно — и нету чести!
Однако дочитать я должен свиток свой,
Как всякий пастырь душ, с покрытой головой.
Я Вас прошу явить Ронсару снисхожденье,
Когда услышите завистника сужденье,
Что, дескать, видел он Ронсарову игру.
Тот на подмостках был совсем не ко двору:
Без денег, без еды, отягощен долгами
И нездоров, едва перебирал ногами.
Притом ценитель мой добавит — вот в чем соль! —
Что, Вам служа, Ронсар играл прескверно роль.

[1] Пьер де Ронсар, будучи пажом при детях короля Франциска I, много путешествовал, мечтал о военной или дипломатической карьере. Однако после того, как Ронсар заболел малярией и вскоре почти потерял слух, он, по настоянию отца, стремившегося обеспечить больного сына, был посвящен в духовный сан.

■

ПОТАПОВА ВЕРА АРКАДЬЕВНА

Советский поэт-переводчик. Печатается с 1940 г. Основные переводы из европейской поэзии: средневековые народные баллады — датские, английские, шотландские, бретонские, сонеты и послания П. Ронсара, стихи и поэмы Дж. Драйдена, В. Блейка, Т. Мура, Дж. Китса, Р. Киплинга, книга стихов шведского классика Густава Фрёдинга. Переводы со славянских языков — песни южных славян и «Энеида» И. П. Котляревского. Основные переводы из восточной поэзии: «Рамаяна» Вальмики, «Времена года» Калидасы, санскритская антологическая поэзия «Жемчужное ожерелье», книга Мирзы Галиба «Лирика», стихи Р. Тагора, «Лирика древнего Египта» (в содружестве с А. А. Ахматовой) и др.

Л. ЧЕРКАССКИЙ

АЙ ЦИН — ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

В марте нынешнего года исполняется 75 лет со дня рождения Ай Цина [1], одного из самых крупных поэтов Китая новейшего времени. Вместе с товарищами по оружию Ай Цин прошел войну Сопротивления японскому империализму (1937—1945), гражданскую революционную войну, завершившуюся в октябре 1949 года провозглашением Китайской Народной Республики. Свое выдающееся дарование Ай Цин отдал строительству нового Китая.

В 1957 году Ай Цин внезапно умолк, как птица, подстреленная на лету; его заставили замолчать те же самые люди, которые отняли право на песню у многих других китайских писателей. Зачисленный в разряд «правых элементов», Ай Цин стал жертвой насилия и произвола. В годы «культурной революции» он много лет безмолвствовал, разделял участь сосланных в трудовые лагеря тысяч и тысяч соотечественников.

В 1978 году Ай Цин вернулся к литературной и общественной деятельности.

Творчество Ай Цина — целая эпоха в истории китайской поэзии. Критик и теоретик стиха, поэт самобытного таланта, Ай Цин был лириком, эпиком, сатириком. В статьях 1939 года «О поэзии», «О поэте», «Поэзия и пропаганда», «Поэзия и эпоха» Ай Цин сформулировал свое поэтическое кредо.

Он писал: «Поэзия — полпред свободы. Голос поэзии — голос свободы. Смех поэзии — смех свободы. Отдай поэзию народу. Пусть она станет духовным оружием народа».

Он писал: «Поэзия не только учит народ чувствовать, но еще больше учит его думать. Поэзия не только мудрый друг в жизни, но и преданный товарищ в борьбе».

Он призывал: «Поэты, вставайте! Отдадим нашу жизнь мужественной борьбе с мерзостью и тьмой, с наглостью и жестокостью, зверством и безумием!» [1]

Поэзия Ай Цина — поэзия борьбы и созидания, любви и ненависти; нравственная цельность его души, любовь к родине и народу стали основой патриотических поэм и сборников военных лет — по собственному определению Ай Цина, «самого плодотворного периода» в его творчестве.

Начало своего поэтического пути Ай Цин относит к 1932 году, когда было опубликовано стихотворение «Сходка», написанное в Париже. Ай Цин отправился туда учиться живописи весной 1929 года; начинал он как художник. Много лет спустя в автобиографическом очерке «Моя творческая жизнь» об этом времени он напишет так: «Я нашел работу в мастерской китайского лака. Поработав полдня, я иногда отправлялся в студию на Монпарнас делать зарисовки; я сразу увлекся поздними импрессионистами и с презрением относился к «академической школе» живописи... Как-то работал я на открытом воздухе в предместье Парижа. Какой-то француз под хмельком, проходя мимо меня, крикнул: «Эй, китаец! Там твоя родина погибает, а ты здесь рисуешь!» Эти слова были как пощечина» [2].

В Париже Ай Цин участвовал в собраниях «Антиимпериалистической Лиги»; стихотворение «Сходка» было навеяно этими встречами.

В марте 1932 года он возвратился на родину, в Шанхай, где встречался с художниками, участвовал в подготовке выставки,

[1] Подборка стихотворений Ай Цина в переводе автора статьи печатается в этом номере (с. 3—8). Стихи в статье тоже даны в его переводах (частично подстрочных). *(Прим. ред.)*

[1] Ай Цин. О поэзии. Шанхай. 1955.
[2] «Шикань» («Поэзия»), 1983, № 8.

но вскоре, 12 июля, вместе со своим товарищем Цзян Фэном, в будущем крупным графиком, был арестован «за сокрытие радикальных взглядов» и посажен в тюрьму. Уже в наши дни в поэме «Не прощаясь...» (1982), посвященной другу-художнику, Ай Цин писал: «Мы жили в одной комнате. /Вместе на улицах разбрасывали листовки/ Как напоминание о кровавых событиях 30 мая (расстреле англичанами в 1925 году демонстрации в Шанхае.— Л. Ч.) /Вместе организовывали «весенний вернисаж»/Выставляли голод забастовки уличные бои/ Вместе были арестованы/Посажены в одну камеру/Ты громко пел «Тюрьма всегда темна»/ Я декламировал свои стихи...»

В тюрьме, где Ай Цин провел три года и три месяца, были написаны «Даяньхэ — моя мать», «Тростниковая дудочка» и другие произведения. Ай Цин вспоминал, что написал «Тростниковую дудочку» под впечатлением строки Аполлинера («Тростниковую дудочку в моих руках я не променяю на жезл маршала Франции»), потому что тростниковая дудочка была для него «символом искусства, а маршальский жезл — символом неправой власти».

Сборник «Даяньхэ», включивший 9 стихотворений, написанных в 1932—1936 годах, был первой книгой поэта.

Весной 1937 года, за несколько месяцев до начала войны Сопротивления, Ай Цин создает цикл стихотворений: «Солнце», «Рассвет», «Улыбка». Начался «бег за солнцем», трудный и опасный, длиной в целую жизнь.

...Мы распяты на кресте
Двадцатого столетья,
И наши муки
Не менее мучительны, чем муки
Распятого из Назарета.

Поэт тогда не знал, что предстояло вынести его народу и ему самому в ближайшие месяцы и годы и много лет спустя.

О каждом произведении, созданном Ай Цином во время войны с японской агрессией, можно писать отдельно: о поэме «Он умер во второй раз» (1939), рисующей войну и ее героев, «Факел» (1940), с вдохновенным призывом «Пусть каждый станет Прометеем и похитит у неба огонь для людей», «Зоя» (1942), написанной с такой гордостью и страстностью, будто героиней поэмы была соотечественница Ай Цина.

В «Факеле», посвященном девушкам Китая, их выбору пути в жизни, утверждался идеал революционной борьбы. В текст этой романтической поэмы неожиданно вплетались стихи Некрасова о женской доле; звучание и ритм их отличны от нервной интонации диалогов и авторских монологов «Факела», но это был сознательный «диссонанс», намеренность его подчеркнута графически: некрасовские строки набраны иероглифами другого размера. Ай Цину требовались дополнительные аргументы в его призыве к активности, обращенном к китайской женщине; опыт страны, преодолевшей ту вековую боль, о которой писал Некрасов, был драгоценным для Китая.

В поэме «Он умер во второй раз» Ай Цин изображает своего героя, простого солдата, в состоянии крайнего напряжения духовных и физических сил. Поэт исследует глубинные истоки патриотизма на войне, утверждает, что герои, хоть могилы их безымянны, после себя оставляют миру бесчисленные звезды над степью. Рядовой солдат до конца исполнил свой долг, в этом его величие. Ай Цин звал к жертвенности в смертельной борьбе, где нет места корысти, гордыне, личной славе.

Лучшей книгой Ай Цина, книгой истинно народного поэта о войне, был сборник «Север». Впервые он был напечатан в 1939 году в Гуйлине на собственные, более чем скромные средства поэта. В нем 16 стихотворений, в которых настроения неизбывного горя и апатии сплетаются с верой в «воскресшую землю»: «Скорбный поэт, /Ты должен отбросить подавленность прошлых дней,/ Просыпается вера в истерзанном сердце твоем». Китайская критика не раз отмечала сложный, неоднозначный характер поэзии Ай Цина военных лет: строки горечи и боли жили рядом со стихами, полными боевого духа.

Взору поэта открывается холодная, замерзшая земля: «Я люблю эту трагическую землю». «Эта земля породила /Мною любимый/ Самый несчастный в мире/ И самый древний народ».

Ай Цин слышит «пронзительный скрип» колеса ручной тачки: «В этом звуке горе и стон Северных наших мест»; на Севере «нищие бродят по берегам Хуанхэ,/Нищие бродят вдоль железной дороги». На Севере лица крестьян «сумрачны, как земля». Образ земли, истерзанной и голодной, преследовал поэта долгие годы:

Большая земля неурожайного года
К темному небу
В мольбе
Протягивает дрожащие руки.

Поэма «Снег падает на землю Китая» душевной, доверительной интонацией задает тон всему сборнику:

Снег падает на землю Китая,
Холод сковывает Китай...

Эти строки были написаны 28 декабря 1937 года, в «критический момент» войны.

Китай,
Написанные в ночи,
Без единого огонька,
Смогут ли слабые строки мои
Хоть немного тебя согреть?

«На другой день,— вспоминал Ай Цин позднее,— беспорядочно падал снег. Я сказал приятелю: «Снег идет специально для меня». Он уточнил: «Ты сильный человек, даже небо прислушивается к твоим указаниям». Он не знал, что у человека бывает предчувствие».

Произведения Ай Цина пользовались в годы войны необыкновенной популярностью. Поэма «Факел» выходила в свет более шести раз, сборники «Север», «Он умер во второй раз», поэма «К солнцу» выдержали не менее четырех изданий.

Летописью героизма стали сборники «Поля» (1940), «Весть о рассвете» (1943). Тыл и фронт, вторая мировая война и битва с фашизмом нашли в поэзии Ай Цина правдивое отображение. В сборнике «Против фашизма» (1943) Ай Цин с восхищением прославлял «великую Красную

Армию и большевистскую партию,/Которые отважно громят фашистскую Германию».

После 1949 года и создания КНР Ай Цин воспевает новую жизнь на родной земле, дружбу с первой страной победившего социализма, активно участвует в борьбе за мир («Избранное», 1950; «Радостный клич», 1953; «Рубиновые звезды», 1953; «Весна», 1956 и другие):

...Башни вокруг Кремля
стоят в богатырский рост.
На их вершинах горят
пять рубиновых звезд.
Чем непроглядней ночь,
тем ярче рубиновый свет.
По этим звездам земля
находит пути побед.
(«Рубиновые звезды»)

Среди публикаций Ай Цина 50-х годов заметное место занимают его «зарубежные» стихотворения, в большой мере вдохновленные поэзией В. Маяковского. Муза Маяковского всегда была близка Ай Цину, которого привлекали ораторские интонации в произведениях русского поэта, их гражданственность, интернациональная широта постижения мира: «Мы должны быть последовательными до конца в той революции, которую совершили Уитмен, Верхарн, Маяковский. Мы должны приспособить поэзию к новым требованиям новой эпохи, мы должны использовать любые новые формы, чтобы удовлетворить эти новые требования новой эпохи».

Стихи Ай Цина об Америке — стихи поэта, посетившего эту страну тридцать лет спустя после Маяковского. Ай Цин тоже пишет стихотворение «Атлантический океан» (1954), отмечая «в мире социальном те же беспорядки», какие видел Маяковский. Ай Цин вскрывал антигуманную сущность империалистической Америки, лицемерие буржуазных свобод («Свобода», «На пачке чилийских сигарет»); он писал о бесправии, дискриминации негров («Место, где обитают негры», «Поет негритянская девушка», «Песнь сострадания»). Стихотворение «На пачке чилийских сигарет» (1954) живописало чилийскую действительность начала 50-х годов, столь сходную с периодом господства в Чили хунты Пиночета.

Славно украшена пачка простых сигарет.
Богини Свободы заманчивый силуэт.
Факел зажженный над гордой ее головой,
Но почему-то в Чили тьма остается тьмой...

В пыли на дороге пачка лежит ничком.
Ты плюнул на пачку, я придавил каблуком.
Нам точно известен символики этой секрет:
Богиня Свободы — это лишь дым сигарет.

В пору создания стихов и поэм о строительстве нового Китая, о братстве социалистических стран, о борьбе против поджигателей войны над Ай Цином уже сгущались зловещие тучи, и происходило это с ним во второй раз. Впервые Мао Цзэдун критиковал поэта на Яньаньском совещании по вопросам литературы и искусства в мае 1942 года. В 1957 году, согласно формулировкам нынешней китайской прессы, Ай Цин «ошибочно был причислен к правым» и «исчез из поэтических кругов на двадцать один год». В автобиографическом очерке «Моя творческая жизнь» рассказывается, как именно начиная с 1957 года протекала жизнь поэта: «Во всем известной ситуации я был причислен к «правым элементам» и стал плевательницей. Всеобщая брань была моим приговором. Мне следовало приспосабливаться к новым обстоятельствам. С помощью одного генерала я отправился на северо-восток, в Хэйлунцзян, где полтора года прожил в госхозе в Бэйдахуане, а затем был переведен для закалки на северо-запад провинции Синьцзян в строительную воинскую часть.

Я молчал двадцать один год. Первое время жил относительно спокойно. В 1967 году, уже во время «великой культурной революции», в моем доме был учинен погром, много рукописей было конфисковано». Ай Цин перечисляет утраченные произведения, а также рассказывает, какие применяли к нему методы воздействия: от требования «признать свою вину» до «опрокидывания на землю» и «выставления на всеобщее обозрение».

«Начиная с 1932 года, с публикации стихотворения «Сходка»,— пишет в своем автобиографическом очерке Ай Цин,— по настоящее время прошло более полувека. Это моя творческая жизнь. Иногда мне кажется, что я прошел сквозь длинный черный и сырой тоннель, сам даже не знаю, как можно жить после этого, но как бы то ни было — я прошел сквозь него». Амнистия 1959 года в связи с 10-летием КНР не коснулась Ай Цина. Чувствительные удары по опальному поэту в период «борьбы с правыми» наносил и журнал «Шикань», в редколлегию которого входил Ай Цин.

В январском (1957 г.) номере его Ай Цин опубликовал стихотворение «В чилийском проливе», посвященное Пабло Неруде. В нем есть строки: «Наш мир нам кажется таким огромным,/Но, в сущности, он очень невелик,/И в этом мире нужно жить счастливо!» Не знал он тогда, что стихотворение «В чилийском проливе» станет одной из последних его публикаций перед долгими годами безмолвия. Он думал о целом мире, а между тем ему очень скоро стало трудно найти место на собственной земле.

Июльский номер «Шикань» был специально посвящен «борьбе с правыми», одним из главных объектов которой в области литературы стал Ай Цин, а в декабрьском — в разгромной статье о поэте вспомнили и стихи «В чилийском проливе». Именно строки «Наш мир нам кажется таким огромным...» вызвали гнев критика. Исказив до неузнаваемости мысль Ай Цина, он изрекал: «Поистине такова точка зрения Ай Цина на социализм; он ощущает несвободу социалистического строя, живая природа для него мала. Он не ведает: «очень невелик» вовсе не «наш мир», но его собственный духовный мирок». И далее критик рассуждал в том же духе.

В самом начале 60-х годов мы неожиданно встретили имя Ай Цина в журнале, издаваемом в провинции Синьцзян, куда занесла его нелегкая судьба. Журнал напечатал лирическую миниатюру поэта «Елочки»:

Возле статуи Ленина в равненье строгом,
Точно часовые в ряд,
В садике, что за аэродромом,
Три зеленых елочки стоят.
Молодая завязь набухает,
А роса в саду
Выпала густая-прегустая,
Ноги промочив, но ней иду.

В капельках застывших отражаясь,
Солнце вышло, и лучи горят.
Я сорвал молоденькую завязь
И почуял тонкий аромат.

Поэт сдержан, даже строг, но в его строках — неистребимая вера в весну, в «молодую завязь» новой жизни, в солнце, которое он славил когда-то в своих знаменитых поэмах. В образе Ленина поэт черпал мужество на долгие годы. И закономерно, что первое после более чем двадцатилетнего молчания стихотворение, опубликованное поэтом 30 апреля 1978 года, называлось «Красный флаг».

О долгих хождениях по мукам китайского поэта мы узнали в самые последние годы; отдельные факты и сведения содержатся в его новых произведениях, речах и беседах, в работах критиков и литературоведов, уделяющих нынешнему творчеству Ай Цина и всему написанному им ранее пристальное внимание, причем в ряде работ оценки прошлых лет решительно пересматриваются. «Если говорить по справедливости,— заявляет, например, критик Се Мянь,— Ай Цин как поэт нового Китая принадлежит миру, его взор давно устремлен за океаны, он пел дружбу между народами и мир на земле» [1]. Ценные свидетельства о судьбе книг Ай Цина мы находим в статье, посвященной его ранней поэме «Даяньхэ — моя мать»: «Время — самый беспристрастный судья литературного произведения. В течение долгих двадцати лет отсутствия и вынужденного молчания поэта «Даяньхэ» и другие прекрасные его произведения бережно хранились в народе. Его книги прятали, завернув в целлофан, в лари для риса, тайно передавали друг другу. Эти живые факты подтверждают: перед нами истинная поэзия» [2] В период «культурной революции» чтение стихов Ай Цина было равносильно «соучастию в преступлении», за это полагалась тюрьма [3].

После «возвращения» Ай Цин часто выступает перед массовой аудиторией, главным образом по проблемам теории и практики художественного творчества, но и по более широкому кругу вопросов, порой касается и собственных произведений, и собственной судьбы. Та же проблематика и в его статьях.

«За последние тридцать лет,— читаем в статье Ай Цина, помещенной в журнале «Китайская литература», издающемся на английском языке,— наши поэты сталкивались со многими препятствиями. Политика «пусть расцветают сто цветов» никогда не проводилась до конца; на деле она приобретала даже противоположный смысл. Непосредственно перед началом «культурной революции» Линь Бяо и «банда четырех» пытались вообще саботировать поэзию, а позднее установили по отношению к ней феодально-фашистскую диктатуру Это была самая долгая, самая темная зимняя ночь в истории новой поэзии Китая»[4].

Как справедливо заметил один из китайских критиков, «хочешь узнать Ай Цина— обратись к его стихам». Вслед за «Красным флагом» в 1978 году выходит в свет поэма «На гребне волны». Рассказывая о судьбе реального лица, молодого человека Хань Чжисюна, Ай Цин изображает трагические события 5 апреля 1976 года на площади Тяньаньмэнь [1]. Вольнолюбивый дух произведения очевиден, как очевидна и направленность написанной несколько позднее поэмы «Престиж истории», где дана суровая характеристика «величайшего из бедствий» — «культурной революции». Эти яростные поэмы Ай Цин написал в состоянии творческого воодушевления и радости возвращения к людям, к печатному слову, общественной деятельности. Вскоре Ай Цин начинает печатать уже другие стихи: более созерцательные и философски углубленные. К ним относятся циклы, написанные весной 1979 года.

В одном из них он славит зеленый цвет жизни и поражается обилию его оттенков, с особым смыслом упоминает надежду — «сестру иллюзий», похожую на лукавую и прекрасную бабочку:

Ты удаляешься
Она летит вослед
Ты приближаешься
Вспорхнет и вмиг исчезнет
Ты ощущаешь крыльев трепетанье
Пока не остановится дыханье.

(«Надежда»)

В стихотворении «Морская вода и слезы» он фантазирует: «Придет время, морская вода и слезы станут сладкими». Размышляет Ай Цин и о «таинственном плоде познания»: съев его, будешь утверждать, что горечавка не горька; «Только отведав горькое, Познаешь вкус сладкого. /Только съев сладкое,/Познаешь вкус горького. /Лишь испытав превратности судьбы,/Поймешь, что такое счастье». В стихотворении «Желание» Ай Цин замечает: одного моряка радует, когда судно снимается с якоря, другого — когда бросают якорь. Один мечтает поскорее отправиться в путь, другой — прибыть наконец обратно. Здесь то же смятение чувств, раздумья о жизни.

В цикле, связанном с поездкой в ФРГ,— он был опубликован в газете «Жэньминь жибао» той же весной 1979-го — стихи «На родине Маркса», «Памятник погибшим», «Мюнхен», «Стена». В концлагере Дахау он слышит вопли умирающих, и эти звуки, «преодолевая завесу времени,/Уносятся в будущие века,/В вечность,/ В вечность». В Мюнхене он вспоминает о том, как некий немец —«негодяй до мозга костей/ вместе с англичанином с зонтиком и узколобым французом/Втроем продавали пиво и продавали соседей./ А потом вся Европа запылала костром.../ За тридцать пять лет/ Залечены раны войны,/Но юность безвозвратно потеряна».

Он снова возвращается мыслью к тому, что пережил его народ и он сам, и испытывает боль. Ай Цин человечен в своей боли, но порой абстрактный гуманизм берет верх над четкими оценками фактов и событий.

В 1980—1981 годах Ай Цин печатает новые стихи, пишет поэму «Искусство отрицания», статьи, предисловие к переизданию известной своей книги «О поэзии». Он ра-

[1] «Вэньсюэ пинлунь» («Литературная критика»), 1979, № 4.
[2] «Шикань», 1980, № 7.
[3] «Вэньибао» («Литература и искусство»), 1980, № 6.
[4] «Chinese Literature», 1981, N 3.

Подробней о поэме см. в «ИЛ», 1979, № 10.

ботает много и упорно, ничего не забывает, ничего не прощает и не упрощает — вновь и вновь осмысливает трагедию своей страны, осмысливает с позиции сегодняшнего дня и сегодняшней социальной дисгармонии.

Он создает упоминавшуюся уже поэму «Престиж истории», поводом для которой послужила реабилитация Лю Шаоци. Эти и подобные произведения создавались для того, чтобы осудить прошлое (конечно, это было важно), и для того, чтобы призвать народ к бдительности и предотвратить повторение трагедии, последствия которой еще долгие годы будут терзать сердца людей.

Посмертной реабилитации Лю Шаоци посвящены стихотворения «Жизнь и время», «Горький опыт». Здесь речь идет об утраченном времени, о невосполнимых потерях:

В пору горечи и бед
Потеряли не четыре года
Десять лет и снова десять лет
Холостого хода
Молодых ужасен был удел
Стариков мучительна дорога
Страшный незаполненный пробел
Времени земного

(«Жизнь и время»)

Но и в этот период гневные строки («На гребне волны», «Престиж истории») сосуществовали с усталыми, философски отрешенными стихами.

В двустишиях «Цветы и шипы» читаем:

В мечтах прошел три тысячи дорог
Очнулся койка и порог

Встречая яркий светлый день
Не забывай крадется тень

Гнев не рифмуется и в криках поношенья
Нельзя услышать ритм стихотворенья

Вспоминается строка Л. Мартынова («Из смиренья не пишутся стихотворенья...»), утверждавшего, что поэзию диктует «только прозренье». Ай Цин почувствовал в себе это прозренье, рожденное годами испытаний. О чем бы он ни писал — о выставке ли гравюр Ли Циня, о собрании репродукций Линь Фэнмяня или о рабочих Рима, поющих знаменитую «Белла чао»,— он думает о борьбе и потерях.

Есть у Ай Цина аллегорическое стихотворение «Ссора за окном» — диалог Зимы и Весны. Зима упирается, не желая сдавать позиций, но Весна полна оптимизма: «Нет необходимости прибегать к референдуму,/Нет необходимости во всенародном опросе,/Нет необходимости в голосовании поднятием рук./Пойди спроси раскованную землю,/Пойди спроси бегущие ручьи, свободные ото льда,/Пойди спроси прилетевших ласточек,/Пойди спроси легкую иву,/Зерна в земле должны дать ростки./Все сущее кивает головой/И требует твоего ухода./Если упрешься,/Трактором вытащим тебя,/Бульдозером выкорчуем тебя,/Ударами гонга и барабанов проводим тебя».

Стихотворение иронично. Сам поэт разъясняет, почему уход Зимы сопровождается «ударами гонга и барабанов». Зима в его представлении ассоциируется с периодом «культурной революции», с бесчинством цзаофаней, которые однажды ворвались и в его дом, всячески оскорбляя и унижая его. Вот почему конец Зимы, конец произвола — великий праздник, достойный таких шумных торжеств. «В жизни,— с грустью замечает Ай Цин в очерке «Моя творческая жизнь»,— случаются события, которые нельзя забыть долго. Они хранятся на оружейном складе памяти до поры до времени; придет день и для них» [1].

В «Ссоре за окном» тоже звучит голос надежды.

«В одном я тверд,— говорил Ай Цин, комментируя смысл стихотворения,— поэт должен говорить правду. Если говоришь правду, пробьешься сквозь фальшь, клевету, кривотолки... Лгать и рассчитывать на доверие — иллюзия. Не все, что говорит поэт, правда. Не всякая вода — слезы, не все красное — кровь...» [2].

В стихотворении «Искусство отрицания» (1981) Ай Цин ратует за светлое искусство для людей, связанное с жизнью, отличающееся оригинальностью и высоким мастерством, гармонией содержания и формы. Его тревожит тот факт, что связь эта «слабеет», что «искусство бродит в пустыне нигилизма», превращается в «игру», «забаву» (Ай Цин имеет в виду модернистские течения в современной литературе.— *Л. Ч.*). «Отрицание искусства породило искусство отрицания», но «Реальность без искусства все-таки реальность, искусство без реальности не искусство»,— подчеркивает он.

«Зарубежные» стихи Ай Цина составляют немалую часть написанного им за последние годы. Удачны, в частности, «Светильник», «Ночь в Риме» — небольшая поэма, написанная в лучших традициях раннего Ай Цина: «Наконец я увидел настоящий Рим,/Пламенный Рим,/Полный молодой силы Рим...» В стихотворениях, написанных после поездки по Франции, мы тоже находим знакомые интонации и метафоры Ай Цина: «Химеры Собора Парижской богоматери /Разинули пасти/ Ошеломленные загрязненностью Сены...», «Стройные клены точно пожилая женщина/Погружены в тусклые воспоминания...» и другие. Однако же встречаются порой в «зарубежных» стихах Ай Цина и необязательные «туристские» строки.

В 1982—1983 годах внимание читателей привлекли поэмы Ай Цина «В день поминовения усопших моросил дождь», «Не прощаясь...» и «Все люди — братья». Тогда же увидела свет старая поэма Ай Цина «Человеческая кожа», где изображались зверства японских оккупантов в Китае в годы войны Сопротивления.

Поэма Ай Цина тридцатых годов была опубликована не случайно. В июле 1982 года в Китае много писали о решении Министерства просвещения Японии изменить в учебниках истории для начальных и средних японских школ выражение «агрессия против Китая» на «вхождение в Китай». Подобное «исправление» истории вызвало бурю негодования и протеста в Китае. Поэма Ай Цина, как и «Песнь о добрых супругах» (1943) Вэй Вэя, опубликованная в том же номере журнала «Шикань» (1982, № 10) и тоже посвященная теме японской агрессии, приобретали характер подлинных документов и показывали, каким в действительности было это так называемое «вхождение» и чего оно стоило китайскому народу.

[1] «Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература»), 1980, № 5.
[2] Там же.

В «Дне поминовения...» Ай Цин создал в известной мере идеализированный образ премьера Чжоу, доброе отношение которого, по его словам, не раз помогало ему в трудные годы. Заметим, однако, что в самом этом сочинении не говорится об уже упоминавшихся событиях 5 апреля 1976 года, когда в традиционный день поминовения усопших стихийно возникшие демонстрации китайских трудящихся в знак памяти о премьере Чжоу, скончавшемся за три месяца до того, вылились в политические выступления против властей. Они были жестоко подавлены.

Поэма о Чжоу Эньлае — очень личное произведение, отмеченное вехами собственной биографии Ай Цина. В подобном же ключе написана поэма «Не прощаясь...», воссоздающая, как мы уже знаем, образ художника Цзян Фэна, много сделавшего для развития масляной живописи в Китае, для изучения европейского изобразительного искусства, советского опыта и так же, как Ай Цин, пострадавшего еще в период «борьбы с правыми». С грустью пишет Ай Цин о невосполнимости утрат, об уходе из жизни близких ему людей: «Ты прост и чист как народные бумажные аппликации /Четок как гравюра/ Никогда не знал лжи /Стойко защищал свои убеждения.../ Ты упал как солдат в окопе/Произнося речь.../ Ушел не прощаясь/Словно намеревался вернуться/Сколько дел недоделано/Сколько слов недосказано...»

Истинные интонации Ай Цина мы слышим в стихотворении «Весенние цветы». Здесь цветы «открыли свои золотистые лица»—ранние цветы, пробужденные ото сна, «улыбка большой земли». Формальным поводом для написания стихотворения явилось присуждение премий Союза китайских писателей лучшим поэтическим сборникам 1979—1982 годов. Одним из лауреатов стал Ай Цин как автор «Песен возвращения» (1980), куда вошли известные его стихи и поэмы. Судя по китайской прессе, книга Ай Цина стала одним из самых заметных явлений в литературной жизни страны. Однако многие китайские критики опасаются сейчас литературы «кровавых шрамов», то есть литературы, резко обличающей «культурную революцию», и поэтому пытаются «вывести» поэзию Ай Цина за ее пределы, представив его творчество как бы стоящим над этой обличительной литературой.

Различные ухищрения со стороны некоторых критиков вряд ли в состоянии скрыть от проницательного читателя остроту, драматизм его стихов, а порой и противоречивость, вызванную сложностью и противоречивостью самого времени.

Да, разумеется, жизненный и художественный опыт позволили Ай Цину увидеть жизнь масштабно, в ее исторических связях, но при этом он всегда конкретен и близок к человеку, тоже конкретному и понятному ему. Нельзя не согласиться с критиками в том, что Ай Цин «сплетает воедино историческое и реальное содержание», но решительно неверно и неэтично называть, как делают иные из них, «жизненным опытом» трагедию человека и поэта.

Творчество Ай Цина «после возвращения» свидетельствует о высокой «сопротивляемости» значительной части китайской интеллигенции, выдержавшей нечеловеческие испытания и сохранившей в себе те нравственные и гражданские качества, те эстетические ценности, ту веру в гуманистические, демократические, социалистические идеалы, которые китайская поэзия унаследовала от антифеодального, антиимпериалистического «движения 4 мая» 1919 года. «Сопротивляемость», в сущности, и была выпестована, воспитана гуманистической традицией китайской культуры, на которую замахнулись обскуранты и погромщики с их нигилистическим отношением к культуре вообще.

Но опыт Ай Цина, как и других ныне возвратившихся к активной деятельности китайских писателей, к сожалению, свидетельствует и о том, что система «перевоспитания» в определенной степени не могла не оказать разрушительного воздействия на творческий облик известной части деятелей культуры (есть в их произведениях мотивы неверия, пессимизма, апатии, надрыва и т. д.). И все же растерянность, физическая и моральная усталость уживаются у них (может быть, сочетаются) с критикой негативных моментов (часто смелой и бескомпромиссной), с отстаиванием духовных ценностей нации.

Поэт преодолевает личную боль, но никогда не преодолевает общую боль народа. Она — как образ впечатанной в камень рыбы из стихотворения Ай Цина. Когда-то рыба «прыгала в пене морской», но землетрясение или извержение вулкана навеки погребло ее под камнями и пеплом. Не так ли случалось с людьми в годы бесчинства «четверки»? Цепочка ассоциаций ведет поэта в завтрашний день: «Живой должен сражаться, в сраженье идти вперед» («Рыбья окаменелость»).

«Каждый должен начинать с самого себя» — назвал Ай Цин одно из стихотворений. Он с себя и начинает. Достаточно прочесть его «Зонтик», «Зеркало», «Гимн лучам» и многие другие «песни возвращения», чтобы почувствовать высокий гуманизм поэта, бесконечную его доброту, веру в солнце — любимый образ Ай Цина еще с 30-х годов. «Бег за солнцем» продолжается и поныне.

В стихотворении «Восток алеет» читаем:

До восхода солнца
Небо черно
Земля тоже черна
Черна будто человек ослеп
Черна хоть глаз выколи
Но мрак беспощаден
Как скала он придавил все живое
Равнодушно и бесстрастно господствует
над миром...

Рассвет!
Между небом и землей
Появилась вибрирующая алая линия
в форме дуги
Точно карп выпрыгнувший из воды
Точно полукружье бритвы залитой
кровью
Эта бритва непрерывно растет выступая
вперед
Наконец она покидает землю
И превращается в огромный ярко-
красный круг
Солнце взошло!

Ай Цин остается верен своей главной теме.

Заметки писателя

ХУАН ЭДУАРДО СУНЬИГА

ГОДЫ НАЕДИНЕ С РУССКОЙ КНИГОЙ

Недавно крупное барселонское издательство «Бругера́» выпустило книгу испанского писателя Хуана Эдуардо Су́ньиги «Перстень Пушкина». Это сборник эссе, в основу которых положены факты из биографий русских писателей. — Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Блока, Андреева. Приоткрывая страницы их жизни и тем приближая их к испанскому читателю, автор «Перстня Пушкина», однако, ставил перед собой куда более серьезную цель, чем просто расширить кругозор своих соотечественников. Дело в том, что юность Суньиги совпала с самым темным периодом существования в нашей стране франкистского режима. И вот в поисках правдивого слова Суньига открыл для себя русскую литературу. Чтобы глубже с ней познакомиться, он выучился читать по-русски и теперь по-настоящему знает русских классиков. Активный член парижского Общества друзей Ивана Тургенева, он написал о великом романисте очень интересное исследование.

Публикуемый ниже рассказ Суньиги о том, чем в его личной и творческой судьбе стала русская и советская литература, заслуживает, как мне кажется, внимания читателей журнала: ведь пример Суньиги далеко не единичен. Среди испанских интеллигентов его поколения немало таких, кто в русской и советской литературе искал и находил моральную опору и силы, чтобы бороться или хотя бы просто жить в удушливой атмосфере Испании сороковых годов.

ХОСЕ ФЕРНАНДЕС САНЧЕС[1]

[1] Свое вступительное слово автор прислал к нам в редакцию на русском языке. *(Здесь и далее прим. ред.)*

ХУАН ЭДУАРДО СУНЬИГА — JUAN EDUARDO ZÚÑIGA (род. в 1919 г.)

Испанский прозаик, автор книг «Коралл и вода» («El coral y las aguas»), «Долгий ноябрь в Мадриде» («Largo noviembre de Madrid»). Известен и как эссеист, посвятивший себя главным образом изучению славянских литератур (прежде всего русской) и популяризации их у себя на родине. Среди его эссе следует назвать «Безответные привязанности Ивана Тургенева» («Los imposibles afectos de Ivan Turguéniev», 1977), «Перстень Пушкина» («El anillo de Pushkin», 1983).

Статья «Годы наедине с русской книгой» получена редакцией в рукописи.

Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности; я почувствовал, что́ такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня.

М. Горький. «В людях»

Наверное, только на страницах подлинно литературного журнала — а именно такова «Иностранная литература», где встречаешь порой самые неожиданные, но всегда интересные публикации,— и можно рассказать о самом для меня сокровенном, о переживаниях, связанных с русской и советской литературой. Ее влияние я ощущал со времен юности; трудно перечислить все книги, назвать имена писателей, которые стали моими постоянными спутниками, коснувшись моей души невидимым и могучим дыханием. Я понимаю, что смогу лишь схематически прочертить те пути, по которым книги вели меня в далекую и удивительную страну; боюсь, мой рассказ будет чересчур личным, не совсем понятным для тех, кто и представления не имеет о жизни в странной оторванности от остального мира — а ведь как раз так когда-то жил я.

Надо пояснить, что эти строки для вашего журнала пишет не специалист-эрудит, не университетский профессор; я всего лишь пылкий почитатель тех, кто во всеоружии благородных мыслей создавал литературу на русском языке, почитатель страны, где она родилась. Преданность этим людям, этой стране обогатила меня; среди известных мне европейских культур именно русская влияла на меня неизменно и, побуждая к новым открытиям, помогала становлению моего характера. Французская культура, питавшая людей моего поколения,— я тоже обязан ей многим — развивала главным образом ум, ее уроки были скорее логическими, русская же культура исстари покоряет души тех, кто изучает ее без предубеждения, умением затронуть сердце, пробудить высокие чувства.

Как же случилось, что в полном одиночестве я стал вживаться в далекий русский мир? Это необычная история. Начну с самого раннего воспоминания; оно связано с именем Ивана Сергеевича Тургенева, могучего и нежного гиганта, с которым я понемногу знакомился все ближе, пока он не стал мне родным; изучая все связанное с ним, я обогатился душевно, понял собственное предназначение.

Мне было тринадцать лет. Я жил в маленьком домике в предместье Мадрида и по причинам, которые долго объяснять, чувствовал себя совершенно одиноким — в сущности, так оно и было. Вокруг дома росло несколько деревьев, зеленели кусты, и я часто бродил по этому крохотному садику, чтобы чем-то себя занять. Однажды я заметил, что под дверь, ведущую на улицу, кто-то сунул тонкий журнальчик на очень плохой бумаге. В нем вслед за объявлением об издании серии дешевых книг я обнаружил роман. Он назывался «Дворянское гнездо». Я тут же принялся за чтение — то был, пожалуй, первый роман для взрослых, который я прочел, и именно его я буду изучать много лет спустя как главный ключ к пониманию Ивана Сергеевича.

Книга произвела на меня сильнейшее впечатление, мне сейчас трудно представить, как сумел тринадцатилетний мальчик уловить атмосферу несостоявшейся любви, которой пронизан роман. Особенно запомнились мне две сцены: молодой Лаврецкий после смерти отца стоит на балконе деревенского дома и размышляет, опершись на перила; и другая, в начале главы XVIII, где он едет в деревню и смотрит на поля, тучки, степную «голь и глушь»...

Русская пословица гласит: «Чужая душа — потемки»; бывает, что и своя тоже. Оставим загадки психологии, поговорим об удивительных совпадениях — их нельзя объяснить логически, но они столько раз неожиданно и круто меняли ход событий или человеческие планы То, о чем я сейчас расскажу, всегда представлялось мне таинственной случайностью: за несколько лет до того, как я поднял с земли роман Тургенева, я соорудил из двух пустых коробок нечто вроде этажерки для своих детских книг. А над ними приколол кнопками две цветные картинки — репродукции с полотен Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» и Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Тогда я и понятия не имел, что за страна и что за события изображались на репродукциях, которые по чистой случайности я предпочел другим, и однако же на протяжении нескольких лет я рассматривал их, запомнив все до мельчайших подробностей,— этим картинам я многим обязан в познании мира.

Вернемся к Тургеневу. Благодаря ему я сделал начальные шаги на литературном поприще: в самой моей первой статье, опубликованной в 1943 году, шла речь о любви Тургенева к Полине Виардо. Ее замысел возник после того, как я прочел заметку одной писательницы, в которой она — на основании биографии Тургенева, принадлежащей перу Андре Моруа и незадолго до того переведенной на испанский,— превозносила «вечную любовь» между русским писателем и знаменитой певицей, испанкой по происхождению. Я же считал, что их отношения подменяли для писателя иные привязанности; то была дружба или мольба о любви — ведь об интимной стороне их отношений ничего не известно, все основывается на предположениях. Со временем мои возражения против шаблонной версии подкреплялись новыми фактами; я убеждался, что отношения с Полиной Виардо, почти всегда овеянные меланхолией, не были безоблачными и порой доставляли Тургеневу немало мучений, а в конце наступило разочарование, и писатель не мог этого не сознавать. Знаю, что мое мнение идет вразрез с общепринятым на Западе и даже опровергается восторженными фразами о певице, встречающимися в письмах Тургенева.

Найдя издателя, готового опубликовать мое биографическое исследование, я предпослал ему заголовок «Безответные привязанности Ивана Тургенева» — мне каза-

лось, что эти слова правильно определяют одну из черт характера великого писателя.

Мысль написать биографию Тургенева, выразить в ней свое восхищение и изложить собственный взгляд на его личность зародилась в 1945 году, но работа увидела свет лишь в 1977-м. После незабываемой первой встречи с «Дворянским гнездом» я посвятил много часов и дней розыскам произведений Тургенева в плохих испанских переводах, обычно сделанных с французского,— переводы эти выпускались маленькими тиражами и сразу же исчезали. Но каждая находка, будь то «Вешние воды», «Первая любовь» или «Записки охотника», переполняла меня радостью, я все глубже погружался в творчество писателя, прослеживая связи между уже прочитанными и только что приобретенными книгами, вновь убеждаясь, что его литературная манера мне особенно близка. Психологическая неоднозначность тургеневских персонажей, прелесть описаний, сюжетные линии, столь красноречиво говорящие о мнениях и симпатиях автора,— все это были уроки, которые может преподать лишь большой мастер прозы, глубокий исследователь человеческих душ — а здесь Тургенев нередко опережал свою эпоху, например, его замечательный «Дневник лишнего человека» может рассматриваться почти как клиническая история невроза.

В те давние годы, когда я, ведомый за руку Иваном Сергеевичем, вступал в литературу, меня притягивал пока лишь щедро наводящий на размышления текст, вне связи со страной, давшей ему жизнь. Но через два года после знакомства с «Дворянским гнездом» мне случайно попался в мадридской газете отрывок из русского романа — не знаю, кто был автором: герои его шли в начале лета через поле, среди высоких шелковистых трав и ярких цветов, а над ними сияло солнце и плыли облака. Меня снова захватила красота этого отрывка, и я нежданно открыл для себя русский пейзаж — только позже я обнаружу, что он извечно вплетен в русскую литературу. Откуда мог знать неведомый автор, что в краю, лежащем за тысячи километров от его страны, испанский юноша, прочтя его строки, навсегда полюбит природу, которая значит так много для русских и советских писателей...

В скудной библиотеке отца я нашел том русских рассказов, переведенных в начале века одним из немногих тогдашних знатоков русского языка — его звали Хулиан Худерйас, и, кажется, он был консулом в Одессе. В эту книжку, изданную в 1912 году, входили «Вий» Гоголя, рассказ М. Горького «Хан и его сын», пушкинские «Барышня-крестьянка» и «Пиковая дама», «Страшная ночь» Чехова, два рассказа Толстого и вещи трех менее известных писателей — Загоскина, Александра Бестужева (Марлинского) и Н. П. Вагнера, зоолога и друга Чехова. Каждый рассказ был по-своему интересен, но самое большое впечатление произвела на меня «Пиковая дама», трогательный образ Лизы и то место, когда Германн входит ночью в дом графини и, минуя тихую переднюю, попадает в спальню — эту сцену я пережил так, словно увидел ее своими глазами. Богатейший мир русской литературы, жуткая фантазия гоголевского рассказа, таинственность восточных страстей у Марлинского, строгий талант Чехова побуждали идти все дальше по пути, который открывают книги, когда тебе всего пятнадцать лет.

Не могу не упомянуть издание, много сделавшее для распространения культуры в двадцатые и тридцатые годы,— я имею в виду серию «Романы и рассказы», перепечатывавшую уже опубликованные произведения. Тетрадки серии, стоившие очень недорого, продавались в газетных киосках, именно благодаря им приобщились к чтению многие рабочие, люди скромного достатка. В этой серии выходили произведения Пушкина, Лермонтова, Короленко, Горького. Качество переводов — увы! — оставляло желать лучшего, но я читал их с таким жаром, словно то было само совершенство.

Эти тетради на пожелтевшей бумаге, с плохой печатью хранятся у меня еще и сейчас; они — мои любимые спутники, и портреты авторов на обложках, сделанные неизвестным художником, впервые познакомили меня со столькими дорогими лицами.

Увлечение иной, далекой культурой в пору юности было, очевидно, реакцией на тягостную, печальную обстановку в моей стране; чтобы забыть о ней, я уносился в неведомые края на волшебном ковре любимых книг. Примерно то же чувствовал, наверное, Максим Горький, когда писал строки, которыми мне захотелось предварить эти воспоминания.

Однако теперь мне думается, что, быть может, я вовсе не составлял исключения — недавно я смог убедиться в этом. В конце 1983 года, после выхода в свет «Перстня Пушкина», меня попросили рассказать о русской литературе ученикам средней школы в рабочем предместье Мадрида — Сан-Бласе: то будет не лекция, а непринужденная беседа.

К своему удивлению, я увидел около двухсот подростков, которые внимательно слушали мои рассказы не только о литературе, но и о стране, о русской истории, о современной политике. Они записывали за мной, задавали множество вопросов; родители этих мальчиков и девочек, возможно неграмотные и к тому же безработные, в жизни не прочли ни одной книги, но их дети стремились к знаниям и в течение полутора часов не покидали зала. Удивительно приятно было смотреть на юные сосредоточенные лица...

Когда я думаю о них, мне припоминается другой случай, происшедший в 1939 году. Окончилась гражданская война[1], я поехал в городок близ Саламанки, откуда родом моя семья, и однажды утром на почте разговорился с незнакомой девушкой, дочерью учителя-коммуниста, который подвергался гонениям и сидел в тюрьме, как мне сказали позже. Мы говорили о

[1] Имеется в виду национально-революционная война испанского народа против фашизма (1936—1939).

книгах, она спросила, читал ли я повесть Либединского «Неделя». Я знал эту вещь, но не сумел понять ее, воспринять ее революционный урок, и ответил, что она мне не понравилась. Девушка удивилась, заспорила, принялась хвалить книгу и особенно одну героиню повести, учительницу, которую считала замечательной личностью. Сколько живого интереса и смелости звучало в словах девушки — а ведь тогда было опасно даже упоминать, не то что хвалить советскую книгу. Как схожи между собой та девушка и подростки из Сан-Бласа... Радостно думать, что не один я искал спасения в книгах далекой страны.

Событием, заставившим меня особенно внимательно приглядеться к миру Советов, стали торжества в Мадриде по случаю 20-й годовщины Октябрьской революции. В городе, осажденном франкистскими войсками, городе голодающем, полуразрушенном бомбами, повсюду устанавливались большие щиты с революционными плакатами, в газетах публиковались статьи о Стране Советов, материалы о советских писателях. Я прожил в Мадриде все месяцы осады. Помню, кто-то показал мне открытки с видами Москвы; одна изображала вход в метро, и я впервые увидел слово, написанное кириллицей,— прежде мне никогда не попадался русский текст; я вглядывался в эти буквы, быть может смутно предчувствуя, что увижу их еще не раз.

В тревожную пору гражданской войны мне довелось познакомиться с пушкинской «Капитанской дочкой» — я был поражен динамизмом сюжета, так и просившегося на экран. Позже я узнал другие повести Пушкина, роман в стихах «Евгений Онегин» — вот поистине неисчерпаемая книга, в ней находишь все темы, занимавшие умы людей в начале XIX века, и не перестаешь дивиться точности психологических характеристик героев.

Восточная экзотика в изображении атамана Пугачева и его соратников подготовила меня к восприятию лермонтовской «Бэлы»... Восток, таинственный и манящий, рискованные приключения, неожиданные повороты судеб — все это неудержимо влекло меня к роману «Герой нашего времени», наверное, так же, как в середине XIX века романтически настроенного путешественника притягивал к себе Кавказ. Книги Гоголя и Гончарова, «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева, роман Гарина «Студенты», рассказы Бунина, повесть Алексея Толстого «Ибикус», романы Ильи Эренбурга «Любовь Жанны Ней» и «В Проточном переулке»— я буквально глотал их одну за другой.

В молодые годы сердце легко открывалось навстречу чужой беде, и я легко поддался пронзительной взволнованности «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных», сострадая, следил за перипетиями в жизни героев Достоевского.

Тогда же я прочел «Севастопольские рассказы» Толстого. Листая эту книгу вновь и вновь, я вижу, сколько проницательности и глубины таят в себе эти военные репортажи, может быть одни из первых в истории журналистики.

Знакомство с Горьким началось, вероятно, не с самых лучших его рассказов, но они открыли мне новую мораль — солидарности в нищете; эти истории о босяках полны добрых чувств, уважения к человеческому достоинству. Только позже мне удалось прочесть чудесные воспоминания Горького о детстве и юности.

И все же окончательно соотнести литературу с ее родиной я смог лишь в дни, когда советский народ защищал свою страну от нацистских захватчиков. Я следил за ходом войны, отмечая линию фронтов на большой карте, висевшей у меня в комнате, заучивая названия городов и рек. Помню день, когда стало известно о победе под Сталинградом. В полдень в сводке новостей диктор мадридского радио сообщил кратко и раздраженно о капитуляции фашистской армии на Волге. Я обедал вместе с домашними; в окно виднелось серое и холодное небо, никто вокруг меня толком не понял услышанного, а у меня возникло ясное ощущение всей неизмеримой важности этого события, ставшего переломным моментом второй мировой войны — я был его далеким и пассивным, но отнюдь не равнодушным свидетелем. Жадно ловил я передачи московского радио на испанском языке — я слушал их, прижавшись ухом к приемнику, вопреки стараниям франкистских властей заглушить станцию. До сих пор я храню в памяти такты позывных Москвы.

В Испании, пожалуй, никогда не было настоящих специалистов по славистике. Не помню, чтобы с 1887 года, когда писательница Эмилия Пардо Басан выпустила свою знаменитую книгу «Революция и роман в России», появилось какое-либо исследование или монография по вопросам, связанным с русской литературой. И переводилась она у нас весьма неудовлетворительно. На это указывал поэт Антонио Мачадо в лекции о русской литературе: «Она приходила к нам в переводах — в плохих переводах. Однако скажите мне, те, кто читал роман Тургенева «Дворянское гнездо», или роман Толстого «Воскресение», или «Преступление и наказание» Достоевского,— забыли ли вы то волнение, которое вызвали в душах ваших эти книги?» У русской литературы в нашей стране было немало таких же горячих почитателей, как Мачадо.

С победой франкистов положение изменилось; испанское общество захлестнула волна реакции, обскурантизма, началась борьба против любых демократических идей, а заодно и против симпатий ко всему русскому и особенно советскому. В составе гитлеровской армии на советском фронте воевала и посланная Франко «Голубая дивизия».

В библиотеках не существовало русских фондов, текстов для изучения русского языка, отсутствовали словари. Мое увлечение стало для меня в ту пору своего рода тайным вероисповеданием — нечто похожее чувствовали, наверное, вольнодумцы XVII века, преследуемые инквизицией. Я понимал, что надо скрывать свои мысли — не только потому, что высказывать их было опасно, но и потому, что вряд ли

встретил бы понимание среди тех, кто, даже будучи сторонником демократии, вовсе не разделял моих «странных» пристрастий. Вплоть до 1970 года в каталоги мадридской Национальной библиотеки не вносились поступления, напечатанные кириллицей, и только в 1972 году вышла история русской литературы, написанная испанцем, переводчиком Луисом Абольядо.

Мне очень не хотелось читать русскую литературу только в переводах, несколько раз я принимался за изучение русского языка, но всегда без особого успеха. В 1942 году мне попалась у букиниста библиографическая редкость: русская грамматика для французов, написанная Карлом Филиппом Рейффом (изданная в Карлсруэ в 1860 году!). Немецкий лингвист, автор словарей и грамматик русского языка, уделял много внимания русскому стихосложению и приводил примеры из Ломоносова, Батюшкова, Вяземского, но метод его ни в коей мере не был практическим. В 1952 году я попросил привезти из Парижа учебник русского языка Нины Потаповой, переведенный на французский язык. Долгие месяцы бился я над склонениями и спряжениями, но без практики, без хорошего учителя мои усилия ни к чему не привели. Неудача отнюдь не обескуражила меня, и с отчаянной дерзостью я взялся за перевод одного из стихотворений Блока о Венеции. Не могу понять, как я решился на это, но хорошо помню, сколько недель просидел над переводом. В конце концов стихотворение было опубликовано в одном журнале. Удивительная сила блоковской фантазии, таинственные образы поэта, художественные символы говорили сами за себя и сумели спасти безответственный перевод.

К сожалению, русский язык так мне и не дался — виною тому коварство муз, но еще более моя собственная бесталанность, однако в последние годы меня выручает помощь друга-испанца, владеющего русским в совершенстве, переводчика и знатока русской литературы Хосе Фернандеса Санчеса [1].

Как я уже говорил, между 1920 и 1936 годами публиковалось немало переводов из советской литературы. Под влиянием Октябрьской революции прогрессивные издательства стали печатать произведения современных писателей, и тогда у нас вышли книги Федина, Леонова, Вс. Иванова, Гладкова, Сейфуллиной, Николая Островского и даже не столь известных писателей — Неверова, Лидина, С. Семенова. При Франко они были запрещены; устраивались публичные сожжения книг, но букинисты прятали их и тайком продавали людям, которым доверяли, так что я продолжал читать эти редкие издания. Порой я чувствовал себя солдатом из сказки Афанасьева, которому дают книгу, с тем чтобы он читал ее три ночи, несмотря на ужасы, происходящие вокруг; если он выдержит, окаменелое царство оживет. Быть может, читая русские книги в те мрачные годы, я, так сказать, сопротивлялся окаменелым идеям, бережно лелея любовь к литературе, без которой уже совершенно не мог обойтись.

Единственной радостью стали для меня походы на мадридский рынок Растро. Там среди самых странных и неожиданных предметов можно было найти и старые книги. И еще с удовольствием смотрел я на сцене пьесы Чехова — со временем их опять начали давать в Мадриде, раз поставили даже «На дне» Горького; я негодовал, видя, как тургеневский «Месяц в деревне» превратили во фривольный водевиль, чтобы в нем блеснула состарившаяся актриса; волновался, когда в Мадрид приехал Евтушенко; был поражен, вдруг наткнувшись на номер журнала «Советская литература» — я и не подозревал, что он выходит на испанском. Однажды мой сослуживец, движимый странной интуицией, подарил мне настоящее сокровище: бедекеровский путеводитель по России издания 1912 года, с планами и картами; в книге была бездна информации, хотя с тех пор прошло сорок лет и все в стране изменилось.

Меня всегда удивляло, отчего в нашей культурной среде не интересовались странами Восточной Европы, и даже, наоборот, относились к их политике с недоверием. Я мог делиться мыслями о советской действительности только в кругах коммунистов. Когда кто-то из этих моих друзей ездил в Париж, я просил приобрести переводы советских книг: произведения Полевого, Макаренко, Пановой, Фадеева, Катаева, «Бурю» Эренбурга.

В пятидесятые годы фашистская цензура несколько смягчилась, стали чаще печататься произведения русской классической литературы. Для издательства «Агилар» делал переводы видный писатель демократических убеждений Рафаэль Кансинос Ассенс, знаток многих языков. Он владел русским языком и перевел полное собрание сочинений Достоевского, а затем избранные произведения Тургенева — впервые настоящий писатель переводил непосредственно с русского.

Я вновь стал писать на свою любимую тему, и в 1953 году с моим предисловием вышло собрание сочинений Чехова (в том же издательстве «Агилар»). В год 100-летия со дня рождения Максима Горького я опубликовал в одном театральном журнале статью о его драматургии, столь популярной в Испании двадцатых годов (напомню, что даже в некоторых романах Пио Барохи критикам хотелось видеть влияние Горького).

В 1960 году в одном мадридском театре был поставлен «Вишневый сад», и в связи с этим у меня сложился очерк о Чехове. Я вспоминал себя, когда писал о бедности молодого Чехова, о его домашнем окружении, о том, как нелегко ему было печатать первые рассказы, о его тяготах и разочарованиях.

Именно Чехов заставил меня столько размышлять о писательском труде. Писатель, читающий Чехова, ясно видит, чего не хватает ему самому: проза Чехова столь профессиональна, что не только восхищает, но и превосходно учит тех, кто

[1] Х. Фернандес Санчес сопроводил эти заметки своим вступлением.

ищет таких уроков. Эллиптический метод, уже примененный Тургеневым в «Записках охотника», доведен Чеховым до предельного совершенства: в косвенной форме, одним намеком, писатель дает нам почувствовать силу могучих страстей. И эта красноречивая сдержанность потрясает читателя, побуждает его заглянуть и в глубины текста, и в глубины собственной души. Чехов умеет одной фразой выразить с пронзительной ясностью тайное чувство — такова страстная фраза из третьего действия «Чайки», фраза, которую хотелось бы услышать каждому из нас: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее»...

Лет двадцать назад я прочел по-итальянски «Повесть о жизни» Константина Паустовского. Меня покорила его замечательная проза. Вот в такой форме, собрав пережитое, можно передать его другим; ведь мы всегда пишем «для другого», втайне мечтая о том, как нас будут читать. У Паустовского — кажется, в «Золотой розе» — я нашел такие слова: «Стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать... как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой темной комнаты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь, по жизни... Я пишу для всех, кто захочет прочесть написанное мною». Прекрасные слова, взволнованные и точные, они смягчают горечь и разочарование, сопутствующие нашему труду. Испанский литератор Антонио Нуньес, услышав их от меня, записал их и повесил у себя в кабинете как символ веры. В который раз талант далекого писателя, преодолев расстояния, вдохнул свежие силы в душу незнакомого коллеги.

Созданное в 1977 году в Париже Общество друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран, членом которого я стал, в 1981 году организовало поездку в СССР, и я воспользовался счастливым случаем, чтобы увидеть собственными глазами землю, по которой путешествовал лишь в воображении, разворачивая карту старой России, пытаясь осилить расстояния и время. Мечта моя свершилась — в возрасте, когда, собственно, следовало бы уже пережить самое главное в жизни. Путешествие было необыкновенным, ко мне словно вернулась острота чувств, присущая юности, я мог застыть на месте, глядя на белый ствол березы или встретив ласковый взгляд голубых глаз.

Два дня мы пробыли в Москве, потом поехали в Орел, в родные места нашего писателя. Посреди дороги автобус остановился, и мы вышли размяться. Впервые я оказался в окружении русской природы, в тех местах, где жили персонажи любимых романов и рассказов.

Стояло ясное апрельское утро, было еще холодно, но снег уже сошел, лишь кое-где среди деревьев серели его пятна, и я направился туда, в сторону от дороги. Я чувствовал под ногами влажную темную землю, вдыхал чистый воздух, любовался мягкими красками неба, слушал негромкие лесные звуки. Природа вокруг меня была исполнена спокойной красоты, и дух мой настраивался на ее тихий лад. Все было так гармонично и узнаваемо, все встречало во мне чуткий отклик, словно я издавна жил предчувствием этой картины. Мне показалось, что я помню эти места: да, я столько раз читал о них, столько раз видел их на полотнах Левитана, Грабаря, Поленова, Сергея Герасимова...

Через несколько часов я стоял среди деревьев, окружающих могилу Толстого. Потом побывал в Спасском-Лутовинове — в восстановленном барском доме Тургенева, в парке, у пруда, близ которого он бродил ребенком и который незадолго до смерти показывал своей приятельнице Марии Савиной, когда они ходили слушать вдвоем «ночные голоса». Не могу не рассказать, как брел я под холодным небом по улицам Ленинграда, вышел на Сенатскую площадь и исподтишка бросил взгляд на конную статую, многим внушавшую страх,— мне же она показалась статуей благородного рыцаря, поднявшегося из могилы на гордом Росинанте; миновав дворец, чье имя сохранит история, зашагал по набережной знаменитой Мойки и остановился перед домом номер двенадцать, а затем, стеснясь сердцем, осторожно взошел на ступени молчаливого дома и замер на пороге кабинета, где лежал человек, сказавший: «Но не хочу, о други, умирать; я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Я оставил этого человека в окружении его простых вещей, его книг; выйдя из его дома, я знал, что он жив.

Я вновь ощутил очарование русской природы во второй свой приезд в Советский Союз — на пушкинские торжества в июне 1984 года. Псков, Михайловское, крепостные стены, монастыри, луга, усеянные цветами, чайки над речными просторами и окрестности Москвы по дороге в Суздаль — казалось, я осязаю нетронутой русскую природу, дышу остановившимся временем, живой историей... На берегу реки Каменки у меня захватило дух от открывшейся картины: она представилась чудесным сплавом всех пейзажей, встреченных в книгах,— эти дощатые заборы, тропинки, вьющиеся среди травы, посеревшие от времени крыши, окошки в раскрашенных деревянных наличниках, прибрежные ивы, отраженные в реке, далекая фигура рыболова, стоящего по колено в воде, старушка, глядящая на нас, поправляя на голове платок... А над деревьями — синие и золотые купола, они присутствуют только в русском пейзаже и — для меня — придают ему законченность, увековечивают его.

Вспомнился Есенин — и Николай Рубцов. Я поздно открыл для себя Рубцова, открыл случайно — но все бывало со мной именно так. Переводы нескольких его стихотворений я прочел в румынском журнале; там же были статьи о нем, взволнованные воспоминания его знакомой по Вологде Марии Корякиной. Я понял, что его крепчайшая связь с природой, его любовь к «избушкам и цветам... к шепоту ив у омутной воды» идет очень издалека, имеет долгую традицию. В России люди издавна чувствуют себя частью родной

природы, и мне поведали об этом русские писатели.

Печаль Рубцова преследовала меня несколько месяцев, и я ощутил потребность написать о нем, соединить его сиротство с его глубокой любовью к земле, в которую ему суждено было так рано лечь. Тоска по умершей матери, звенящая в его стихах, навела меня на мысль, что Рубцов был ребенком, мечтавшим вернуться в свою колыбель, а колыбель эта — русская земля; такими словами я закончил посвященную ему главу в книге «Перстень Пушкина».

Я мечтал написать о том, что более всего взволновало меня в произведениях русских писателей, рассказать о своих радостях и находках, о том, что я в неоплатном долгу перед этой литературой, ибо каждая из прочитанных книг живет в моем сознании — так бывает всегда, когда сталкиваешься с гениальными произведениями искусства,— и чему-то учит меня: «Железный поток» Серафимовича — настойчивости и целеустремленности, «Города и годы» Федина — смелости стиля, «Пулковский меридиан» Веры Инбер — поэтически выстраданному милосердию; «Дни и ночи» Симонова познакомили с явлением массового героизма, а роман Распутина «Живи и помни» покорил умением рассказывать о драматических событиях просто и спокойно.

Я начал писать рассказ, навеянный преданием о пушкинском перстне — поэт получил его в дар из женских рук и посвятил ему стихотворение. Судьба талисмана показалась мне прекрасной темой для литературного произведения; я дал волю фантазии, но соединил выдуманное с кое-какими достоверными сведениями. Рассказ получился не строго документальным, зато занимательным. Сегодня след перстня утерян, но я решил продолжить его историю — где бы он сейчас ни находился, он влияет на судьбы наших современников.

Не знаю, как определить жанр этой книги. Очерки это, эссе или рассказы? Реальные факты перемежаются здесь с моими мыслями и с восторженными впечатлениями от книг, прочитанных за много лет. Персонажи и эпизоды, делающие русскую литературу такой яркой и насыщенной, завладели моей фантазией — захотелось выделить их, задуматься над ними, объединить их как-то по-иному. Постепенно я прослеживал внутренние связи, обнаруживал взаимные влияния между различными авторами и произведениями — несомненно, они существуют в каждой литературе и придают ей органическое единство. Я собирал факты и любовно истолковывал их, ибо без этого не смог бы написать о Лермонтове и о предчувствии смерти в его стихах и повестях, о Медном всаднике, о том, как русские читатели видели в героинях великих романов живых женщин, спорили о них, влюблялись в них — то был идеал, о котором мечтает любой мужчина. Особые главы посвятил я русским лесам и русскому языку, Москве и Ленинграду, непокоренным бунтарям, живущим в памяти народа... И цыганской песне, которая со времен Пушкина живет в литературе как символ любви к свободе.

Так возникла эта книга. Мне остается надеяться, что она зажжет в ком-то живую искру — желание приобщиться к прекрасному: быть может, он, непонятый и одинокий, ищет, как искал и я, спасения в книгах и вдруг поймет, изумленный, какой блестящий ум, реализм и фантазию, благородство чувств и уважение к ценности слова, глубокую веру в будущее и любовь к справедливости, какую высокую поэзию, трогающую любую душу, несет в себе — по моему твердому убеждению — литература, созданная на русском языке.

г. Мадрид

Перевод с испанского
ВЕРОНИКИ СПАССКОЙ

◆

К 70-ЛЕТИЮ АЗИЗА НЕСИНА

Н. ФЕДОРЕНКО

ГОРДОСТЬ ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Извечно стремление человека к новым берегам. Наш лайнер «Максим Горький» медленно вошел в пролив Босфор и, подходя к стамбульскому причалу, почти врезался носом в основательно обмелевший залив Золотой Рог. Верно замечено: вода, как и дорога,— всего начало...

Встреча в Стамбуле... Мне предстояло здесь увидеться с удивительным художником и человеком, крупнейшим турецким писателем Азизом Несином.

В огромном Стамбуле, городе с неисчислимым населением, Несина узнают тотчас, где бы он ни появился,— в уличной толпе, в книжных лавках, в концертных залах, в ресторанах, кафе... К нему подходят, дружески здороваются, улыбаются... И ни один знак привета не остается без внимания: Несин обладает удивительным тактом. С каждым человеком он разговаривает поразному, сообразуясь с особенностями характера, личности собеседника; останавливается на мгновение, пожимает руку, произносит несколько фраз — учтивых ли, деловых или шуточных: то тихо, спокойно, то оживленно, темпераментно.

Мне вспомнились слова Хосе Агустина Гойтисоло из «Архитектурной мастерской», которые воспринимаются как кредо писателя: «...выходи на улицу и смотри. Вот лучшая школа в твоей жизни».

Стамбул — своеобразное морское сплетение, где перекрещиваются водный путь из Черного моря в Средиземное и пути, связывающие Юго-Восточную Европу с Азией. А Босфор — кратчайшее расстояние между Западом и Востоком. Здесь сама природа словно бы указывает, как следует создавать каналы связей, международного движения, духовного общения народов.

Здесь мы встретились с Азизом Несином в 1977 году, тотчас после первой Международной конференции писателей в Софии, получившей название «литературного Хельсинки». И вот теперь, спустя годы, снова свидание в Стамбуле — в моем сознании Азиз Несин олицетворяет этот город.

Вспоминается наш диалог.

— Скажите,— спросил я турецкого друга, — Азиз Несин — это ваше настоящее имя или псевдоним?

— Видите ли, — сказал он,— в 1934 году у нас вышел закон, по которому турки должны были принять фамилию... Мне не досталось звучной, красивой фамилии, которой я мог бы гордиться, и я взял себе самую обыкновенную — Несин, означающую «что ты?». Мне хотелось, чтобы каждый раз, когда назовут мою фамилию, я задумывался над тем, кто я и что я.

Огромен Стамбул — главный торгово-промышленный и культурный центр страны, крупнейший порт, раскинувшийся среди холмов и захвативший оба берега Босфора, у самого Мраморного моря. Когда-то в древности тут была речная долина, затопленная морем. Естественная гавань Золотой Рог, с ее высоким крутыми берегами, искони служила надежным пристанищем морским судам из далеких стран. Удивительно благоприятное географическое положение Царьграда — пользуюсь его древнеславянским названием — не могло не способствовать развитию гигантского этого поселения.

Многолик и пестр сегодняшний Стамбул. Здесь роскошь на каждом шагу соседствует с нищетой. На знаменитом базаре горы золота, а на улицах малолетние дети, торгуя

питьевой водой, зарабатывают на пропитание. До сих пор меня преследуют жалобные голоса ребятишек на Галатском мосту, умоляющих прохожих купить кружку холодной воды. Массовая безработица — для Турции народное бедствие.

Константинополь, как прежде именовался Стамбул, едва ли не в одинаковой мере привлекал к себе пристальнейшее внимание Востока и Запада культурой словесности, богатейшей литературной традицией, давшей немало высоких образцов на протяжении столетий. Достаточно упомянуть в этой связи акафист богородице, получивший признание как вершинное творение византийской духовной поэзии.

Но у реки времени свои законы. Неумолимое ее течение многое размывает и уносит в небытие. Не пощадило оно и Византию. Ее культура, достигнув академической стабильности, утратила творческий характер, оказалась неподвижной, не способной воспринимать новизну...

Беседа наша с Несином происходила в его доме, в шестидесяти километрах от Стамбула. Писатель купил здесь участок земли, чтобы построить не загородную дачу, где мог бы посвятить себя творчеству — создавать сатирические новеллы или рассказы, — но дом-приют для детей, круглых сирот. Не без труда и многосложностей Несин возвел этот дом на свои средства, без чьей-либо помощи.

— Мне хочется вернуть людям свой долг за то, что получил в свое время образование и добился признания благодаря моим читателям, — сказал писатель, знакомя меня с приютом, принадлежащим фонду Азиза Несина.

Устав и все официальные бумаги, связанные со строительством детского дома, были в 1972 году оформлены юридически. В соответствии с уставом цель организации детского дома — обеспечение жизни беспризорных сирот в возрасте от трех-четырех лет до совершеннолетия, когда юноша или девушка получит образование либо приобретет профессию. Определены и средства для содержания детского дома. Прежде всего это гонорары: за издание и переиздание в Турции и в зарубежных странах пятидесяти пяти книг Несина; за постановки в Турции и за рубежом восьми его пьес; за радио- и телепередачи по произведениям писателя; за сценарии фильмов по его книгам; за все, что будет написано Несином с момента создания фонда и до смерти его основателя.

Сверх того Несин передает детскому дому свою библиотеку из двадцати тысяч томов, подборки газет и журналов, энциклопедии, словари, а также свой архив и произведения живописи, им приобретенные. Библиотека будет пополняться за счет новых книг и периодических изданий. Предполагается устроить мемориальную комнату Назыма Хикмета — Несин уже собрал значительное количество рукописей, личных вещей, документов, фотографий, рассказывающих о его жизни.

— Когда совсем разбогатею, — мечтал мой собеседник, — построю для детей еще один дом, рядом, с бассейном, спортивной площадкой. Вокруг посажу деревья. И мы опять соберемся в саду. Под кронами фруктовых деревьев, в веселом окружении счастливых детей.

Так видит Несин воплощение своего гуманистического идеала — сделать счастливыми сирот, обреченных на нищету в современном капиталистическом обществе, где главная цель — нажива.

Восточная мудрость гласит, что, если человеку очень нужны деньги, надо посеять просо, которое быстро дает урожай и приносит доход; если человек вынашивает многолетние планы, он должен посадить фруктовые деревья; если же человек строит расчеты на всю жизнь, ему следует посвятить себя просвещению людей. И Азиз Несин создал фонд воспитания детей-сирот.

Несин — писатель многожанровый. Он опубликовал более двух тысяч рассказов, сказок, новелл. Написал семь сатирических романов, два тома воспоминаний, немало пьес. У него вышло два сборника стихотворений, он постоянно выступает на страницах журналов и газет... Однажды Азиз Несин заметил, что борется он двумя руками, хотя пишет одной. И добавил с сожалением, что не может одновременно читать и писать.

Не всякий писатель и не всякое сочинение воспринимаются с пониманием и глубоким волнением. Художник слова интересен, когда предстает перед нами в своей неповторимости, когда обнаруживает щедрый талант, особое зрение, придающее его творчеству непохожесть, уникальность. У Несина, как я его понимаю, свои мотивы, свой круг проблем, свой излюбленный герой, всегда определенный угол зрения на жизненные явления. Несину никогда не изменяет «чутье на смешное» — смешное он находит буквально повсюду. Юмористические рассказы его—это прежде всего сам писатель, мир его чувств, его жизненный опыт. И самое поразительное, пожалуй, в том, что за все происходящее в жизни и судьбе родины Несин считает себя лично ответственным как писатель. Он стремится полнее осмыслить сложность современного бытия турецкого народа, своего современника. В этом — источник движения его творчества. Несиновские истории всегда умны, парадоксальны, ироничны.

Примечательно высказывание самого писателя в предисловии к книге «Если бы я был женщиной»: «Следуя по пути народных сатириков, черпая силу в этом великом источнике, я вот уже двадцать лет тружусь в области сатиры. В своих рассказах и сказках я стараюсь показать общественную топографию моей родины.

Долг интеллигента — осветить настоящее и будущее народа, чтобы поднять уровень его жизни. Я стараюсь по мере своих сил исполнить этот долг, заставляя людей смеяться и размышлять. Таковы мои намерения, но насколько удалось их осуществить — судить не мне».

Выступая как-то по телевидению, Несин рассказал весьма поучительную историю. Некий турок, придя к другу в гости, увидел во дворе барана с одной деревянной ногой. Отвечая на недоуменный вопрос гостя, хозяин сказал, что как-то хотел забить барана,

но вскоре сообразил, что с целой тушей не справится, и решил резать животное по частям, начав с задней ноги... Перейдя к международным делам, Несин продолжал: «Действия сил зла в безумном нашем мире напоминают обращение хозяина с бараном. Силы эти режут мир по частям, инспирируя агрессии и кровопролития то в одной части Земли, то в другой, ввергая народы в объявленные и необъявленные войны и междоусобицы. Кощунственно и невероятно, но происходит это у всех на глазах».

Отметив, что писатели, словно сверхчувствительные сейсмографы, первыми улавливают симптомы духовного, морального, идейного кризиса, Несин заявил: «Залог сохранения художественных ценностей, самой цивилизации — это наша осознанная ответственность перед историей и человечеством».

Именно честность художника, его проницательность, его врожденный дар приводят писателя к неоспоримому выводу: мир — важнейшее условие самого существования культуры. Все честные, прогрессивные, здоровые силы литературы нашей планеты не могут не объединиться под знаменем благородных идеалов мира и международной безопасности. Лишь их осуществление обеспечит наше право на жизнь, творчество, защиту со стороны закона...

Невольно приходят на память слова Уильяма Фолкнера, сказавшего, что он отказывается принять конец человека, ибо верит, что человек не только выстоит, но и победит. Нет, для Азиза Несина это не просто декларация, а горький, каждодневный опыт, сама окружающая его реальность.

— Разве вы пишете не о том, что есть, не о правде?

— Правду говорить, сказал как-то Максим Горький, не всякому дано, а если дано, добавлю от себя, то бывает это порой крайне опасно...

— Значит, чтобы говорить правду людям, надо быть готовым ко всему?

— Иначе не стоит браться за меч сатиры, по крайней мере в нашем обществе.

— Не получается ли, что сатирик со временем не в ладу?

— Не со временем, а с теми, от кого зависят, скажем, тиражи...

— А какая из ваших книг самая лучшая?

— Та, что завоевала больше читателей,— ответил Несин. — Нам нужна их поддержка, и они идут нам навстречу.

— Почему же, Азиз, кое у кого в Турции ваши публикации вызывают такое негодование?

— Вероятно, причиной тому свойственная мне ироническая манера письма, сатиричность. Я смеюсь, иронизирую... Но моя сатира социальна. И беспощадна. И это, скажу откровенно, потому, что в мире идет революционный процесс преобразования жизни людей. Мы собственным своим сознанием участвуем в великом этом движении. И если бы меня попросили определить свою сущность, я бы ответил: это глаза, которыми вижу, сердце, отданное друзьям, и тело, готовое страдать в тюрьме.

— Проповедь самых высоких идеалов вряд ли может служить чему-либо, если не указывает пути к их достижению.

— Убеждения по самой своей природе не могут быть бездеятельным духовным достоянием. Нельзя уподобляться бездумному флюгеру, который поворачивается при малейшем ветерке в конъюнктурной политике.

— Что это значит практически?

— Неудовлетворенность, гнев, протест против произвола несправедливости... Не есть ли это условие самой элементарной, разумной жизни? Именно это побуждает, не может не побуждать сатирика к беспощадному обличению...

— Вы рискуете?

— Ничем не омрачу, поверьте, надежд моих единомышленников. Я — человек. Сколько людей мечтало о торжестве человечности, гармонии прекрасного? Не этому ли всецело посвятил жизнь незабвенный Назым Хикмет, не рассчитывая на признание и высокие награды? Мы не просто его земляки, хотя и гордимся этим. Мы — его идейные сподвижники. И действуем, как и он. Назло войнам, на радость нашим друзьям. Не в этом ли первоначало положительное, жизнеутверждающее?

В январе 1983 года, как широко сообщалось информационными агентствами и в печати, Азиз Несин и другие руководители Синдиката писателей Турции предстали перед стамбульским судом по избитому обвинению в «коммунистической деятельности и пропаганде». Военный прокурор потребовал приговорить литераторов к срокам от восьми до пятнадцати лет заключения. Писательской организации инкриминировалось также сотрудничество с Обществом сторонников мира Турции.

Опровергая в ходе процесса все новые обвинения, писатели—члены Синдиката доказывали, что деятельность Общества, выступающего в защиту мира и против американского военного присутствия в Турции, отвечает коренным интересам турецкой нации.

— Наше общество, — говорил на суде известный публицист А. Сирмен, — считало мобилизацию населения на борьбу за мир, против угрозы термоядерной войны главной задачей. Американская концепция «ограниченной ядерной войны» небезопасна и для Турции. Мы говорили раньше, говорим и сейчас: «Нет — ядерному оружию и гонке вооружений, форсируемой США!»

В своем мужественном выступлении на суде Азиз Несин обнажил всю шаткость и надуманность обвинений, выдвинутых против него, его коллег и в конечном итоге против Синдиката: «Статьи 141 и 142 действующего уголовного кодекса Турции, грозящие суровыми карами «за коммунистическую деятельность», — подчеркнул писатель,— носят откровенно антидемократический характер. И если на сей раз свершится несправедливость, пусть все знают, что даже самым жестоким обвинительным приговорам нас не сломить»[1].

[1] Когда печатался этот номер, из сообщения турецкой газеты «Джумхурлет» стало известно, что судебные власти Турции, не найдя состава преступления в деятельности Синдиката писателей Турции, были вынуждены оправдать его руководителей. *(Прим. ред.)*

И вот Азиз Несин в третий раз под следствием по делу об участии в движении сторонников мира.

— Политическая обстановка в Турции такова, что мне может угрожать тюремное заключение,— замечает он.

И после короткой паузы продолжает:

— Никакой боязни, однако, у нас нет, и недостойных компромиссов мы не приемлем. Готов в любой час... И не подумайте, что Азиз Несин одинок. Наше движение приобрело широкий размах. Люди решительно настроены бороться до конца. Массовость движения в защиту мира в турецком обществе — великое наше завоевание и наша гордость...

В памяти возникла встреча с Азизом Несином в Кардиологическом центре в Москве, где он лечился. В то время арестовали и бросили в стамбульскую тюрьму его сына— в качестве заложника за отца. Несин направил телеграмму президенту Турции, потребовав освободить сына, так как возвращается в Турцию и готов сам предстать перед судом. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас.

— Дело не в сыне. Он молод и способен выдержать застенки, стамбульские казематы. Главное, нельзя оставлять в беде единомышленников. Помните, по мысли Льва Толстого, если ты в стороне от людей, тебе жить незачем. Ведь дело касается общей нашей судьбы. Там, где не плодоносят добрые посевы, неизбежно расцветают себялюбие, корысть, презрение к окружающему, самоутверждение за счет других, карьеризм. Бороться с такими сорняками на поле нашей жизни нужно и каждому в отдельности, и всем миром. Человек и общество в целом — все мы ответственны за воспитание нравственных качеств любого из сограждан, за его умение жить среди людей, за способность достойно нести высокое звание человека в горьковском смысле,— сказал Несин.

Понятно беспокойство художника слова за положение в мире. Что такое новое сознание? Это — сознание эпохи, в которой мы существуем, времени, исполненного неожиданностей и требующего от нас мужества.

Фонд Азиза Несина... Деятельность его ширится. Создается ферма для самообеспечения дома-приюта, который находится под наблюдением полицейских властей как «гнездо коммунизма». Во всяком случае, пока мы беседовали с Азизом Несином на частной территории его Фонда (хотя, казалось бы, по законам демократии: «мой дом— моя крепость»), турецкая тайная полиция на американских джипах демонстративно совершала рейсы вокруг, бдительно «оберегая» нашу встречу с Азизом Несином.

Мысли Азиза Несина устремлены в оптимистическое завтра, ибо он верит в торжество разума и справедливости, в торжество мира, непременного условия спасения человеческой цивилизации.

Приближается час моего возвращения на судно «Максим Горький». Всегда мы куда-то спешим. Не хотелось расставаться. Когда еще доведется встретиться с этим удивительным человеком?

В конце беседы я говорю ему: «Да хранит вас... нет, не аллах, с которым вы обращаетесь в своих рассказах не слишком-то почтительно. Да хранит вас, добрый наш друг, Азиз Несин, дух нашей общей борьбы, наша вера в победу справедливости и добра».

«Когда бы я ни узнавал о нападках на Азиза Несина, — написал однажды Леонид Ленч,— где бы они ни делались и какую бы форму ни принимали, я вспоминаю одну знаменитую сказку: «Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним вдогонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам: «Держите, держите его!». Как бы свирепо ни щелкали зубами крысы-преследователи, Азиз Несин делал и делает свое благородное дело».

Всем советским почитателям своего таланта Азиз Несин щедро желает неоконченной и плодотворной деятельности — литературной, общественной, педагогической и, конечно, долгой счастливой жизни.

И право, не стоит грустить, дорогой Несин,— ты знаешь себя, ибо давно понял, «что ты» и «кто ты».

◆

Письма из-за рубежа

АЛЬФРЕДО ГРАВИНА

СЛОВО, НЕПОДВЛАСТНОЕ МРАКУ

Альфредо Гравина пришел в уругвайскую литературу четыре десятилетия назад: в 1944 году появилась его «История одной истории», сразу же утвердившая за ним репутацию писателя-реалиста, человека передовых убеждений. Советский читатель познакомился с ним в 1954 году, когда в переводе на русский язык был опубликован роман «Границы, открытые ветру». Затем последовали переводы других книг Гравины — сатирической пьесы «Остров любви» (1960), романа «От страха к гордости» (1962), юмористической повести «Шесть пар обуви» (1965). Они принесли автору заслуженную известность в нашей стране.

Из произведений Гравины последних лет упомянем роман «Остров» (1970) и сборник рассказов «Взлеты», получивший в 1974 году премию на конкурсе Дома Америк. В этих рассказах, окрашенных иронией, ясно ощущается атмосфера гнета и страха, которую стремились поддерживать в Уругвае пришедшие в 1973 году к власти военные; убедительно показана стойкость непокоренного народа, чей героизм проявляется и в незначительных, казалось бы, событиях повседневной жизни. Книгу пронизывает глубокая нежность к многострадальной родине и ее людям.

После фашистского переворота в Уругвае Альфредо Гравина жил на Кубе, сотрудничая в Центре литературных исследований Дома Америк и работая над книгой по истории уругвайской литературы. В 1983 году латиноамериканская общественность тепло отметила семидесятилетие писателя.

Недавно стало известно, что Альфредо Гравина, как и другие видные деятели уругвайской культуры, вернулся на родину, где начался процесс постепенной демократизации.

Мы предлагаем вниманию читателей письмо Гравины, присланное в редакцию еще из Гаваны.

Охотно откликаясь на просьбу редакции журнала, с которым меня связывает давняя дружба, я попробую вкратце рассказать о том, какие произведения представляются мне наиболее значительными в уругвайской литературе последнего десятилетия — литературе, создававшейся в изгнании, за пределами родной страны.

Позволю себе — в виде необходимого введения — несколько слов об обстановке, сложившейся в Латинской Америке. Ее определяют два момента. С одной стороны — наступление сил империализма во главе с Соединенными Штатами. Стремясь повернуть вспять ход истории, они вот уже третье десятилетие плетут заговоры против свободной Кубы; бесцеремонно поправ все нормы международного права, вторглись на территорию крохотной Гренады, чтобы растоптать ее революцию; ведут необъявленную войну против отважной Никарагуа; не перестают оказывать помощь кровавым режимам Сальвадора и Гватемалы, истребляющим собственные народы; всячески поддерживают фашистские диктатуры. Но с другой стороны, в нашем регионе ширится и крепнет борьба народов за политическую и экономическую независимость, за национальное достоинство, за демократические права. Примеры тому — успехи прогрессивных сил в Аргентине, в Боливии и, конечно, мощные антидиктаторские выступления масс в Уругвае и Чили. Чаша народного терпения переполнена. Дни диктаторов на нашем континенте сочтены.

Для моей страны — Уругвая — последние

десять лет были годами тяжелых испытаний. Многие тысячи заключенных, подвергнутых пыткам, убитых, пропавших без вести. Почти пятьсот тысяч уругвайцев, вынужденных бежать за границу (при том, что все население Уругвая не достигает и трех миллионов)... Но диктатура не смогла покончить с демократическими силами, не смогла подавить рабочее движение, не смогла уничтожить коммунистическую партию, которая все эти годы активно вела подпольную борьбу, стоившую ей больших жертв. Под давлением левых сил правительству пришлось сделать ряд крупных уступок: легализовать некоторые буржуазно-демократические партии, разрешить деятельность профсоюзов; после многолетнего пребывания в тюрьмах выпущены на свободу некоторые политические заключенные, среди них лидер Широкого фронта генерал Либер Сереньи, член Исполкома ЦК Коммунистической партии Уругвая известный ученый Хосе Луис Массера. Наконец на ноябрь 1984 года были назначены выборы. Конечно, правительство пыталось совершить очередной обманный маневр, чтобы воспрепятствовать им. Но упорная борьба масс привела к тому, что выборы стали реальностью.

Что же происходило с уругвайской литературой в предшествовавшее мрачное десятилетие? Диктатура обрекла страну на молчание. Перестали издаваться книги, были запрещены прогрессивные журналы. Кое-кто из писателей оказался в тюрьме, остальные покинули родину. Уругвайская литература последних лет рождалась в изгнании.

Нельзя не вспомнить, что у нашей литературы XX века крепкие корни. Среди крупных уругвайских писателей следует назвать в первую очередь Энрике Аморима (1900—1960), чей роман «Корраль Абьерто» хорошо вам знаком. В своих книгах — а среди них кроме только что упомянутой такие романы, как «Лошадь и ее тень», «Девять лун над Неукеном», «Победа не приходит сама», «Лесные люди»,— писатель остро обличает социальную несправедливость, показывает, насколько антагонистичны интересы трудящихся и эксплуататоров, и не оставляет у читателя сомнения в том, что у бедняков есть лишь один путь — сознательная, организованная борьба за свои права.

Несмотря на драматизм ситуаций, на события, подчас имеющие трагический исход, книги Аморима, писателя-коммуниста, проникнуты историческим оптимизмом, неиссякаемой верой в конечную победу трудящихся; они заставляют вспомнить о произведениях советских писателей, о литературе социалистического реализма.

Получила свое развитие в XX веке и наша традиционная тема гаучо — пастуха, скотовода. В книгах Аморима и умершего несколько лет назад Элисео Сальвадора Порты развенчивается патриархальный, романтический миф о гаучо, «вольном сыне равнин»; на самом деле гаучо — такой же труженик, бедняк, эксплуатируемый латифундистами; его сила, его будущее — в единении с другими бедняками: батраками, мелкими землевладельцами.

По-своему разрабатывали тему гаучо, человека из низов, такие превосходные рассказчики, как Хуан Хосе Моросоли (1899—1957) и Франсиско Эспинола (1901—1973). Первого занимает психологическая мотивировка человеческих поступков; его герои — простые, бесхитростные люди, жизнь ставит перед ними порой неразрешимые задачи, приводит их на грань отчаяния, но они никогда не теряют надежды, в их душах не гаснет светлая искорка. Второй, отталкиваясь от события, переносит его в область фантазии, однако у Эспинолы — это один из методов исследования реальности, человеческих душ.

Среди современных писателей Уругвая видное место занимает известный советскому читателю Хуан Карлос Онетти (род. в 1909 г.). Его книги отмечены многими международными премиями, в 1980 году он был награжден премией Сервантеса — высшим отличием для испаноязычного писателя. После прихода к власти реакционного режима Онетти несколько месяцев провел в тюрьме, затем сумел уехать из страны. Сквозная тема книг Онетти, как мне представляется,— полное одиночество человека в буржуазном мире; однако герои писателя не смиряются с судьбой, каждый по-своему пытается вести отчаянную, одинокую борьбу за счастье — такое, каким его понимает,— борьбу, заранее обреченную на поражение, и это окружает персонажей Онетти трагическим ореолом.

Активно продолжает писать Карлос Мартинес Морено (род. в 1917 г.) — маститый прозаик, широко известный в испаноязычных странах; он автор многих романов и рассказов, превосходный стилист, не перестающий восхищать нас богатством языка. Кстати, «Иностранная литература» несколько лет назад печатала его повесть «Аборигены».

В годы, о которых идет речь, особое значение приобрели творчество и деятельность Марио Бенедетти (род. в 1920 г.) — советские читатели не раз встречались с его произведениями на страницах «Иностранной литературы». Неутомимый исследователь родной словесности, человек, имя которого неразрывно связано с освободительной борьбой народов нашего континента, прозаик, поэт и драматург, он выпустил немало книг, и мне хотелось бы особо отметить роман «Надломленная весна» [1] — напряженное повествование о нашей суровой действительности, о разбитых семьях, исковерканных судьбах уругвайцев, живущих в изгнании. Книга стала новым обвинением диктатуре; вместе с тем она глубоко человечна, проникнута мужеством и верой в торжество жизни и правды.

Плодотворно работают и другие уругвайские литераторы. Интересны книги прозаика Хорхе Мусто (род. в 1927 г.), чей роман «Пассажир» отмечен в 1977 году премией Дома Америк. Нельзя обойти молчанием также имена самых видных современных поэтов Уругвая — Идеи Вильяриньо (род. в 1920 г.) и Сауля Ибаргоена

[1] Рецензию на роман М. Бенедетти «Надломленная весна» см.: «ИЛ», 1984, № 5. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Исласа (род. в 1930 г.), стихотворные сборники которых всякий раз становятся событием в нашей литературной жизни (отдельные стихотворения этих поэтов публиковал и ваш журнал). К этому же поколению принадлежал и крупный писатель, один из ведущих литературоведов Латинской Америки Анхель Рама (1926—1983), чья жизнь недавно трагически оборвалась. Полный сил и творческих планов, он погиб в авиационной катастрофе.

Большой резонанс всегда получают новые книги известного прозаика и острого публициста Эдуардо Галеано (род. в 1940 г.). Его роман «Песнь о нас» был в 1975 году удостоен премии Дома Америк, а в 1978 году на этом же влиятельном конкурсе было отмечено другое его произведение — «Дни и ночи любви и войны» [1], книга страстных обличительных репортажей и одновременно проникновенный лирический дневник. Галеано говорит о жизни уругвайцев в изгнании, полной невзгод и опасностей, вспоминает об удивительных людях, с которыми ему довелось встретиться, о горьких и счастливых минутах своей жизни, но фон всего повествования — документальный рассказ о том, как латиноамериканские диктатуры ведут жестокую кровавую войну против собственных народов, уничтожая сотни и тысячи людей, пытаясь истребить все человеческое в душах тех, кто остался в живых. Сейчас писатель работает над трилогией, которую озаглавил «Обожженная память». Первая книга — «Рождения» — вышла в Мехико в 1982 году, вскоре появится из печати вторая — «Лица и маски». Это литературное воссоздание истории Латинской Америки от доколумбовых времен до наших дней, художественное и вместе с тем строго документированное полотно, широкая и яркая историческая мозаика.

В последние годы уже заявило о себе новое поколение уругвайских писателей. Среди них особенно хотелось бы выделить Фернандо Бутассони (род. в 1952 г.), талантливого прозаика, поэта, критика; книга его рассказов «Дни нашей крови» была в 1979 году отмечена премией на конкурсе Дома Америк, сборник стихов получил в 1980 году никарагуанскую премию имени Рубена Дарио, а роман «Открытая ночь»— коста-риканскую премию «ЭДУКА» за 1981 год. Роман молодого прозаика Амилькара Лейса Маркеса (род. в 1956 г.) «Окна молчания» был удостоен в 1983 году мексиканской премии имени Хуана Рульфо.

Необходимо сказать несколько слов и о журналах, издаваемых уругвайцами в ряде стран. Диктатуре не удалось заставить нас замолчать. Из разных концов мира доносится живое слово писателей Уругвая. В журналах публикуются статьи, информирующие о событиях в политической жизни Уругвая и других государств нашего континента, о важных явлениях в области латиноамериканской культуры, а также главы из новых романов, рассказы и стихи наших писателей и поэтов. Таких журналов несколько: «Либерасьон», который поначалу создавался в уругвайских тюрьмах, теперь выходит за границей тиражом в десять тысяч экземпляров; «Респуэста» и «Куэстьон» — до государственного переворота эти прогрессивные издания имели широкий круг читателей, затем были запрещены диктатурой и некоторое время спустя стали выходить за границей; наконец, интересный журнал «Дель Сур», первый номер которого появился в 1983 году.

Разумеется, мое письмо носит исключительно ознакомительный характер. Наша литература этого тяжелого десятилетия безусловно заслуживает вдумчивого и подробного исследования. Хочется верить, что в скором будущем советские читатели смогут прочесть лучшие произведения уругвайской литературы последних лет и узнать из них о нашей стране и ее несломленном народе.

г. Гавана

Перевод с испанского М. АНДРЕЕВСКОЙ

---

[1] Книга Э. Галеано «Дни и ночи любви и войны» готовится к изданию в серии «Библиотека журнала «Иностранная литература».

◆

Публицистика

ЭЛЛА ЩЕРБАНЕНКО

ПОТЕРИ НА ПУТИ К СЕБЕ

Современная женщина Запада в жизни и литературе

Бунт дочерей

«Ищите женщину» — подсказывает нам пословица, говоря о женщине как о первопричине всего происходящего. Сегодня мы будем «искать» ее в книгах и жизни, для того чтобы увидеть и причину и следствие «всего происходящего» в том мире, где ей выпало жить.

Известно: женщина является как бы зеркалом своего времени. И в плане социально-экономическом общественный прогресс может быть, как говорил Карл Маркс, «точно измерен по общественному положению прекрасного пола (дурнушек в том числе)...», и в плане духовном, психологическом. История не раз подтверждала в порочном обществе наиболее порочны его женщины, равно как и наоборот, что в общем вполне естественно — женщина обнаженнее улавливает воздух своего времени, вбирает в себя то, что предлагает ей окружающий мир. Но она же, добавим, наверное, из инстинкта жизни острее чувствует его неполадки, внутренне сопротивляется разрушительной его силе. Сегодня мы имеем тому убедительное подтверждение. Если предыдущие десятилетия, годы взрыва молодежного движения, можно назвать временем восстания сыновей против отцов, то сегодня, когда сыновья несколько поуспокоились, все чаще в рядах недовольных — дочери.

Сегодня есть основания говорить о «бунте дочерей» — против отцов, братьев, мужей и не мужей тоже, об активизации и росте женского протеста как оформленного в движение, так и разрозненного, индивидуального, чисто психологического толка. Не только против общества (что бывает нечасто), не только против мужчин (такое значительно типичнее), но и — это особенно часто — против себя нынешней, теряющей по сути своей видовой признак, протестует наша зарубежная современница.

Газетные и телевизионные репортажи знакомят нас с рассерженными этими женщинами, документальные фильмы и книги подтверждают их неизбывность. И еще — литература. Все больше предмет ее внимания зарубежная ровесница по веку, та самая, чья неудовлетворенность собой, другими, не получающая выхода, возвращается потерянностью для себя и для других.

Надо сказать, эта «потерянная» женщина постучалась в западную литературу уже давно. Но госпожа Бовари и ей подобные были тогда скорее исключением. Сегодня в литературе США, ФРГ, Франции и т. д. все чаще и настойчивей появляются растерянные, раздрызганные, несостоявшиеся их правнучки. Они не могут не появляться, так как, согласно ленинской теории отражения, даже вопреки воле автора литература, если она настоящая, фиксирует реальные процессы, происходящие в обществе. Потому и неудивительно, что так называемая «женская тема» стано-

ЩЕРБАНЕНКО ЭЛЕОНОРА МИХАЙЛОВНА

Журналист, по образованию педагог. Работала в редакциях «Учительской газеты», «Комсомольской правды». В настоящее время — главный редактор журнала «Профтехобразование». Выступает со статьями и очерками по вопросам образования и воспитания на страницах журналов и газет.

вится в западной прозе одной из ведущих.

Заметки эти отнюдь не претендуют на исчерпывающий анализ темы. Уследить за потоком литературы, ее затрагивающей, становится все сложнее, а значит, выбор произведений для обзора всегда субъективен. Оставляет за собой право выбора и автор данного очерка. Цель его — обсудить вместе с читателем несколько произведений, переведенных на русский язык. Разновременные (в рамках последнего десятилетия) и разнокачественные, они объединены своей логикой. Не касаясь всего сложного комплекса проблематики этих книг, мы избираем ракурс, позволяющий увидеть героиню в типовых ситуациях, подсказанных жизнью, взглянуть на эти произведения как на своего рода книги-анкеты, книги — вопросы о вещах испокон века главных в существовании женщины. Другими словами, речь идет о взгляде не на литературный процесс как таковой, а на проблему как таковую.

Три лица современной женщины

Кому как не писателям, а тем более писательницам разбираться в хитросплетениях таинственной женской души, кому как не им вникать в неуловимость бытия своих соотечественниц?

Впрочем, загадочности у прекрасного пола становится меньше, тайное все более делается явным, весьма даже материальным, нюансы национальной их психологии тоже явно убывают. Первое, на что обращаешь внимание, читая любую из девяти книг, выбранных для обзора,— их героини почти без этнических признаков. Все они — дети не столько своей земли, сколько своего времени. И задачи, которые предлагает им жизнь, не региональны — одни на всех. Вглядимся же в одинаковые их лица. Для начала — в одинаковых, классических ракурсах: женщина сама по себе; женщина и мужчина; женщина и дитя.

"Selfmade woman", или Концепция эгоцентризма, доведенная до абсурда

Официальная пропаганда утверждает: каждый американец (и американка в том числе), являющие обществу усердие и старательность, награждаются обществом прямо пропорционально и соответственно занимают места на лестнице успеха.

Лестница успеха — на ней тесновато с кем-то, на ней свободнее одному. Одной, соответственно, тоже.

Прошедшее десятилетие весьма красноречиво именуется в американской публицистике «я-десятилетием», или «десятилетием для меня». В качестве образца — этика самовлюбленности и индивидуалистического выживания. Индивидуализм, как известно, слагаемое определенного общественного устройства. Но расчетливо скрываемый прежде, приукрашенный и завуалированный словами, он не был хотя бы декларируемой программой жизни целого общества. Лелеемый прежде тезис о единстве нации, о великой Америке, которой верны «мы все» (в рамках, разумеется, частного предпринимательства), сменился сегодня другим. Нынче уже никто не скрывает, что центральным героем американца стал он сам. Американка охотно поддержала эту программу. Она тоже — САМА, ей не нужен никто, она самостоятельно решит все свои проблемы. В социологии и литературе появляется даже устойчивый термин «selfmade woman», что в переводе означает: «женщина, сделавшая себя сама».

Конечно, сама. Зачем нужен еще кто-то? Все остальное сомнительно и ненадежно. То самое «расколдовывание», «рационализация» мира, овеществление и разрыв всех людских отношений, которое зафиксировали еще авторы «Манифеста Коммунистической партии». «Буржуазия,— писали они,— повсюду, где она достигла господства, разрушила все... патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывающие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного «чистогана».

Вот и нашим героиням с малолетства внушали: осязаемо лишь материальное.

В этом «материальном» смысле героини австрийской писательницы Ингеборг Бахман получили от жизни сполна. Элизабет, героиня повести «Три дороги к озеру», и Надя из рассказа «Синхронно» — блистательные, преуспевающие женщины, они не из того большинства, кому нет места на страницах иллюстрированных журналов, как раз напротив — обе будто только что сошли с их страниц. Мелькают перед ними города и страны, мелькают парадной своей стороной: дорогие отели, встречи со знаменитостями и прочие знаки жизненного успеха. Многое у них уже есть, но надо еще и еще. Потому что, во-первых, у потребления нет предела, а во-вторых, здесь уже сила инерции: можно б и остановиться, но центростремительная машина, запущенная в них, все увеличивает обороты. Собственно, именно за этим, за вечным движением вверх, они и снялись с якоря, отправившись из тихих провинциальных уголков детства в безудержный свой путь. И очень скоро отлично вписались в «броуновское движение» к преуспеванию, где натиск — условие номер один, где некогда размышлять, а надо действовать. Другой действует быстро, значит, ты должен поворачиваться еще быстрее, иначе не успеешь — сойдешь с круга. Это непоправимо. Для женщины, как и для мужчины. Тот же бег наперегонки. Когда было научиться Наде и Элизабет извечному женскому назначению быть «для кого-то», познать вкус счастья отдавать? Эти первородные женские качества, не востребованные жизнью, по-

степенно размывались, растрачивались, сходили на нет. «Женственность» не по карману, как и вообще человеческое в человеке. Не до этих неосязаемостей в обществе, где, не останавливаясь, надо брать, брать и брать. Еще в молодости об опасности хватательного рефлекса Элизабет предупреждает человек, не выстоявший сам в этом холодном мире. Он предпочел смерть такой жизни. «Не бери того, что тебе не принадлежит,— говорил он ей,— сохрани имя свое, самое себя, не бери меня, никого не бери, игра не стоит свеч». Они расстались, потому что она хотела брать и, обманывая себя, делала вид, что не понимает, о чем речь. Что в том плохого? Она берет не чужое — свое; за все, как говорится, уплачено, все, что у наших героинь есть, они заработали сами. Да-да, и Элизабет и Надя — живое воплощение феминистских постулатов: прочь от домашнего очага на корабль делового успеха! Здесь только ждет женщину возможность истинного самоутверждения.

Самоутверждения или самопотери?— вот вопрос. Все чаще в феминистской литературе пробиваются вариации на «тему Фауста», все слышнее звучит тревога о приобретениях, которые оплачены слишком дорогой ценой. Рядом с приобретениями в жизни суперделовых женщин все очевидней становятся потери — в том, что не компенсируешь ничем: в извечной женственности, непременными компонентами которой являются доброта и теплота, жертвенность, любовь — менее всего к самой себе. Элизабет, Надю и других героинь большинства рассматриваемых здесь книг делает буквально близнецами одно — их эгоцентризм, неприятие всего, что противостоит их застящему свет «я», единственной данной реальной ценности.

Этот метафизический эгоизм, боязнь растратить свою индивидуальность на окружающих «солюдей» они оправдывают, объясняют погруженностью в дело, сосредоточенностью на нем. И в качестве индульгенции предъявляют свои служебные успехи. Когда им думать еще о ком-то? Они много и сумасшедше-напряженно работают «Я прихожу в гостиницу, выпиваю рюмку виски и уже не в силах ничего слышать, ничего видеть». Они вечно спешат и, едва распаковав чемоданы, упаковывают их вновь, на бегу глотая очередную чашечку кофе. Бешеный ритм — освоенная стихия. Кроме того, им повезло, они попали в «обойму». Одна — известный фоторепортер, другая — высокого класса синхронный переводчик.

Но почему по этому поводу в словах автора-женщины не столько радости за сестер своих (прототипов во многом), сколько тревоги? Ингеборг Бахман то и дело возвращается к одной не дающей покоя мысли: «...в конечном счете возвышение и падение было как бы возмещением той прочной позиции, которую они утратили, заменой живой души, которую они потеряли, восполнением радости жизни, которая от них безвозвратно ушла».

Эпизод за эпизодом автор доказывает нам это. Вот Надя отправляется в свой короткий отпуск с человеком, ставшим ей на время близким. Она пытается «подключиться» к этому человеку, почувствовать других, кто оказался рядом, увидеть красоту моря, снять наконец те тонны груза, что несет она в себе, попросту выговориться. Но ничего из этого не выходит. Осознав это, она пугается, мечется, хочет заплакать. Но и это не выходит тоже. Она думает: с каких это пор я не могу плакать? И успокаивает себя — подменяя, «вытесняет» страшноватую мысль: неужели она настолько эмансипировалась, что и заплакать не в состоянии?

Пытается найти дорогу к озеру детства Элизабет — вокруг этих поисков и строится сюжет повести «Три дороги к озеру». Она так и не может сделать этого, объясняя неудачу внешней причиной — сооружением автострады. А причина между тем более глубокого, внутреннего свойства. Засыпаны не только дороги, «засыпано» в ней ее прошлое, ее истинные начала. Подростком она так любила здешние места, теперь природа наводила на нее скуку. В лесу Элизабет больше всего интересовали дороги, перекрестки, развилки и еще — время. Ее тревожило лишь одно: сколько времени потребуется, чтобы, скажем, дойти от развилки до вершины. Без часов лес не имел для нее смысла. «Каждые десять минут она смотрела на часы и мысленно подсчитывала, сколько времени она провела в пути»...

Подобный «часовой механизм»— непременная «составная» современной деловой феминизированной женщины. Это им вместо сердца, как главный мотор и двигатель. Они не только чувствовать не в состоянии, но и думать, мыслить тоже (кроме как о деле, разумеется).

Расторопный и талантливый фотокорреспондент Элизабет снимает «горячие» события в разных местах планеты. Она снимает войну, человеческие несчастья, отнюдь не размышляя об их природе. Кто воюет? С кем? Зачем? Почему? Ответы на эти вопросы в предмет ее компетенции не входят. И Надя, синхронный переводчик, тоже никогда не задумывалась над смыслом того, что произносила. «...Она была удивительной машиной: функционировала без единой собственной мысли в голове, вбирала в себя чужие слова и в состоянии, близком к лунатическому, повторяла следом за говорящим точно такие же по смыслу, но иначе звучащие предложения... от этого можно было сойти с ума, и еще ей грозила опасность в один прекрасный день оказаться погребенной под зыбучим песком слов».

Слова, слова, слова. Образованные нынешние женщины научились подбрасывать их изящными шарами, зная, в какие правильные ряды должны они лечь. Капиталистическое общество пред-

ложило им набор клише, штампов, из которых можно выбирать. Можно купить такой-то дом, машину или холодильник, провести отпуск на островах Фиджи или на Гавайских. Деньги надо вложить туда-то, при желании можно воспользоваться услугами следующих фирм... Но за эти рамки — ни-ни. Однажды Элизабет получила задание подготовить репортаж о женских проблемах. Собеседницы ее оказались неспособными вымолвить хотя бы одно-единственное искреннее, живое слово, ей хотелось криком кричать от духоты стандартного этого мышления.

Разумеется, она не стала кричать, вежливо поблагодарила их, выступив затем с репортажем, от которого ее саму тошнило. Позже она получила за него премию.

Жизнь без души, без мысли. И еще — без подлинной страсти. Классические потребительницы, они остаются ими во всем, они приспособлены лишь для потребления — вещей, впечатлений, информации. Эмоций в том числе.

Чувства опасны, они с острыми углами, итог их — душевная сумятица, возможно — страдания. Чувства — как бы это сказать?— некомфортабельны. А современной женщине нужен комфорт — извне и внутри. Потому, даже ощущая тоску по любви, они осознанно укрываются от нее. Больше того, наши героини пугаются, когда сильное чувство стучится к ним. Нет-нет, на это у них не осталось сил, любая страсть, как известно, требует душевного труда, самоотдачи. Их главная забота: вдруг они в чем-то зашли слишком далеко, дав повод рассчитывать на себя?

Эти женщины настолько хозяйки своих поступков, что по-хозяйски управляют и чувствами, позволяя себе — они и здесь «на диете»— лишь небольшие их порции. Вот ее, нынешней женщины, любовное кредо: вести себя вежливо, дружелюбно, не более того. И не тянуть! Всякий раз, ощущая дискомфорт таких отношений, ей хочется оправдаться — она же должна быть победительницей и здесь!— сказать своему другу что-нибудь вроде: «Мне никто не нужен — ни ты, ни другой, дело вовсе не в тебе, а исключительно во мне, но объяснять я ничего не желаю».

И Надя, завершая так и несостоявшееся «нечто», даже себе не может объяснить происходящее. «Она вернулась, стала перед ним на колени, положила голову ему на руки. «Ты не обидишься, если я побуду одна до отъезда?— спросила она.— Так просто, без причины».

А причина между тем есть. Внутренняя пустота и одиночество как итог доведенного до абсурда эгоизма. В одном из ранних произведений Ингеборг Бахман программой ко всему дальнейшему творчеству прозвучала притча о живущих на некоем мифическом острове цикадах, которые прежде были людьми. Эти люди никогда никого не любили, не интересовались ничем вокруг, лишь упивались собственным пением. За что были прокляты и превращены в цикад, лишенных человеческих голосов.

Не происходит ли что-то подобное и с нашими героинями?

Брак недействителен

Итак, неудовлетворенная, не способная одарить счастьем ближнего своего «selfmade woman», женщина-«экстремистка»,— это один полюс феминистской программы, предлагаемой жизнью и отраженной литературой, один лик современной женщины.

Второй, более предпочитаемый обществом, мужской его частью по крайней мере, вариант: женщина — антитеза Элизабет, Наде и им подобным. Этой женщине можно даже обойтись без имени собственного. Жена Смита, жена Мейлера — вот ее имя, и должность, и назначение. По страницам газет и журналов путешествует героиня, добившаяся успехов в своей «семейной карьере». Дом — вот ее творческая лаборатория, здесь, и только здесь, может она раскрыться и состояться. Личность? Ни в коем случае! Ей следует быть образованной ровно настолько, чтобы «это нравилось моему Уильяму», жизнедеятельной — чтобы «импульсировать продвижение Джека по служебным ступенькам». привлекательной — чтобы «делать рекламу своему Джону». Все, что сверх этого, в ущерб настоящей женственности. Для вящей убедительности — цитаты из Фрейда: к социально-политическим свободам может стремиться лишь сексуально неудовлетворенная женщина. Довольная своим жребием жена, женщина возле мужчины — вот идеальная героиня западного общества. Семья-опора, семья-защита, семья — пристань женщины и т. д.

Пристань? А если суровые ветры обстоятельств в щепки разносят ее, как случилось это в доме Марион Маттек, героини западногерманского писателя Герда Фукса в книге «Мужчина на всю жизнь»? Внутренние конфликты, которых и без того было немало в ее доме, как молнией высветлены в тот момент, когда громом среди ясного неба новость: муж остался без работы. Страх, отчаяние, изменение ролей в семье, попытка начать новую жизнь и — фиаско, крушение всего того, во что еще вчера вкладывалось столько надежд...

Брак-защита? А что, если уже не обезличенные обстоятельства, а конкретный реальный человек, муж, уходя к другой, становится бывшим мужем, а сама мадам автоматически превращается в «Мадам Экс»? Именно такое название значится в оригинале книги французского писателя Эрве Базена, вышедшей у нас под названием «Анатомия одного развода». По французским законам разведенной жене возвращается ее бывшая фамилия, но никто не в силах вернуть ей остальное — абсолютно впустую прожитое время. Ведь за годы супружества (сообразно с общест-

венной установкой) ровным счетом ничего наша героиня не приобрела. Ни профессии, ни друзей, ни увлечений, ни малейшего интереса к чему бы то ни было, что за порогом собственного дома. А когда и дом продан — вообще нуль. Счет лишь на потери. Ошибочная ставка на цель, которую так легко уничтожить.

Семья-опора? Но сам брак, распадаясь или не распадаясь, год от года становится все более зыбким, все меньше счастья дает человеку. С убедительной силой истинного мастерства передает это в своей киноповести «Сцены из супружеской жизни» шведский писатель и режиссер Ингмар Бергман.

Вот каким выглядит парадное лицо брака главной героини в подаче бойкой интервьюерши на страницах иллюстрированного журнала.

«Главное — взаимопонимание, говорит Марианна, вся вдруг просияв, потому что как раз в этот момент в комнату входит Юхан и садится рядом на их чудесный, старинный фамильный диван. Он обнимает ее за плечи, как бы желая защитить, и она незаметно подвигается ближе, улыбаясь спокойной и доверчивой улыбкой... Молодые, сильные, здоровые, счастливые, полные оптимизма, принимающие жизнь с ее повседневными заботами, но никогда не забывающие про любовь, возведенную ими на пьедестал». О трудностях семейной жизни интервьюерша предпочитает не спрашивать Марианну — это слишком сложно для дамского журнала. Будь красивой и меньше задумывайся, учат своих читательниц на этих и других страницах.

Оставим, однако, на время шведскую пару и перенесемся в Америку. Свою американскую семью, как, впрочем, и все остальное, провозглашали здесь лучшей в мире, самой надежной и благополучной. Издавна Америка привыкла гордиться своей многодетной семьей, именуя ее опорой нации, цементирующей своей крепостью общество и в то же время как бы изначально противостоящей ему. Семьей — полем самовыражения человека, его спасением. Лишь здесь может он укрыться от невзгод и трудностей внешнего мира. Сегодня тем более. В нынешнем комплексном, сложном, высокоорганизованном обществе брак и семья являются одной из оставшихся сфер свободы, автономии, творчества. Иначе говоря, как никогда усиливается значение межличностных отношений — любви, дружбы, духовной близости, взаимопонимания. Об этом настойчиво говорят и политики, и социологи, и писатели. Однако и те, и другие, и третьи все чаще вынуждены признавать: что-то явно здесь «расконтачилось» у нации. Во многих работах авторы приходят к выводу, что американская модель семьи, акцентирующая, с одной стороны, «успех», а с другой — «домовитость», на деле оказывается скорее моделью супружеского несчастья. А если от слов перейти к цифрам, они повторят по сути то же. Сегодня в США распадается каждый третий брак. Если добавить сюда десятки миллионов семей, которые профессор У. Гуд в своей статье «Дезорганизация семьи» называет «пустыми оболочками», итоговая арифметика скажет многое.

Ну а оставшаяся часть, те счастливцы, что не входят ни в распавшиеся, ни в существующие лишь юридически семьи — как обстоят дела там? Воспользуемся для ответа на этот вопрос услугами американского телевидения, которое несколько лет назад предложило своим зрителям документальную телесерию «Американская семья». История была нашумевшей: экран представил кадры из жизни действительно существующей семьи. Для этого в доме «типичной американской семьи» Лаудов были установлены телекамеры, которые включались в эфир без ведома семьи и показывали ее жизнь такой, какова она есть. Результаты не оставили иллюзий. Эмоциональное единство супругов оказалось совместным одиночеством, взаимопонимание обернулось полным непониманием. Героиня — домохозяйка с университетским дипломом (любимая, заметим, героиня пропагандистских материалов), которой по замыслу полагалось воплотить характерные черты американских женщин, хранительниц домашнего очага, выглядела, размноженная миллионами экранов, миллион раз несчастной.

Почему же распалась в конце концов та идеальная семья, которую рисует в начале своей киноповести Бергман? Ну ладно Катарина, подруга главной героини, она и ее муж живут вместе, ненавидя друг друга. Там хотя бы есть объяснение, почему тем не менее живут: «Все наше благополучие держится на нашем альянсе... успех нашего предприятия в Италии целиком зависит от наших совместных усилий... Все пойдет прахом, если мы расторгнем наше сотрудничество. Нам это просто не по карману».

Марианна с Юханом как будто не связаны этой типичной для западного брака экономической цепью — а чем же они связаны? Любовью?

Говорит Марианна: «Обоих нас, так сказать, потрепало в жизни, и чувствовали мы себя довольно неуютно. Вот я и предложила сойтись. Про любовь и речи не было, просто нам было одиноко и тоскливо». Ее западногерманскую «подругу» в книге «Мужчина на всю жизнь» зовут Марион, и причина создания этой семьи напоминает шведскую не меньше, чем написание имен героинь. «Было совершенно ясно, чего хотел этот молчаливый парень: ему надоело скитаться по чужим углам, он хотел вырваться оттуда. И так же ясно было, чего хотела она — избавиться от кушетки в гостиной, вырваться из этой стандартной двухкомнатной квартиры. Они были гармоничной парой».

Брак как возможность противостоять одиночеству. Одиночество абсолютно, одиночество тотально, повторяют наши герои то и дело, но, даже не фиксируя этого, живут под нескончаемый его аккомпанемент. Потому за брак и хватаются как за соломинку, хочется хотя бы такого «юридического» признания, что

ты не один на этом свете. Когда понимают, что не вышло, разбегаются и снова ищут. Хочется крепости, прочности отношений, за этим уходит Юхан от своей жены Марианны, и снова возвращается к ней, и снова уходит, так и не обретя иллюзорной этой надежности. Мечется и сама Марианна, не понимая, что происходит с нею. А происходит не с ней и не с ним: одиночество разлито в воздухе — это смог их времени. Ненадежно время, ненадежно общество, ненадежна сама жизнь. Третий, кто всегда вместе практически с любой парой героев любого из названных произведений,— это **с т р а х**.

Вот он, поистине классический треугольник XX века. Западные философы, писатели фиксируют все более широкое распространение у своих соотечественников «чувства личной уязвимости, беззащитности перед угрозой, исходящей от истории». Формой выражения этой напряженности все чаще становится не открытый социальный протест, а нарастающее личное беспокойство.

Как быть со всем этим? Состоятельные наши герои обращаются за помощью к психоаналитикам, менее состоятельные — еще глубже погружают свои беды в себя, но снять стрессы невозможно, ибо причина их неизбывна. Куда нести этот груз? Разумеется, домой. И чем холоднее мир, тем теплее должен быть дом. Но хранительницу очага трясут те же сейсмические волны. Возникает вполне естественное непонимание и не менее естественное ощущение вины другого. Добавьте сюда объективную жажду обновления, перемен, которые, как утверждают психологи, необходимы человеку (перемена окружения, места, занятия и т. д.), однако далеко не всегда возможны: общество расписало, запрограммировало, вычислило чуть ли не на ЭВМ жизненный вариант каждого. Как не мечись, за очерченные рамки не выпрыгнуть. И спасение в этом случае видится в единственной доступной тебе перемене... «Мне одно важно — вырваться на волю»,— кричит Юхан, не понимая, что от себя убежать невозможно. Умная жена его Марианна видит все это и понимает, и жалеет его, но ничего не может поделать, а как-то вполне естественно внутренне отдаляется от него, видя его бессилие. Это бессилие сильных своих спутников ощущают и другие наши героини. И еще более беззащитными и одинокими чувствуют себя рядом с этими сломленными мужчинами.

Любопытная историческая деталь замечена археологами при раскопках Помпеи. Обугленные тела мужчин были зафиксированы в положении сопротивления, словно они боролись со стихией или пытались бежать, в то время как согнувшиеся тела женщин прижимались к земле, как своего рода символ обреченного приятия происходящего. Так было во все времена. А что может сегодняшний мужчина? Бороться со средой, менять ее, править сообразно с законами разума? Не может. Этот потенциал «невостребованности» — не потребительской, иной — деяния на благо, во имя усовершенствования жизни — делает его все меньше мужчиной, и женщине становится рядом с ним все более неуютно.

А чего ради испытывать ей и этот дискомфорт? Кому было научить женщину в этом обществе, которое американский публицист Олвин Тоффлер именует обществом «выбрасывателей», терпению, состраданию? «Как разительно,— пишет он,— отличается новое поколение девочек, с радостью обменивающих своих прежних Барби на новых, усовершенствованных, от их матерей и бабушек, которые не расставались со своей любимой куклой, покуда та не разваливалась от старости... Девочка, обменивающая свою Барби на новую, с младенческих лет видит, что у нее в доме вещи подолгу не задерживаются... Ее дом подобен большой перерабатывающей машине, через которую проходят различные предметы, появляясь и исчезая со все большей и большей быстротой. С момента рождения ей прививается культура «выбрасывания».

Та же «культура» и в отношениях с людьми. Психолог Кортни Толл пишет по этому поводу так: «Устойчивость, основывающаяся на близких отношениях с немногими людьми, окажется неэффективной... в будущем каждый данный индивидуум станет завязывать вместо нескольких долголетних дружеских связей, характерных для прошлого, множество более кратковременных дружб». Таким же «легко заменяемым человеком» оказывается для женщины и ее муж.

Если к экономическим, социальным трудностям семейной жизни добавить целый «наворот» проблем психологических, станет ясно, почему выстоять браку сегодня не так-то просто.

Все это не может не заставить задуматься о неполадках в самом фундаменте института брака. Вот уже находятся теоретические подпорки под возможную его отмену. Американский социолог Ф. Мертинсон утверждает, что брак имеет особую привлекательность для незрелых или недостаточно приспособленных к жизни людей, одинокие люди больше способны к социальной адаптации. Другой ученый, Р. Клемер, предполагает, что брак ведет к отбору средних типов личности, исключая тех, кто обладает крайними личными свойствами.

Предлагаются варианты модернизации этой «архаичной» постройки, феминистки здесь среди первых. И если одни, умеренные, считают, что коли брак — отрицание в женщине ее личности — самый сильный аргумент в пользу «полной свободы» вне брака, то другие, крайние, отрицают замужество как таковое.

«Вот еще, хватит нам твоих удач в супружеском счастье! — говорит Агата, выросшая дочь главной героини «Анатомии одного развода», и добавляет: — Когда любовь скрепляют штампом на документе, я знаю, что это даст потом». Она не просто теоретизирует по данному вопросу, она перешла уже от слов к делу. Даже ее мать, консервативная, застегнутая наглухо традицией, чуждая

сквознякам времени Алина, и та вместе с подругами по одиночеству в женском клубе «Ангарь» обсуждает возможные варианты реформирования супружества. И Юхан с Марианной тоже мучительно ищут замену тому, что у них не состоялось. «Пожизненное супружество» — объект критики и во многих других произведениях западной литературы. Где специально и основательно, а где и между делом предлагаются альтернативные варианты сегодняшнему браку.

Варианты не просто гипотетические, а уже опробованные и пробуемые — на основе «новой половой морали». Разве он только в изображении литераторов, групповой брак и его разновидности — студенческие коммуны и общины хиппи? Добивается официального признания, возмущается дискриминацией временный брак, заключенный на несколько лет с правом продления этого союза, брак без ревности, брак со сменой партнеров. Впрочем, истины ради надо отметить, что эти и подобные остромодные брачные течения не такого уж недавнего происхождения. Разве что именовались они тогда несколько иначе. Скажем, «брак на одну весну». Не правда ли, звучит несколько романтичней, чем «брак по найму» (и такой новый вид сделки можно найти сегодня в рекламных объявлениях). Что делать, словари эпох! Женщина, как ей и положено, говорит на языке своего времени.

Цепная реакция «безлюбья»

И мыслит она, и чувствует тоже в ритме времени. Один из самых опасных сигналов на его волнах, можно сказать SOS конца XX века — что-то неладное с материнством, тревожные перебои в изначальной связи «мать и дитя».

Публикация из французского еженедельника: найден странный мальчик, эдакий современный Маугли, развит слабо, запуганный, дикий, ощущение, что он никогда не видел города, людей. А он действительно их не видел: много лет мать прятала его в своей квартире, обычно в ванной, а когда бывали гости — в шкафу, чтобы не скомпрометировать своей респектабельной жизни внебрачным ребенком.

Патология? Пожалуй. Хотя с каким-то уж очень современным лицом. Надо сказать, о подобную «современность» материнства на Западе, правда уже не в «клиническом» исполнении, то и дело спотыкаешься, читая уже названные и еще неупомянутые в обзоре книги. Все любовные треугольники и четырехугольники, все разводы и новые браки строятся, ломаются, возникают и умирают таким образом, будто маленьких и постарше существ — сыновей, дочерей — на одной плоскости с нашими героями (и что уж совсем удивительно — героинями) не существует. Исчезла без следа с литературных страниц классическая героиня прошлого, ради детей поступающаяся личным счастьем. Мадам Бовари выглядит рядом с ними эдаким эталоном материнского долга.

Женщины Ингеборг Бахман в принципе, так сказать, сознательно бездетны. В «Сценах из супружеской жизни» Бергмана две дочери десяти и двенадцати лет — существа в ситуации развода родителей настолько второстепенные, что где-то лишь вскользь узнаем мы о их существовании. Показательно, что высокий реалист Бергман фиксирует ситуацию такой, как оценивается она обществом: распадается семья? Нет, расходятся двое — мужчина и женщина. Для героев «Анатомии одного развода» четверо детей — не четыре поломанных судьбы, а лишь «карта в игре», «войско особого назначения» для сведения счетов друг с другом.

Натыкаешься и на совсем уж незнакомые нотки. В романе Джойс Кэрол Оутс «Делай со мной что захочешь» (о нем речь дальше) жена спрашивает главного героя, не считает ли он, что им нужно завести ребенка, чтобы это сплотило их. Нет, она не собирается рожать его, а хочет взять на воспитание, «в такое время, как сейчас, с нашей стороны было бы аморально зачинать новую жизнь...».

В романе Маргарет Этвуд «Лакомый кусочек» эмансипированная выпускница колледжа Эйнсли, вычислив, что «для реализации женского начала» ей надо иметь ребенка, размышляет: «Если бы люди больше думали о том, какие наследственные черты они передают потомству, дети рождались бы по плану, а не от слепых страстей». Она ищет мужчину «с хорошей наследственностью и привлекательной внешностью. И лучше бы такого, кто согласится мне помочь и не станет разводить фигли-мигли насчет брака». Есть и ряд других пожеланий; вооружившись календарем, она прикидывает: «...мне хочется иметь ребенка, который родился бы весной или в начале лета. Тогда в день рождения можно будет устраивать ему вместо вечеринок пикники или чай в саду, это не так шумно»... Вот уж действительно оторопь берет от «сверхфеминистики» подобных выкладок...

Откуда это у них? Почему возможно подобное перерождение (вырождение?) в женщине изначального ее женского свойства? Специального ответа на этот вопрос писатели нам не предлагают, но сама постановка такого вопроса, думается, уже ответ. Не много мы узнаем о детстве наших героинь, об истоках их и началах. Но почти точно можем сказать, какими вырастут их дочери. Дети, как известно, зеркало взрослых — разве что с гипертрофированной точностью и интересным углом преломления,— наши недостатки там виднее.

«Ильза Янда, лет — четырнадцать» — так называется очень хорошая книга австрийской писательницы К. Нёстлингер. «Ильза Янда, лет — четырнадцать» — строчка из объявления. Разыскивается сбежавшая из дома девочка.

Ежегодно в Австрии тысячи молодых людей убегают из дома. Впрочем, не только в Австрии. По данным французс-

ской полицейской службы охраны несовершеннолетних, в стране насчитывается 265 тысяч, как принято здесь говорить, «детей в опасности» (условиями жизни поставленных на грань катастрофы), и побег — лишь первая попытка вырваться из плена непреодолимых обстоятельств. Многих из них полиция находит, и подростки возвращаются домой, чтобы через какое-то время снова сняться с места, а потом однажды уже насовсем оставить ставший чужим родительский дом. Не то важно, куда они бегут, важно — от чего. Рассказ К. Нёстлингер ведется от имени Эрики, младшей сестренки героини. Глазами ребенка мы видим жизнь другого ребенка, вместе с этими девочками попадаем в холодный мир их внешне благополучного детства. Бескомпромиссность восприятия, присущая детям, в данном случае единственно точная интонация.

В ответ на уверения, что мать желает ей добра, Ильза кричит: «Плевала я на то, что она мне желает! Никакого добра тут нет. Что угодно, только не это!» Эрика: «Зачем объяснять мне, кто меня любит. Все равно я не верю». Фраз, подобных этим, много, они разбросаны по всей книге и как бы между делом, хотя здесь они — главное.

Заметим — и автор убедительно сумела передать это,— здесь не юношеский максимализм подростков, а называние всего происходящего своими именами. Да, именно об этом речь — о «безлюбье», в котором растут дети. О вселенском, глобальном «безлюбье» — с кого же тогда спросить, если мать не может согреть своих дочерей? «Замерзающие» дети в литературе уже были, но замерзали они в прямом смысле от холода, голода, жестоких обстоятельств внешнего мира, таких, что даже мать не могла защитить... В нашем случае — другое, и именно оно противоестественно, этим сытым и хорошо одетым девочкам недостает как раз материнского тепла. Их мать, оторвавшись от сутолохи дневных дел, вечерних кроссвордов, ночных выяснений отношений с новым мужем и развлечений в меру достатка, время от времени обращается к дочерям с вопросами типа: не надо ли им что-либо принести. Нет, им не надо ничего такого, что могла бы она принести! Того, что надо Ильзе и Эрике, принести невозможно, оно либо есть, либо нет его: теплота, доброта, понимание, участие в их судьбе.

Впрочем, это все так неосязаемо... Да и вообще излишние для будней тонкости. Не хочет? Не может? Не станет мать задумываться над такими мелочами, как, например, почему Ильза в детстве почти не улыбалась Или почему, подрастая, стала сочинять без удержу — про молодую и красивую учительницу (хотя на самом деле была она старая и злая), про лучшего друга (которого не было), про папу — директора цирка (хотя ни прежний, ни новый отец ничем подобным никогда не занимались).

Все это ерунда, мама Ильзы никогда не придавала тому значения. Ведь для того, чтобы не только понять, почему человек живет в выдуманном мире, а даже просто заметить это, надо как минимум слушать его. Хотеть услышать кого-нибудь кроме себя. После исчезновения дочери мать возвращается из полиции в истерике и слезах. Из-за дочери так убивается? Нет, оказывается, вся эта процедура так унизительна и оскорбительна. Для нее.

Она (мать) и они (дети) — такой счет. Разрушена непрерывная связь. Смещена извечная доминанта. Не она для них, а они — для нее. Какие люди? Какие чувства? Дети — ее собственность, как и все остальное. Поэтому от них требуется главным образом одно: чтобы они были удобны, то есть послушны. Вот они и были послушны. Что думали, как переживали происходящее — об этом никто не спрашивал. А раз не спрашивали, никто и не знал, каково жилось им в первом родительском доме, накануне его крушения, потом у бабушки, у которой им было хорошо, но с этим никто не посчитался, когда забирали в следующий дом, о котором такие пронзительные слова Эрики — слова, которые она никому не скажет: «Я обернулась назад и поглядела на наш дом Наш дом показался мне чужим. Чужим — как тогда, когда я пришла... в гости к «дяде Курту»... Я медленно пошла дальше, и вдруг мне вообще все вокруг показалось чужим». Думается, отчуждение, то самое, которое стало приметой века, начинается как раз с потери чувства семьи (чувства семьи, а это совсем не то, что ее форма).

В воскресенье обязательно все вместе они отправлялись за город, на природу,— и тут уже хочешь не хочешь — не отвертишься. Воскресенье у них всегда считалось «семейным днем». День семьи? Час семьи? Это звучало б невероятно, если б не было такой больной реальностью. Ильза и Эрика становятся детьми своего отца раз в две недели на три часа; «четверка» Базена — на каждое второе воскресенье и половину рождественских каникул. И опять же никто не спросит, не в тягость ли детям эти свидания, такое сомнениям не подлежит, ведь за нарушения расплачиваются алиментами. Все это изначально оговорено юридически.

Время от времени, когда читаешь подобное, приходит ощущение, что люди разговаривают друг с другом именно на юридическом, а не на каком-либо другом языке. Мать Ильзы кричит отцу, теоретизирующему по поводу воспитания дочери: «Ах, понимание! Может, у тебя есть понимание?! Ну давай, давай. Только тогда сам неси ответственность!» Не ее ли, эту ответственность, она хочет снять с себя, когда предлагает по возвращении Ильзы отправить ее в приют для трудновоспитуемых? Она хочет спрятаться за законом от своего непосильного материнского долга.

Такое чувство, что эти женщины именно несут груз, ответственность, тяжесть, все что угодно, а не просто живут искренним своим материнством.

Не случайно в развитых странах все острее стоит проблема рождаемости. Сегодня в США, если не считать иммигрантов, фиксируется почти нулевой прирост населения. Всегда многодетная Америка переходит к семье с двумя, чаще — с одним ребенком: дети снижают «качество жизни». Это, конечно, «аргумент», и если нет другого стимула, более естественного и человечного, результат не заставит себя ждать.

Но вернемся к детям, уже (еще?) существующим. Итак, взамен настоящих — так называемые «институциональные родители» — педагоги, кино и т. п.; на месте чувств — исполнение родительских обязанностей; взамен силы авторитета — физическая сила. И, размышляя о сквозняках, выстудивших эту, казалось бы на все времена данную, биологическую реальность — «мать и дитя»,— понимаешь вдруг, в чем, возможно, одна из причин. Где-то совсем глубоко в подсознании пунктиром пробивается мысль: да нужно ли оно, это продолжение? Продолжение чего? Ее страха? Ее пустоты? Ее вселенской неудовлетворенности? Предвидя еще более безрадостное «завтра», она видит там место и для своего ребенка и ощущает некий комплекс вины перед ним. Жизнь — это беда, которую она на него взваливает. Чувство вины перерастает в чувство отрицания, трансформируется отторжением. Не брать, не пускать это беззащитное существо в свою душу. Пусть разбирается самостоятельно! Она ведь разбирается!

Это раздражение лучше всего снимать физически. Пощечины — расхожий способ объяснения матери с Ильзой. Без повода, просто так. За то, например, что у дочери под кроватью валялась половинка яблока.

За подобными аргументами дело не станет. По данным американских исследователей, две трети родителей прибегают к физическому наказанию своих детей. Как известно, жестокость способна родить только жестокость. «Я хотела ей сказать, что ей нельзя уезжать, потому что я не могу без нее,— рассказывает Эрика,— потому что я останусь тогда совсем одна, ведь она — единственный человек, которого я по-настоящему люблю...» А вот Ильза, так и не научившись любить, не исключено — разучилась. «Ну вот наконец-то»,— произнесла она, когда под окном засигналила машина. «Повернулась, схватила чемодан и ушла... Даже «до свидания» она не сказала».

Таково начало книги. А вот конец, последний штрих: фиолетовые ногти засыпающей Ильзы, вернувшейся домой после долгого побега. Последние слова Эрики: «Я боюсь. Не только за Ильзу. Я боюсь за всех нас».

Это ощущение страха чуть не физически сопровождает тебя при чтении книги К. Нёстлингер. Дочитав ее до конца, думаешь: а, может, и есть что-то разумное в построениях феминисток, мечтающих о сверхсвободном будущем женщины, где первая из свобод — свобода от материнства. А дети — из пробирок, по методу доктора Петри. Хорошо бы. У искусственных этих детей наверняка будут искусственные души. Их не будет так пронзительно жаль, как Ильзу и Эрику...

Окно, распахнутое в завтра

Итак, вот оно, лицо капитализма «без макияжа» — эти и подобные героини, амазонки XX века. Но жизнь бы остановилась уже завтра, если б мир (в том числе и капиталистический) был полон только ими. Не эти женщины участвуют в антивоенных маршах, не они шагают в рядах демонстрантов, добивающихся человеческой жизни для себя и своих детей, их не встретишь на митингах протеста против бесправия.

Мощное женское движение — одно из неотъемлемых слагаемых 80-х годов. Налицо также, пусть даже неоформленное в движение, в открытый протест, растущее неприятие нашей зарубежной современницей той жизни, что предлагает ей общество, откровенно критическое отношение к капиталистическому миру.

«Без разума и смысла я — бессмыслица»

Обращал ли кто-нибудь внимание на то, что напрочь исчез сегодня любимый прежней литературой образ женщины-цветка, эдакой камелии или розы, с которыми нередко сравнивали литераторы прекрасных своих героинь. «Экологические» проблемы мира женщин? Нет, другого диапазона проблемы. Так сказать, не сезон. Не то нынче время на дворе.

Какой, например, аналог отыскать в цветочном мире для Маривон — героини романа «Поездка в Пемполь» француженки Дороте Летессье или для Мэриан — главного персонажа романа канадской писательницы Маргарет Этвуд «Лакомый кусочек»? Кстати, интересное совпадение: опять эти разноязычные варианты одного имени, наверное самого типичного на всех языках (не знаменует ли оно само по себе типичность их обладательниц?). Так вот, молодую француженку и молодую канадку если и сравнишь с чем-то природным, то разве с колючкой или чертополохом, а еще точнее — с неким несуществующим растением, символом чего-то нервного, скомканного, неудовлетворенного, рвущегося и т. д.

Да и мир, где им вышло жить, мало похож на тот, где растут цветы. Их мир похож на конвейер — тот самый, где работает Маривон. «Конца-краю этому не видно — словно держишь в руках один и тот же предмет. Ввинчиваю четыре винта, зажимаю болт... Порой невозможно определить, кто кем управляет — машина действиями человека или он машиной».

Люди становятся автоматами. Не только у конвейера и не только на заводе.

Как они надоели Мэриан, все эти виды пудингов, сорта пива, вариации салфеток, которые, не успев прижиться, обновляются, заменяются на еще более «скоропригото́вляемые», целесообразные и зазывающе оформленные. «Из своего профессионального опыта Мэриан знала, что, выбирая один из двух кусков мыла... покупатель руководствуется отнюдь не разумными доводами... ни по своему качеству, ни по своей сути разные марки товара ничем не различались. По какому же принципу клиент выбирает? Он может лишь... хватать наугад, доверяясь инстинкту, на который и рассчитаны этикетки... Какой стиральный порошок украшен самой завораживающей этикеткой? На какой банке с томатным соком нарисован самый сексопильный помидор?» Все это рассчитал, предугадал специалист по психологии потребителя, такой, как сама Мэриан или любой другой ее коллега по Сеймурскому институту.

Естественно, всякому разумному существу хотелось бы заниматься разумным делом. Так устроен человек, что хотел бы как минимум уважать свой труд, понимать его полезность. Мэриан это не дано. Только деньги да прочие выражения материального достатка подтверждают для нее реальность того призрачного дела, которым она занята,— дела, которое требует работы на износ, и при этом — фьють! — нет его.

Наверное, не случайно треть людей в той же Америке нуждается сегодня в услугах психиатра. Вот и жизнь включенной в капиталистическое производство женщины все чаще видится ей абсурдом, изматывающей душу несуразицей. Пытается перевоплотиться в зрителя, как бы со стороны взглянуть на свой конвейер прикованная к нему Маривон. «Что за странное, черт побери, место: опущенные глаза, снующие руки, лица, расчлененные кабелями и трубками, как на полотнах абстракционистов». Чуть не фантасмагорией кажутся и Мэриан иные из ее рабочих дней. Тот, например, довольно обычный, когда должен был начаться гигантский опрос по растворимому томатному соку. Все задумано было по лучшим образцам. Многочисленные агенты-девушки готовились нагрянуть к ничего не подозревающим домашним хозяйкам с картонными лотками наперевес, где рядом картонная чашечка с настоящим соком и картонная — с порошком, а также кувшинчиком с водой. Нетрудно догадаться, что должно было последовать дальше.

От всего этого можно сойти с ума. От сознания, что это мощная, хорошо отлаженная машина, равнодушно продолжая набирать обороты, походя сминает тебя, давит и ничего ты с этим поделать не в состоянии. Что может предпринять Мэриан, объевшись буквально всем этим рекламируемым ей самою потреблением, стоя, так сказать, в его эпицентре? Ну, может отказаться потреблять сама. Не она даже, ее нутро, все ее существо подсознательно протестует против глобального этого поглощения. Странным таким вывертом откликается на это организм — Мэриан не может ни есть, ни видеть по очереди продукт за продуктом, одно за одним, в конечном итоге — все. Интересна эта метафора, найденная канадской писательницей, очень выпукло передает она отторжение, возмущение даже человеческой плоти этим, так сказать, вселенским гиперпотреблением. Запоминающийся образ того же подсознательного протеста находим мы и у французской ее коллеги. Надо заметить, Дороте Летессье, сама работающая на заводе и посвятившая первый роман работницам своего предприятия, скорее всего списала его с натуры, этот страшноватый импровизированный «концерт», когда уставшие, отупевшие от труда люди начинают вдруг горланить изо всей мочи, стучать инструментами по контейнерам, конвейеру — чтобы как-то утихомирить в этом аду свои обнаженные нервы. Какофония, достигнув накала, постепенно затихает, опустошенные рабочие умолкают. Впрочем, это уже было, психологи даже рекомендуют что-то подобное, помните: резиновый или пластиковый босс, похожий непременно на живого, реального,— боксерская груша в кабинете психологической разгрузки японских концернов? Вот и здесь начальник Маривон делает вид, что ничего не случилось. Пускай себе шумят эти замученные женщины, главное — чтоб не задумывались.

Задумываются. «До чего ж я их всех ненавижу — тех, кто приковал меня к конвейеру. Моя ненависть необъятна, безмерна»,— говорит Маривон. И уже не только себе говорит, спорит со старым рабочим, искренне полагающим, что хозяева необходимы, так как именно они дают работу. Она спрашивает гневно: а много ли ты добился за сорок лет рабства? Себя она тоже ощущает рабыней, с той лишь разницей, что если прежде раба именовали «говорящим орудием», то нынче это уже «орудие думающее».

Еще раз стоп! Здесь — обстоятельство, для нашего разговора чрезвычайно важное. Сколько бы ни уничтожала, ни отупляла женщину сама жизнь течением своим бессознательно; как бы — сознательно уже — ни старались добиться того же ее, жизни, менеджеры, наша современница более интеллектуально развита, чем ее матери и бабушки. Мы бы сказали о них: «умнеющие героини», если б потребовалось назвать несколько характерных их черт.

Мы подчеркнули бы рост личностного начала в женщине, который оказывается лишним для общества: не только лишним, но даже вредным, ибо — взрывоопасен. Феминистки находят тому даже теоретическое обоснование. Думать — неженственно! Надо жалеть истеричных, неженственных, несчастных женщин, которые стремятся постичь мир, не постигаемый даже мужчинами. И вообще к подобному может стремиться лишь худо устроившаяся в жизни женщина. Пусть не цветы (если не по сезону), то хотя бы трава — которая растет и живет естественно и незамысло-

вато, лишь в силу своего биологического зова. Следует просто жить. Жить, чтобы жить.

Просто — быть? Нет! «Без разума и смысла я — бессмыслица»,— говорит одна из наших героинь. Другие не формулируют свою программу столь же емко, но они тоже — об этом, мучительно ищут альтернативу биологическому существованию, хотят придать смысл своей жизни.

Пытается жить по законам своего общества Мэриан. Пытается — и не может. То ударится больно об окружающую среду, то, вычислив, что в жизни никто не действует по принципам, все постепенно приспосабливаются, решит приспособиться сама. Положено — замуж, да и муж такой подходящий, он так хорошо вписался в окружающую жизнь, они с обществом явно устраивают друг друга. Но ведь тогда и она, Мэриан, должна стать иной. И уже не просто подсознательный протест, уже осознанно идет она к своему «нет!».

От импульсов к поступкам. Поступки, прямо скажем, своеобразные. Вот на вечеринке, увидев, что ее, Мэриан, присутствие для всех практически — отсутствие, что она ровным счетом никому не нужна, даже своему спутнику, и никто даже не заметит, исчезни она, она — исчезает. Грязная, нелепая, выбирается она из-под дивана, где провела пару часов, и никто не может понять этого дикого поступка, никто кроме самой Мэриан, которая уже завтра выкинет нечто подобное.

Поступки ее отличаются от поведения других недовольных героинь лишь тем, что более эксцентричны. Ну это у нее по молодости, по бесшабашности. Поведение ее французской подруги Маривон менее вызывающее, и оттого, пожалуй, на нем оттенок большей безысходности.

«Задыхаюсь, хочу глотнуть свежего воздуха»,— оставляет Маривон записку и уезжает. Куда глаза глядят, только подальше от ненавистного завода, изнуряющих домашних обязанностей, тоскливого однообразия будней, от непонимания и отстраненности мужа. Именно эта поездка становится стержнем романа, это неистребимое желание женщины хоть на несколько дней почувствовать себя человеком. Поездка кончается ничем, и тупиковое это ощущение — главная нота предложенного сюжета. Тупик, тупик и еще тупик. Даже забастовка, звездный час Маривон, когда и любилось иначе, и говорилось иначе, и думалось, и надеялось... А каков конец? «...Выторговав несколько су, возвращаются к той же рутине и немыслимым темпам; все пошло прахом: и забастовка, и несбыточные надежды. Стало даже хуже прежнего, все обыденно, оскорбительно».

Ну что она может предпринять? Сорваться с места, чтобы вот так, не солоно хлебавши, автостопом возвращаться к мужу, а вернувшись, найти не его, а записку: «Мне тоже необходимы несколько дней для отдыха и раздумий»? Или убежать на полдня с завода? Но ей-то необходим отпуск длиной не менее чем в четверть века! Стать профсоюзной активисткой? Чтобы вместе с коллегами — делегатами от рабочих — прийти к предпринимателю со своими сорока требованиями и услышать: «Нет... Невозможно... Вряд ли осуществимо в ближайшее время...» И увидеть улыбку шефа, который знает: когда на завод просочатся слухи лишь о том, что собрание полностью провалилось, это больнее ударит по делегатам, чем по нему...»

Так какой же выход? И есть ли он? И могут ли оставаться вечными вопросы без ответов? Наши героини бьются в поисках выхода из бесконечных этих лабиринтов, разбиваются о тупики и снова ищут. Остановиться, замереть не дает им жизненный инстинкт продолжательниц рода человеческого. Разумеется, «сырое яйцо не должно покидать свою скорлупу. Не то оно растечется, превратится в бесформенную лужу»,— говорит Мэриан, имея в виду себя, свою неготовность к серьезному поединку с жизнью. Но не так уж «бесформенны» сегодняшние женщины, они растут, они «становятся», и литература подтверждает нам это. Убедительным языком образов говорит она своим читателям: да, общество потребления — это, конечно, общество растраты всего, личности в том числе. Но личность сопротивляется, хочет б ы т ь, есть, будет, должна быть.

Общество обязано учитывать это, вычерчивая свои «интегралы».

«Сексуальная контрреволюция» — что это?

Как же прочно они стали рядом — эти два, казалось бы, из разных плоскостей слова: сексуальная революция. Это случилось почти мгновенно — словообразование было заимствовано у жизни, жизнь естественно и легко — будто всегда нуждалась — восприняла словосочетание.

«Да здравствует сексуальная революция!», «Сексуальная революция — провозвестник революции духа!», «Секс раскрепостит мир!» — эти и подобные лозунги впервые зазвучали в шестидесятых годах. Этот призывный клич сам, видимо, даже не рассчитывал на столь мощное эхо. Видимо, мир был подготовлен к подобному повороту. И верно: секс — товар, имеющий свою стоимость, как и все остальное. Почему бы не бросить его на рынок, упаковав попривлекательней, снабдив соответствующей рекламой? Новый товар всегда в цене; приобретайте — модно, привлекательно, дешево! Те же специалисты по «психологии потребителя» рассчитали еще один нюанс, гарантирующий «покупаемость» товара: чем тяжелее достается человеку его существование, чем немыслимее «сопромат» жизни, тем более бесхлопотных радостей ему хочется. И чем опаснее мир, тем сильнее нужда в «отключке». Здесь надо сказать вот что: и в прежние времена жизнь большинства человечества была несладкой, но только нынче подобное стало возможным, ибо освящено сегодняшним состоянием мо-

рали. Под новомодное здание подведены как бы и «теоретические сваи». «Свобода — значит, свобода во всем»,— декламируют психологи и философы. Феминистки охотно им вторят, даже наступают отчасти: вот оно, истинное равноправие, равенство в сексе — реальный шаг раскрепощения женщины!

На это высокое слово «свобода» женщина отреагировала, как и предполагалось, охотно. Соображения, облаченные в красивые одежки, находят спрос; кино, ТВ, литература предлагают стереофонические, широкоформатные образцы для подражания, а главное — сама жизнь, взошедшая на дрожжах подобной морали. Такие восприимчивые — женщины воспринимают и это, живя в полном ощущении, что все нормально, все так и должно быть. Их не тревожит сознание того, что подобная свобода в отношениях между людьми — с жестокой изнанкой. Это уже свобода от ответственности, свобода от любви, обязанностей друг перед другом, эдакая «отчужденная свобода». Впрочем, ведь и общество отчуждения всего от всего, общество разрыва естественных человеческих связей. Так что «сексуальная революция» — вполне закономерный плод, выросший на этом древе. Плод, внутри которого все более уродливые семена.

Но вот... Откусив от пирога сексуальной вседозволенности, наевшись его вдоволь, объевшись наконец, современная женщина начинает понимать, что подобная имитация любви есть потеря любви. Потому ей просто ничего не остается другого, как обернуться с тоской и надеждой назад, на те нормальные ценности, которые еще вчера казались безнадежно устарелыми. Через «сексуальную революцию» пробивается, хочет пробиться — да будет возможно еще одно словообразование — «сексуальная контрреволюция», ну если не революция, то движение определенно.

Литература повторяет это движение, нормальную тягу нормальной женщины к нормальным людским отношениям, среди которых на первом месте, как и всегда, истинное чувство. Надо сказать, что как раз оно почти вовсе отсутствовало на протяжении долгого времени на страницах литературы. Абсолютное большинство современных произведений написано о чем угодно — о браке, семье, увлечениях, связях, но только не о любви. Заметим, что и автору этих строк всего сложнее оказалось отыскать для обзора именно такое произведение, где главная «героиня» — как раз романтическая любовь, высокое чувство, связывающее мужчину и женщину. Эта тема лишь робко кое-где заявлялась, пробивалась, и тем радостней оказалась встреча с романом Джойс Кэрол Оутс «Делай со мной что захочешь». Развитие отношений Элины Хоу и Джека Морриси — история в облике века, с острыми углами и парадоксальными решениями, но это история любви, пронзительной своей «настоящестью».

Любовь: Ее еще долго нет в романе Оутс. Есть холодное расчеловеченное общество, умело фиксируемый писательницей распад всех людских связей. Весь тот набор, о котором мы говорили выше. Элина не всегда могла вспомнить, как зовут ее мать. И верно, запутаться можно: Ардис Картер, бывшая миссис Росс, псевдоним в искусстве — Бонита, телевизионное имя Мария Шарп. Но что имя? Элина не всегда могла вспомнить ее лицо и на улице или в ресторане мучилась вопросом: она или не она? И не в пластических операциях дело, а в том, что ни одно из этих лиц никогда не было повернуто к Элине. Единственное, что мать интересовало в дочери,— ее красота. Красота — тоже товар. Они вместе снимались на обложках, протягивая «зрителю свои безупречные руки и улыбаясь своими безупречными улыбками, обе белокурые, обе стриженные под пажа, очень американские и очень лощеные...». Красота — надежный способ вложения капитала и в браке. «Ты устроена до конца жизни»,— первое, что сказала мать, когда брачная «сделка» состоялась. Муж Элины — работоспособный и богатый адвокат, который может позволить себе купить все, в том числе и такую экзотическую игрушку, как Элина, не забыв, как истинный юрист, оговорить сорока пятью пунктами брачного договора ее полную себе принадлежность.

И сны, что ей снятся, тоже странного предметного содержания. Ей снятся витрины дорогих магазинов, где выставлены и продаются живые лица, они как-то прикреплены, приколоты или пришпилены, настоящие лица — и кожа, и плоть, и глаза, и даже зубы... Страшный сон, не менее страшный, чем явь. Вот и она тоже вещь. Отсюда — начало ее отвращения к миру, желания быть вне происходящего, отстраненно, издалека поглядывая за ним. Состояние, в котором она живет,— это почти анабиоз, полусон.

Это состояние дремоты убедительно выписывает Оутс, и столь же зримо она рисует Пробуждение. Критики сравнивают Элину со спящей красавицей, которую одним поцелуем излечивает от злых чар прекрасный принц. Нет, так просто и мгновенно решаются проблемы лишь в сказке. Наша героиня «просыпается» долго и трудно. Учится как бы жить заново. Постигает истинную цену всего, для начала — себя самой. Она с радостью сбрасывает свои застрахованные кольца, когда идет на свидание к Джеку Морриси. Теперь все это неважно. Она радовалась своей новой стоимости.

С удивлением фиксировала и другие, одну за другой, перемены. Оказывается, прежде она совсем не умела слушать. Затем у нее возникло желание говорить. Потом — желание и умение видеть. И не в том только дело, что не замечала она прежде движения солнца по небу, она куда большего не замечала. Она стоит, преображенная любовью, в Детройтском аэропорту и словно впервые замечает его лабиринты, и непонятно зачем запутанные коридоры, и тысячи, десятки тысяч людей, которые обтекают друг дру-

га, касаясь лишь телами, и — мимо, мимо... Вот и она, чужая среди чужих... Это и есть свобода, абсолютная свобода, которая так нужна людям? Впервые она замечает кого-то кроме себя, задумывается о том, что не касается ее лично.

Будто замутненные линзы убрали с глаз — пришло новое, обнаженное зрение. Но знак любви — это не только ясность мировосприятия, само чувство как бы стирает налет обыденности с самого человека, делает его лучше и чище. Не случайно во все времена правители иных стран и народов боялись любви, не менее самых злых эпидемий — любовь делает человека смелее и безоглядней, он уже «механически» неуправляем, он уже совершает поступки не по учрежденной другими обкатанной логике правил, а иначе — по логике чувства.

Да что общество, государство, безлично-многоликие их институты — сама Элина боится своего состояния. Она почувствовала, как он, Джек, ей нужен — и испугалась. Нет, она оградит себя от этого. Ее накатанное беспроблемное существование под угрозой. Мучительно подыскивает она аргументы для того, чтобы уйти, отключиться от высокого напряжения чувства. «Она увидела, что он действительно любит свою жену, значит, она, Элина, не имеет перед ним никаких обязательств».

Нет, имеет! Постепенно героиня Оутс постигает важнейшую философию жизни: каждый человек не сам по себе, все связаны друг с другом и все всем обязаны. Подобные постижения — спор с кредо века, выраженного устами матери Элины — Ардис Картер, миссис Росс и пр.: «...любовь разрушает наше «я» и, следовательно, вообще разрушительна, нездорова».

То «я», которое мыслится в данном исполнении, не только может, но и должно быть разрушено. Против этого «я-любимого», «я-единственного» (какое там «я-десятилетие», «я-столетие» «я-система»!) и выступает истинная женская любовь. Отсюда — незнакомое прежде желание: «А теперь я хочу ребенка. И хочу, чтоб этот ребенок всю жизнь носил в себе мой образ и всю жизнь меня любил»... Это тоже связано с «я», но это уже другое.

Она все более «просыпается», Элина, разбуженная своим далеко не прекрасным принцем; его самого гнетут и вот-вот сломят обстоятельства жизни, и тогда наша героиня понимает, что они оба погибнут, если не будут вместе. И первый шаг к этому должна сделать она. Она, не совершившая никогда ни единого поступка, понимает: сейчас от нее требуется действие, осознанный выбор. И она вступает в открытую борьбу. Эта слабая женщина чуть не за руку берет мужчину и уводит с собой. Хорошо понимая, куда уйдут они сейчас вместе,— навстречу новым, наверное, большим трудностям, о которых можно написать еще один роман. Все только начинается. Все будет. Но все будет нормально, потому что есть Любовь.

Оутс выписывает ее тщательно, нынешнюю «раздрызганную», неуправляемую, сверхсложную, как сложно само наше время, любовь. Интересно, писательница подчеркнуто пользуется таким нормальным, но до чего же забытым литературой словом «любимый»: из всех перечисленных выше книг эта единственная, где партнер, супруг, любовник так именуются. Может, не современно? Не органично? Не нормально...

Да и сама героиня Оутс — она, конечно же, скажем так, странная. «Не совсем»,— как говорят о ней окружающие,— «не от мира сего». И верно, бросить мужа, адвоката с громким именем, ради какого-то второразрядного его коллеги, специализирующегося на защите темнокожих своих сограждан? Променять красивые апартаменты в красивых домах, которым нет числа, на жизнь с человеком с вечно застиранными воротничками, который и номера приличного снять для нее не в состоянии? Разумеется, с героиней не все в порядке.

Не правда ли, вполне логичная закономерность: где отклонение — норма, там нормальное автоматически ненормально...

Бунт равнозначен смелости жить

Итак, пробуждающаяся, протестующая против общества женщина. Правда, все это пока лишь протест на бытовом уровне, который еще чуть-чуть — и может перерасти в социальный?

На этом «чуть-чуть» мы сейчас и остановимся. Чего недостает современному феминистскому движению вообще и индивидуальному протесту наших героинь в частности? Познакомимся с еще одной их современницей по имени Паула, о которой рассказала западногерманская писательница Ангелика Мехтель в своей книге «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой».

Другая половина мира — это какая? Для точки отсчета заглянем в первую. Здесь все бесконечно знакомо: самостоятельная женщина Паула, пробивающая себе своими маленькими локоточками дорогу в благополучное завтра. Она кое-чего уже добилась: заведует библиотекой, имеет квартиру, уважаема городскими властями. Она, как и положено, сознательно бережет себя от искренней самоотдачи, глубоких привязанностей и отношений. Все тот же классический феминистский набор.

Всего этого она даже как бы особенно не выбирала. Просто исподволь, потихоньку прижилась к тому, что было предложено ей обществом. «Нет, «прижилась» — не то слово. Так теперь не говорят. Она влилась, «интегрировалась»,— сообщает писательница о своей героине.

«Интегрировалась» — это, конечно, язык времени. А если образ времени — его тоже почти зримо лепит писательница — в век стандарта, удобства, отстра-

ненной, выхолощенной эстетики женщины должны быть тоже ему под стать — эдакие «быстрозамороженные и упакованные в целлофан» (именно такой иногда сама себе кажется героиня).

И может быть, там, в этой холодной половине мира, суждено было ей остаться, не появись рядом человек, повернувший для Паулы земной шар другой его половиной. В этой половине другие объемы, у вещей и явлений есть глубина, а не привычная, такая удобная одномерность. Здесь можно «среди фальшивой жизни начать правильную, неподдельную. Жить со страстью, чтобы искренне, по-настоящему любить и по-настоящему же ненавидеть. А не только составить себе представление о любви и ненависти».

Познание живой неподдельной жизни у Паулы начинается с Феликса. Истинная любовь как начало постижения истинного вообще... А дальше — дальше нормальная женщина глядит вокруг как бы глазами своего мужчины. Пауле повезло: ее мужчина предложил иной взгляд на окружающий мир. Заставил задуматься о том, что все происходящее здесь — не само по себе, оно имеет причину и следствие, и все, что происходит с другими, даже если оно не касается тебя лично, обязательно отзовется в твоей судьбе завтра.

Это ей так непривычно поначалу — его желание не обтекать события, а как бы всегда стремиться к их эпицентру. Что касается ее, она всегда жила как бы с краю. «Даже в конце шестидесятых годов,— напоминает Паула,— когда казалось, что необузданный мятеж нашего поколения все-таки хоть что-то изменит, что-то сметет с лица земли, как полярную шапку, даже тогда я держалась с краешку...»

И верно, какое ей дело до того, что уютный городок Д., где она так славно прижилась,— это страшный Дахау? Она не то чтобы не знала позорного его прошлого, знала, но охотнее приняла другое его лицо. Уютный этот Д.— оазис искусства, знаменитый в прошлом веке существовавшей здесь колонией художников. Это ведь тоже было. Каждый вправе забыть или выбрать то, что ему по душе. И потом, когда живешь тут, рядом, даже великое измельчается буднями. Ну разве станешь каждый день думать про это?

Феликса потряс этот Д. своей забывчивостью, и вот уже Паула вглядывается в город все пристальней, вслушивается в такие округлые речи его сегодняшних управляющих. Вот ведь как: можно сказать все — и не сказать ничего, можно декларировать одно, а делать совсем иное. Догадавшись, она решает проверить. В своей библиотеке устраивает выставку, предлагает читателям книги, в основном, разумеется, о процветающей благополучной Германии, и на специальном стенде, оговорив словами «тенденциозная литература», пару книг прогрессивных писателей с размышлениями на тему: такая ли уж она процветающая? Но даже оговорка не в счет; этого не надо нашим горожанам — решает за них советник по культуре,— зачем забивать им голову? Он не категоричен, этот советник, в беседе с Паулой, он только советует, размышляет. Паула тоже размышляет — о свободе мысли — и потому, когда дело доходит до комплектования библиотеки, закупает тем не менее книги в соответствии с этим соображением. Ее бунт носит пока узкопрофессиональный, не политический характер, но, почувствовав даже привкус политики, советник тут же принимает контрмеры, маленькую такую профилактику — мэрия сокращает ассигнования на библиотеку.

Паула, как бы помимо желания втянутая в эту борьбу, вступает в нее все сознательней; чем она могла оправдаться? — спрашивает писательница и отвечает: одной только потребностью пустить в ход заржавленный механизм. Оторвавшись от покойного, насиженного места, она захотела идти дальше. Все вдумчивее размышляет наша героиня об окружающем. Уже без поводыря делает шаг за шагом, начинает понимать, где выход из «механической» этой жизни. Она говорит себе: «Очень уж ты привыкла облегченно вздыхать: вот, мол, и хорошо, опять счастливо отделалась. Кончать надо с этими вздохами. Надо без конца и без устали говорить «нет!».

Но ей-то лично какое до всего этого (далекого от нее, конкретной, маленькой, самой обыкновенной женщины) дело? — как бы спрашивает нас писательница, вводя для этого в роман еще одну женщину, чтобы та как можно настойчивее удивлялась несоответствию смелости Паулы ее ординарности. Мол, противостояние системе? — нет, это делают другие, те, что с печатью на челе. А здесь Паула, заурядная настолько, что пройди она по улице, и никто не заметит?

Здесь — знак: самые обыкновенные женщины определяют, должны определить свое место в этой жизни. А кто-то опять настойчиво спросит: обыкновенной женщине какое до всего этого дело, и вообще — при чем здесь женские проблемы?

Самые что ни на есть женские, отвечают вам мыслители времени — писатели, люди, интуитивно чувствующие подземные толчки эпохи. Да, проблемы самые что ни на есть женские, ибо речь здесь, если угодно, о существовании самой жизни на земле. Жизнь экстерриториальна, напоминает нам литература. Все теснее связи во времени и пространстве. Выстрелы, прогремевшие в одном краю, эхом звучат в других. События, казалось бы, локального значения оборачиваются все чаще глобальными. Поэтому, думая о себе, думай не только о себе. Паула непривычно мучительно постигает эту истину.

Теперь она видит не просто озеро, в котором нельзя купаться,— она видит планету, захламленную такими отравленными озерами, все растущими мусорными свалками, естественной логикой неуемного потребления. Но если бы только весь этот «натуральный» хлам — ку-

да страшнее другой, психологический, эти вывернутые наизнанку мозги. «...Какая там личность? Нет ее, есть только удостоверение личности», — оценивает ситуацию Паула. Сегодня, когда под человека подкапываются хитростью компьютеров, единственная возможность не стать машиной — борьба... Бунт равнозначен «смелости жить»!— говорит наша героиня; она бросает все: работу, страну, накатанную жизнь — и уезжает, она мечтает найти место, где ее будущему ребенку будет не страшно жить. Она уезжает в Испанию, к Феликсу, чтобы там не найти его, но в любом случае это шаг — в другую половину мира. То самое «чуть-чуть», которого недоставало другим героиням. Но и он все равно первый, недостаточный. Просто— в ту сторону.

Шаг... движение... бросок... лихорадочное метание женщины от одного полюса к другому. Его также пытается зафиксировать литература. Вот уже заявила о себе незнакомая прежде героиня, повернула к нам искаженный свой, изуродованный злом и болью лик. Женщина-террористка, выражающая «крайне-крайнюю» степень своего протеста, своей неудовлетворенности жизнью. Нет, не этой жестокой тропинкой выйти ей к свету. Терроризм — ни для кого не был и не будет решением проблем. Для женщины—тем более. Человеку, дающему жизнь, противоестественно лишать ее других. Терроризм — крайняя степень антиженственности, непоправимое опустошение души.

Сама жизнь предлагает литературе иные варианты решения женщинами своих судеб. Дорогой осознанной борьбы, не в одиночку — плечом к плечу с подругами по классу, по партии—идут эти женщины, отвечая перед миром за судьбы будущих поколений. Английские женщины разбивают свой палаточный лагерь возле натовской ракетной базы, и нет такой силы, которая заставит покинуть их свою вахту; продолжает дело своего мужа жена погибшего Виктора Хары, борется за свободу своего многострадального народа Беатриса Кинг. Их немало, этих известных миру женщин, и других, неизвестных — рядовых армии спасения, армии будущего. Таких героинь сегодня значительно больше в жизни, чем на страницах книг. Хотелось бы верить, что романы о них пишутся..

Право быть собой

Итак, мы рассмотрели несколько книг, созданных за последнее время за рубежом. Нам очень важно, что написаны они очевидцами,— взгляд, так сказать, изнутри. Прогрессивные писатели капиталистического мира, не находящие нока, видимо, особо конструктивных выводов, делают их тем не менее. Их рассказы, повести, романы — откровенный приговор обществу, в котором они живут, констатация того факта, что капитализм, кичащийся своими показателями потребления на душу населения, на грани дистрофии в главном — в потреблении, как хорошо сказал поэт, «души на душу населения». Если недостает ее женщине — это повод особой тревоги. Как мы уже говорили, женщина — барометр состояния общества.

Прогнозы, как видим, тревожны. Хотя генетические тормоза все еще удерживают нашу героиню, что называется, «в седле», педали времени, раскручивающиеся уже со страшной силой, вот-вот выкинут ее с «дамского велосипеда». А женщина, переставшая быть женщиной, это конец, вырождение человеческого рода. Литература предостерегает от этого. Она говорит: женщина вне извечных своих первородных ценностей — несчастье для себя и для мира. И сегодня, как ни парадоксально, не за новые дополнительные завоевания надлежит ей бороться, а за иное право — право оставаться собой. Борьба, работа, быт, чувства — все это не в ущерб полу, не над ним, а именно в рамках пола. Гуманизм и жизнеспособность непростого нашего времени во многом зависят от умения матерей, жен и дочерей человечества сохранить способность любви, сострадания, деятельного участия в жизни других людей.

И еще последнее, по сути главное. Женщина — не только «психофизическое» или «биологическое» создание, но существо прежде всего социальное, полное духовное развитие которого может совершиться лишь в благоприятных общественных условиях. Бороться за свое истинное «я» — значит бороться с обществом, которое каждого ломает «под себя», загоняя в такие искореженные человеческие (а точнее — нечеловеческие) рамки.

Как и всегда, нет сегодня отдельного «женского вопроса», женское движение должно стать составной частью освободительной борьбы человечества за свои права. Не феминизм с оттенком истеричности, неуравновешенности, метания от одного полюса к другому, а продуманная целенаправленная борьба за иное, новое общество — вот дорога, на которой хотелось бы видеть наших зарубежных современниц.

Литература — совесть и память человечества — настойчиво повторяет нам это.

◆

Антирубрика

РОБЕРТ ШЕКЛИ

ЗАГВОЗДКА

Перевод с английского Н. ЕВДОКИМОВОЙ

На звездолете главное для экипажа — сплоченность. Личному составу положено жить между собой в ладу и согласии — иначе речи нет о мгновенной взаимовыручке, а ведь порою без нее никак не обойтись. В космосе одиночество — единственный промах бывает роковым.

Не требует доказательств та прописная истина, что аварии случаются даже на самых лучших кораблях; об обычном же и говорить нечего — с ним может произойти все что угодно.

Отсюда ясно, как потрясен был капитан Свен, когда за четыре часа до старта ему доложили, что радист Форбс наотрез отказывается служить вместе с новеньким.

Новенького Форбс в глаза не видел и видеть не желает. Достаточно того, что наслышан. По словам Форбса, у него нет никаких личных мотивов. Отказ продиктован чисто расовыми соображениями.

— Ты ничего не путаешь? — переспросил капитан старшего механика, когда тот принес в рубку неслыханную весть.

— Никак нет, сэр,— заверил его механик Хао — приземистый, широкоскулый, желтокожий китаец из Кантона.— Мы пытались урегулировать конфликт своими силами. Но Форбс уперся — и ни в какую.

Капитан Свен грузно опустился в мягкое кресло, возмущенный до глубины души. Ему-то казалось, что расовая неприязнь отошла в далекое прошлое. Столкнувшись с ее проявлением в натуре, он растерялся, как оторопел бы при встрече с птицей додо, с моа или же с живым комаром.

— Это в наш-то век, в наши дни — и вдруг расизм? — раскипятился Свен.— Безобразие, форменное безобразие. Следующим номером мне, чего доброго, доложат, что где-то на городской площади сжигают ведьм или, еще лучше, кто-то затевает войну с применением ядерного оружия!

— Да ведь до сих пор не было в помине никакого расизма,— возразил Хао.— Для меня это полнейшая неожиданность.

— Ты ведь не только по званию у нас старший, но и по возрасту,— воззвал к нему Свен.— Неужто не пытался урезонить Форбса?

— Еще как пытался — беседы с ним проводил часами напролет,— отвечал Хао.— Напирал на то, что китайцы веками ненавидели японцев и наоборот. Если уж во имя Великого Сотрудничества им удалось побороть взаимную неприязнь, то и ему отчего бы не попытаться?

— И что же, пошло на пользу?

— Как об стену горох. По словам Форбса, это совсем разные вещи.

Капитан свирепо откусил кончик сигары, поднес к ней огонек и запыхтел, раскуривая.

— Да черт меня побери, если я стерплю нечто подобное у себя на корабле! Подыщу другого радиста.

РОБЕРТ ШЕКЛИ — ROBERT SHECKLEY (род. в 1928 г.).

Американский писатель-фантаст, автор многих сборников рассказов, нескольких романов и повестей. В русском переводе изданы два сборника произведений Р. Шекли: «Паломничество на Землю» (М., «Мир», 1966) и «Рассказы. Повести» (М., «Молодая гвардия», 1968). Рассказ «Загвоздка» взят из сборника Р. Шекли «Идеи — в избытке» («Notions: Unlimited», New York, 1960).

— Не так уж это просто, сэр,— охладил его Хао.— В здешней-то глуши.

Свен насупился в раздумье. Дело было на Дискайе-2, захолустной планетенке в созвездии Южного Креста. Сюда корабль доставил груз (запасные части для станков и машин), здесь взял на борт назначенного Корпорацией новичка — невольного виновника всего переполоха. Специалистов на Дискайе-2 хоть пруд пруди, но все больше по гидравлике, горному делу и прочей механике. Единственный же на планете радист премного доволен жизнью, женат, имеет двоих детей, обзавелся на Дискайе домом в озелененном пригороде и о перемене мест не помышляет.

— Курам на смех, просто курам на смех,— процедил Свен.— Без Форбса мы как без рук, но и новичка я здесь не брошу. В противном случае Корпорация меня наверняка уволит. И поделом мне будет, поделом. Капитан у себя на судне обязан справляться с любыми неожиданностями.

Хао угрюмо кивнул.

— Откуда родом этот самый Форбс?

— С фермы, из глухой деревушки в гористой части США. Штат Джорджия, сэр. Вы о таком случайно не слыхали?

— Слыхал вроде бы,— скромно ответил Свен, в свое время прослушавший в университете Упсалы спецкурс «Регионы и их отличительные особенности»: в ту пору он стремился возможно лучше подготовиться к капитанской должности.— Там выращивают свиней и земляные орехи.

— И мужчин,— дополнил Хао.— Дюжих, смекалистых. Населения в штате — раз-два и обчелся, а между тем уроженцев Джорджии встречаешь на любом фронтире. За ними упрочилась слава непревзойденных удальцов.

— Да знаю я,— огрызнулся Свен.— Форбс у нас тоже парень хоть куда. Одна вот беда — расист.

— Случай с Форбсом нетипичен,— проговорил Хао.— Форбс вырос в малочисленном уединенном сообществе, вдали от главного русла американской жизни. Развиваясь, такие сообщества (а они сохранились по всему миру) цепляются за старинные обычаи. Вот в одной деревеньке Хэнани, как сейчас помню...

— А все с трудом верится,— перебил Свен механика, собравшегося было пуститься в пространные рассуждения о быте китайской деревни.— Тут никакие оправдания неуместны. Повсюду, в любом сообществе, живуче наследие прошлого — следы расовой вражды. Однако каждый, вливаясь в могучий поток земной жизни, обязан стряхнуть с себя пережитки прошлого. Другие-то стряхивают! Почему же Форбс не может? С какой стати он перекладывает на нас свои заботы? Неужели слыхом не слыхал о Великом Сотрудничестве?

Хао пожал плечами.

— Может, вы сами с ним побеседуете, капитан?

— Непременно. Погоди, сначала — с Ангой.

Старший механик покинул капитанский мостик. Свен углубился в раздумье, но вот раздался стук.

— Входи, входи.

Вошел Анга — высоченный, дивного сложения негр с кожей цвета спелой сливы. Чистокровный африканец из Ганы, он виртуозно играл на гитаре.

— Надо полагать, ты в курсе дела? — обратился к нему Свен.

— Коряво получается, сэр,— отозвался Анга.

— Коряво? Катастрофично! Сам ведь понимаешь, опасно поднимать звездолет с планеты, когда на борту такая неурядица. А ведь до старта меньше трех часов. Отправляться в рейс без радиста немыслимо, но ведь и новенький нужен нам позарез.

Анга бесстрастно ждал.

Свен стряхнул с сигары столбик пепла.

— Послушай, Анга, ты ведь сам понимаешь, зачем я тебя вызвал.

— Догадываюсь, сэр,— ухмыльнулся Анга.

— Ведь вас с Форбсом водой не разольешь. Неужто не можешь хоть как-то на него повлиять?

— Да пытался я, капитан, честное слово, пытался. Но вы же сами знаете, какие они — эти парни из Джорджии.

— К сожалению, не знаю.

— Отличные ребята, сэр, но упрямы как ослы. Уж ежели им что в башку втемяшится, то хоть кол на ней теши. Я ведь с Форбсом только об этом и толкую вот уже двое суток. Вчера вечером упоил его в стельку... исключительно для пользы дела, сэр,— спохватился Анга.

— Несущественно. И что же?

— Поговорил с ним, как с родным сыном. Напомнил, до чего славно мы все тут сработались, до чего весело развлекаемся вместе в каждом астропорту. И какая это великая честь — участвовать в Сотрудничестве. «Берегись, Джими,— говорю,— будешь стоять на своем, все испортишь. Ты ведь не хочешь все испортить, правда?» Он пустил слезу точно младенец, капитан.

— Но не передумал?

— Никак не может. Твердил, что уговоры тут бесполезны. Мол, есть в Галактике одна, и только одна раса, с которой он служить не станет, и дело с концом. Иначе, мол, его бедный папочка в гробу перевернется.

— Может, еще передумает...

— Постараюсь его переубедить, но навряд ли получится.

Анга вышел, Свен подпер щеку мощным кулаком. Он вновь покосился на судовой хронометр. Меньше трех часов до отбытия!

Сняв трубку внутреннего телефона, Свен попросил, чтобы его через городскую сеть соединили с диспетчером астропорта. Услышав голос диспетчера, капитан сказал:

— Испрашиваю разрешения задержаться на денек-другой.

— К сожалению, не в моей власти разрешить, капитан Свен,— вздохнул диспетчер.— Стартовая площадка нужна как воздух. Мы ведь принимаем не более одного звездолета за раз. А через пять часов ожидается рудовоз с Калайо. У них горючее наверняка на исходе.

— Оно у них вечно на исходе,— буркнул Свен.

— А давайте-ка вот как условимся. Если у вас серьезная механическая неисправность, мы подгоним два-три подъемных крана, переведем ваш корабль в горизонталь-

ное положение и откатим с площадки. Однако пока мы опять поставим его на ножки, пройдет немало времени.

— Спасибо, не стоит. Стартуем согласно расписанию.

Он дал отбой. Без уважительной причины нельзя задерживать корабль в порту. За такие штучки Корпорация, понятно, с капитана голову снимет.

Оставался единственно доступный способ. Удовольствие маленькое, но ничего не попишешь. Капитан встал и, отшвырнув давно погасшую сигару, спустился с мостика.

Он заглянул в судовой лазарет. Там, закинув ноги на стол, сидел доктор в белоснежном халате и читал немецкий медицинский журнал трехмесячной давности.

— Добро пожаловать, шеф. Угодно глоточек коньяку в чисто медицинских целях?

— Не откажусь,— обрадовался Свен.

Молодой доктор щедрой рукой плеснул жидкости из бутылки с надписью на этикетке: «Возбудитель сенной лихорадки».

— Зачем такой страшный ярлык? — удивился Свен.

— А чтоб из экипажа никто не прикладывался. Лучше уж пускай воруют лимонный экстракт у кока.

Доктора звали Абу-Факих. Был он родом из Палестины, окончил медицинский институт, недавно основанный в Вифлееме.

— О Форбсе слыхали? — приступил к делу Свен.

— А кто не слыхал?

— Хотел выяснить у вас как у единственного на борту медика: прежде вам не доводилось замечать за Форбсом признаки расовой вражды?

— Ни разу,— без колебаний ответил Абу-Факих.

— Не ошибаетесь?

— Кто-кто, а уроженцы Палестины в таких вещах разбираются, нутром их чуют. Уверяю вас, для меня поведение Форбса — полная неожиданность. Разумеется, с тех пор я неоднократно вызывал его на обследование.

— И какой же вывод сделали?

— Форбс честен, расторопен, прямодушен, простоват. Унаследовал отжившие предрассудки в виде старинных традиций. Как известно, у выходцев из горной Джорджии сохраняется куча местных обычаев. Эти обычаи всесторонне изучены антропологами островов Самоа и Фиджи. Вам не доводилось читать «Взросление в Джорджии»? «Народные обряды горной Джорджии»?

— Времени не хватает на такое чтение,— проворчал Свен.— У меня с кораблем хлопот полон рот, где уж там вникать в психологию каждого из членов экипажа!

— Да, пожалуй, шеф,— посочувствовал доктор.— Ну что же, эти книги имеются в судовой библиотеке, вдруг вам вздумается полистать. Ума не приложу, чем тут можно помочь. Процесс переориентации долог. К тому же я терапевт, а не психиатр. Есть во Вселенной какая-то раса, с представителями которой никто не заставит Форбса служить, поскольку те вызывают в нем прилив первозданной расовой ненависти. По досадной случайности ваш новенький принадлежит именно к этой расе.

— Оставлю Форбса в порту,— внезапно принял решение капитан.— С рацией справится офицер связи. А Форбс пускай садится на любой другой звездолет и отправляется в Джорджию подобру-поздорову.

— Не советую.

— Почему же?

— Форбс — любимец экипажа. Все осуждают его за дурацкое упрямство, но если он не уйдет в рейс вместе со всеми нами, то на борту воцарится уныние.

— Опять незадача.— Свен задумался.— Чревато, весьма чревато. Но черт побери, не могу же я оставить новичка на произвол судьбы! Да и не желаю! Кто здесь, в конце концов, главный — я или Форбс?

— Вопрос в высшей степени интересный,— подхватил Абу-Факих и поспешно увернулся от бокала, которым запустил в него разъяренный капитан.

Свен пошел в судовую библиотеку и полистал там «Взросление в Джорджии» и «Народные обряды горной Джорджии». От этого ему не стало легче. С секунду поразмыслив, он бросил взгляд на часы. До старта два часа! Чуть ли не бегом капитан устремился в штурманскую рубку.

В рубке полновластно распоряжался уроженец Венеры Рт'Крыс. Сейчас он стоял на табурете, разглядывая какие-то вспомогательные приборы. Тремя руками он сжимал секстант, а ногой (самой ловкой у них конечностью) протирал зеркала. При виде Свена венерианин — из уважения к начальству — окрасился в коричневато-оранжевые тона, после чего вновь обрел будничный зеленый цвет кожи.

— Как дела? — начал Свен.

— Все нормально,— ответил Рт'Крыс.— Если, конечно, не считать истории с Форбсом.

Он пользовался карманным звукоусилителем: ведь у венериан голосовые связки отсутствуют. Первые модели таких усилителей резали слух и отдавали металлическим звоном; однако с той поры венериане их усовершенствовали, и вот теперь типические «голоса» венериан звучат как мягкий, вкрадчивый шепот.

— О Форбсе-то я и зашел посоветоваться,— признался капитан.— Ты ведь не землянин. Если на то пошло, даже не гуманоид. Мне и подумалось: вдруг тебя осенит свежая идея. Вдруг я что-то упускаю из виду.

Помолчав, Рт'Крыс посерел: то был цвет нерешительности.

— Боюсь, маловато вам будет от меня проку, капитан Свен. У нас на Венере никогда не бывало расовых проблем. Разве что вы усматриваете некую аналогию в положении с а л а р д ы...

— Не совсем,— прервал его Свен.— Там скорее религиозный уклон.

— В таком случае больше ничего в голову не приходит. А вы не пробовали образумить Форбса?

— Нет, но ведь все остальные пробовали.

— У вас лучше получится, капитан. Вы как бы символ власти, и вам легче вытеснить отцовское начало из Форбсова сознания. А заполучив такое преимущество, вы разъясните Форбсу истинную подоплеку его эмоциональной реакции.

— У расовой вражды нет никакой подоплеки.

— Это — с точки зрения формальной логики. А вот если оперировать общечеловеческими понятиями, то удастся выявить и саму проблему, и решение проблемы. Постарайтесь разузнать, чего именно боится Форбс. Быть может, поставленный лицом к лицу с собственными побудительными мотивами, он опомнится.

— Учту твои пожелания,— саркастически ответил Свен, но венерианин, кажется, не понял капитана.

Прозвучал условный звонок внутреннего коммутатора: вызывали капитана. Звонил старший помощник.

— Капитан! Диспетчер запрашивает, стартуем ли мы по расписанию.

— Стартуем,— отчеканил Свен.— Готовить корабль.

И положил трубку.

Рт'Крыс залился пунцовой краской. У венериан это все равно что у землян приподнятые брови.

— И так и так скверно, черт бы побрал все на свете,— сказал Свен.— Спасибо, хоть какой-то получил совет. Теперь примусь за Форбса.

— А кстати,— окликнул капитана Рт'Крыс,— сам-то он к какой расе принадлежит?

— Кто именно?

— Да новенький, тот, с кем не желает служить Форбс.

— Я-то почем знаю? — неожиданно взорвался Свен.— По-твоему, у меня на мостике только и дел, что твердить назубок расовую принадлежность новеньких?

— Между тем она может возыметь решающее значение.

— В честь чего? Допустим, Форбсу не угодно служить с монголом или с пакистанцем, ньюйоркцем или марсианином. Велика ли разница, на какой именно расе зациклился больной, воспаленный мозг?

— Всего наилучшего, капитан Свен,— пожелал Рт'Крыс уже вдогонку.

Представ на мостике перед капитаном, Джеймс Форбс откозырял, хотя у Свена на корабле подобные формальности не соблюдались. Радист вытянулся по стойке «смирно». Это был высокий стройный юноша с взъерошенной шевелюрой и фарфорово-белой, усыпанной веснушками кожей. Все черты его лица свидетельствовали о податливости, уступчивости, обходительности. Решительно все черты... кроме глаз — темно-синих, в упор глядящих на собеседника.

Не зная, с чего начать, Свен растерялся. Но Форбс заговорил первым.

— Сэр,— сказал он.— С вашего позволения, мне здорово неудобно перед вами. Вы хороший капитан, сэр, лучше не бывает, да и с экипажем я сдружился. Теперь чувствую себя последним негодяем.

— Так, может, одумаешься? — В голосе Свена появились слабые нотки надежды.

— Хотел бы я одуматься, сэр, право же, хотел бы. Да мне для вас правой руки не жаль, капитан, вообще ничего на свете не жаль.

— Ни к чему мне твоя правая рука. Мне от тебя надо только, чтобы ты сработался с новичком.

— Вот это-то как раз не в моих силах,— грустно произнес Форбс.

— Это еще почему, пропади все пропадом? — взревел капитан, напрочь позабыв о собственном намерении блеснуть в качестве тонкого психолога.

— Да вам просто не дано душу нашу понять, душу ребят вроде меня, выходцев из горной Джорджии,— пояснил Форбс.— Так уж мне покойный папочка завещал, благословенна будь его память. Нарушу его волю — бедняга в гробу перевернется.

Свен проглотил рвущуюся с языка многоэтажную брань и сказал:

— Тебе ведь самому ясно, в какое положение ты меня ставишь. Что теперь прикажешь делать?

— Только одно остается, сэр. Мы с Ангой спишемся с корабля. Лучше уж нехватка рук на корабле, капитан, чем недружный экипаж, сэр.

— Как, и Анга туда же? Постой! Он-то против кого настроен?

— Да ни против кого, сэр. Просто мы с ним закадычные друзья, вот уж скоро пять лет как повстречались на грузовозе «Стелла». Теперь мы с ним неразлучны: куда один, туда и другой.

На пульте управления у Свена вспыхнул красный огонек, свидетельствуя, что корабль готов к старту. Свен не обратил внимания.

— Не могу же я остаться без вас обоих,— пробормотал он.— Форбс, почему отказываешься служить с новеньким?

— По расовым мотивам, сэр,— скупо ответил Форбс.

— Слушай меня внимательно. Ты служил под моим началом, а ведь я швед. Разве тебя это смущало?

— Нисколько, сэр.

— Судовой врач — палестинец. Штурман и вовсе с Венеры. Механик — китаец. В экипаже собраны русские, меланезийцы, янки, африканцы — кого только нет. Все расы, всевозможные вероисповедания и цвета кожи. С ними-то ты уживался?

— Само собой, уживался. Уроженцев горной Джорджии с самого раннего детства готовят к тому, чтоб уживались с любыми расами. Это умение у нас в крови. Так мой папаша уверял. Но служить с Блейком я, хоть убейте, не стану.

— А кто это — Блейк?

— Да новенький, сэр.

— Откуда же он родом? — насторожился Свен.

— Из горной Джорджии.

Онемевший Свен решил, что ослышался. Капитан вытаращился на Форбса; радист, заробев, ел глазами капитана.

— Из гористой части штата Джорджия?

— Так точно, сэр. Вроде бы откуда-то неподалеку от моих краев.

— А он не белый, этот Блейк?

— Конечно белый, сэр. Белый англо-шотландского происхождения, точь-в-точь как я.

У Свена возникло ощущение, будто перед ним раскрылся странный мир — мир, неведомый ни одному цивилизованному человеку. Капитан с изумлением обнаружил, что нигде в Галактике нет таких диковинных обычаев, как в некоторых пунктах планеты Земля. И попросил:

— Расскажи-ка мне о ваших обычаях.

— А я-то думал, про нас — выходцев из горной Джорджии — все досконально известно, сэр. В тех краях, откуда я родом, принято по достижении двадцати лет покидать отчий дом, и больше уж мы домой не возвращаемся. Нам обычай велит работать бок о бок с представителями любой расы, жить бок о бок с представителями любой расы... кроме своей.

— Вот как... — обронил Свен.

— Новичок-то — Блейк — тоже из горной Джорджии. Ему бы сперва познакомиться со своими обязанностями, а уж после наниматься на корабль. Вообще-то он один кругом виноват, и если ему плевать на вековой обычай, то я тут ни при чем.

— Но почему же все-таки вам запрещено служить с земляками? — не отставал Свен.

— Неизвестно, сэр. Так уж повелось от отца к сыну с незапамятных времен.

Свен пристально посмотрел на радиста: капитанском мозгу забрезжила догадка.

— Форбс, можешь ли ты словами передать, как ты относишься к чернокожим?

— Могу, сэр.

— Так передай.

— В общем, сэр, по всей горной Джорджии чернокожий считается для белого самым подходящим другом. Я ничего не говорю, белые вовсе не против китайцев, марсиан и прочих, но вот у чернокожих с белыми как-то особенно лихо все выходит...

— Давай-давай,— подбодрил Свен.

— Да ведь толком-то трудно объяснить, сэр. Просто-напросто... ну, чернокожий и белый как-то особенно удачно друг к другу притираются, входят в зацепление, словно хорошо подогнанные шестерни. У белого с чернокожим какая-то особая слаженность.

— А знаешь,— мягко проговорил Свен,— ведь когда-то давным-давно твои предки считали чернокожих неполноценными людьми. Издавали всякие законы, запрещающие чернокожему дружить с белым. И продолжали в таком духе еще долго после того, как остальной мир напрочь забыл об этом предрассудке. В таком духе продолжали вплоть до Злосчастного Испытания.

— Ложь, сэр! — вспыхнул Форбс.— Простите, я не о вас лично, сэр. Но ведь это неправда. У нас в Джорджии всегда...

— Могу доказать: так утверждают книги по истории и антропологии. В библиотеке у нас тоже найдутся кое-какие, если только тебе не лень взглянуть!

— Эти янки понапишут!

— Там есть и книги, написанные южанами. Все это правда, Форбс, но стыдиться здесь нечего. Просвещение приходит к людям долгими и мучительными путями. Твои предки обладали зато многочисленными достоинствами, ты вправе гордиться!

— Но если было так, как вы объясняете,— нерешительно произнес Форбс,— то отчего же все переменилось?

— Вот как раз об этом прочтешь в одном труде по антропологии. Ты ведь знаешь, что после Злосчастного Испытания ядерного оружия над Джорджией обильно выпали радиоактивные осадки?

— Так точно, сэр.

— Но навряд ли знаешь, что в ту пору лучевая болезнь с особой беспощадностью косила население так называемого Черного Пояса. Да, болезнь поражала и белых. Но вот чернокожие в той части штата вымерли почти начисто.

— А мне и невдомек,— покаянно прошептал Форбс.

— Уж поверь на слово, до Испытания случалось всякое: и расовые бунты, и суды Линча, и рознь между белыми и чернокожими. Но вдруг не стало чернокожих — всех истребила лучевая болезнь. В результате у белых, особенно в малонаселенных пунктах, появилось нестерпимое чувство вины. А самых суеверных терзали мучительные угрызения совести из-за массового вымирания чернокожих. Такие белые восприняли всю цепь событий как тяжкую кару за грехи, ведь они были религиозны.

— Какая же им разница, коль скоро они ненавидели чернокожих?

— В том-то и секрет, что не ненавидели! Да, опасались смешанных браков, экономической конкуренции, иерархической перестройки. А вот о ненависти не было речи. Напротив. В те времена твои земляки не кривя душой утверждали, будто иметь дело с негром неизмеримо лучше, чем с «либеральным» северянином. Отсюда вытекали всевозможные конфликты.

Форбс кивнул в напряженном размышлении.

— Тогда же в изоляте — то есть в сообществе вроде того, где ты родился,— сложился обычай трудиться вдали от дома, с представителями любой расы, лишь бы не с земляками. Здесь всему подоплекой — комплекс вины.

По веснушчатым щекам Форбса градом катился пот.

— Прямо не верится,— пробормотал радист.

— Форбс, я тебе хоть раз в жизни солгал?

— Никак нет, сэр.

— Значит, если я поклянусь, что каждое мое слово — правда, ты поверишь?

— По... постараюсь, капитан Свен.

— Теперь ты знаешь, откуда взялся обычай. Будешь служить с Блейком?

— Навряд ли у меня получится.

— А ты попробуй.

Прикусив губу, Форбс беспокойно переступил с ноги на ногу.

— Попробую, капитан. Выйдет ли — не знаю, но попробую. Ради вас и ради моих товарищей, а не из-за того, что́ вы мне тут наговорили.

— Старайся,— сказал Свен.— Больше от тебя ничего не требуется.

Кивнув капитану, Форбс поспешно спустился с мостика. Тотчас же Свен доложил диспетчеру о готовности к старту.

Внизу, в кубрике, Форбса познакомили с новичком по фамилии Блейк. Долговязому черноволосому новичку было явно не по себе.

— Здоро́во,— сказал Блейк.

— Здо́рово,— откликнулся Форбс.

Каждый робко шевельнул ладонью, намереваясь обменяться рукопожатием, но ни тот, ни другой не довершил жеста.

— Я из-под Помпеи,— объявил Форбс.

— А я из Альмиры.

— Почти что соседи,— убито сказал Форбс.

— Это уж точно,— согласился Блейк.

Наступило молчание. После долгих раздумий Форбс простонал:

— Не могу я, никак не могу.

И двинулся было прочь из кубрика.

Но вдруг остановился и, обернувшись, выпалил:

— Да ты чистокровный ли белый?

— Да нет, не так чтобы очень,— степенно ответил Блейк.— По матери я на одну восьмую индеец племени чероки.

— Ты чероки, это точно?

— Он самый, не сомневайся.

— Так бы сразу и говорил! Знал я одного чероки из Альтахачи, звали его Том Сидящий Медвежонок. Ты ему случайно не родня?

— Едва ли,— признался Блейк.— Лично у меня в жизни не бывало знакомых чероки.

— Да мне-то что, мне без разницы. Сразу надо было объяснить людям, что ты чероки. Идем, покажу твою койку.

Когда часов через семь после старта о случившемся доложили капитану Свену, тот был окончательно сбит с толку.

«Как же так? — ломал он голову.— Почему восьмушка крови индейцев-чероки превращает американца в чероки? Неужели остальные семь восьмых не пересиливают?»

И пришел к выводу, что американцы, особенно из южных штатов,— народ непостижимый.

ХОСЕ НОГАЛЕС

ВИЗИТ ДЬЯВОЛА

Перевод с испанского АЛЕКСАНДРА БАЛЖИ

Вчера вечером меня одолело прескверное настроение — надо было писать, но одного лишь этого оказалось довольно, чтобы сделать мой мозг абсолютно бесплодным.

Кто-то из великих нашего времени заметил, что ничто так не парализует живость ума, как необходимость в ней в определенный день и час.

И это великая истина.

Долго сидел я, уставившись в девственно чистые листки бумаги, напоминающие поле, жаждущее плуга, и напрасно молил бога об озарении, сколь угодно скудном, но способном породить, в силу свойственной мысли некой эластичности, статейку, одну из тех дешевеньких, что мы, профессионалы, кропаем, дабы выкрутиться из положения и в срок сдать в печать свою писанину.

Железо, чиркая по камню, высекает искры; мой же мозг, куда тверже иных камней, не порождал ни одной, несмотря на то что я призвал всю свою силу воли. Как тут не взорваться, не швырнуть в сердцах белые листочки и не прорычать на весь дом: «Черт бы все побрал»?

— Пусть будет по-твоему! — ответил мне кто-то. Не нетронутые листки бумаги, разумеется, а сам дьявол собственной персоной: — Услышал свое имя, летал тут неподалеку... В миллионе лиг отсюда гулял по эфиру, посматривал, что делается в мире. Зрелище, скажу я тебе, любопытное, приятное. Итак, слонялся я туда-сюда. Вдруг слышу — зовут! И я, как дьявол воспитанный, немедленно поспешил на зов и вот готов поболтать с тобой, если тебе так хочется.

Меня словно ударило. Я не нашелся что и сказать.

— Чему обязан? — только и смог прошептать.

— Ты меня зовешь — и вот я тут как тут. Говори!

Лицо дьявола было прекрасно: бледное, с печатью вселенской скорби. Огромные черные глаза щурились, когда взгляд их владельца устремлялся в безмерные дали, которые приходилось ему преодолевать, оседлав звезды. Одет он был по последней моде в исключительно элегантный костюм, сшитый из неведомой ткани, образец легкой промышленности иных миров, и под эластичной материей вырисовывалось столь безупречное тело, что им бы восхитилась любая женщина Вселенной. Тончайшая цепочка, сплетенная из огненных нитей, сверкала на жилете, а на черном галстуке красовался крохотный уголек, который, как и цепочка, пылал пламенем, но не сгорал.

(Так только вчера вечером я узнал, что приписываемые дьяволу рога, хвост и козлиные копыта — сущая клевета.)

— Пишешь? — сказал он, осмотревшись.

— Пытаюсь.

— Вижу, вижу. Опыта у тебя маловато. Ладно! Стану твоим вдохновителем!

— Боже упаси!

— Давай не будем!.. Не стоит никого поминать... Чего ты хочешь?

— Мыслишку хоть какую-нибудь!

— Зачем?

ХОСЕ НОГАЛЕС — JOSE NOGALES (1850—1908).

Испанский писатель и журналист. Был редактором ряда газет и журналов. Известен как автор романов, рассказов, хроник. Рассказ «Визит дьявола» взят из антологии испанской юмористики (Antologie de humoristas españoles. Madrid, Aguilar, 1964).

— Что за вопрос!

— Хорошо... Вот тебе мыслишки, мысли, идеи... Посмотрим, как ты ими распорядишься! — И, захватив в пригоршню пустоту, он швырнул ее мне в лицо и вновь спокойно уселся, улыбаясь так, как это умеет делать только он один.

Действительно, на меня обрушился целый ливень мыслей, которые, подобно частицам света, разлетались в разные стороны и, порхая, как веселые бабочки, ускользали в ночной тьме.

Наконец среди кишащей массы идей мне удалось кое-что выловить. Напишу-ка я о науке!

— Наука не существует,— с победоносным видом заявил дьявол.

— Наука — это истина. Наука едина, точна, вечна!

— Она бесконечно изменяется, то, что еще вчера было непоколебимо, сегодня — нелепая ложь; то, что раньше возлагалось на алтарь незыблемости, погрязло сегодня в мусоре презрения. Все равно что вязать и распускать, строить и разрушать. Борьба, кровь, надежды, отчаяние — вот твоя наука! Выдумка невежественного, высокомерного глупца, мечты приниженного и грубого духа. Я не произношу слова «наука» с тех пор, как вы, люди, утопили ее в деньгах, изобретенных мною еще несколько веков назад.

— Время!

— Время тоже не существует.

— Как же так?

— Время выдумал человек. Ты, смертный, нуждаешься в какой-нибудь точке отсчета. Тебе необходима нить для нанизывания событий твоей жизни, иначе они рассыплются и растеряются в безбрежном море вечности. Вот ты и придумал время. Время — понятие, годное только для твоей головы, абстракция, рожденная твоим несовершенством. Одним словом, ничто.

— Ну а пространство?

— Тоже не существует.

— Пространство не существует? Ты ошибаешься, дьявол. Пространство — это уже реальность. Пространство можно увидеть и измерить.

— Пространство — тоже изобретение человека. Твой разум так мал, что не может постичь бесконечность Вселенной, и вот для того, чтобы разобраться хотя бы в том, что тебя окружает, ты раскладываешь по полочкам все, что знаешь. Для решения неразрешимой задачи со многими неизвестными придумываешь такое понятие, как расстояние. Мне это напоминает то, как люди учатся читать. Сначала изучают буквы алфавита и только потом вникают в таинственные комбинации слов.

— Справедливость!

— Ну и сказал! Вспомни рабов в Греции и Риме, варварские войны. Справедливостью всегда прикрывали грубую силу, воровство, убийство, безнравственность. Сегодня под так называемую справедливость подпадает столько разных мерзостей... Справедливость придумали вы сами — люди!

— Жизнь!

— И жизни нет. То, что ты называешь жизнью, всего лишь одно из мгновений смерти. Смерть — немой лик высшей правды. Посмотри вокруг, что ты видишь? Смерть. Каждая секунда жизни — продвижение к смерти. Все рождается, чтобы умереть. Твоя жизнь не принадлежит тебе. Всем владеет смерть. Мозг — это машина анализа, пробный камень фактов, факты — отсутствие абстракций. Сердце отнюдь не вместилище ваших эмоций и фантазий, а кусок плоти, который бьется, поскольку необходимо подать очередную дозу крови в человеческий организм. Хочешь знать, что есть реальность? Зло. В мире царствует разрушение и эгоизм. Живое и неживое существуют за счет других. Животное, чтобы жить, убивает; растение, чтобы крепнуть, высасывает соки земли; земля, чтобы не умереть, пожирает и тех и других. Кровавая и беспощадная борьба за существование,— иными словами, миром правит зло. Ну, что ты теперь скажешь?

— Вот что, дьявол. Я поймал тебя в твои же собственные сети. Ты не утверждаешь, что правда существует. Тогда есть и наука. Раз есть вечность, тогда есть и время, ибо оно — часть вечности, и эта часть известна мне — человеку. Бесконечность, говоришь? Тогда есть и пространство, в бесконечности Вселенной его граница для меня — вот тот далекий горизонт. Существует только зло и несправедливость? Тогда есть и справедливость, без которой несправедливость не имеет ровно никакого смысла. Если есть смерть, значит, есть и жизнь. Если мне знакомо зло, то только потому, что есть его противоположность — добро. А я знаю, что это такое. Относительные понятия, о которых ты тут твердил, требуют существования абсолютных понятий. Что такое день? То, что не ночь. Для существования одного необходимо другое; иначе вечно длился бы день или вечно царила ночь. Ну, что скажешь?

— И скажу. Скажу, что не жалею о потерянном времени. Пока мы тут с тобой болтали, ты начал думать. Уж и не знаю, поздравить тебя или посочувствовать: ты думаешь — следовательно, ты страдаешь. Что лучше: знать наполовину или не знать ничего? Страдать от недостаточного знания или наслаждаться полным незнанием? Иметь крылья, но не летать, как утка, или валяться в навозе, как свинья, и похрюкивать? Соломон как-то изрек: «Мудрость тягостна, ибо добавляет знаний, добавляет и страданий». Ну ладно, мы с тобой и так заболтались, а меня ждут на одной звезде. Я решил ее обитателям подбросить денег, посмотрю, как они ими распорядятся.

И, вынув из кармана красивый цветок неведомой окраски, висевший на огненной цепочке, он произнес:

— Это мои часы. Цветок Сириуса, движение его лепестков отмечает тысячные доли того, что вы называете секундами. Итак, я отбываю в долгое путешествие. Не стану говорить тебе, какие расстояния мне предстоит преодолеть, твое сознание все равно этого не осилит. Если в мое отсутствие я тебе понадоблюсь, позови Сомнение, оно прекрасно меня заменит.

И, ухватившись руками за слабый луч голубого света, который, казалось, шлет ему полярная звезда, он исчез в бесконечных пространствах, где в своих вечных хлопотах странствует и поныне.

Наши гости

Мирча Динеску, Костаке Олэряну, Мирча Неделчу, Раду Ф. Александру (Румыния)

За большим «круглым столом» в редакции — ни одного свободного места: на встречу с румынскими писателями пришли многие сотрудники журнала, переводчики, специалисты по румынской литературе. Интерес к предстоящей беседе объяснить нетрудно: ведь на вопросы хозяев будут отвечать представители новой и новейшей литературы СРР — поэт Мирча Динеску, прозаики Костаке Олэряну и Мирча Неделчу, драматург Раду Ф. Александру.

Сразу выясняется, что с журналом «Иностранная литература» гости знакомы, следят за его публикациями. Переводы из румынской литературы — повести классиков XX века М. Садовяну, В. Ребряну, З. Станку, рассказы известных современных прозаиков Д. Р. Попеску, С. Титела, Ф. Нягу, Э. Урикару, стихи М. Сореску, Н. Стэнеску, М. Динеску, А. Бландианы, с большим интересом встреченные советскими читателями, получили в свое время отклик в румынской прессе.

— У наших связей давние, непрерывающиеся традиции, — говорит Раду Ф. Александру,— *Достаточно вспомнить имя ученого и политического деятеля петровских времен Дмитрия Кантемира, отца русского поэта Антиоха Кантемира, имя Богдана Петричейку Хашдеу, известного писателя и ученого прошлого века, автора исследований по романской и славянской филологии, или классика современной румынской литературы Михаила Садовяну — большого поклонника русской словесности. С приходом народной власти культурный обмен между нашими странами стал систематическим и постоянным, и все же с конца семидесятых годов интерес широкой читательской и зрительской аудитории к классической русской и современной советской культуре особенно возрос. За последнее время в Румынии появились новые исследования о творчестве Толстого, Достоевского, Шолохова, Лермонтова, Есенина, других русских писателей, переведены произведения многих современных советских авторов. Одно из недавних событий нашей культурной жизни — перевод романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», выпущенный издательством «Универс» и высоко оцененный критикой.*

В нашей литературе в конце 70-х годов вслед за бурным развитием романа наступила пора широкого творческого поиска в области малой прозы.

Сам Раду Ф. Александру — молодой драматург, автор пьес и киносценариев, отличающихся тонким психологизмом и широким тематическим диапазоном,— пишет скорее в традиционной манере. С большим успехом идут на румынской сцене его пьесы «У каждого есть шанс»— о стойкости борцов-антифашистов в годы второй мировой войны — и «Дину», посвященная острым социальным и этическим проблемам, стоящим перед современной молодежью. Эта пьеса недавно переведена на русский язык.

Писатель Костаке Олэряну дебютировал в 1971 году сборником новелл «Вид с балкона». Его проза, отмеченная лиризмом и мягким юмором, определила, наряду с произведениями Раду Петреску и Мирчи Хории Симионеску, характер литературного стиля, ставшего популярным среди писателей их родного города — Тырговиште. Развивая жанр репортажа-эссе, сторонники «литературной школы Тырговиште» стремятся использовать множество отдельных фактов и точных жизненных наблюдений для воплощения замысла, на первый взгляд как бы не связанного с темой.

— Наверное, потому, что писать мы начали поздно и долгое время только наблюдали литературную жизнь столицы, у меня и у моих коллег возникло ощущение необходимости литературного эксперимента, — говорит К. Олэряну.— *Как и следовало ожидать, вначале мы «ополчились» против традиционных жанров... И не только ополч-*

чились, но и попытались что-то им противопоставить. Мирча Хория Симионеску написал «Словарь имен собственных»— книгу, составленную из тонких и остроумных портретов «совершенно случайных» лиц, перечисленных в алфавитном порядке: описывая черты, якобы свойственные всем Александрам, всем Аннам и так далее, автор создал любопытную картину общества и в то же время гармоничное, законченное литературное произведение, не укладывающееся в рамки традиционных жанров.

Стремясь к новаторству, к подлинному стилистическому многообразию, мы не отвергаем литературной учебы, освоение опыта великих предшественников остается для нас делом исключительной важности. Вместе с тем, мы считаем вполне естественным учиться и у молодых, ищущих писателей, таких как Мирча Неделчу и его сверстники.

Мирче Неделчу как раз накануне поездки в Москву исполнилось тридцать три года. Первый сборник его рассказов, «Приключения во внутреннем дворике», вышедший в 1979 году, был отмечен премией Союза коммунистической молодежи Румынии и премией Союза румынских писателей за литературный дебют, четвертая его книга — роман «Луговая земляника»— издана в прошлом году. Проза Неделчу быстро завоевала широкую популярность благодаря ее злободневности, живому стилю, точно переданному самобытному звучанию разговорной речи. Советский читатель может убедиться в том, как своеобразно использует Неделчу форму диалога между автором военного дневника и сегодняшним его комментатором в рассказе «История походного хлебозавода № 4», напечатанном в августовском номере «Иностранной литературы» за 1984 год.

В своих теоретических статьях Мирча Неделчу много пишет об аналитическом, «инженерном» подходе писателя к художественному творчеству. И все же вопросы внешней техники, вопросы формы у него не стоят на первом плане. Неделчу всегда подчеркивает злободневность борьбы со «старыми и новыми предрассудками», важность социальных задач, стоящих перед литературой. И сейчас, включаясь в разговор о современной румынской литературе, он резюмирует свою позицию следующим образом:

— Поиск закономерностей творческого процесса во все времена занимал умы художников и скульпторов, музыкантов и писателей. Мы считаем, что в настоящее время осмысление этих закономерностей, с о з н а т е л ь н о е их применение играет важнейшую роль. Конечно, само по себе знакомство с законами перспективы и теорией цвета никого не превратит в художника, но заниматься живописью в конце двадцатого века и не знать этих законов (я допускаю, что можно сознательно не применять их) есть примитивизм в худшем смысле этого слова.

Говоря «мы» и «наше понимание печатного текста как особого строительного материала», я имею в виду поколение молодых прозаиков — моих сверстников. То, что мои книги стали выходить раньше, чем у моих коллег,— чистая случайность: я убежден, что в самое ближайшее время на литературную арену выступит множество писателей, известных пока лишь по журнальным публикациям. Не случайно критик Овид Крохмэлничану назвал свою антологию, объединившую имена восемнадцати молодых авторов, «Десант 83».

Мы стараемся раздвинуть рамки традиционных жанров, переосмыслить проблему присутствия автора в произведении. Мы создаем мозаику из фрагментов любых текстов — от цитат из классических авторов до выдержек из скучнейших банковских документов.

Однако задачи, которые мы ставим перед собой, коренным образом отличаются от установок формализма: все средства подчинены в нашем тексте основной цели — изображению человека и общества ради воздействия на отдельного человека и на общество в целом. Литературный поиск, как и любой эксперимент, не застрахован от ошибок, и автор должен отвечать за моральную и идейную нагрузку каждого слова, вышедшего из-под его пера,— вот почему мы уделяем такое большое внимание рациональному, сознательному выбору художественных средств.

— Но ведь к рациональному выбору средств прибегали не всегда и не все великие писатели,— возражает Раду Ф. Александру.— *Новеллы-зарисовки и комедии Йона Луки Караджале, написанные на рубеже веков, дают блестящую картину общества того времени, они остроумны, точны, хлестки и безусловно являют пример истинного новаторства. По форме и стилю они были вызовом литературной моде того времени, хотя теоретизации своего метода Караджале не придавал большого значения.*

— Творчество Караджале — действительно замечательный пример новаторского и социально действенного искусства,— соглашается М. Неделчу.— *Даже в наших «самых серьезных» вещах мы стараемся помнить об иронии и самоиронии. И все же мы имеем дело с совершенно иным читателем и вынуждены искать формы, удовлетворяющие наших современников.*

— Можно ли считать, что поиск молодых румынских писателей увенчался успехом и современный читатель признал плоды литературного эксперимента за истинно современную литературу?— спрашиваем мы у гостей.

— Наверное, я точнее, чем кто-либо, могу ответить на этот вопрос,—говорит М. Неделчу.— *Дело в том, что я работаю продавцом в книжном магазине. Это моя «основная» работа, и большинство людей, с которыми мне приходится встречаться в течение дня,— читатели.*

Бесспорно, голый эксперимент в области формы может утомить, оттолкнуть читателя. Отчасти этим объясняется спад интереса к поэзии шестидесятых годов. А книги Мирчи Динеску и других молодых поэтов идут нарасхват... Я привожу примеры из поэзии потому, что здесь контраст особенно разителен, хотя сегодня поиск ведут в

первую очередь прозаики, а поэты нередко заимствуют у них удачно найденные приемы.

Вообще тягу к книге можно считать одной из существенных примет последнего десятилетия: очереди у книжных магазинов становятся едва ли не длиннее всех прочих очередей, и это происходит потому, что люди хотят читать не только «про то, чего не выскажешь словами», но прежде всего про то, что должно словами высказать. Наш современник глубоко и серьезно озабочен проблемами, стоящими перед миром и обществом. Все меньше становится читающих «просто так, на сон грядущий» и все больше тех, для кого труд активного чтения стал постоянной потребностью.

Наш четвертый собеседник — поэт Мирча Динеску, ровесник Мирчи Неделчу. Печатать стихи он начал с семнадцати лет, первую книгу («Воззвание к никому», 1971) издал в двадцать один год — в период всеобщего увлечения сверхсложными абстрактными образами и невиданными стихотворными формами молодой поэт осмелился написать целый сборник прозрачных и ясных «немодных» стихотворений, доказав, что возрожденный классический стих способен выразить самое современное мироощущение. Вышедший в 1976 году сборник стихов «Владелец мостов» критика восприняла как второй литературный дебют М. Динеску. Сохраняя прежний внутренний накал, его стихи выигрывают в непосредственности, становятся острыми, злободневными, ироничными порой до сарказма... а порой теплыми, элегически интимными. Творческая манера поэта обретает законченную самобытность при необычайной широте стилистического многообразия. Три из семи стихотворных сборников Мирчи Динеску награждены премиями Союза румынских писателей и премий Академии СРР, его стихи издаются на русском (см. «ИЛ», 1981, № 7 и 1984, № 4) и других европейских языках, отдельными книгами вышли на французском, немецком и венгерском.

— Участвовать в литературной полемике, — говорит Мирча Динеску,— *долг каждого писателя, но к теоретическим рассуждениям о новейшей литературе я всегда подходил с опаской: слишком уж велик риск оказаться в положении мольеровского господина Журдена, потрясенного тем, что он, оказывается, всю жизнь говорил прозой. Все же в концепции Мирчи Неделчу много интересного и ценного — именно потому, что он истинный художник, и литературное творчество для него — одно из явлений жизни, которое он исследует столь же чутко и внимательно, как и любое другое.*

Я, безусловно, согласен, что современный читатель стал активнее и требовательнее — в этом немалая заслуга молодых прозаиков и поэтов. Но такая аудитория возлагает на писателя и величайшую ответственность: исказить истину или умолчать о ней равносильно смерти автора. Очереди выстраиваются не за «текстом», но за правдой. Поэтому расходятся книги молодых, но по той же причине покупают книги авторов, пишущих в традиционной манере, таких как Штефан Бэнулеску или Сорин Тител, который считает, что из современных писателей более всего достойны поклонения и подражания такие «неноваторы», как Астафьев и Распутин. Основная задача современной литературы, задача литературы социалистического реализма — отображать существенные черты нашего общества и содействовать тем самым прогрессу, совершенствованию самого социалистического общества.

На вопрос: соблюдался ли, по вашему мнению, этот принцип в так называемых «романах о пятидесятых годах», зачастую односторонне трактующих события тех лет, Мирча Динеску отвечает:

— Безусловно нет. Отдавая дань моде, некоторые далеко не самые талантливые писатели принялись «объективно» рассказывать о событиях, о которых сами же не вспоминали в течение многих лет. Осуждая некоторые заслуживающие порицания явления нашего недавнего прошлого, приведшие к искажению идей революции и отрицательно повлиявшие на развитие общества и на судьбы многих людей, эти авторы нередко ставили под сомнение сами эти революционные идеи. Литературная критика не сразу разобралась в создавшемся положении, и в какой-то момент ряд одобряющих рецензий открыл путь такого рода произведениям — в ущерб настоящей литературе, для которой главным является уважение к правде жизни, понимаемой во всей ее сложности и противоречивом единстве. Я глубоко убежден, что писатель должен обращаться к прошлому для того, чтобы объяснить настоящее и предугадать будущее. Десятилетие, которое может претендовать на то, чтобы о нем думали и писали постоянно, — это десятилетие, в котором мы живем.

Мода на псевдокритические романы проходит, и в этом великая заслуга широкого читателя, требующего от нас объективного отображения действительности и конструктивного подхода к проблематике семидесятых и восьмидесятых годов.

А. КОВАЧ

◆

Женщина в искусстве

Кто не знает сегодня, хотя прошло более трех тысяч лет, прекрасную Нефертити, чье изображение можно встретить повсюду: на женских украшениях, на этикетках духов? Не уступает ей в популярности и Афродита Милосская — творение Агесандра. Каждая эпоха имела как бы свой символ, который был выражением не только ее идеала красоты, но и зеркалом ее миропредставлений. Гармония античного совершенства нашла воплощение в образе богини красоты и любви — Афродиты. Скульптор IV в. до н. э. Праксителъ прославился статуей Афродиты Книдской. Одна из многих легенд о ней гласила: в книдском святилище на пьедестале стоит не статуя, а сама богиня — она спустилась к людям, «сирым оставив Олимп», что свидетельствовало о жизненности скульптуры, о верности античного искусства природе.

Заложенные в его произведениях качества в каждом из последующих столетий воспринимались по-своему: интересны, к примеру, малоизвестные строки У. Теккерея: он видит Афродиту Милосскую как обычную, и, более того, простую женщину с серыми глазами и русыми волосами.

В средние века место античной богини занимает прекрасная дама — «несравненная» не только по своей красоте, но по добродетели, по богатству души, «чей луч достиг небесной грани», подобно дантовской Беатриче или Лауре Петрарки. Уже на исходе средневековья ее реальным человеческим деяниям отдается должное. Французская рукописная книга XV в. повествует «на равных» о знаменитых мужчинах и женщинах и среди них — о художнице Марсии. Текст рассказывает о ее жизни, а иллюстрация показывает ее в работе, в окружении необходимых принадлежностей в счастливый момент творчества.

В XVIII в., который назвали «веком зеркал», заполнявших стены парадных зал и галерей, множивших, дробивших происходящее вокруг, в стремлении к изяществу, причудливой экзотике Европа увлекается восточными искусствами, фарфором, живописью на шелку. «Свет идет с Востока». Японки, с давних пор признанные достойными занять место среди самых красивых женщин мира, стали единственным сюжетом мастера XVIII в. Судзуки Харунобу. Он выбрал славившихся своим совершенством, красивейших из красивых, чтобы показать их в книге «Красавицы зеленых домов». В их изображениях все строится на переходах, едва заметных поворотах, движениях, передающих чуть уловимые оттенки любовных чувств и настроений, чему вторит и состояние природы вокруг, самая среда: приглушающий звуки снегопад в мягкой, еле различимой желтизне и пустоте белого листа. Тонкие, но предельно четкие линии контуров выделяют из неопределенности листа отягощенные снегом ветви вишни, ажурные очертания зонта, грациозные изгибы фигур. Изысканны контрасты светлого и черного, едва заметные орнаменты одежд, акценты блеклых красных и розовых красок. На службу этой гармонии Харунобу поставил все совершенство изобретенной им техники многоцветной гравюры, прозванной за свою нарядность «нисики-э» — «парчовая картинка».

Имя венецианки Розальбы Каррьера называлось в одном ряду с великими: Рубенсом, Веронезе, Тинторетто. Красота ее пастелей не мешала, а напротив,

помогала Розальбе с аналитичностью, свойственной времени просветительства и энциклопедистов, проникнуть в характер, во внутренний мир человека, и, верно, потому она более всего любила писать автопортреты. В них она показывает себя по-разному, но чаще во всей значимости своего призвания, доводя изображение до высокого обобщения, как в «Аллегории зимы».

Знаменательно то неженское, жесткое, что привносят в женское искусство испытания XX столетия. Кете Кольвиц использует резкие и беспощадные приемы немецкого экспрессионизма в своих последовательно идейных произведениях для выражения принципиальности и неуклонности бойца-коммуниста. В ее скульптурах, рисунках, литографиях, а главное, в трудных по своей, можно сказать, мужской технике гравюрах на дереве, благодаря напряженности форм художница достигает большой силы эмоционального воздействия. Их трагические сюжеты — гибель товарищей, оплакивание сыновей — автобиографичны, но они выходят далеко за пределы личностного, частного и приобретают скорее характер вечного и символического.

В драматической действительности времени второй мировой войны и послевоенных лет на полотнах, в графике, в скульптуре женские образы предстают в новых качествах: «Повешенная фашистами на площади Форли Ирис Версари», «Партизанка Ада» Г. Мукки, «Подвиг Раймонды Дьен» А. Пиццинато, «Зоя Космодемьянская» Ж. Саландра и т. п.

Целую галерею женских образов создал Ренато Гуттузо: «Поющая «Интернационал», «Жены бастующих шахтеров», «Крестьянка» и др. Едва ли не преобладают женские имена в искусстве латиноамериканских стран и особенно в их графических школах. В Аргентине — автор эпических повествований о труде Ана Бриес, скульптор Сесилия Маркович, Дора Лос Сантос. В Бразилии — Ренина Кац, получившая за гравюры в защиту детей премию национального Совета Мира, Аилемма Бланшетти, Регина Иоланда. В рожденной мексиканской революцией «Мастерской народной графики Мексики» много известных художниц: Сара Хименес — бытописатель народных обрядов, Фанни Рабель, повествующая о детях. Марианна Ямпольски — историк своей страны. И самое кредо «Мастерской» выразила женщина Андреа Гомес — автор гравюры, служившей всемирно известным плакатом «Мать против войны»: «Великий русский поэт Маяковский мечтал, «чтоб к штыку приравняли перо». Мы... мечтаем, чтоб к штыку приравняли наши орудия труда».

Но и в грозном, предельно выразительном плакате Гомес, как и вообще в искусстве женщин и о женщинах, незыблемой остается тема детей, материнства, вечной женственности, любви.

Сериями рисунков и картин «Влюбленные римских окраин» прославилась Анна Сальваторе[1]. Портретами девушек и детей («Девушка-циркачка», «Играющий ребенок») заявила о себе художница ГДР Берта Хеллер.

Кредо Кете Кольвиц, ее программное: «Я хочу быть действенной в наше время» — стало своего рода девизом международной выставки «ангажированной» графики ИНТЕРГРАФИК-84 в Берлине. В ней участвовали 930 авторов из 68 стран. В экспонировавшихся работах, таких как гравюра «Ожидание» болгарки Иорданки Радовой или ксилография перуанца Вильфредо Суэльдо «Хлеб для моего сына», сохраняется все та же тема солидарности, материнства, защиты детей и то же неизбывное символическое, всеобъемлющее ее звучание.

Как и в древности, женщина олицетворяет жизнь, продолжение рода, созидание. Именно так представляет ее в самой середине нашего века один из значительных его художников, Франс Мазерель, в живописных, по большей части однофигурных композициях: «Женщина в дюнах», «Дочь рыбака» и др. «Несущая снопы» — выдвинутая на передний план, монументальная, мощная, написанная широкой кистью фигура женщины на фоне ярко-зеленой травы поля — становится традиционной для родной страны художника Фландрии аллегорией плодородия, неиссякаемых богатств земли.

[1] См. «ИЛ», 1969, № 9.

Е. ХЕРСОНСКАЯ

Среди книг

Издано в СССР

ЭЛЕКТРОННАЯ МЕЧТА

«Американская модель»: с будущим в конфликте. Составление, перевод и комментарий П. В. Гладкова, А. В. Кортунова, А. И. Никитина. Вступление и общая редакция Г. Х. Шахназарова. Москва, «Прогресс», 1984.

Дом кормит, поит, обеспечивает полнейший комфорт изнеженному индивиду. Электронные роботы убирают мусор и объедки, жарят тосты, разливают прохладительные напитки, развлекают обывателей объемными видеопредставлениями, даже вытирают детям носы и чистят зубы. Именно таким изображает электронный коттедж, жилище будущего, американский писатель-фантаст Рей Брэдбери. Изображает, одновременно высмеивая и жалея людей, которые сами, по доброй воле стали рабами электронного комфорта.

Западные футурологи обычно с полной серьезностью относятся к образам из научно-фантастических романов: сегодня — образ, мечта, а завтра, глядишь, реальность, факт бытия.

Однако Элвин Тоффлер, известный американский социолог, футуролог и публицист, игнорирует прогнозы фантастов. Он и сам зарекомендовал себя провидцем. И тем не менее его прожект электронного коттеджа очень напоминает описание дома-автомата из рассказа Брэдбери.

В XXI веке, предсказывает Тоффлер, именно электронный коттедж, начиненный компьютерами и связанный с внешним миром средствами массовой коммуникации, а отнюдь не оффис, не университетская аудитория, не община хиппи станет средоточием культурной, социальной и деловой жизни западного общества. Индивиду не нужно будет покидать свое электронное жилище. Работать он сможет на дому, общаться с окружающими и вести деловые операции по видеофону. Потребность в общении с друзьями и знакомыми отпадает сама собой. Вот так будет выглядеть эта подновленная компьютерная модель индивидуализма.

Прожект Тоффлера изложен в числе прочих материалов (ранее опубликованных в различных американских изданиях) в сборнике «Американская модель»: с будущим в конфликте». Как отмечает автор предисловия к сборнику Г. Шахназаров, замысел составителей — познакомить советского читателя с оценками настоящего и планами на будущее Соединенных Штатов, предлагаемыми американскими обществоведами, публицистами, историками, политическими деятелями, «людьми различной политической ориентации — традиционными консерваторами и либералами, выразителями более радикальных, прогрессивных взглядов... показать ту полемику, открытую или завуалированную, которая ведется на страницах американской научной литературы и в периодической прессе по коренным проблемам жизни страны и обстановки в мире». Составители сборника систематизировали публикуемые материалы таким образом, чтобы получилась объективная, правдивая картина борьбы мнений, развернувшейся сегодня в самых разных сферах американского общества.

За последнее время на Западе наблюдается явное повышение интереса ко всякого рода классификации и систематизации. Так Мишель Бенаму, профессор философии, руководитель «Научного центра по исследованиям двадцатого столетия» при Висконсинском университете, предложил раскассировать коллег-обществоведов в соответствии с их отношением к ценностям постиндустриального общества, прежде всего к науке и технике. Система Бенаму состоит из четырех главных разрядов.

К первому разряду относятся «технофилы счастливые». Они искренне и безудержно верят в то, что сплошная кибернетизация принесет долгожданную гармонию и счастье и в скучной, монотонной жизни нако-

нец-то появится смысл. Менее жизнерадостно настроены «технофилы озабоченные», сознающие несовершенство окружающего их мира, выправить которое вряд ли возможно даже с помощью самой совершенной техники. Но при всем при том «технофилы озабоченные» упрямо держатся за призрачную надежду на гуманизацию научно-технического прогресса.

«Технофилам» противостоят «технофобы». Они также делятся на два разряда — «технофобов, не теряющих надежды (ищут отдушину в религии, мистике, парапсихологии, противопоставляя их науке и технике), и «технофобов отчаявшихся», убежденных в том, что, идя в ногу с научно-техническим прогрессом, современная цивилизация спешит к краху[1].

Авторов материалов, помещенных в сборнике, тоже можно условно поделить на «технофилов» и «технофобов», на тех, кто верит в возможность радужной альтернативы современному неуютному обществу, и тех, кто разуверился в альтернативах, особенно связанных с применением научно-технических достижений, к примеру с компьютеризацией.

Что и говорить, американскому обывателю порядком надоели разговоры об альтернативах, особенно интенсивно предлагающиеся в начале семидесятых годов. Именно в то время возникла «Комиссия по вопросам о критических альтернативах». Каждый, кому не лень, предлагал свою «модель будущего», зачастую фантастическую, заведомо нереальную. Нередко на этих поисках лежал налет шутовства, веселого парадокса. Тем не менее государственные мужи всерьез относились к проблеме альтернативы. Было создано еще более солидное, нежели «Комиссия...», учреждение — «Институт альтернативных вариантов будущего». Альтернативной экзотикой там не интересовались, зато со всей серьезностью изучали будущее — возможные последствия сплошной компьютеризации.

«Движение человечества в направлении информационного общества (имеется в виду компьютеризованное общество, оснащенное электронными средствами массовой информации.—В. М.),— уверяет Роберт Олсон, сотрудник этого института,— является ведущей тенденцией нашего времени и, возможно, одним из кардинальных поворотов всемирной истории». Примерно в таком же восторженном духе высказываются о компьютерной альтернативе Дэниел Белл, Герман Кан, Отто Фридрих и другие «технофилы», авторы сборника. Они по-прежнему верят в осуществление «американской мечты» — строительство «великого общества» социального и экономического благоденствия.

Но есть среди авторов сборника и такие, кто этой веры не разделяют и приводят тому весьма основательные резоны. Будущее, справедливо рассуждают они, не следует рассматривать в отрыве от прошлого, а главное — от настоящего. А настоящее Соединенных Штатов не обещает ничего хорошего для простого американца. Во всяком случае, рискованно называть современный американский капитализм «гуманистическим», как это делает Уиллис Хармэн, директор центра политических исследований Стэнфордского исследовательского института. Факты, в том числе и приведенные в сборнике, говорят о другом: ухудшается экономическое положение страны, она уже не рискует претендовать на роль метрополии по отношению ко всему капиталистическому миру, по-прежнему высок уровень безработицы, участились социальные конфликты. Серьезен и политический кризис державы, превратившейся из-за воинственного и безответственного поведения правительства Рейгана в жупел для других государств, включая союзников. Стремление, воистину маниакальное, запугать мир, искусственно воссоздать политическую ситуацию пятидесятых годов привело к резкому падению международного авторитета США.

Разве гуманистическими принципами руководствовались заправилы тех 115 из 500 самых крупных американских корпораций, которые оказались замешанными в финансовых мошенничествах и политических авантюрах? Не лучшим образом ведут себя государственные чиновники, призванные блюсти интересы нации, контролировать деятельность корпораций, пресекать их возможные злоупотребления. Правительственные органы разъедены коррупцией, инертны и к тому же часто повязаны одной веревочкой с теми самыми корпорациями, которые совершают уголовные и политические преступления.

В сборник очень уместно включен материал, ранее напечатанный в журнале «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт». Корреспондентская бригада опросила нескольких правительственных функционеров. Нет ничего убедительнее свидетельства из первых рук. «Приходишь в правительство молодым, напористым,— жалуется юрист, покидая пост в министерстве энергетики,— и пытаешься хорошо работать. Потом видишь людей, которые приходят утром и ничего не делают, а только читают «Вашингтон пост», пьют кофе, кончают читать газету и идут обедать. После обеда они протрезвляются, если они пьющие, да и непьющие работают с минимальной продуктивностью. К сожалению, некомпетентного работника уволить так трудно, что даже не пытаешься сделать это. Вместо того чтобы наказывать работников за разбазаривание средств и неэффективность, их нередко повышают в должности, не соответствующей уровню их компетентности». Если такие люди и думают о будущем, о выходе из экономического и нравственного тупика, то вовсе не потому, что озабочены судьбой постиндустриального общества,— прежде всего их заботит собственная судьба, собственное благополучие, политические амбиции.

Политики прекрасно информированы о том, что многие рядовые американцы обманулись в своих надеждах вступить в «золотой век», жить счастливо и безмятежно в том великом обществе, о котором им прожужжали уши прожженные пропагандисты, и вообще не видят особого смысла в жизни. Это может привести к нежелательной дестабилизации, взрыву массового недовольства,

[1] The Technological Imagination. Madison, 1980, p. 67-68.

как и случилось в конце шестидесятых годов. Поэтому маститые обществоведы и занимаются в спешном порядке проблемой будущего. Проблема эта комплексная, многовариантная. И тем не менее она имеет некое объединяющее начало. Это компьютеризация жизни.

На компьютер призывают смотреть как на рог изобилия. Но компьютер — машина, способная выполнять самые разные, порой исключающие друг друга функции: быть одновременно инструментом благодеяния и преступления. Да, и преступления. Специалист по программированию Стэнли Марк Рифкин, один из персонажей статьи Отто Фридриха «Компьютер входит в жизнь», приобрел сомнительную славу «короля электронного жульничества». Он так «отладил» компьютер, принадлежащий могущественному банку, что без особого труда положил в карман десять миллионов долларов. Подобные факты, конечно же, «технофилам» известны, но они относят их к издержкам, которые не могут бросить тень на воистину волшебную машину.

Преклонение перед компьютером прививается ребенку с раннего детства. К сожалению, в сборник не включены материалы, рассказывающие об электронном воспитании детей. Некоторые американские публицисты сегодня всерьез говорят о «компьютерном поколении». Кого они к этому поколению причисляют? Тех, кто родился после 1965 года. Оказывается, эта дата отмечает не просто рубеж двух поколений, а двух цивилизаций: уходящей механической и активно развивающейся электронной. Член правления одной крупной фирмы по производству ЭВМ решительно заявляет: «Если вы родились до 1965 года, значит, вы вне игры!»[1] Значит, вам никогда не угнаться за прогрессом, за теми мальчиками и девочками, которые сегодня развлекаются электронными играми, а завтра станут во главе компьютеризованного общества. Но такое развлечение — при всей его несомненной познавательной полезности — имеет свои минусы. Все чаще родители «электронного поколения» жалуются не столько на телевизор как на похитителя времени, сколько на электронную приставку к телевизору; дети забросили школьные занятия, книги, спорт. Литературный критик Джордж Стайнер на основании родительских жалоб даже приходит к мрачному выводу: увлечение видеоиграми и вообще компьютерами со временем приведет к интеллектуальному вырождению человеческой особи[2].

Авторы сборника, даже «технофобы», не рискуют выступать с подобными, как будто позаимствованными из научно-фантастической беллетристики прогнозами. Хотя пессимистических предположений в сборнике хватает. Особенно мрачна и по-своему беспощадна статья Поля Кеннеди «Об упадке Америки». Кеннеди — историк, и это обстоятельство сказывается на его методе прогнозирования. Он проводит аналогию между современными Соединенными Штатами и Великобританией девятнадцатого столетия. Из войны с Наполеоном Англия вышла экономически окрепшей и уверенной в себе, точно так же как и Америка в 1945 году. А потом начался спад могущества. Сегодня Англия уже не помышляет о мировом господстве, а США заболевают так называемой «английской болезнью». Параллели, проводимые Кеннеди, любопытны. Только, думается, необязательно было искать аналоги за океаном, их вполне можно обнаружить дома. Сегодня так называемую «великую американскую мечту» символизирует компьютер, а еще сравнительно недавно в качестве такого символа выставлялся автомобиль. И ведь как перед ним преклонялись! Создавались даже модели будущего, в основе которых лежало автомобилепоклонство. Американский архитектор, горячий поклонник гения Форда Фрэнк Райт выдвинул тогда идею «автомобильного коттеджа»: каждый американский гражданин получает ровно один акр земли, строит на нем дом и обязательно гараж, эту домовую церковь эпохи автомобилизма. Так что можно с известной натяжкой допустить — у электронного коттеджа был далекий предшественник.

А ведь вполне возможно, что со временем компьютер может постигнуть судьба автомобиля. И поблекнет тогда электронная мечта, как поблекла автомобильная. Придется снова подыскивать какой-нибудь агрегат на роль символа «великой мечты». Впрочем, машин и механизмов в Америке предостаточно. Хуже обстоит дело с обновлением духовных ценностей. Но по-прежнему в широком ходу индивидуализм, традиционная американская ценность. «Индивидуализм есть фундаментальная ценность человеческой души»,— высказался Райт, подводя теоретическую базу под свой прожект автомобильного коттеджа. Высказался гордо, с некоторой даже рисовкой. Авторы сборника не столь откровенны, хотя их альтернативные модели пронизаны индивидуализмом.

Индивидуализм — противная человеческой природе мировоззренческая ориентация. Он не случайно отождествляется с американизмом, холодным прагматизмом — будь то прагматизм механического или электронного образца. В далеком 1906 году известный русский художник и теоретик искусства Александр Бенуа писал со свойственной ему страстью: «Индивидуализм, основанный на бесовском («хамском») духе гордыни, ведет нас во всем нарождающемся творчестве к такой же пустыне, такой же «мерзости запустения», как весь современный «вандализм», который тоже основан на хамской гордыне, на великолепии «американизма», на грубых утилитарных теориях»[1].

Удивительно живо звучит это слово. Живо потому, что и сегодня «великолепие американизма» остается ведущей альтернативой для большинства американских обществоведов-технофилов, в том числе и тех, кто представлен в сборнике.

Ленинград **ВЛАДИМИР МОЛЧАНОВ**

[1] «Time», 1982, № 18, p. 50.
[2] Ibid., p. 54.

[1] «Золотое руно», 1906, № 2, с. 87.

НЕОБЫЧНО БЫТЬ ОБЫЧНЫМ?

Гилберт Кит Честертон. Писатель в газете. Художественная публицистика. Перевод с английского. Составление А. Ливерганта. Послесловие С. С. Аверинцева. Москва, «Прогресс», 1984.

Теперь Честертона помнят и ценят прежде всего как автора детективных рассказов. Недавно прошел маленький юбилей: восемьдесят лет назад появился рассказ «Сапфировый крест», познакомивший читателей с отцом Брауном — персонажем, ставшим не менее знаменитым, чем Шерлок Холмс, Пуаро или Мегрэ. Скромный этот священник, обладающий завидным пониманием человеческой природы и такими навыками криминалиста, что им позавидовал бы любой профессионал, как-то незаметно произвел в детективе переворот, определивший последующую жизнь жанра. Он вытеснил с авансцены сыщика, для которого преступление оставалось только ребусом, требующим логики и опыта, чтобы его решить. Он оказался первым сыщиком-интеллектуалом. И даже в своем роде философом.

Пять сборников новелл об отце Брауне, разумеется, и при жизни Честертона были самыми популярными книгами писателя. Но современники знали Честертона не только по этим книгам. Главным образом его знали как эссеиста. Причем вот что удивительно: слава беллетриста, придумавшего отца Брауна, в общем-то не имела прямого отношения к известности газетчика, десятки лет каждую среду заполнявшего свою колонку в «Иллюстрейтед дейли ньюс». Скорей уж наоборот: и рассказы о Брауне, и романы Честертона, и его литературные биографии — все это было замечено и быстро нашло читателя по той причине, что трудно было отыскать в тогдашней Англии человека, которому требовалось бы расшифровывать давным-давно ставшую привычной подпись Г. К. Ч. на газетной полосе.

Как правило, в издаваемых у нас в собраниях сочинений классиков публицистика, рецензии, критические статьи занимают последний том и выглядят чем-то вроде необязательного дополнения. Для честертоновского собрания такая модель явно не подошла бы. В этом убеждаешься, впервые читая по-русски под одним переплетом эссе Честертона в продуманно скомпонованном и тщательно подготовленном сборнике «Прогресса». Для большинства наших читателей эта книга станет открытием нового, незнакомого Честертона. И пожалуй, он окажется интереснее давно всем нам известного автора брауновских новелл.

Видимо, истинным призванием Честертона была все-таки газета. Во всяком случае, ей он отдавал свой талант буквально до последнего дня. 13 июня 1936 года подписчики «Дейли ньюс» прочли его очередное эссе. Назавтра Честертона не стало.

Когда попробовали собрать напечатанное им в газетах, оказалось, что сделать это непросто. Сборники, составленные самим Честертоном, включали далеко не все. Не исчерпали этого богатства и книги, появившиеся посмертно. Даже библиографы затрудняются сказать, сколько статей он опубликовал. Ясно, что не менее полутора тысяч. Возможно, и больше.

О чем они? Тут тоже не обойтись точными определениями. Честертон был журналистом в полном значении слова, то есть литератором, откликавшимся на злобу дня. А тогдашней злобой дня были войны — англо-бурская, а затем первая мировая — и социальные реформы, превращавшие Англию в «рай плутократов», и законы, бьющие «хлыстом по рабочим», и беспомощность либералов, чье «молчание-окостенение становится характерным признаком важнейших сфер нашей общественной жизни».

Католик Честертон оставался очень далек от революционных веяний времени. Но прекраснодушные иллюзии не имели над ним власти, а в его честности не усомнился бы никто. В одной из статей, помеченных 1917 годом, он напишет, что капитализм «не может сражаться, молиться, веселиться, шутить, ему вообще не свойственно ничто человеческое». После этого, кажется, должны были бы прекратиться нападки на Честертона, которого соотечественники, включая и вечного его оппонента Бернарда Шоу, укоряли в заблуждениях истинных и мнимых, а особенно в беспечности перед лицом болезненных явлений эпохи. Однако многое в том же духе говорилось о Честертоне и дальше.

Может быть, не без оснований? Время и вправду было тревожное, ответственное, а он, могло иной раз показаться, этого точно не чувствовал. Писал о своих любимых романистах-викторианцах, о повадках англичан за границей, о безвкусице популярных фильмов, о рождественских обрядах,— словом, обо всем на свете и лишь изредка о том, что действительно волновало умы его современников.

На таком фоне выступления Честертона, относящиеся к годам первой мировой войны, могли восприниматься только как случайный эпизод его биографии. Случайный и нехарактерный.

Но подобное впечатление было бы неверным. За всем многоразличием «сюжетов», выбираемых Честертоном для его постоянной газетной колонки, внимательный взгляд обнаружит, в сущности, вариации той главной темы, которой писатель сохранял верность десятилетиями. В одной американской статье о своем творчестве Честертон уловил оттенок недоумения: «...автору казалось, что необычно быть обычным, непорядочно — добропорядочным. Я же обычен и добропорядочен в самом прямом смысле слова: я подчинился обычаю, принял добрый порядок, как велит здравый смысл, благодарен за этот мир, ценю прекрасные дары — жизнь и любовь, признаю обуздывающие их законы — рыцарство и брак, разделяю другие традиции и взгляды моей земли и моих предков». Эссе, откуда приведен этот отрывок, названо «Упорствующий в правоверии» и написано в 1929 году. Никого бы не удивило, если бы нечто похожее — вплоть до заглавия — вышло из-под пера Честертона еще на заре или в самом конце

литературной деятельности: ведь пафос «нормального мышления» неизменно оставался его определяющим свойством, более того — важнейшим принципом, который он отстаивал с удивительной твердостью и последовательностью. И мы не поймем Честертона, если не уловим, чем объяснялось его вызывающее «правоверие».

Проще всего было бы свести дело к довольно распространенной среди англичан нерасположенности глубоко вникать в противоречия бытия, парадоксами и юмором отделываясь от докуки аналитического мышления, если уж явно беспомощными оказываются проверенные истины житейской мудрости. Что-то от этого фальстафовского склада ума, несомненно, было присуще Честертону. Тем не менее скорее это все-таки была маска, хотя даже внешностью — громадный рост, непомерная тучность — Честертон напоминал бессмертного персонажа Шекспира. Популярный газетчик нуждался в искусственно созданном образе, который — уже в силу традиционности — становился легко узнаваемым для обширной аудитории. Он как бы подыгрывал ожиданиям публики, делая это артистично и со вкусом, но словно бы нарочно дразня тех, кто вздумает любое его слово принимать за чистую монету.

Серьезным он становился, когда дело касалось коренных его понятий. И тут сразу же исчезал отличавший Честертона иронический тон, да и само искусство парадокса, так его прославившее, переставало ощущаться как важная черта стиля. Честертон принимался спорить и поучать, уподобляясь просветителям-моралистам. Объект полемики был определен очень рано, им стало все, имеющее более или менее очевидную связь с декадентством, насаждающим «болезненные и бесчеловечные предубеждения», согласно которым трезвость суждений «безумней, чем разгул», а «здравомыслящий человек» страшнее помешанного. И этого противника Честертон преследовал неутомимо, без колебаний покидая территорию литературы и вторгаясь в самые разнообразные области действительности, где ему виделись свидетельства все того же самого пренебрежения «нормальностью» во имя «мышления шиворот-навыворот».

Таких свидетельств вокруг было предостаточно. Честертон жил во времена, когда поколебались высокие романтические мечты. Жестокость происходивших исторических потрясений отозвалась в обществе по-разному — в частности, и всевозможными страхами, говорившими о духовном надломе, о беспросветном пессимизме. Честертон назвал эту реакцию «раздражительностью», ведущей к опустошительному для личности постоянному недовольству всем порядком вещей окружающей жизни. И, совершенно осознанно противопоставляя себя этому умонастроению, Честертон, вопреки преобладающим вкусам, возносил хвалу «безмятежности, благодаря которой человек счастлив от одной мысли, что он живет». Честертоновское «правоверие» побуждало противиться тому «настроению безысходности», которым были пронизаны тогдашние романы и стихи, оно требовало находить радость «в самых заурядных жизненных проявлениях». Обладая острым глазом и непредвзятым отношением к будничному, Честертон умел не просто ценить вещи ординарные и незамечаемые, он умел их поэтизировать — для него это были доказательства прочности первооснов реального мира, в котором мы обитаем. Привычное оказывалось пленительным и загадочным, и Честертон признавался, что чувствовал себя счастливым, когда, устроившись на железной скамье в парке, он наблюдал за гуляющими или ожидал поезд в прокуренном зальчике какого-нибудь обшарпанного провинциального вокзала.

«Нормальность» всегда оставалась честертоновским кредо, полемизировал ли он с Шоу о способности человека к самосовершенствованию или высмеивал фрейдистских интерпретаторов «Гамлета», допускавших, будто «убить главу семьи легче легкого — вроде семейного праздника», защищал ли достоинства приключенческих книг или сетовал на то, что взгляды ныне меняются с необычайной легкостью, а постоянство сохраняют лишь бытовые привычки. За парадоксами Честертона обнаруживается то, быть может, суховатое, зато выношенное и чуждое нервозности мироощущение, которое уже и в его дни было даром редким и ценным — особенно на фоне «раздражительности», становившейся массовым поветрием.

Здесь была жажда гармоничности и потребность в моральных ценностях, не подверженных никакой девальвации,— та жажда и та потребность, которые вообще характеризуют литературу нашего века, как бы далеко ни ушла она от Честертона по своим определяющим качествам.

И была здесь доверчивость к обыденной жизни, слишком легко и бездумно осмеиваемой, хотя в ней-то — для Честертона это оставалось вне сомнений — и заключены все «обещания и надежды». Честертон восхищался серым цветом, с виду однотонным, но способным вспыхнуть синевой, разгореться зеленью или золотом. Ровное течение будней для него таило в себе не меньшую насыщенность.

Такие представления никак не вяжутся с равнодушием, чуть ли не филистерством, в котором Честертона не раз обвиняли современники. Эссеистика военного времени сказала об этом ясно, а ведь свойственная ей резкость интонаций и оценок вовсе не была чужеродной примесью, вынужденной данью моменту. Происходившее на Сомме и под Верденом не укладывалось в понятие «нормы», как бы расширительно его ни толковать. И Честертон, быстро исцелившись от своих патриотических восторгов, ринулся восстанавливать основания разумности. Он становился лишь решительнее в обличениях, по мере того как убеждался, насколько шаткими эти основания оказались.

Апатия? Уж скорее следовало попрекнуть его донкихотством.

У того же Шоу находились серьезные причины утверждать, что о многом Честертон судит с наивностью человека, как будто не заметившего, что сравнительно благополучные викторианские времена стали далеким воспоминанием. Упрямство Честертона, отказывавшегося признать, что мир потерпел катастрофу, должно быть, не мог-

ло не раздражать тех его современников, которые ощутили масштабы тогдашней социальной встряски глубже и болезненнее, чем он.

Но с тех пор многое переменилось. «Настроение безысходности» превратилось в некий обязательный атрибут философствования о действительности, и за обилием дежурных фраз в таком духе уже не различишь аргументов, когда-то придававших серьезность подобному ощущению времени. Зато невероятно возросло в цене умение бороться с безысходностью — тот трудно дающийся дар стойкости и спокойствия перед лицом крутых испытаний и та ясность взгляда, которые поражают у Честертона.

А. ЗВЕРЕВ

АРАВИЯ СТАРАЯ И НОВАЯ

Я. Яхлюф. Наджран в час испытаний. Роман. Рассказы. Перевод с арабского. Составление В. Шагаля. Предисловие Игоря Беляева. Москва, «Известия», 1983.

Ветры Залива. Рассказы. Перевод с арабского. Составление В. Шагаля. Предисловие А. Васильева. Москва, «Радуга», 1983.

Роман палестинского писателя Я. Яхлюфа «Наджран в час испытаний» рисует яркую картину жизни окраины саудовского королевства в трудные времена, когда в соседнем Северном Йемене не утихало пламя гражданской войны и искры его доносились в Наджран, приводя в трепет не только королевскую династию Саудидов, но и их американских покровителей.

В центре романа — противоречивая фигура Абу Шеннана. Выходец из Северного Йемена, потеряв работу, он бедствует в саудовском королевстве, затем вербуется американской разведкой для работы в лагере монархистов — сторонников имама Йемена, но вскоре порывает со своими хозяевами и уходит к старым саудовским друзьям, как можно понять, находящимся в лагере оппозиционных, демократических сил.

Переплетение подлинных исторических событий с вымыслом, динамичное изложение придают повествованию увлекательность. Убедительно показано превращение главного героя из босяка, мечтавшего о случайном заработке, в помощника американского советника имама, а затем — возвращение к давним друзьям, товарищам по борьбе на нефтяных промыслах американской компании.

В романе описываются события середины 60-х годов, и может возникнуть вопрос: не устарело ли его содержание? Сейчас, по прошествии почти двадцати лет, роман Я. Яхлюфа воспринимается не только как достоверное свидетельство очевидца — талант автора позволил ему создать яркие картины жизни саудовского народа и запоминающиеся характеры, и обрисованные ситуации воспринимаются как общие для всех стран Аравии.

Да, сейчас, в 80-е годы сцены ужасающего голода городской бедноты (например, описание Я. Яхлюфом ибн Амина, обезумевшего от голода и по законам шариата наказанного за воровство — ему отсекли кисти рук и бросили в тюрьму) не характерны для саудовской действительности. Однако автор предисловия к книге Я. Яхлюфа И. Беляев не случайно называет роман «ключом к Аравии». Как и во многих развивающихся странах, повседневная реальность аравийской жизни кричаще противоречива. Закончилось десятилетие «нефтяного бума», сказочного притока доходов за аравийскую нефть. Благодаря ему в аравийских городах на месте глиняных хибар появились современные виллы и дворцы, построенные по проектам итальянских и французских архитекторов. Поселки ловцов жемчуга и рыбаков превращаются волей правящих семей и руками индийских, пакистанских и южнокорейских рабочих в современные промышленные центры. Вчерашние князья пустыни и мелкие торговцы основали крупные торговые и финансовые предприятия с оборотом в сотни миллионов долларов. Кочевник в отличие от своих предков получил возможность пользоваться бесплатной медицинской помощью и правом на образование и ныне передвигается по пустыне на «лендровере», перепоручив свои стада верблюдов работнику из Пакистана или Ирана.

В то же время многие сцены романа Я. Яхлюфа и рассказов из сборника «Ветры Залива» вполне вписываются во времена сказок «Тысячи и одной ночи»: публичная казнь, зубрежка священных текстов, невозможность для влюбленных пожениться, так как девушку выдают за богатого старика (или могущественного шейха племени). Стремительный скачок от феодализма к капитализму привел к тому, что при господстве традиционных представлений в социальной и идеологической сферах в том же саудовском королевстве разгораются классовые конфликты в еще невиданных формах, усложняемые племенными различиями и сохраняющейся исламской благотворительностью верхов по отношению к низам. На наш взгляд, авторы в полной мере сумели показать противоречивость существования жителей Аравии, порождающую острые, взрывчатые конфликты.

Было бы преувеличением сказать, что авторы дают широкую панораму аравийской жизни. 38 рассказов сборника «Ветры Залива» скорее можно сравнить с яркой мозаикой, привлекающей наше внимание незнакомыми и неожиданными узорами. О чем же повествуют писатели Бахрейна, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии, палестинские писатели? Кто их герои?

Это рабочий-каменщик в рассказе «Стены» иракца Гази Али Ибади, который, ведя рассказ от имени стороннего наблюдателя (бывшего рабочего, а ныне солидного чиновника, в меру трусливого, довольного собой, но не забывшего еще времен своей молодости), показывает фигуру, новую для арабского мира,— рабочего, гордого своим трудом. Это бойцы палестинского сопротивления, с оружием в руках борющиеся за торжество справедливого дела («Первый бой» и «Революционная песня» Я. Яхлюфа). Это мальчишки — маленький продавец га-

зет, мечтающий о велосипеде («Дом, который нельзя забыть» Лейлы Осман), и ожесточенный Аббас, у которого нет времени играть («Катастрофа» Мухаммеда Али Вахба). Это молодой бедуин Хамид, «лучший юноша племени», красивый и стройный, как пальма, потерявший девушку своей мечты и в отчаянии вонзающий в грудь клинок («Стоны сакии» саудовца Хасана Абдаллаха аль-Курейши).

Читателю, может быть, не очень понятно, почему палестинец Я. Яхлюф пишет роман о Саудовской Аравии, а кувейтская писательница Лейла Осман и другие — о трагедии палестинцев, об их борьбе за возвращение утраченной родины. Причина не только в той большой роли, которую играет саудовское королевство в решении палестинской проблемы, но и в отзывчивости на тяжкую участь палестинского народа. Единство арабов реально ощущается самими арабскими народами.

Примечательной особенностью этих изданий является то, что это первый перевод произведений вышеупомянутых авторов на иностранный язык. Таким образом, благодаря усилиям составителя обеих книг В. Шагаля и переводчиков-арабистов советский читатель первым получил возможность познакомиться с творчеством писателей стран Залива, а также лучше узнать жизнь арабских народов.

А. ЯКОВЛЕВ

Издано за рубежом

СОВРЕМЕННЫЕ СКАЗКИ СОВРЕМЕННОЙ ШЕХЕРЕЗАДЫ

Angelika Mechtel. Gott und die Liedermacherin. Roman. München, Paul List. 1983.

Ангелика Мехтель. Бог и сказительница. Роман. 1983.

Сюжетную канву этой книги можно раскрыть в одном абзаце. Время и место действия определены точно: Соединенные Штаты Америки, 1981 год. Осенью названного года тридцатишестилетняя Юлия Риттер, популярная западногерманская исполнительница политических песен, отправляется в шестинедельное турне по Соединенным Штатам. Протекает поездка в целом благополучно, хотя и не без неожиданностей, выступления Юлии неизменно собирают солидную аудиторию, она пользуется успехом. На третье ноября намечен вылет обратно в ФРГ. Но второго ноября Юлия бесследно исчезает из дорогого номера в техасском отеле, не взяв ничего из своих вещей и подарив случайному человеку гитару, с которой не расставалась на протяжении всего путешествия. Полгода о дальнейшей судьбе Юлии ничего не известно, затем первого июня восемьдесят второго года она объявляется во франкфуртском аэропорту, багаж ее весит тридцать килограммов и состоит исключительно из рукописных листов бумаги. Юлия привозит с собой книгу, обязанную возникновением путешествию по Соединенным Штатам, книгу, которую она сама называет памфлетом, западногерманские же власти усматривают в ней откровенную провокацию. Осенью восемьдесят второго года против Юлии Риттер начинается публичный судебный процесс, где в качестве основного пункта обвинения фигурирует «оскорбление мужского достоинства». Вот такой эффект вызвала привезенная Юлией книга.

Что же увидела Юлия Риттер в сегодняшней Америке такого, что поначалу повергло ее в состояние стресса, лишило сна и внутреннего покоя, а затем заставило на несколько месяцев «уйти в подполье», дабы разобраться в собственных ощущениях и даже попробовать их записать? Что так потрясло впечатлительную душу «песенницы»[1]? Юлия Риттер прибывает в Штаты без предубеждения. Нет у нее особых аргументов ни за, ни против. Она полна доброжелательного интереса и к местным достопримечательностям, которые с готовностью демонстрируют ей хозяева, и к людям, населяющим эту огромную и обильную страну. Но чем больше постигает Юлия местную жизнь, чем больше всматривается она с близкого расстояния в черты окружающего ее бытия, тем больше начинают они обретать свой истинный и отталкивающий лик.

Нью-Йорк, небоскребы как символы власти и успеха, обязательная экскурсия к статуе Свободы, людской поток на Пятой авеню, и тут же недалеко Гарлем, квартал чернокожей бедноты, куда, как сразу предупреждают Юлию доброжелатели, опасно отправляться без провожатых. А есть еще Бронкс, Ист-Сайд, Бауэри. Организаторы концертов Юлии Риттер предпочитают не появляться в этих районах и не упоминать о них. Сами они живут в благоустроенных, роскошных домах на Пятой авеню или в пригородах, где вид, открывающийся из окна, поражает идилличностью, сами же квартиры — высочайшей степенью комфорта. И только одно выдает собственно нью-йоркскую их принадлежность — вооруженная круглосуточная охрана в подъезде, даже в лифте. «В Нью-Йорке можно жить,— утверждают знакомые Юлии.— Нужно только соблюдать правила игры». Но что это за игра, в условия которой входят, скажем, бесчисленные ночные пожары в районах бедноты, сопровождаемые истошным воем

Слово «Liedermacher», соответствующее русскому песеннику, а также получившим распространение в последнее время барду, менестрелю, так же редко употребляется в женском роде в немецком, как и в русском. Для писательницы в суффиксе женского рода (Liedermacherin) заключен особый смысл. А почему все-таки в конце концов мы остановились на «песеннице», читатель поймет из дальнейшего текста рецензии.

пожарных машин?! Поджигают, как правило (так разъясняют Юлии), сами домовладельцы: страховку получить выгоднее, нежели содержать старую развалину. А что при этом десятки семей останутся без крова да еще потеряют скудные свои пожитки — кого волнует такое в Америке? Ведь это прекрасно согласуется с доктриной самого президента: богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее.

Атланта — богатейший город Америки, в ее соперничающих с нью-йоркскими небоскребах проворачиваются миллионные дела, в ювелирных магазинах предлагаются немыслимые драгоценности, здесь роскошь и богатство выставляются напоказ, они бьют в глаза, подавляя случайно забредшего в Атланту чужака. Но еще больше подавляет его царящая в Атланте атмосфера страха — страха, проникающего даже за хорошо охраняемые двери отеля. Этот страх не только в Атланте, он пронизывает всю американскую жизнь. Страх воцаряется по ночам в таких милых и чистеньких днем университетских городках, где студентки с наступлением темноты боятся покидать общежитие, страх неизменно присутствует в ночных кошмарах Каролины, тихой и поженски очень несчастной супруги преуспевающего американского дельца, с которым знакомится Юлия Риттер в Америке, страх гнездится в поселке из дорожных вагончиков в Бостоне, где обосновались бездомные, страх в огромных складах биологического и химического оружия, о которых рассказывают Юлии очевидцы, страх в идиллических ландшафтах Новой Англии, где у Юлии возникает чувство, будто она находится в эпицентре урагана: здесь мертвая тишина и полный штиль, но вокруг-то бушует буря.

Такую вот Америку перестает понимать и принимать Юлия Риттер, женщина в общем-то обычных взглядов и устремлений, любящая свое дело, как и все женщины, мечтающая о любви и не очень-то стремившаяся до поры вникать в политические перипетии сегодняшнего дня. Ведь знаменитые песни ее основываются, как правило, на классических текстах; это стихи девятнадцатого и даже восемнадцатого веков, обретающие, правда, дополнительную актуальность в наше время. Гораздо больше, чем собственно политическая жизнь Америки, занимают Юлию женские права, исковерканные женские судьбы, явно бьющее в глаза неравноправие. Лишь ничтожный процент женщин в Америке, узнает ошеломленная Юлия, имеет постоянное, закрепленное за ними юридически место работы, остальные работают по найму и, значит, на птичьих правах. Да и семейная жизнь тех женщин, с которыми сводит судьба Юлию в американских городах, больше похожа на удачный или неудачный контракт, нежели на то, к чему призвана женская душа.

Америка — мужская страна. К такому выводу твердо приходит Юлия Риттер. И ценности здесь культивируются сугубо «мужские» — власть, сила, переходящая в откровенное насилие, умение делать деньги, умение одержать верх над остальными, заставить их служить себе. Такой видит сегодняшнюю Америку Юлия, и против этого восстает все ее женское естество. А еще против того делового, «проамериканского» бога (смахивающего скорее на Дядюшку Сэма), к которому то и дело апеллируют в своих начинаниях американские деловые люди и политики. Опросы общественного мнения показали, что каждый американец в среднем один раз в месяц обращается к Библии — вне зависимости от вероисповедания. Даже астронавты молились на своем пути к Луне. Библия — единственная книга, встречающаяся в каждом американском отеле. К богу обращаются из-за царящего кругом страха, но не только поэтому. Америка — благословенная богом страна, это вдалбливается каждому американскому школьнику с детства, бог избрал Америку в качестве рая на земле, бог всегда пребудет с Америкой, во всех ее начинаниях и делах, праведных и неправедных, бог никогда не оставит Америку своими милостями. Как просто, оказывается, сославшись на бога, заложить в общественное сознание миф об избранности собственного народа и страны, а дальше уже можно действовать, не стесняясь в средствах. Остро чувствует Юлия, что бог, которому служат молебны в сегодняшней Америке,—это бог силы и золотого тельца, бог умеющего за себя постоять кулака, а то и винтовки с оптическим прицелом, бог, награждающий властью над другими, над миром. Это бог сильных и преуспевающих мужчин, бог американского истеблишмента.

И вот этому богу бросает открытый вызов Юлия Риттер. Отвергая его «мужские» ценности, она начинает утверждать ценности «женские», гуманистические, ценности «другой половины мира». Не случайно проходит через весь роман параллель с Шехерезадой, легендарной сказительницей из «Тысячи и одной ночи». Что может быть более мирным, более естественным для человека, более дружелюбным, нежели рассказывание историй? Это — символ человеческого общения, символ стремления людей понять друг друга. Что может быть дальше от убийства и насилия? «Убивать — это дело одной половины мира,— говорит героиня Мехтель.— Рассказывать истории — дело другой. Кто занят одним, не может одновременно заниматься другим».

Истории, которые Юлия Риттер спонтанно, словно по наитию, рассказывала разным людям во время путешествия по Америке, а потом записала, обработала и включила в свою книгу, конечно же, не истории Шехерезады. Да и нынешний мир не очень похож на сказочный Восток много веков назад. Истории Юлии призваны возмутить спокойствие, вырвать людей из оцепенения, нарушить мертвую тишину, царящую «в эпицентре урагана». Они полны дерзкой иронии и смелых образов, гротескно переосмысляются в них традиционные мотивы, переосмысляются в парадоксальном, непривычном ключе. Героиня всех историй Юлии — женщина. Умная, самоотверженная, добрая и доверчивая, она во всем превосходит мужчину, и одержать над нею верх можно разве что хитростью или коварством. Жалкий, ничтожный волк с поджатым хвостом в заново рассказанной сказке о Красной Шапочке, ничего не понимающий, запутавшийся в собственных творе-

ниях бог в новой версии сотворения мира, Зевс, утративший былое величие, а рядом с ними умная, прекрасная женщина — Красная Шапочка, Ева, похищенная Зевсом Европа,— женщина, вносящая в мир гармонию, тепло, смысл. А если добавить сюда еще терпкий народный юмор, высвечивающий особым светом истории Юлии и порождающий ту убийственную снисходительность, с какою женщины обычно говорят о мужчинах, когда те их не слышат, то окажется, что в книге Юлии Риттер и впрямь можно углядеть «оскорбление мужского достоинства». По-американски понимаемого мужского достоинства, уточнила бы сама героиня, по-американски понимаемых мужских добродетелей.

Ибо Юлия Риттер — отнюдь не мужененавистница в этаком новомодном стиле. Личная жизнь у нее не сложилась, но, как и любую женщину, ее не оставляет надежда на большую, по-настоящему счастливую любовь, на обычное женское счастье. И любовь находит ее. Кит, с которым она случайно знакомится в Чикаго на улице,— из «другой Америки». Он с теми, кто не боится высказывать свое недовольство политикой президента, с теми, кто борется за то, чтобы мир стал добрее и лучше. Кит работает в университетской клинике, если можно так выразиться, «братом милосердия», и эта работа отвечает его внутренней потребности в доброте, он активный участник организации «Мужчины против насилия». Юлию и Кита соединяет глубокое, подлинное чувство, это любовь с первого взгляда и на всю жизнь, хотя оба они, привыкшие к утратам, не строят планов на будущее и живут только днем сегодняшним. И этому чувству тоже обязана своим возникновением книга историй Юлии Риттер.

Однако, несмотря даже на линию Кита, иному недоброжелательному взгляду новая книга Мехтель может показаться слишком уж «феминистской», слишком нарочито противопоставляющей друг другу ценности мужские и женские. Но это будет все-таки взгляд поверхностный. Писательница сумела уловить и осмыслить важнейшую тенденцию времени. Попробуем хоть на минуту представить, чем было бы нынешнее антивоенное движение во всем мире без женщин, вспомним хотя бы взбудораживших всю Англию домохозяек, в течение многих месяцев пикетирующих американскую военную базу в Гринэм-Коммон. Сама природа определила женщине быть всегда против насилия и убийств. Вот почему не раз уже поминавшейся здесь Шехерезаде удалось и в самом деле смягчить ожесточившуюся душу султана, заставить его отказаться от ежедневных казней, от самого желания убивать.

Как бы ни хотелось Юлии Риттер добиться такого же своими историями, она не рассчитывает на подобный эффект. Это было бы слишком просто в сложном сегодняшнем мире. Но ей необходимо было написать свою книгу, чтобы доказать, что у мира есть будущее, если все женщины станут заодно, если возвысят свой, женский, голос против насилия и войн.

Суд отказывается от вынесения Юлии Риттер обвинительного приговора. Суду кажется, что «рассерженная молодая дама» провоцирует общественное мнение, в такой ситуации вынести обвинительный приговор значило бы лишь сыграть ей на руку. Собственно, Юлия и предполагала именно такой ход событий и ни на что другое не рассчитывала.

Советский читатель уже знаком с творчеством Ангелики Мехтель. В 1983 году журнал «Иностранная литература» опубликовал ее роман «Другая половина мира, или Утренние беседы с Паулой». А вот теперь еще один роман, посвященный «другой половине человечества», еще один роман, где героиня — женщина, наша современница, вовлекающая читателя в круг своих собственных, сугубо женских казалось бы, проблем и демонстрирующая вместе с тем, как в проблемах этих отражаются ныне больные вопросы времени. Из писательницы просто «женской» тематики Ангелика Мехтель все больше становится писательницей глубоко социальной, раздумывающей о политическом содержании происходящих в мире процессов. Хотелось бы пожелать ей новых художественных открытий на этом пути, на который она вступила столь смело, решительно и совсем не по-женски. Точнее, именно по-женски.

НИНА ЛИТВИНЕЦ

ЖЕНЩИНЫ И ДИККЕНС

Michael Slater. Dickens and Women. Stanford, Stanford University Press. 1983.

Майкл Слейтер. Диккенс и женщины. 1983.

Теперь, когда так возрос интерес к документальной и мемуарной прозе, биографический метод в западном литературоведении, по-видимому, набирает новую силу. В самом деле, неимоверно трудно отделить личность писателя от его произведения, человека — от тех личных документов — писем, дневников, записных книжек, где, как в кладовой, хранится запас житейских впечатлений. Велик соблазн именно в этой «кладовой» увидеть мастерскую, или, как принято говорить, «творческую лабораторию».

Конечно, как не раз отмечалось в нашей критике, есть у этого метода существенные недостатки: некоторые его сторонники игнорируют культурно-исторические и социальные обстоятельства жизни писателя. Адепты этого метода иногда чересчур категорично «вписывают» в текст произведения личный опыт автора, проводят весьма рискованные параллели, настойчиво ищут прямого соответствия между эпизодами романа и фактами писательской биографии, недооценивая преображающие свойства «магического кристалла».

Впрочем, биографический метод имеет и достоинства: он основан на скрупулезном и тщательном разыскании документальных материалов и анализе уже известных. Часто на этой основе возникает новая гипотеза, таящая в себе зерно истины. В этих случаях метод и его применение бывают благотворны, о чем свидетельствует книга Майкла Слейтера «Диккенс и женщины».

И название, и предмет исследования до некоторой степени — дань победному шествию современного феминизма. Но не только. Проблема, заявленная в названии книги, существует, она — предмет ожесточенных споров. По утвердившемуся в англо-американской критике мнению, Диккенс, величайший художник, «не знал» и «не умел» изображать женщин. При этом обычно ссылаются на слова младшей дочери писателя Кэйт Перуджини, обронившей както в письме к Бернарду Шоу роковые слова: «Мой отец женщин не понимал».

Слейтер, освоивший массу документальных материалов, в частности, многотомную, новейшего издания, переписку Диккенса и всю обширнейшую западную «диккенсиану», предпринимает успешную попытку доказать обратное.

Что лежит в основе характерологии женских персонажей у Диккенса? Прежде всего его собственный эмоциональный опыт — отвечает Слейтер. И, конечно, те женщины, которые занимали в его жизни важное место: мать, старшая сестра Фанни, детская любовь к Люси Строуджил, возлюбленная юношеских лет Мария Биднелл, свояченицы Мэри и Джорджина Хогарт, жена Кэтрин, дочери Мэйми и Кэйти, молодая актриса Эллен Тернан.

Какой женщина не должна быть? Такой, например, как миссис Никльби (роман «Приключения Николаса Никльби», 1838). Большинство исследователей сходятся на том, что в ней Диккенс изобразил многие черты матери, Элизабет Бэрроу Диккенс. Всю жизнь он питал обиду против нее, так как в детстве ему пришлось работать на фабрике ваксы (для пополнения скудного семейного бюджета), и мать настаивала на его возвращении туда, когда он ушел. Известны слова Диккенса: «Но я никогда потом не забывал, я никогда не забуду, я никогда не смогу забыть, что моя мать хотела моего возвращения». Не забыл и «отомстил», потому что миссис Никльби — особа неумная, тщеславная, молодящаяся — разорила мужа и совсем не понимала своих детей. Однако ее склонность к алогичному мышлению и абсурдным умозаключениям — источник постоянного смеха в романе, и поистине она его «прекрасная» героиня.

Случайно ли так получилось? Нет, и Слейтер приводит весьма любопытное письмо современницы, характеризующее сложное отношение Диккенса к матери. «Миссис Диккенс обладала развитым чувством комического, а ее способность к подражанию была совершенно изумительна. Входя в комнату, она почти молниеносно запоминала все, что в ней находилось, и если что-нибудь поражало ее как несообразное и смешное, она потом описывала это точнейшим образом. Так же она отмечала все индивидуальные особенности поведения друзей и знакомых. Ей была присуща значительная толика пафоса, и она могла легко исторгнуть слезы, рассказывая о чем-нибудь печальном. Она слегка прихрамывала, так как, играя в любительском спектакле Лондонского театра в Сохо, повредила ногу, провалившись в люк. Я держусь того мнения, что бóльшую часть своего гения Диккенс унаследовал от матери. От нее идет его способность быстро схватывать смешное, дар патетики и значительный драматический талант. Чарльз нежно любил ее и всегда относился к ней с уважением и по-доброму». И добавим: хорошо ее знал. Этому знанию и любви к ее способности «схватывать смешное» мы и обязаны одной из самых комических фигур во всей английской литературе, как нежной взаимной привязанностью Флоренс и Поля Домби — дружбе Диккенса с сестрой Фанни, а «пылкой» любовью шестилетнего Дэвида Копперфилда к «малютке Эм'ли» — златокудрой крошке Люси Строуджил.

Такой же неизгладимый след в его творчестве оставила и несчастная любовь к капризной красавице Марии Биднелл: эта страсть отозвалась потом в мучительном чувстве Пипа к Эстелле («Большие надежды»). Более поздняя встреча с Марией Винтер, в девичестве Биднелл, напомнившая знаменитому писателю о былой страсти никому не известного стенографиста-репортера, воскресит в памяти читателя ту же ситуацию в отношениях Артура Кленнэма и восторженно-сентиментальной, но добродушной Флоры Финчинг («Крошка Доррит»).

Комические женские персонажи Диккенса составляют самый разительный контраст с его прелестными, добродетельными и самоотверженными юными девушками — последние ему совсем не удавались, они все как бы на одно лицо. Диккенс в данном случае не мог преодолеть гипнотического, идеального воспоминания о любимой свояченице Мэри, внезапно умершей семнадцати лет. Другу Томасу Бирду молодой Диккенс писал, со всем свойственным ему тогда романтическим энтузиазмом: «Никогда еще природа не создавала столь совершенного существа»... «У нее не было недостатков». Мэри была «ангелом»» его домашнего очага (молодые девушки в то время нередко жили в семье замужних сестер), и ангельские черты ее внешности и характера Диккенс передаст своим любимым героиням.

Особенно «бескровным» получился, однако, образ Агнес, второй жены Дэвида Копперфилда, с которой он, как явствует из финала романа, должен жить долго и счастливо до самой смерти. В жизни получилось иначе. Прообразом Агнес была Кэтрин Диккенс, жена писателя, добросердечная и рассудительная, и тем не менее — «мы знаем,— пишет Слейтер,— что в мае 1858 года, после двадцати двух лет брака, в котором она родила десятерых детей, «бедная матрона», как называл ее Теккерей, навсегда покинула дом мужа». Объясняя в письме к читателям разрыв с женой, Диккенс одной из причин называл абсолютное несходство наклонностей, вкусов и характеров, но Слейтер склонен полагать, что писатель даже свою житейскую драму преобразил в «складный сюжет», и весьма порицает тех диккенсоведов, кто, полагаясь на письмо Диккенса, «искажает» образ «бедной Кэтрин».

Косвенным доказательством правильности своей оценки он считает тот всеобщий доброжелательный интерес и даже восхищение, которое вызвала Кэтрин, сопровож-

давшая мужа в его первой поездке по Америке в 1841 году. Среди ее поклонников оказались поэт Г. У. Лонгфелло, писатель Р. Г. Дана и даже... президент Джон Квинси Адамс. Человек суховатый и сдержанный, он был так пленен ее красотой, что написал в честь Кэтрин стихотворение. Но, главное, все знавшие К. Диккенс отмечали свойственное ей юмористическое видение жизни, что должно было сближать ее с великим мастером смеха. Гарриет Бичер-Стоу во время первой триумфальной поездки по Англии, когда все жаждали встречи с автором «Хижины дяди Тома», познакомили с четой Диккенсов. Потом она записывала в своем путевом дневнике, что «миссис Диккенс — образец истинно английской женщины... Друг мне шепнул, что она так же любит шутку, как и ее муж».

Тем не менее знакомство Диккенса с обаятельной, талантливой семнадцатилетней актрисой Эллен Лоулесс Тернан «положило конец путешествию его семейного экипажа по ухабам жизни»,— утверждает Слейтер, и в этом утверждении он не одинок. Во всяком случае, любовью к Эллен навеян образ мужественной и несколько суровой героини последнего романа «Тайна Эдвина Друда» (1870) — Елены Ландлесс.

У Диккенса, говорит Слейтер, существует несколько типологических рядов женских образов: женщины-тираны, «роковые женщины», приносящие любящим их несчастье, «заботливые хозяюшки», «цветущие вдовы» средних лет, умные и сердечные, а также юные, прекрасные и самоотверженные девушки — «воспоминание» о Мэри Хогарт. Больше всех ему удавались комические женские образы — таковы кроме миссис Никльби несравненная Сара Гэмп, сиделка и повитуха («Жизнь и приключения Мартина Чеззлвита»), прелестная «птичка», «девочка-жена» Дора Спенлоу («Дэвид Копперфилд»), бабушка Дэвида, эксцентричная, умная и добрая Бетси Тротвуд и сентиментальная, но великодушная Флора Финчинг. Юмор Диккенса обладал огромной силой «вочеловечивания», и тогда художник преодолевал сковывающее влияние «идеального» представления о «женской природе». Примером этой «вочеловечивающей», реалистической силы комизма может служить Белла Уилфер («Наш общий друг»), капризная и остроумная, жаждущая блестящей жизни и вдруг ужаснувшаяся духовной погибели которую может повлечь за собой материальное процветание. По мнению Слейтера, Белла — лучший женский образ писателя, и «обязан» он им яркой и противоречивой личности своей младшей дочери Кэйт.

Ну, а каким же все-таки был женский «идеал» Диккенса, если судить по его корреспонденции и публичным высказываниям? Представление об идеале — типично викторианское, констатирует Слейтер, хотя Диккенс не разделял характерного тогда мнения, что женщина уступает мужчине в интеллектуальном отношении. Как человеку малорелигиозному, ему также было совершенно чуждо завещанное теологической традицией отношение к женщине как к «сосуду греха», нуждающемуся в строгом мужском руководстве. Для Диккенса все наоборот: в женщине «больше Добра, чем в мужчине», она обладает способностью «духовно возрождать» — вот почему ее место... только в семье. Поэтому, с его точки зрения, Жанна Д'Арк — жертва собственного трагического заблуждения: «Она была мечтательной девушкой, фантазеркой, хотя и очень доброй, но, осмелюсь сказать, несколько тщеславной... Коронован дофин, она должна была... снова переодеться в свое крестьянское платье и вернуться домой... стать женой доброго поселянина и слышать не разные там странные голоса, а голоса маленьких детей». Дом — естественная женская сфера деятельности, и не надо никаких других. Борьба за женское равноправие — угроза счастью и духовному благополучию человечества. Тут Диккенс явно смыкался с самыми консервативными идеологами викторианства, и Слейтер не случайно проводит аналогию между подобными высказываниями великого писателя и королевы Виктории, оплота благопристойного буржуазного английского мещанства XIX века.

Любопытно отметить, что и среди женщин-литераторов Диккенс ценил только тех, кто насаждал домашние идеалы, не жаловал, например, Жорж Санд и, по словам современника, не прочел ни одного романа сестер Бронте.

Впрочем, Диккенса беспокоило и то обстоятельство, что англичанки его времени, например нещадно эксплуатируемые фабричные работницы, из-за социальных неустройств были часто лишены возможности отдавать силы и душу семейному очагу. И конечно, главным препятствием на пути проявления женщиной ее «прирожденных инстинктов» он считал социальные катаклизмы, войну.

Таким образом, констатирует Слейтер, проблема «Диккенс и женщины» отнюдь не так одномерна, как полагают многие исследователи его творчества. Главное достоинство книги самого Слейтера в том, что, умело использовав обширный документальный, художественный, био-библиографический материал, он убедительно опровергает это устоявшееся мнение.

М. ТУГУШЕВА

РОЖДЕНИЕ ХУДОЖНИКА

Francois Wevergans. Le Radeau de la Méduce. Paris, Gallimard, 1983.

Франсуа Вейерган. Плот Медузы. 1983.

«Антуану казалось, что ноги его засасывает вязкая и болотистая жижа, но когда он осмелился бросить взгляд вниз, то, естественно, не увидел ничего, кроме паркета Лувра. Он никак не мог набраться храбрости углубиться в галерею, где размещалось огромное полотно Жерико, словно ему было не под силу пересечь пространство, отделявшее его от картины, ради которой он при-

шел сюда. Вновь и вновь он повторял про себя: «Ну, я иду», но его словно сковывал какой-то паралич, который ему не удавалось перебороть, и это угнетало еще больше...» Наконец, преодолев несколько залов и намеренно подолгу задерживаясь перед другими полотнами, все оттягивая минуту встречи с преследующей его, как наваждение, картиной, Антуан замер при входе в следующий зал и быстро оглянулся налево, на Курбе и Делакруа, уже зная, что «Плот Медузы» ждет его чуть дальше, справа; он понял, что двигался вперед помимо собственной воли и картина Жерико — вот она, перед глазами. Он подошел еще ближе и уперся взглядом в нижний угол рамы, потом решился обвести взглядом все полотно, и оно подавило его своей громадой».

Летом 1816 года королевский фрегат под названием «Медуза» отправился в Сенегал (который Англия пообещала возвратить Людовику XVIII) для учреждения там колонии. На борту фрегата находилось 400 человек: офицеры, матросы, солдаты, колонисты, новый губернатор, члены его семьи и слуги. Капитаном «Медузы» был назначен человек, который двадцать пять последних лет не занимался навигацией. В шестидесяти километрах от берегов Африки фрегат сел на мель. Часть пассажиров разместили по шлюпкам, для остальных был сколочен плот, и на него высадилось сто сорок девять мужчин. К вечеру пятого дня их осталось уже только двадцать семь. Слепящее солнце, невыносимая жажда, голод, болезни, безумие, стремление выжить любой ценой заставили людей впасть в каннибализм. Выдержали все это лишь двое. Вот эти двое и рассказали в прессе о том, что выпало на их долю. Трагическая судьба плота «Медузы» вдохновила молодого художника Теодора Жерико на создание бессмертного полотна.

Однако выставленная в Салоне картина вызвала скандал — она напомнила о том, о чем всем хотелось забыть: о неудавшейся экспедиции и преступной небрежности, с которой формировался экипаж. Художнику объявили, что его картину покупают, а холст тем временем сняли с рамы и скатали в рулон — и неизвестно, сохранился ли бы этот шедевр для потомков, если бы об обмане не узнал сам художник. Отказавшись от денег, он потребовал вернуть ему картину и повез ее в Англию и Ирландию, где она имела огромный успех. Вернувшись на родину, Жерико прожил всего пять лет, успев нарисовать лишь несколько портретов умалишенных.

Никогда прежде Антуана Дюфура, в прошлом преподавателя французского языка — героя романа «Плот Медузы»,[1] принадлежащего французскому писателю бельгийского происхождения Франсуа Вейергану (это его пятая книга),— не интересовал ни Жерико, ни его знаменитая картина. Все в его жизни складывалось до сих пор словно бы независимо от него — по инерции или по воле случая. Дважды неудачно женился. Первый брак распался, потому что супруги были слишком молоды и неопытны, чтобы мириться с недостатками друг друга, а второй оказался невозможным из-за маниакального увлечения жены вошедшим в моду буддизмом.

Десять лет назад случай привел Антуана на телевидение и так же случайно ему поручили теперь поставить короткометражный фильм о картине «Плот Медузы». И, по легкомыслию согласившись, Антуан неожиданно для себя «заболел» Жерико.

Когда-то в начале своей телевизионной карьеры он пытался внушить коллегам, что «телевидение — наилучшее средство для критики общества», но неизменно слышал в ответ, что такого рода передачи ему придется снимать за свой собственный счет. Да и его порывы вкладывать душу в постановку поручаемых ему фильмов тоже всячески охлаждали: «главное — создать видимость, что телевидение интересуется искусством, а все остальное не имеет значения». И работа, скучная работа существовала для Антуана сама по себе, а его жизнь, с кратковременными увлечениями и зыбкими мечтами, текла по своему руслу. Словно бы Антуан двигался одновременно по двум параллельным и никогда не пересекающимся дорогам. Он знал, что слывет неудачником, но его это мало трогало: особой разницы между преуспевшим и неудачником он не видел. Ребенком Антуан не ощущал дисгармонии с внешним миром, сейчас же все вокруг было ему чуждо. Чтобы излечиться от нервозности и неуверенности в себе, Антуан прибег к самоанализу, однако и после этого его мироощущение не изменилось. И вдруг этот Жерико...

Можно было бы сказать, что настоящая работа над фильмом в книге не показана, поскольку до съемок дело так и не доходит. Но мучительная и захватывающая работа мысли и воображения, которой отдается художник, возмечтавший создать не поделку, а подлинное произведение искусства, шедевр, достойный кисти своего гениального предшественника,— разве это не труд, тяжкий и изнурительный, лишающий сна и душевного покоя?

Поначалу неуверенные поиски и робкое нащупыванье нужной формы сменяются лихорадочно, один за другим рождающимися проектами. Ведь необходимо заранее продумать каждый кадр (телевидение выделило Антуану очень ограниченные финансовые средства), найти подходящих актеров и из огромного океана мировой музыки отобрать произведения, которые наилучшим образом будут раскрывать замысел художника. Теодора Жерико? Да, конечно, но и режиссера, увидевшего в «Плоте Медузы» символ всечеловеческого отчаяния и в то же время надежды.

Антуан погружается в изучение справочников, часами роется в пыльных фолиантах у букинистов, без конца всматривается в репродукции самой главной и других картин художника, чтобы доискаться до «правды» Жерико. Режиссера терзает рой вопросов. Что заставило в свое время двадцатидевятилетнего художника взяться за это исполинское полотно и запечатлеть обреченных на смерть людей? С чего начать фильм? С рассказа о жизни самого Жерико, полной приключений? О женщине, которую он любил? О его страсти к верховой езде? Или о его преждевременной смерти? Как показать

[1] Об этом романе см. также в статье А. Боске «Что читают сегодня во Франции», «ИЛ», 1984, № 5.

телезрителям этот необъятный холст, чтобы они прониклись той жизнеутверждающей силой, которая исходит от картины, вопреки безысходному финалу?

Антуану нестерпимо хочется как можно скорее довести работу до конца, чтобы освободиться от этого гнета, от пленившего его Жерико, да и с телевидения ему ежедневно напоминают, что он уже давно всех подводит, но, воспламенившись какой-нибудь идеей, он тут же отвергает ее, чтобы загореться новой. В памяти проносятся десятки имен других художников, музыкантов, писателей, преждевременно или трагически ушедших из жизни, названия, сюжеты их произведений, и сразу вспыхивает новая тема и страстное желание немедленно взяться за ее осуществление. Все это накатывает на Антуана невзначай, помимо его воли, и как будто бы уводит его в сторону от теперешней работы, но на самом деле это и есть тот самый процесс, что зовется творческим и в который вовлекается и читатель, и постепенно план съемок фильма вырисовывается все более четко. Процесс этот происходит отнюдь не в кабинете и не за письменным столом. Режиссер бродит по ночному Парижу, заходит в полупустые кафе, наблюдает за посетителями и редкими прохожими, окунается в дневное кипение жизни, вбирая в себя ежечасно меняющиеся краски города и человеческих лиц.

Совсем как в романе Арагона «Страстная неделя» молодой Жерико, который, потерпев неудачу с первыми картинами, отказывается, как он думает, навсегда от живописи и становится королевским мушкетером, но даже мучимый столь важным вопросом, присоединиться ли ему к Бонапарту, рвущемуся в Париж, или следовать за бегущим из Франции королем, невольно всматривается в окружающие его прекрасные и уродливые человеческие лица, мысленно представляя себе, как бы он воссоздал их на полотне. И когда Жерико принимает наконец решение дезертировать, чтобы снова отдаться живописи, он не может не заметить: «Удивительное дело: стоило проглянуть солнцу, и дорога стала совсем другой...»

Как-то в сумерки Антуан забрел на кладбище, где нашел могилу Жерико,— и новая деталь, новый кадр, мелькнувшие в его воображении, вот-вот завершат затянувшуюся подготовку к фильму, эту увертюру к «настоящей работе», начала которой мы ожидаем с таким нетерпением.

Но автор неожиданно обрывает свой рассказ. Ведь главное мы уже знаем: родился еще один художник.

Только ли о творчестве эта книга? Нет, конечно. Антуан показан в окружении близких людей, и каждый из них вовлекает его в свой мир, насыщенный болями и проблемами. И нити, ведущие от героя к другим персонажам, крепко привязывают к живой действительности витающего порой в облаках Антуана.

Подруга Антуана бразилианка Нивеа Герра, которую он пылко любит, открывает ему и делает реально ощутимой далекую Латинскую Америку с трагическими поворотами ее судьбы и богатством национальной культуры.

А отец Антуана, которого неотступно преследуют воспоминания о двух мировых войнах (во время последней он участвовал в Сопротивлении), пробуждает и в сыне воспоминания о тревожном военном детстве, заставляя его острее ощутить хрупкость сегодняшнего благополучия и проникнуться чувством времени, без чего в наши дни немыслим настоящий художник.

Н. НИКОЛАЕВА

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

В МИРЕ, ГДЕ НЕВОЗМОЖНА ЛЮБОВЬ

Место действия в новой пьесе австрийской писательницы Фридерики Рот «Кротовый источник» точно не обозначено: события разыгрываются в некоем средиземноморском саду перед романтически запущенной виллой. И персонажи здесь не имеют имен, их называют: «Блондин», «Актриса», «Скульпторша» и так далее. «Это — типы, и каждый без труда сможет дать им имена знакомых людей»,— пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик Георг Хензель.

Главный герой пьесы — Дон Жуан навыворот, Казанова, за которым охотятся женщины. Ситуация, вполне жизненная для времен, когда в такой моде эмансипаторские настроения, замечает критик в газете «Франкфуртер альгемайне цайтунг»; но в ней есть невольный комизм, «как в известном детском стишке про зайца, который украл у охотника очки и ружье и теперь гоняется за ним».

При этом о любви здесь не может быть и речи. Патетичной, то и дело появляющейся в новом наряде Актрисе очередной адюльтер нужен потому, что это входит в ее роль: она должна соответствовать «буржуазному клише комедиантки». На самом деле она любит только саму себя.

Стареющая Скульпторша надеется найти в герое «блондина своей юности» — несбывшуюся когда-то любовь. Нынешнего Блондина можно купить, но любви не купишь и юности не вернешь. В этом ее трагедия.

А что же он сам, этот «светловолосый, переходящий приз для женщин»! Изображая любовь и уверяя в любви, он томится от скуки и опустошенности. Единственный раз на сцене появляется девушка, вызывающая в нем подобие искреннего чувства. Но ни он, ни она не принадлежат себе. Девушку лишь использует в своих целях ее тетка, а герой «может разве что кокетничать своей свободой, на самом же деле он ею не обладает, потому что у него нет денег... Он мил, но страшен», — пишет рецензент.

Все в конечном счете решают деньги. Поэтому «в мире, который показывает Фридерика Рот, любовь уже невозможна».

Драматургическое решение темы рецензент считает, однако, не слишком удачным. Многие персонажи представляются ему схематичными. «Перед нами не столько роли, сколько идеи... не столько характеры, сколько схемы».

БОЛГАРИЯ

СЛАВНЫЕ ИТОГИ

На закончившемся недавно XVIII фестивале болгарского киноискусства главный приз — «Золотая роза» — присужден фильму «Борис I» режиссера Бориславa Шаралиева. Как отмечает еженедельник «Народна култура», этот исторический фильм, повествующий об эпохе князя Бориса — времени становления болгарской культуры, распространения славянской письменности,— отличает не только высокий профессионализм, но и актуальность, поскольку он поднимает важные философские и нравственные проблемы, связанные с историей болгарского народа.

Главную роль в фильме исполняет Стефан Данаилов.

Первой премии удостоены фильмы на современную тему: «Равновесие» режиссера Людмила Киркова, «Золотая рена» режиссера Иванки Грыбчевой, «Я жду тебя давно» режиссера Анны Петковой.

Специальных премий жюри на фестивале были удостоены фильмы «Спасение» режиссера Бориславa Пунчева и «Собеседник по желанию» режиссера Христо Христова.

На снимке: Цветана Манева и Асен Миланов в фильме «Я жду тебя давно».

(Журнал «Болгарские фильмы»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КНИГА ОБ АГАТЕ КРИСТИ

Нуждается ли в защите репутация Агаты Кристи, прославленного мастера детективного жанра? Оказывается, что да. Не так давно семья писательницы, умершей в в 1976 году, обеспокоенная большим количеством низкопробной литературы, где зачастую сама Агата Кристи представлена как героиня детективных романов, обратилась к известному литературоведу Джанет Морган с просьбой написать правдивую биографию Агаты Кристи. Джанет Морган, чьи предыдущие работы продемонстрировали бережное отношение к документам, были предоставлены огромные семейные архивы. Задача оказалась отнюдь не из легких, так как многочисленные записные книжки Агаты Кристи, в которых наброски сюжетов перемешаны со школьными упражнениями дочери Розалинды и хозяйственными заметками, написаны весьма неразборчивым почерком и по законам самой невообразимой орфографии.

Задача, поставленная перед Джанет Морган, усложнялась еще и тем, что публике уже известны и автобиографические произведения самой писательницы, и мемуары ее мужа Макса Малловена. Но тем не менее книга об Агате Кристи, вышедшая недавно в английском издательстве «Коллинз», порадовала тем, что Джанет Морган создала яркий и впечатляющий образ одного из самых популярных в мире авторов традиционного детектива, отмечает лондонский «Файнэншл таймс». Причем анализ романов не вытеснил из книги живую Агату Кристи, которая, оказывается, была хорошей хозяйкой и славилась своим гостеприимством.

По мнению рецензентов, работа Джанет Морган, в которой использован богатейший документальный материал, стала событием в литературной критике. «Но удивительно и то,— замечает «Файнэншл таймс»,— что ни один биограф Агаты Кристи до сих пор так и не может объяснить, как этой довольно обычной женщине из обеспеченной семьи удалось покорить читателей в разных уголках мира: общий тираж ее произведений приближается к полумиллиарду».

«ЧЕХОВ» МАЙКЛА ПЕННИНГТОНА

Известный английский актер и режиссер Майкл Пеннингтон поставил в Лондонском Национальном театре спектакль «Чехов». Следует отметить, что это не первый случай обращения Майкла Пеннингтона к русской культуре. В 1979 году в театре «Олдуич» он сыграл Шер-

На снимке: Майкл Пеннингтон в роли А. П. Чехова в Лондонском Национальном театре.

(Журнал «Плейз энд плейерз»)

винского в «Белой гвардии» по роману Булгакова. При подготовке роли Пеннингтон изучал материалы о спектакле «Дни Турбиных» Московского Художественного театра, познакомился с принципами режиссуры Станиславского, интересовался постановками чеховских пьес в МХАТе. Чехов — прозаик, драматург, просто человек — не переставал его волновать. Пеннингтону всегда хотелось познакомить английского зрителя с атмосферой чеховской драматургии, показать во весь рост одного из крупнейших представителей русской культуры.

Новый спектакль Национального театра можно с полным правом назвать авторским, так как Майкл Пеннингтон не только автор текста, но и исполнитель роли Чехова. Пеннингтон задался целью не просто рассказать биографию Чехова, он поставил себе задачей вскрыть душевные причины, заставляющие писателя совершать те или иные поступки, показать связь между персонажами его пьес и рассказов и реально существовавшими людьми, воссоздать наиболее полный образ Чехова. «Для меня Чехов — это в известной мере «лесной дух», доктор Астров, человек, для которого постепенное уничтожение лесов в округе — личная трагедия...»— говорит Майкл Пеннингтон в беседе с корреспондентом журнала «Плейз энд плейерз».

Пеннингтон насытил свой спектакль многими реалистическими деталями, о которых он читал в материалах о Художественном театре, осторожно коснулся семейной жизни писателя. Трактовка отдельных чеховских образов, может быть, несколько своеобразна (например, черный монах, котона, означает грядущую смерть Чехова от туберкулеза и т. д.), но в целом спектакль, по отзывам театрый, по мнению Пеннингторальной критики, чрезвычайно интересен и производит глубокое впечатление.

ВЕНГРИЯ

ДОМ ИСКУССТВ В БУДАПЕШТЕ

В Будапеште, на территории старинной крепости, заложенной еще в XIII веке, в помещении бывшего Королевского дворца, представляющего огромный архитектурный ансамбль, который создавался на протяжении шести столетий, открылся Дом искусств.

О сегодняшних выставках этого уникального в Будапеште культурно-просветительского учреждения, ядро которого составляет переехавшая сюда Национальная галерея, рассказал на страницах «Мадьяр немзет» Генеральный директор Национальной галереи Лоранд Берецки.

Собрание Национальной галереи содержит произведения венгерской живописи, скульптуры и графики от средних веков до наших дней. «Сейчас в Доме искусств,— отметил Лоранд Берецки,— можно посмотреть практически все ценнейшие произведения венгерского изобразительного искусства. Собрание наше очень молодо, фактически свое существование оно начало в 1957 году. Оно основано на собраниях других музеев, особенно важными являются: собрания венгерской живописи XIX — XX столетий Музея изобразительных искусств и венгерская живопись из Столичной галереи».

В Доме искусств открыта и постоянная выставка «Искусство древних эпох», состоящая из разделов: «Каменные реликты», «Фризы области Шомодь», «Руины церкви в Яках», «Древняя настенная живопись и деревянная скульптура».

Дом искусств станет крупнейшим в стране научно-исследовательским и просветительским учреждением ведущим центром по комплектованию, хранению произведений изобразительного искусства и координации наиболее значительных экспозиций, экспонирующихся в выставочных залах столицы.

На снимке: работа Оскара Паппа «Фаэтон» (эмаль по металлу).

(Журнал «Мювесет»)

ГДР

ПРЕМИЯ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Премия имени Генриха Гейне за 1984 год присуждена известному западногерманскому писателю Бернту Энгельману. В торжественной обстановке она была вручена ему министром культуры Хансом-Иоахимом Гофманом.

«Своим творчеством Бернт Энгельман борется за демократические права граждан Федеративной Республики Германии, против милитаризма, реваншизма и монополизма,— говорится в официальном сообщении о присуждении премии писателю.— Много лет он возглавлял Союз писателей ФРГ. Он показал себя принципиальным, политически зрелым писателем, внесшим большой вклад в дело борьбы за мир».

Приветственную речь произнес писатель Гюнтер Цвойдрак — лауреат премии имени Гейне за 1983 год. Он сказал, что имя Энгельмана хорошо известно в Германской Демократической Республике, где издано много его книг. Отмечая, что Бернт Энгельман продолжил традиции революционной и демократической литературы, Цвойдрак назвал его истинным борцом, унаследовавшим боевой дух творчества Генриха Гейне.

НА ЭКРАНЕ — КЛАРА ЦЕТКИН

Студия ДЕФА показала новый фильм «Когда другие молчат» (режиссер — Ральф Кирстен, сценарий Михаила Шатрова). Фильм рассказывает о десяти днях из жизни Клары Цеткин в августе 1932 года. Кульминационный момент — пламенная речь Клары Цеткин 30 августа, в которой она призывала к борьбе с фашизмом, к созданию Единого фронта. Это ее последнее выступление в рейхстаге. В этот день ей пришлось сдать председательские полномочия Герингу...

Рецензенты отмечают очень интересную игру исполнительницы главной роли Гудрун Окрас. Она сумела показать внешне старую, больную, с трудом передвигающуюся женщину. Но она начинает говорить и поражает слушателей своим ясным умом, темпераментом, мужеством...

«Фильм «Когда другие молчат» посвящен трагическому прошлому нашей страны,— пишет еженедельник «Зоннтаг».— Но он обращен к современности, он предостерегает от попыток возродить это прошлое».

«На экране оживает история,— отмечает журнал «Фильмшпигель».— Мы надеемся, что зрители с большим интересом посмотрят этот умный, правдивый фильм».

На снимке: кадр из фильма «Когда другие молчат». В роли Клары Цеткин — Гудрун Окрас.

(Журнал «Фильмшпигель»)

ГРЕЦИЯ

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

В Греции широко отмечается 85-летие со дня рождения крупнейшего поэта современности Георгоса Сефериса (1900—1971), творчество которого оказало значительное влияние на многих греческих литераторов. По всей стране проходят выставки, вечера, конференции, посвященные его жизни и творчеству. Большими тиражами выходят новые издания произведений Сефериса, монографии о нем. В периодической печати широко публикуются фактографические материалы и мемуары.

Сеферис — псевдоним известного греческого дипломата Г. Сефериадиса.

Дебютировал поэт в 1931 году сборником стихотворений «Поворот». Он — автор многих сборников стихов, романа «Шесть ночей на Акрополе», эссе и других произведений. Г. Сеферис переводил на греческий Поля Валери, Поля Элюара, Т. С. Элиота и других французских и английских поэтов. В 1963 году Сеферис первым из греков получил Нобелевскую премию.

Основной мотив творчества Г. Сефериса — трагизм исторических судеб Греции и их драматическое преломление в личных судьбах современных греков. Существуют, как считает поэт, некие извечные начала, связующие род людской, и поэтому вечно продолжается полное опасностей плавание греков-аргонавтов во времени и пространстве (не случайно целых три сборника Сефериса названы «Вахтенным журналами»).

В марте 1969 года, когда в Греции господствовала хунта «черных полковников», тяжелобольной поэт сделал заявление, обошедшее все газеты мира. В нем, в частности, говорилось: «Нынешний режим — это режим, насильно навязанный нашему народу и полностью противоречащий идеалам, во имя которых он так героически сражался в последней мировой войне. Этот режим создал атмосферу принудительного бездействия, когда все духовное состояние нации, сбереженное ценою стольких усилий, медленно увязает в трясине, тонет в стоячей воде».

Поэзия Г. Сефериса пользуется большой популярностью не только в Греции, но и далеко за ее пределами. Она привлекает читателя совершенством поэтического мастерства, свежей и неповторимой образностью, глубиной мысли и значимостью поднятых проблем.

ИОРДАНИЯ

ПОЭТ ПАЛЕСТИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

В Аммане вышло собрание стихотворений недавно умершего крупного палестинского поэта Махмуда аль-Афгани, прозванного «поэтом молодежи Палестины».

Стихи аль-Афгани проникнуты горячей любовью к утраченной родине — Палестине, к родному городу Яффа. Их пронизывает боль изгнанника, вынужденного жить на чужбине.

Как отмечает обозреватель журнала «Аль-Фикр», опубликованный сборник включает лишь часть творческого наследия поэта. За ним должны последовать новые издания его стихов.

ИСПАНИЯ

СЛАВНОЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Пятьдесят пять лет прошло с того дня, как актриса Мари Кармен Прендес (на фото) впервые вышла на сцену. В честь этого события коллеги Мари Кармен Прендес устроили торжество, на котором вручили актрисе статуэтку, похожую на знаменитый «Оскар», с надписью «Самой лучшей». До сих пор этой чести удостаивались лишь выдающиеся актеры прошлого, уже ушедшие из жизни.

Со времени ее первого успеха в пьесе «Как сыновья Евы не стали сыновьями Адама» до последней ее роли Клотильды в «Элоизе под миндальным деревом» Мари Кармен много снималась в кино и на телевидении. Все ее роли, такие разные, объединяет одно — глубокая человечность, которой она щедро делится со зрителем.

ИТАЛИЯ

НА ТЕЛЕЭКРАНЕ «СПРУТ»

Жанр политического детективного фильма обрел в Италии настоящего мастера в лице режиссера Дамиано Дамиани. За двадцать с лишним лет работы он проделал большой путь, развивая этот жанр, — от таких фильмов, как «Каждому свое», к «Признанию комиссара полиции прокурору республики» и к недавним «Я боюсь». «Человек на коленях», «Предупреждение» (в нашем прокате — «Следствие с риском для жизни»). Столь же успешно Дамиани продолжает работать в этом жанре на телевидении. Вслед за телесериалом «Слова и кровь», разоблачавшим терроризм и наделавшим в Италии много шума, режиссер поставил шестисерийный телефильм «Спрут». В нем Дамиани снова изобличает преступления мафии и ее связи с политиканами и миром бизнеса.

Своему успеху «Спрут» во многом обязан добротной сценарной основе (автор сценария Эннио Де Кончини) и игре актеров. В главных ролях зритель встретился с популярными актерами кино и театра — Микеле Плачидо, Флориндой Болкан, Флавио Буччи, Барбарой де Росси. Критика дала фильму самую высокую оценку, подчеркивая, что Дамиани не только обратился к животрепещущей теме итальянской жизни, но сумел создать увлекательное и зрелищное произведение. Именно такие произведения, созданные на высоком, профессиональном уровне, могут эффективно исследовать проблемы современной итальянской действительности, пишет автор рецензии на телефильм в газете «Унита».

МОРАВИА — КИНОПИСАТЕЛЬ

Так часто называют Альберто Моравиа, четырнадцать из пятнадцати романов которого обрели вторую — экранную — жизнь, не говоря уже о многих новеллах, тоже экранизированных. В интервью, напечатанном в газете «Унита», писатель ответил на вопросы корреспондента в связи с начавшейся работой по экранизации его романа «Внимание», опубликованного в 1965 году. Ставит фильм молодой режиссер Джованни Солдати, сын известного писателя и кинорежиссера, друга Моравиа, Марио Солдати. Джованни — крестник Альберто Моравиа, и вся подготовка к съемкам носит «семейный» характер: в фильме будет сниматься жена Джованни — Стефания Сандрелли и ее дочь Аманда (по сюжету тоже мать и дочь). Сандрелли уже не раз участвовала в фильмах, поставленных по романам Моравиа, — вспомним хотя бы «Конформиста» режиссера Бернардо Бертолуччи.

На вопрос, что он сегодня думает о своем романе, Моравиа говорит, что «Внимание» — несколько громоздкое произведение, «роман в романе», которое с точки зрения формы можно было бы сравнить с пьесой Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Но это современно звучащее произведение. «Его герой, типичный, мудрствующий лукаво интеллектуал, принадлежит к послевоенной эпохе, но он очень близок к некоторым представителям поколения «после 68-го года». Народ для него — нечто мифическое, абстрактное, далекое, и чтобы сблизиться с народом, он решает жениться на женщине, принадлежащей к другому, «низшему» классу. Но не отдает себе отчета в том, что она по-своему тоже личность и тоже достаточно сложная...» — говорит писатель.

На вопрос о том, как он относится к фильмам, поставленным по его произведениям, Моравиа ответил: «В зависимости от результата. Я сразу чую, хорошо поработал режиссер или плохо. Есть фильмы, которые я заранее решаю никогда не смотреть. Однако я всегда стараюсь относиться к экранизациям как к встрече двух творческих личностей: того, кто пишет, с тем, кто снимает фильм».

Однажды Моравиа участвовал и сам в работе над сценарием по своему роману вместе с режиссером Луиджи Дзампой, когда тот в

КУБА

Известная кубинская балерина Алисия Алонсо во время своих гастролей в Париже дала интервью еженедельнику «Юманите диманш», в котором, в частности, сказала, что она привезла обширный репертуар, который включает и классический балет, и народные танцы. Соединение негритянской и испанской культур придает неповторимое своеобразие народным танцам, поставленным ею. «Только революция, — сказала актриса, — помогла мне совершенствоваться в своем искусстве».

На снимке: Алисия Алонсо во время репетиции.

(Еженедельник «Юманите диманш»)

1954 году экранизировал его «Римлянку». На вопрос, как он оценивает этот свой опыт, писатель сказал: «Думаю, что Дзампа не извлек из этого никакой пользы. А для романиста просто ужасно, порой немыслимо менять сюжет, действие произведения, которое он придумал и написал».

МОЗАМБИК

ПРЕМИЯ — МОЗАМБИКСКОМУ ФИЛЬМУ

Молодая Республика Мозамбик, несмотря на экономические трудности, большое внимание уделяет развитию кинематографии. В стране был создан Национальный институт кинематографии, который занимается вопросами производства и проката. Большое внимание Институт уделяет передвижным кинотеатрам, которые предоставляют сельским жителям единственную возможность приобщиться к миру кино. Качество отечественных и закупаемых кинолент контролирует специальная комиссия. Председатель этой комиссии журналистка Мария де Лурдеш Торкато сообщила корреспонденту португальской газеты «Диарио де нотисиаш», что в последние годы Мозамбик закупает 50—60 кинолент. Комиссия не считает это количество достаточным, но на большее пока не хватает средств. Национальный институт кинематографии отбирает для показа фильмы на различных фестивалях, причем предпочтение отдается лентам производства стран третьего мира. Немало идет на экранах Мозамбика и португальских фильмов, а в последнее время стали создаваться и совместные португало-мозамбикские ленты.

Внимание государства к проблемам киноискусства приводит мозамбикских кинематографистов к заметным успехам. Так, на I кинофестивале португалоязычных стран был удостоен премии фильм «Пой, мой брат» режиссера Жозе Кардозо. Почетным дипломом был также отмечен его полнометражный фильм «Бузи, два берега одной реки». Жозе Кардозо последнее время руководит сектором производства Института кинематографии и работает над художественными и мультипликационными фильмами. В интервью корреспонденту «Диарио де нотисиаш» он заявил, что, хотя сейчас основу производства кинофильмов в Мозамбике составляют документальные ленты, но в скором времени кинематографисты его страны в полной мере овладеют секретами художественного киноискусства.

На снимке: суринамская актриса Герда Хавертонг читает стихи Назыма Хикмета.

(Газета «Ваархейд»)

НИДЕРЛАНДЫ

«ПОЭЗИЯ ПРОТИВ РАСИЗМА»

При переполненном зале прошел тематический вечер «Поэзия против расизма», состоявшийся в амстердамской коллегии адвокатов. На вечере, организованном Международным сообществом поэтов, прозвучали стихи С. Вальехо и Назыма Хикмета, исполненные на языке оригинала, а затем прочитанные в голландских переводах. С собственными стихами выступили на вечере южноамериканская поэтесса Г. Мативане и суринамская поэтесса индийского происхождения Читра Гаджадин. Из нидерландских поэтов в вечере приняли участие С. Винкеног, Р. Камперт и Т. де Ло.

ПОЛЬША

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ» ПО ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Впервые в стране в Государственном научном издательстве в Варшаве вышел из печати первый том энциклопедии «Польская литература», что стало, как отмечает газета «Трибуна люду», событием огромной важности в культурной жизни Польши.

Помимо биографических сведений о писателях и оценки их творчества энциклопедия включает обзорные статьи об истории литературы, о поэтике, стилистике, социологии литературы, о литературных направлениях, течениях, жанрах (например, фольклор, детская литература). Все материалы сопровождаются обширным перечнем литературы, посвященной определенной теме.

При подготовке к изданию «энциклопедистами» была проделана огромная работа по отбору писательских имен, по выявлению «белых пятен» в истории литературы.

«Энциклопедия является, — пишет газета, — очень важным изданием не только для специалистов, но и для всех, кто интересуется прошлым и настоящим польской литературы».

«ГРАНИЦА» ЗОФЬИ НАЛКОВСКОЙ НА ЭКРАНЕ

Роман «Граница» Зофьи Налковской (100-летие со дня рождения писательницы и 30 лет со дня смерти отмечалось в прошлом году) получил экранное воплощение. Режиссер Ян Блешиньский снял многосерийный телевизионный фильм, который, как пишет газета «Трибуна люду», должен вызвать широкий интерес зрителей.

За роман «Граница», вышедший в 1935 году, Зофья Налковская была удостоена Государственной литературной премии и Золотого лаврового венка Польской академии литературы.

История карьеры молодого интеллигента, когда-то человека левых убеждений, его роман с простой девушкой, его предательство показаны писательницей на фоне общественных отношений, где подавляются самые естественные человеческие устремления.

«Граница», как отмечали критики, роман, где нашло отражение разочарование общественно - политической действительностью Второй Речи Посполитой, является самым крупным произведением писательницы.

На снимке: Эдвард Любашенко — исполнитель главной роли в многосерийном телефильме «Граница».

(Газета «Трибуна люду»)

США

«УСТНАЯ ИСТОРИЯ» АМЕРИКИ: ТОМ ШЕСТОЙ

«Беседовать с так называемыми обыкновенными людьми гораздо интереснее, чем со знаменитостями, потому что они впервые в своей жизни получают возможность рассказать о себе»,— отметил как-то в одном интервью известный американский публицист Стадс Теркел, размышляя о своей историко-документальной прозе. К нему, чикагскому радиожурналисту, широкая известность пришла после выхода в свет книги «Улица Разделения: Америка» (1967, русск. перев.; «ИЛ», 1969, № 8—9). Книгу составили несколько десятков интервью, взятых Теркелом у жителей Чикаго. Воодушевленный успехом, Теркел в последующие годы выпустил еще четыре аналогичные по жанру книги: сборник интервью «Трудные времена. Устная история Великой депрессии» (1970), «Работа» (1974, русск. перев.; «ИЛ», 1976, № 1), «Говоря с самим собой» (1976), «Американские мечты — потерянные и обретенные» (1980, русск. пер. 1982). Взятые воедино, эти пять книг образуют своего рода документальный эпос Америки XX века, или, говоря словами писателя, «устную историю» страны.

Выпущенная издательством «Пантеон» книга «Славная война» стала шестым томом «устной истории», создаваемой Теркелом. Том, куда вошли более сотни интервью с «обыкновенными людьми», воспроизводит один из ключевых периодов современной истории Соединенных Штатов — эпоху второй мировой войны. Американскими прозаиками создано немало значительных произведений о войне с фашизмом (романы «Нагие и мертвые» Н. Мейлера, «Отсюда в вечность» и «Только позови» Дж. Джонса, «И тогда мы услышали гром» Дж. О. Килленса, «Бойня номер пять» К. Воннегута). Но книга Теркела, в отличие от «военных» романов прошлых десятилетий, представляет собой попытку воссоздать коллективный «портрет души» американского народа, в котором с подлинно эпическим размахом запечатлен нравственный и психологический опыт целого поколения «средних американцев», волею судьбы вовлеченных в круговерть большой истории. Кем они тогда были? Что чувствовали? Как воспринимали ту войну? Какую роль сыграла война в их дальнейшей судьбе? Вот вопросы, волнующие автора «Славной войны», вышедшей в преддверии празднования в США сорокалетия победы над германским фашизмом и японским милитаризмом.

Почему «Славная война»? По мнению обозревателя журнала «Тайм», лейтмотивом книги Теркела является то прямо, то косвенно высказываемое «обыкновенными людьми» убеждение в том, что во время борьбы с гитлеризмом «большинство американцев в последний раз считали себя хорошими и сохраняли чувство невинности». Ведь все последующие войны, которые вели США после 1945 года, вошли в историю страны под позорным наименованием «грязные» (агрессия в Корее, многочисленные «экспедиции» в страны Центральной Америки, Вьетнам, Гренада...). Кроме того, в названии книги есть и горько-ироничный смысл. Исповеди участников войны — а среди собеседников Теркела бывшие пехотинцы и танкисты, артиллеристы и летчики, медсестры и санитары, связисты и шоферы — позволяют увидеть «славную войну» вблизи, обнажая внутреннюю «механику» человеческих взаимоотношений. И Теркел познает печальную истину: даже в грозную пору военного лихолетья на фронте и в тылу непримиримые социальные противоречия, характерные для американского «мирного» времени, не только не сглаживались, но, напротив, проявлялись острее и резче...

Книга «Славная война», отмечает рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», построена как хроника, каждый этап которой освещает десяток-полтора интервью, составляющих отдельные главы. Главы имеют характерные заголовки: «Тихоокеанские были», «Открытие второго фронта и прочие события», «Неожиданный куш» (где рассказывается о «свалившихся с неба» миллионах долларов, нажитых американским большим бизнесом за годы войны) и т. д. Но создатели «устной истории» не только вспоминают о днях минувших, они постоянно проецируют свои воспоминания на день сегодняшний. И тогда, когда они тщетно пытаются объяснить себе, как могло получиться, что в послевоенные годы недавние враги быстро стали союзниками США или что многие нацистские преступники, избежав заслуженной кары, перешли в разряд «полезных экс-наци», в их исповедях появляются нотки неподдельной горечи...

«Мы поддерживаем фашистское правительство. Нам это не в новинку», — говорит один из персонажей фильма американского кинорежиссера Роджера Спотисвуда «Над схваткой», разоблачающего политику США в Центральной Америке. Действие картины происходит в Никарагуа, куда в поисках сенсационных фотоснимков приезжает репортер крупного иллюстрированного издания Рассел Прайс. В залитой кровью стране журналист хочет оставаться «над схваткой», однако события неизбежно поставят героя перед необходимостью сделать выбор и стать на сторону сандинистов. В фильме снимались Ник Нолт, Джоанна Кэссиди, а также французский актер Жан-Луи Трентиньян, блестяще, по отзывам критики, сыгравший роль хитрого и циничного агента ЦРУ
На снимке: кадр из фильма. В главных ролях — Джоанна Кэссиди и Ник Нолт.

(Газета «Нувель обсерватёр»)

ФРАНЦИЯ

ББ — ПОЛВЕКА

Брижит Бардо. Одна из популярнейших звезд французского кино 50—60-х годов в полном расцвете сил решила уйти из кинематографа и посвятить себя защите домашних животных. Трудно даже подсчитать, сколько процессов возбудила ББ против «вандалов», мучающих кошек или собак, и все, надо сказать, выиграла! На весь мир прославилась она, когда отправилась в Канаду и устроила там демонстрацию в защиту морских котиков.

В сентябре 1984 года ей исполнилось пятьдесят лет. В связи с этим многие газеты и журналы опубликовали статьи о ней. Как писал в «Пари-матч» ее первый муж, известный режиссер Роже Вадим, мало найдется людей, которые при жизни испытали бы столько оскорблений и получили бы столько почестей, сколько их выпало на долю Брижит Бардо. Автор статьи в газете «Матэн» вспоминает слова одного из президентов, сказавшего, что фильмы с участием Брижит Бардо принесли Франции больше валюты, чем автомашины фирмы «Рено»...

Брижит Бардо обещала к своему 50-летию издать книгу мемуаров. Пока это только обещание. Отбиваясь от репортеров в дни своего юбилея, она согласилась дать интервью старому другу, ведущему телепередачи «Земля животных», Алэну Бугрэн-Дюбур, которое напечатано в «Теленеделе». Вот некоторые строчки из него:

«...Теоретически мы — цивилизованная страна, но тем не менее приходится

На снимке: Брижит Бардо.

(Журнал «Премьер»)

признать, что с животными у нас обращаются жестоко.

...Я стремлюсь к уединению... А когда выползаю «из дома», то вижу лишь убожество и вульгарность. Если мне случается проявлять агрессивность, это объясняется тем, что мне здорово досталось в жизни.

...Мне жаль людей, у которых нет идеалов, а ведь их можно найти, и немало!»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1984 ГОДА

Лауреатом Гонкуровской премии 1984 года стала Маргерит Дюра, один из ведущих французских авторов последних десятилетий, перу которой принадлежат романы «Плотина против Тихого океана», «Модерато кантабиле», «Похищение Лолы В. Штейн», сценарий известного фильма «Хиросима — любовь моя». Присуждение М. Дюра Гонкуровской премии — дань более чем сорокалетнему творчеству писательницы.

Ее последнее произведение — повесть «Возлюбленный» — основано на воспоминаниях отрочества и носит автобиографический характер. Действие происходит в Индокитае, где в тридцатые годы жила семья Маргерит Дюра. Оставшись без кормильца в семье, притесняемые колониальными властями, мать и ее трое детей живут в большой бедности. И когда у старшей дочери Маргерит появляется богатый поклонник, родные готовы вздохнуть с облегчением. Лишь одно смущает их: у него желтый цвет кожи... Хотя ее связь с «желтым» вызывает неодобрение членов семьи, они, однако, не видят ничего зазорного в том, чтобы брать деньги, приносимые девушкой домой.

Повесть писательницы, которую иногда называют «Эдит Пиаф нового романа», нашла мгновенный отклик у читателей, хотя Дюра издавна имела репутацию «трудного» автора.

Другая крупнейшая литературная награда года, премия Ренодо, вручена также женщине. Роман «Место под солнцем» — четвертая книга Анни Эрно и посвящена памяти ее отца, нормандского крестьянина. Ценой лишений и изнурительного труда сначала в деревне, потом на заводе копит он деньги на приобретение закусочной, которая представляется ему первым шагом к независимости и благополучию. Но эти иллюзии терпят крах, и тогда отцовский взор обращается на Анни, которая блестяще учится в лицее и подает большие надежды. Одаренной девушке удается добиться положения в обществе, но, обретя «место под солнцем», она начинает с горечью ощущать отчуждение, возникшее между нею и родителями. Смерть отца заставила героиню взяться за перо, чтобы рассказать о нем, воздать должное его памяти. За внешней сухостью и сдержанностью рассказчицы проступает глубокая душевная боль.

Премия «Фемина» присуждена тридцатидвухлетнему Бертрану Визажу, автору романа «Под палящим солнцем», действие которого происходит на Сицилии. Бесстрашный следователь Фульвио, убитый мафией, красавица Мария, предприимчивый хирург, покупающий кровь у болельщиков футбольной команды, которым нужны деньги, чтобы купить билеты на матч,— таковы некоторые персонажи носящего полуфантастический характер романа об обитателях периодически сотрясаемой подземными толчками деревушки у подножия вулкана Этны. Книга Бертрана Визажа, овеянная подлинной поэзией, заслужила высокую оценку критики.

Премия «Медичи» присуждена Бернару-Анри Леви. Его роман «Дьявол в голове» — жизнеописание некоего Бенжамена К., появившегося на свет в оккупированном Париже 1942 года и покончившего с собой в 1983 году в Иерусалиме. Сын коллаборациониста, Бенджамен из представителя «золотой молодежи» превращается в бунтаря, участника студенческих выступлений 1968 года, потом маоиста, затем террориста из итальянских «красных бригад», чтобы в конце концов, разочаровавшись во всем, начать предсказывать «грядущее царство дьявола на земле». Своего персонажа Леви пытается представить «сыном века». Однако присуждение премии «Медичи» роману «Дьявол в голове» вызвало у значительной части французской критики недоумение. Книга Леви, иллюстрирующая левацкие и одновременно антикоммунистические взгляды автора, лидера так называемых «новых философов», является, по мнению «Юманите», «конъюнктурной, циничной и оскорбительной». Наделяя своего героя, несущего на себе проклятие отцовского предательства, демоническими чертами, пишет Жозиан Савиньо в газете «Монд», автор множит неправдоподобные события, нагромождает надуманные ужасы. История Бенджамена, подпадающего попеременно под влияние всех политических течений,— скорее коллаж, чем жизненный путь реального человека. Роман Леви не блещет и художественными достоинствами. «Самые актуальные события превращаются у автора в остатки вчерашней говядины»,— ядовито замечает критик журнала «Экспресс» Анжело Ринальди. «Новый философ — вовсе не новый романист»,— считает «Кэнзен литтерэр», высказывая мнение, что тенденциозное произведение Леви — закономерный финал коммерческой эксплуатации «новой философии».

ФРГ

ИНТЕРВЬЮ С ЛУИЗОЙ РИНЗЕР

Известная западногерманская писательница Луиза Ринзер (ее роман «Черный осел» был опубликован в «ИЛ», № 7—8 за 1981 г.) удостоена в ГДР медали им. Иоганнеса Бобровского, которую присуждает Христианско-демократический союз ГДР. Эта награда, заявил председатель ХДС Геральд Гёттинг, воздает должное заслугам «воинствующей гуманистки и отважной христианки, мужественного борца против нацизма и войны», которая «своим литературным творчеством, а также активным участием в мирном движении завоевала в ГДР большое уважение».

Журнал «Зинн унд форм» опубликовал интервью с Луизой Ринзер. На вопрос о том, что писательница считает более важным в нынешнем напряженном мире — литературную деятельность или общественно-политическую активность, Ринзер ответила: «Для меня важно и то и другое... Я как писательница высказываюсь по актуальным проблемам. И читательские отклики, а их много, показывают, что моя деятельность способствует переменам в сознании людей... Я получаю в день до десятка писем. Пишут в основном молодые люди, студенты, школьники, но также и фабричные работницы, домашние хозяйки, мужчины разных профессий. В последнее время, с тех пор как я стала активно участвовать в мирном движении, много приходит писем от молодых солдат. Читательская почта — это, конечно, большая нагрузка, но я бы не хотела ее лишиться. Из этих писем я узнаю, как живут люди, что их заботит».

Когда в ФРГ появился роман «Черный осел», продолжала писательница, «вся правая, консервативная пресса обрушилась на меня с упреками, что я, мол, «бережу немецкую рану». Ринзер, писали они, никак не разделается с прошлым. Но ведь это наше общее прош-

лое. К сожалению, у нас, обсуждая книги, интересуются не столько их литературным качеством, сколько политическими взглядами автора, причем мои взгляды постоянно искажают... Во Франции, Италии, Польше и других странах мои книги принимали гораздо лучше, чем у меня дома. За «Черного осла» в ФРГ меня ругали, в Италии я получила две литературные премии... Я рада, что эта книга должна скоро появиться и в ГДР».

«Меня все время упрекают, что я часто езжу в ГДР, — заметила далее Луиза Ринзер. — Но для меня это очень важно... Каждый должен делать все, что он считает полезным для дела мира. Надо наводить мосты, учиться понимать друг друга, быть терпимыми... Меня беспокоит всякий раскол в мире, всякий разлад между людьми: политический, идеологический, экономический, разлад между поколениями...»

«Цель всех моих книг — воздействовать на сознание читателей. Многие пишут мне: вы меня взбудоражили. И это лучшее из всего, чего я только могу желать».

ШВЕЦИЯ

ВПЕРВЫЕ НА ШВЕДСКОМ

«Казалось бы, у столь знаменитого писателя, как Артур Конан Дойл, уже нельзя было найти ничего нового,— пишет литературный обозреватель газеты «Дагенс нюхетер» Карл-Ёран Экервальд.— Его произведения переведены на многие языки мира и издаются миллионными тиражами. Но книга его рассказов «Чудеса в Сассадален», впервые переведенных на шведский язык и выпущенных издательством «Бромбергс», произвела шоковое впечатление на читателей».

Герои одного из шестнадцати рассказов — шведы Октавиус Гастер и Карл Осгуд — по трагическому стечению обстоятельств оказываются в открытом море в маленькой лодке без запасов воды и продовольствия. Их вынужденное путешествие длится много дней. И все их приключения не вышли бы за рамки традиционного детективного повествования, если бы... один из героев не оказался людоедом, а другой — вампиром.

«Очень жаль, что сэр Артур Конан Дойл так и не открыл нам загадку своих столь эксцентрических персонажей шведского происхождения. Впрочем, не может же читатель обижаться на автора за то, что он дал волю своей поистине неукротимой фантазии...

Так или иначе новый сборник рассказов английского классика остросюжетного жанра пользуется колоссальным читательским спросом»,— заключает рецензент.

ЯПОНИЯ

СУДЬБА ХУДОЖНИЦЫ

В Японии создан фильм «Страсть», посвященный биографии художницы Тсуи Симамуры, ставшей в эпоху Мейдзи одной из первых женщин, добившихся в области искусства равноправия наряду с мужчинами.

Дочь бедной вдовы Тсуя рано обнаружила талант, и, хотя семья нуждалась, мать решила учить дочь живописи. Когда Тсуе было 14 лет, ее картина «Красота четырех времен года» получила приз третьей индустриальной японской выставки и была послана на конкурс в Англию. Судьба Тсуи складывалась удачно, но вот она влюбилась в своего учителя Сокея Такабаи. Воспользовавшись неопытностью девушки, он соблазнил ее. Вопреки общественным предрассудкам Тоуя решает родить ребенка, но вынуждена после этого уехать в Токио. Там она продолжает занятия живописью и становится первой женщиной-художницей, произведения которой демонстрировались на различных европейских выставках и получили там большое признание.

Фильм поставил режиссер Садао Накаима. В главной роли — Тсуи Симамуры снялась молодая актриса Юко Натори (на фото).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ /зам. главного редактора/, **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **М. Г. ФЕДОРОВ** /отв. секретарь/, **К. А. ЧУГУНОВ** /зам. главного редактора/, **Л. З. ЭЙДЛИН**.

Художественный редактор **Е. Черняев**. Технический редактор **Е. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

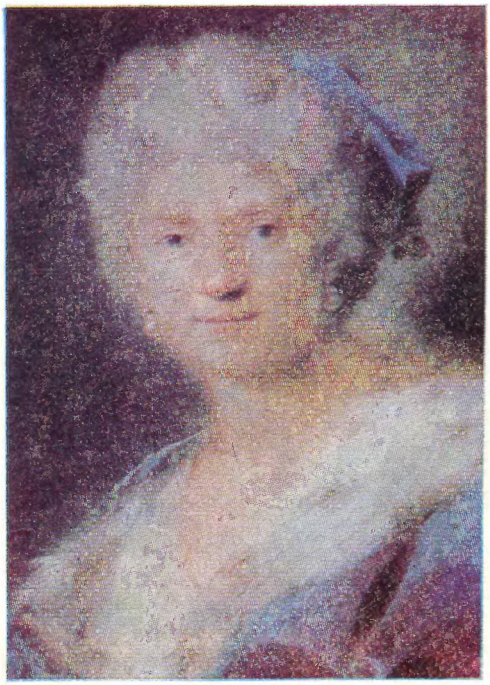
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 28.12.84. Подписано в печать 14.02.85. А 07070. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 25,39.

Тираж 418000 экз. Зак. 4561

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



РОЗАЛЬБА КАРРЬЕРА. Автопортрет «Зима».

ФРАНСУАЗА САЛЬМОН. «Автопортрет».

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394